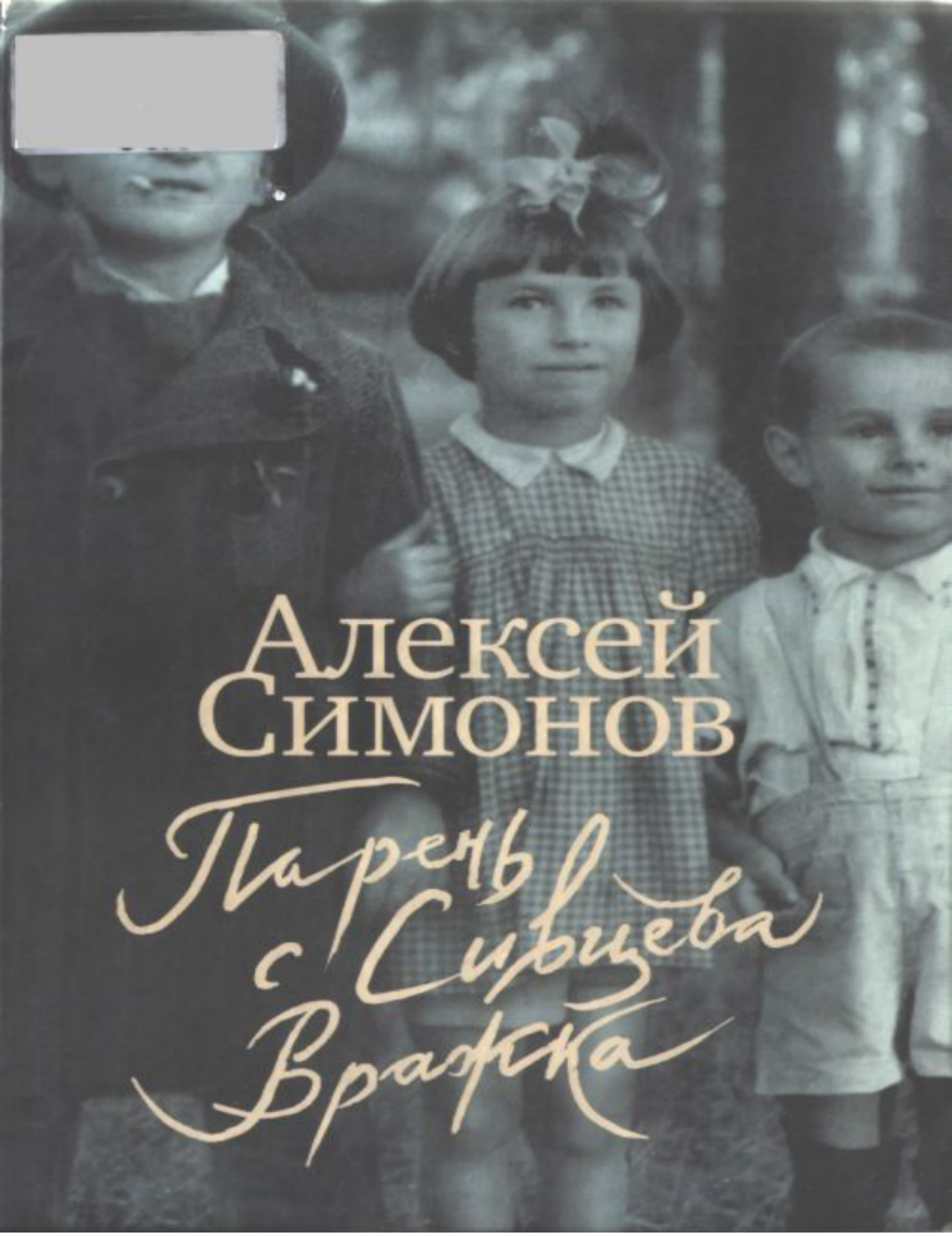

Алексей
Симонов
Парень с Сивцева Вражка

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это история семьи на фоне XX века, изложенная в воспоминаниях, размышлениях, письмах, архивных документах, трудовых книжках и справках о реабилитации.

Если в первой части «Отдаю долги» рассказывается о том, как формируются в семье принципы общения с внешним миром, то во второй — «Круги по воде» — автор описывает, как эти принципы действуют в житейской практике.

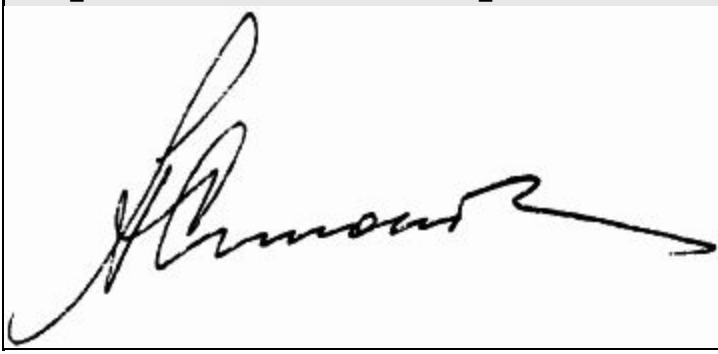
Пунктиром через все перипетии этой истории проходит судьба Симоновых — деда, отца, внука, рассказывается о том, почему они — Симоновы и как главный из них стал Константином вместо Кирилла.

- Алексей Симонов
  -
  - ЧАСТЬ I
    - Вступление
    - Сивцев Вражек
    - Воскресный обед
    - Вокруг стола
    - Деда Муля — Самуил Моисеевич Ласкин
    - Бернард Котен
    - Дед (продолжение)
    - Бабушка Берта
    - Сонюра
    - Харон и Стелла
    - Иванишев А. Г., или Деда Саша
    - Толька
    - Переделкино
    - Алинька
    - Послужной список
    - Алинька (продолжение)
    - Дед Симонов и его последствия
    - Алинька (окончание)
    - Моя мама и ее отражения
    - О капустнике и не только
    - Письма
    - Архив
    - Эпитафия
  - ЧАСТЬ II
    - Школа № 1
    - Мама, папа и дядька Луговской

- Памяти Бориса Горбатова
- Мятеж совести (Владимир Корнилов)
- Я — разный (Е. Евтушенко)
- Несентиментальные заметки
- О Симоне Маркише
- Одессит, у которого был вьетнамский бог
- Мой любимый сценарист
- Я строю на песке…
- Последний босс Гостелерадио
- Браво, Засурский!
- Большевик-антикоммунист (А. Н. Яковлев)

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

Алексей Симонов
Парень с Сивцева Вражка



Я в долгу перед Бродвейской лампионией,
Перед вами, багдадские небеса,
Перед Красной Армией, перед вишнями Японии,
Перед всем, про что не успел написать

В. В. Маяковский

Когда в 1999 году я писал вступление к своей книжке «Частная коллекция», то, сославшись на Маяковского, попробовал подытожить долги и своей памяти. Подсчитал, записал и, как водится, забыл. Прошло 10 лет, и, уже в преддверии семидесятилетия, у меня снова возникла возможность собрать под одной обложкой часть написанного за эти годы: юбилейное и поминальное, ностальгическое и общественно важное, связанное с нашей повседневностью и резко из нее торчащее. И вот я это сделал, и снова пишу что-то вроде предисловия. Возникает естественное желание сравнить, что я считал своими долгами 10 лет назад и что оказалось выполненным из этого перечисления. Не буду утруждать вас самоцитированием, поверьте на слово: почти все, что было названо долгами тогда, вошло в новую книжку. Видимо, свободная, не понукаемая наша память имеет свой код, свою последовательность вопреки противоречивой сиюминутности нашего существования.

Книжка состоит из двух частей. В первой, которую так и

назвал — «Отдаю долги», я попытался понять себя через хитросплетения семейной истории, сосредоточенной вокруг дома № 14 по старинному, никогда не переименовывавшемуся арбатскому переулку, где я рос, где вырос, где стал тем, что я есть. Сивцев — это моя колыбель, память о которой тепла и жива, покуда живу и дышу я сам. И поэтому вся книжка названа «Парень с Сивцева Вражка»

Вторая часть — отдельные истории и портреты, объединенные названием «Круги по воде». У «Кругов» оказалась интересная особенность: даты, связанные с событиями и людьми в этой части книжки, располагаются в моей собственной жизни последовательно — одно за другим, что не входило в мою задачу, но получилось именно так. И название части этому совпадению очевидно соответствует.

Чтобы вам легче было в этом жизнеописании ориентироваться — несколько биографических реалий.

Я родился в 1939 году, в семье поэта Константина (Кирилла) Симонова и Евгении Ласкиной — студентки Литинститута (отделение критики).

В 1946-м поступил в школу № 59 в Староконюшенном, а в 1949-м перешел в школу № 1 в Сокольниках.

После окончания школы работал около двух лет в экспедиции по 3-му Международному геофизическому году в районе полюса холода в Якутии, в 240 км от Оймякона.

В 1958-м поступил в Институт восточных языков (ИВЯ) при МГУ на отделение индонезийского языка. Ныне этот институт переименован в ИСАА (Институт стран Азии и Африки).

С 1963 до 1967 год проходил практику, а затем служил редактором в издательстве «Художественная литература».

В 1968-м поступил на Высшие режиссерские курсы, которые окончил в 1970-м.

С 1970 года — в кино. За 20 лет снял 21 фильм. Среди самых удачных игровые фильмы: «Отряд» и «Обыкновенная Арктика», а также документальные: «Мир Улановой», «С песней по жизни» (Л. О. Утесов), «Прощай, старый цирк».

В 1991-м стал руководителем Фонда защиты гласности, который и возглавляю по сей день.

Принимал участие в самых разнообразных общественных инициативах — от Конституционного совещания до наблюдательного совета «Новой газеты».

Государственными наградами не обременен, зато получил несколько общественных наград, которыми горжусь: звание «Почетный адвокат России», премию «Фемида» — юридического сообщества России, медаль имени Ф. Плевако, был приглашен и

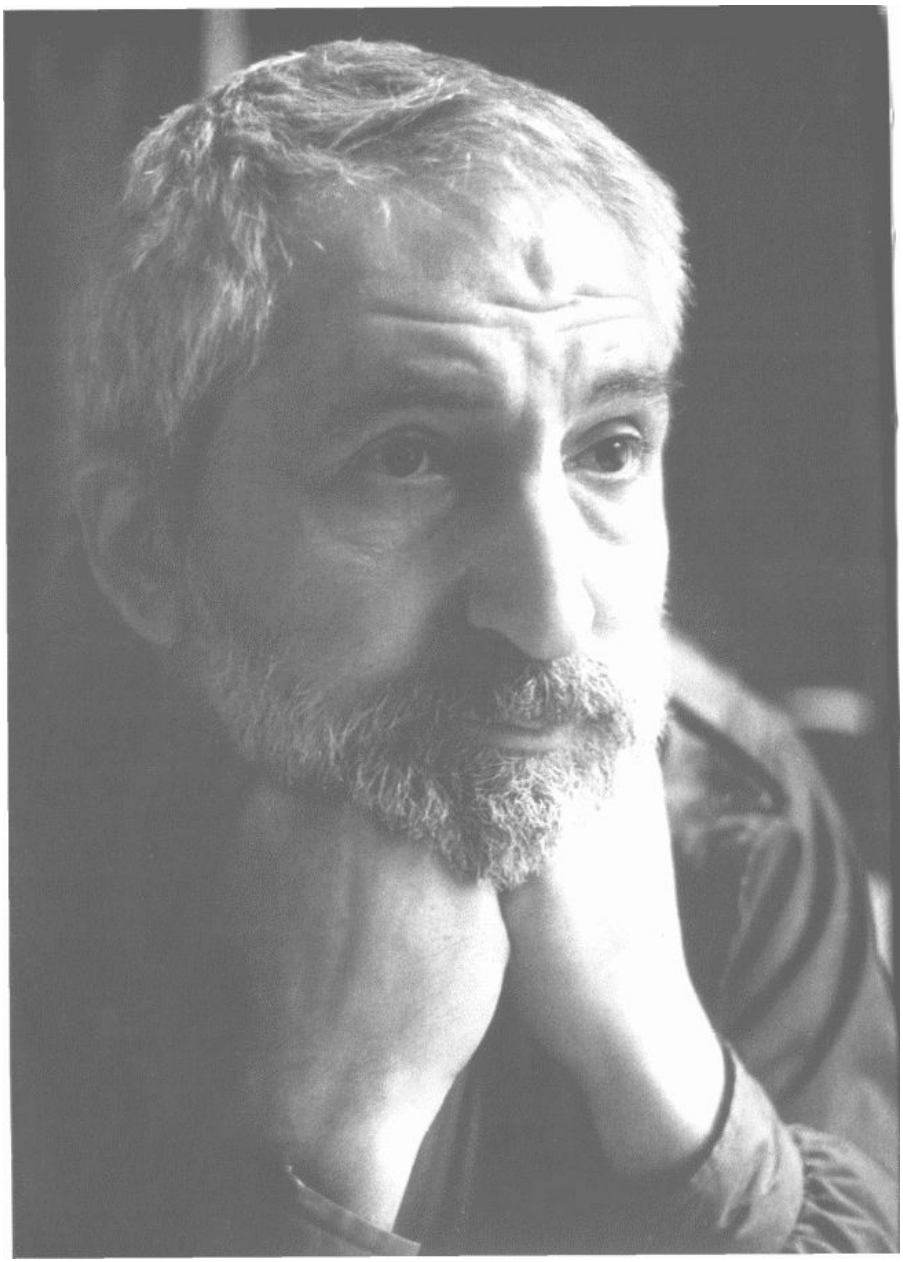
стал членом Московской Хельсинкской группы.

С 2008 года — вице-президент Российского ПЕН-центра.

Так получилось, что жизнь моя состоит из нескольких разных биографий. Как и когда они начинаются, определить можно, а вот заканчиваться никак не хотят, потому что, в очередной раз начиная новую биографию, ты обретаешь новое дело в жизни и новых друзей, а потом и эти друзья, и отголоски этих жизней сопровождают тебя, что бы ты ни делал, чем бы ни занимался. Собственно из этого и складывается твоя память, долги которой, если тебе повезло, отдаешь всю оставшуюся жизнь.

ЧАСТЬ I
Отдаю долги

Вступление



В размышлении о будущих внуках (фото С. Новикова, 1990 г.)

В чем истина: в совершенстве мира или в его несовершенстве? И что есть вера: потребность примириться с обстоятельствами жизни или истории во имя некоего идеала или

высокий идеал, отвергающий примирение с жадностью, подлостью, жлобством и т.д., которые и есть человеческая история?

Изучение истории, даже изучение истории религий, отодвигает человека от веры. И чем глубже — тем дальше. Но маленькие ручейки истории, где, как в моем случае, есть немалое место человеческим слабостям, но нет места универсальным порокам человечества, они ведь куда-то текут? Они же где-то сливаются в отдельную общечеловеческую Историю?

А может быть и так, что к истории своей жизни, своей семьи мы терпимы, человеческие недостатки внятны нам, способность понять и простить их сопровождает и наш жизненный путь, и ход наших позднейших рассуждений и воспоминаний о нем.

Когда-то, классе в девятом, девочка из соседней школы написала мне в записке: «Ни на кого так не сердишься, как на того, кого…!» Так и написала, с тремя точками, не решившись употребить слово «любишь». Может, это и с Богом так?

У меня всегда было плохо с абстрактными понятиями. Есть русский язык, и для меня, человека русской культуры, невозможность изложить любую мысль на этом языке означает слабость этой мысли, ее недодуманность. Абстракциям нет места в моей истории, и если я чего-то не могу понять или выразить — это недостаток мой. Моего языка, моей культуры, потому что все непросто на этом свете, ибо «просто» у каждого свое, а сталкиваясь в пространстве жизни, противостоя или соединяясь, они и образуют то «непросто», которое я и пытаюсь понять и объяснить, развязывая или завязывая узелки этой моей частной истории.

Я хотел начать писать эти заметки в Москве. А начинаю в Китае. Из окна моей гостиницы виден берег моря. Так вот этот вполне балтийский пейзаж нарисован на берегу моря Южно-Китайского, и чтобы вспомнить, как называется поселок, где мы временно осели, мне надо взять рекламный буклет отеля и среди многочисленных иероглифов отыскать тонкую строчку доступных мне английских букв: город Дангсин, провинция Гуангси, и даже обнаружить там ошибку в написании слова отдых или каникулы. «Vocation place» вместо «Vacation». Почему именно здесь? Не знаю, может быть, потому, что «мы» в данном случае включает в себя моего старшего, а теперь и единственного сына и его долгожданную невесту, которую он по недоступным мне и не объясненным им причинам все никак не хочет или не может перевести в жены[1].

Я-то ведь думаю о внуках, и это придает моему изложению дополнительный «исторический» оттенок. Сын — четвертое

поколение в доступной мне истории моей жизни и моей семьи, а внук — это уже пятое. Пять поколений, согласитесь, это уже солидно, и в робком предвкушении этой неровной, но неразрывной цепочки уже есть о чем писать, ощущая себя не просто звеном в этой цепи, но центральным ее звеном: два поколения до и два после — это уже что-то вроде патриарха. Так вот, сын с невестой уехали в джунгли — есть такая охраняемая территория, что-то на манер заповедника в этой китайской провинции, а я остался в гостинице с четким посылом: «Писать!» Чтобы мне прожить этот день, мои китаеговорящие родичи оставили мне номер своего телефона и цепочку иероглифов в тетради, означающих «жареная лапша с овощами и морепродуктами», а также «одна бутылка холодного пива» — это на предмет обеда в неподалеку от нас расположенных харчевнях, где это возможно получить. Другого способа общения со мной и у Китая, и у этого мира на сегодня нет. Смешно. Вот набрал по оставленному мне сыном китайскому мобильнику номер телефона его китайской невесты, а он не отвечает, и что делать, если б я звонил не просто проверить, работает ли связь, а по какой-то острой нужде?

Море, хотя оно всего метрах в ста, почти не шумит. Изредка по идущей вдоль него дороге проезжают какие-то слышные виды транспорта и, напоминая про не закончившийся еще китайский Новый год, постреливают местные любители мелких фейерверков. Самое время начать, тем более что первые фразы я заготовил еще в самолете, на пути из Москвы в Пекин, навстречу двум поколениям моей истории: реальному и гипотетическому, или желательному.

«По сравнению с большей частью людей, живших в Европе в середине и в конце XX века, мне несказанно повезло: не только моя биография и не только история моей семьи — мой личный опыт оснащен общением с полным комплектом бабушек и дедушек, даже некоторым сверхкомплектом, о котором потом и отдельно. Их не убили ни в Японскую, ни в Первую мировую; не прикончили в погромах; не расстреляли ни красные, ни белые; не уморили в лагерях, хотя все это они прошли, воевали и сидели. Их травили газами и ссылали, их ограничивали в правах и держали в тюрьме, но в итоге мне достались четверо замечательных предков-долгожителей, проживших на круг больше восьмидесяти лет каждый. Три века живого человеческого опыта».

Мне второй раз повезло (а может, и не повезло — как считать), что у отца — единственного ребенка своих родителей — я оказался первым, на десять с лишним лет единственным, да еще

сыном, что у дворян и военных считалось правильным. И уж совсем удивительно, что в куда более разветвленном еврейском семействе матери — нас (в смысле нашего поколения) было всего двое — мой двоюродный брат от старшей материной сестры и я.

Много позднее у отца появилась еще одна дочь, а потом в результате следующего брака сразу две: ровесница первой (приемная) и родная (младшая). Но это уже было после 56-го, когда я окончил школу. А изначально эта моя единственность и, одновременно, полусиротство прочно и навсегда соединили две очень разные, очень непохожие друг на друга семьи моих дедов и бабок, и я был тем счастливым мостиком, чье появление на свет раз и навсегда создало и укрепило их взаимное притяжение, проторило им дорогу друг к другу. Поэтому хотя я и вырос в так называемой неполной семье, это никоим образом не повлияло на то, каким я стал. Не повлияло. Никак. К этому нам предстоит еще вернуться.

Если б не Великая Отечественная война, раннее детство мое было бы исключительным и счастливым: я был единственным внуком у одних деда и бабки, которые кроме всего прочего чувствовали за меня ответственность, ибо их сын меня «бросил», и одним из двух внуков у других, где в семье традиционно было много детей. А тут — вся огромная детолюбивость падала на нас двоих, причем в воспоминаниях моего детства кузену нет места аж до возвращения в Москву из эвакуации, т.е. все, что положено любимым внукам в хорошей еврейской семье, получал я — мизинкер — младший, последыш. Но война, увы, сместила приоритеты, и мне доставалась лишь та часть забот, которая оставалась от усилий выживания.

Не кажется ли вам, любезный читатель, что рукопись моя начинает напоминать старый анекдот про потерявшегося в большом магазине мальчика. Набежавшей охране плачущий мальчик объясняет, как выглядит потерявшая его мама: обыкновенная мама, но без такого мальчика, как я, в матроске, ботинках и шапочке с помпоном. Мне, правда, очень трудно рассказывать о дедах и бабках, минуя себя, — ведь они практически первое живое обстоятельство моей памяти. И все-таки попробую, ведь им и до меня пришлось жить довольно долго, пока они не стали моими дедушками и бабушками. И кое-что существенное с ними происходило и до моего рождения.

Опора семьи — сестры Ласкины: Женя, Соня, Фаня (Дуся). Шклов, 1922 г.

В начале тридцатых годов в одном из самых знаменитых

арбатских переулков построили пятиэтажный дом без лифта, по сути, очень похожий на будущие «хрущобы». Квартиру в этом доме получил муж моей старшей тетки, Фаины Самойловны, который работал в знаменитой мастерской архитекторов Весниных. Личных воспоминаний о нем у меня не сохранилось, он умер в сорок втором году, когда мне было три года. Квартира эта маленькая, но трехкомнатная. Она состояла из одной комнаты — совсем крохотной, метров, наверное, шесть или семь, из второй — побольше, и третьей — горницы, в которой было метров восемнадцать.

Когда я вернулся в сорок третьем году из эвакуации, в доме жили: мои дедушка и бабушка — Самуил Моисеевич Ласкин и Берта Павловна, в девичестве Аншина; их старшая дочь, Фаина Самойловна, или по-семейному Дуся, с сыном Вовой, который был на пять лет меня старше; средняя сестра Софья Самойловна, а также новый муж старшей сестры (впрочем, может быть, Леонид Алексеевич Вишнев появился там годом позже) и я, которого им подбросила моя любимая мама аж до сорок восьмого года, служившая в Наркомтяжпроме и вечно находившаяся в командировках.

Квартира была на втором этаже, и номер у нее был знаменательный, совпадающий с номером школы, в которой я начинал учиться — 59. Войдя в квартиру, ты оказывался в довольно широком коридоре, широком за счет длинной ниши справа, где разместились вешалка, а позднее и холодильник; коридор упирался в среднюю по величине комнату, справа в конце его был вход в большую комнату, где жили дед с бабкой и где проходили семейные обеды, принимали гостей и справляли праздники.

Слева была крохотная, буквально четырехметровая, кухня, дальше раздельные ванная и туалет. Полы в доме были паркетные, и натирание полов было одним из самых трудоемких и памятных занятий. По соседству с ванной находилась и маленькая комната, где жила Дуся или Дуся и ее муж.

Я описываю это столь подробно не потому, что география этой квартиры имеет какое бы то ни было значение для дальнейшего изложения, просто это было мое родовое гнездо, которое оставалось таковым во все времена, и ощущение это пережило и деда с бабкой, и их дочерей, и не исчезло даже тогда, когда последние из обитателей этой квартиры — Вовка и к тому времени девяностолетняя его мама — были переселены в другой район, в хороший современный дом, в двухкомнатную квартиру-распашонку с большой кухней.

Да, кстати, и родовое гнездо было двухсветное — окна из

большой комнаты выходили на Староконюшенный, а из кухни, ванной, маленькой и средней комнат — на задний двор, с видом на помойку и места наших детских игр. Дом стоял в глубине двора, и от Сивцева Вражка его отделял сквер, снаружи ограниченный чугунной литой решеткой.

Что такое родовое гнездо? Об этом я должен написать, потому что даже у друзей-ровесников, живших более или менее благополучно, даже у тех, кто жил не в коммуналке, ощущение родительского дома не было ощущением родового гнезда. Родовое гнездо — это точка на карте твоей жизни, которой ты обязан главным: это оно сделало тебя таким, какой ты есть, и предопределило и твой характер, и твое поведение в предстоящих жизненных обстоятельствах, и твои отношения с друзьями, и выносимые тобою оценки. Это действительно исходная точка, и в моей жизни она определила очень многое.

Есть такое понятие «тыл». Если даже не пользоваться военными ассоциациями, то это нечто, всегда стоящее за твоими плечами, питающее твою храбрость, служащее местом отдыха и переформирования ресурсов, место, откуда ты уходишь куда бы ты ни уходил, место, куда ты возвращаешься или мечтаешь возвратиться, где бы ты ни был. Самыми простыми словами — это место, где тебе хорошо, где тебя любят, где каждый твой успех — повод для радости, где каждая твоя неудача — общее горе или неприятность, где ты, если у тебя получается что-то в жизни,— король и где, если у тебя что-то в жизни не получилось,— все равно король, у которого что-то не получилось. Это место, которое не надо ни проверять, ни испытывать, а потому — это не только твой дом, но и дом всех твоих друзей. Вот все это вместе сошлось и навсегда осталось в этой квартире на Сивцевом Вражке, которая во всех легендах, а их было много у этого дома, называлась по имени переулка и даже первой половиной его названия; это Сивцев, где, будучи в Москве и уже давно живя отдельно, каждое воскресенье ты сидел на семейном обеде, среди людей любящих и любимых, даже если они не были связаны с тобой никакими родственными узами.

Все, что я буду писать в дальнейшем о людях, вошедших в мою жизнь через Сивцев, освещено его светом, проверено его искренностью и правдиво его правдой. Словом, во всю мою уже семидесятилетнюю жизнь я — парень с Сивцева Вражка.

■

Дед Муля никогда не был человеком религиозным. Его отношения с синагогой, насколько я могу судить, ограничивались

закупкой мацы к еврейской Пасхе. Атеизм в доме был поголовный, как, впрочем и снисходительно-нейтральное отношение к богу вообще.

Доказывать это нет нужды, а подтвердить могу воззрениями моей уже неоднократно помянутой на этих страницах почти столетней тетки, которая не раз помирала: в семидесятых от рака, в двухтысячном — от перелома шейки бедра, но во все эти не лучшие для нее времена думала не о душе и загробном мире, а о том, как будет жить без нее единственный сын с его непростым характером и не сложившейся семейной жизнью.

В этом доме богом была семья, и верность ей заменяла любые религиозные уставы и праздники.

Том Хартман (крайний справа) у меня дома среди многочисленной родни, 1990 г.

Со мной по этому поводу никаких разговоров не велось, это было в тоне, поступках, взглядах, словом, в воздухе, которым эти пятеро дышали. И это входило в тебя или не входило — тут все зависело от твоего собственного внутреннего устройства. В меня — вошло. Раз и навсегда. В конце восьмидесятых я впервые попал в Америку, где познакомился с замечательным человеком, ставшим близким моим другом, Томом Хартманом. Том был католический священник, в молодости его прихожанином был прототип героя «Крестного отца» — тот самый «дон Корлеоне». Прихожанином не в том смысле, что этот дон к нему в храм приходил, а в том, что Том как духовный наставник регулярно бывал у дона в доме, наставляя духовно и приобретая

разнообразный житейский опыт. Сошлись мы с Хартманом на том, что у него на Лонг-Айленде была своя телестудия, где под его руководством и часто с его участием делались многочисленные духовные передачи. Одна из них «Где живет Бог?», которую он делал вместе с соседом-раввином Марком Геллманом, вышла далеко за пределы Нью-Йорка и стала общенациональной детской передачей о религии для детей. В общем, Том был еще и телезвездой. При этом он никогда и никого не учил. Этим решительно противостоя всему моему опыту общения со священниками, правда, в основном — православными. Том делился жизненным опытом, духовным опытом, опытом пережитых страданий, своих и чужих, никогда ничего не навязывая. И он очень хорошо понимал людей. Именно ему я часто и много рассказывал о своей семье, о своем атеизме и его происхождении. Однажды, было это уже в середине девяностых, после нескольких визитов в Штаты, где встреча с Томом была всякий раз одной из обязательных целей поездки, и после его прилета в Москву в 90-м, словом, после того, как нам удалось сердечно сблизиться, Том решил посягнуть на основы моего атеизма. Было это в Нью-Йорке, перед отлетом. Том привез меня в аэропорт Кеннеди, до регистрации оставалось много времени, и мы засели в пабе по соседству с аэропортом, где к нам (уж не помню — то ли это было заранее согласовано, то ли Том позвонил ему с дороги) присоединился приятель Тома, тоже священник, но известный не телевизионной или благотворительной деятельностью, а проповедничеством: он не имел своего прихода и ездил, произнося проповеди, по приходам чужим, где в зависимости от успешности произнесенной проповеди задерживался еще на день-два, чтобы произнести новую проповедь.

И вот в самой непринужденной обстановке, да еще с бокалами пива в руках, стали они меня спрашивать: может быть, ты просто неправильно называешь то чувство, которое тебя ведет в жизни, может, оно и есть Бог? Кто-то же помогает тебе, шепчет твоей совести, что истинно, а что ложно, так почему ты не называешь это Бог? В общем, стал давить на меня этот проповедник, и сидим мы красивые, с пивом, в благолепии темного дерева и кожаных кресел, и хочется мне объяснить себя им.

«То, что вы называете Богом, — это все не сегодняшнее, а завтрашнее: и страшный суд, и справедливость, и рай, и ад. А то, что заменяет мне Бога,— оно сегодняшнее и вчерашнее: моя семья, дух этой семьи. Он и ведет меня по жизни, к нему я апеллирую как к совести, он уже существующий мой рай»,— так я

примерно сказал.

Посмотрел на меня приятель Тома, засмеялся и говорит: «Давай от него отстанем. Он слишком защищен, его не проймешь». Так я и улетел в тот раз из Нью-Йорка нераскаявшимся атеистом.

Воскресный обед

Самуил Моисеевич и Берта Павловна Ласкины. Цхалтубо, 1947 г.

Боже, дай справиться с тем потоком людей и деталей, который обрушивается на меня, когда я вспоминаю Сивцев. Начну

с главного. Главным на Сивцевом Вражке был воскресный обед. Раздвигался на две вставные доски стоящий в центре комнаты квадратный дубовый стол, появлялся праздничный сервиз с темно-золотым узором по наружному ребристому краю, хрустальные рюмки и бокалы, и вокруг садились почитатели бабкиной стряпни.

Бабка Берта была выдающейся кулинаркой, и все, что она готовила, было не просто вкусно, а божественно, а все, что она пекла, принесло ей звание «Мать-пирогиня». Я хорошо помню, как в 1948 году в Алуште, на мой день рождения, и с тех пор всегда в этот день, где бы я ни был, получал с Сивцева Вражка лекех (даже жалко, что по сути это — медовая коврижка из темной муки) или ореховый штрудель. Участвовавший в поедании лекеха молодой драматург, мамин приятель Александр Аркадьевич Галич, сочинил тогда телеграмму, немедленно посланную в Москву, на Сивцев Вражек:

Только гений, только бог
Мог создать такой пирог.
Гости в шумном восхищеньи
Ждут второго дня рожденья.

Фокус не в том, что я это запомнил, а в том, что по сей день помню любые зарифмованные мелочи моего детства.

Но пироги — это потом, а пока на столе, во-первых, селедка. Нет-нет, это совсем не то, что вы думаете или можете себе вообразить. Это — СЕЛЕДКА!!!!!!!!

Дед мой со времен черты оседлости был и остался экспертом по рыбе. И селедка на праздничном столе всегда была королевой, с таким нежносоленым вкусом, что уже и не помню, был ли это залом, каспийская или какая-то еще, но всегда ослепительно-вкусная, тающая во рту селедка. Подавалась она, как и положено, на продолговатой сервизной селедочнице и ничем, кроме легкого сдабривания слабым уксусом и кружками лука, не сопровождалась.

В круглой розетке подавался печеночный паштет. Но упаси вас бог, подумать, что купленный в арбатской «Диете», он просто переваливался на тарелку. Нет-нет, паштет сначала пережаривался с добавлением жареного лука и капли масла на сковородке, а на розетке обкладывался по периметру кружками соленого огурца.

Могу про себя сказать словами песни Юлика Кима: «Где я только не был, чего я не отведал…»— но до сих пор паштет я ем только с солеными огурцами, а селедку — с луком и никак иначе.

Ну, в-третьих — обязательная фаршированная еврейская рыба-фиш. Увы, с ней мой роман был более витиеват, чем с селедкой или паштетом: я ее не ел года до шестидесятого, настолько решительно, что меня уже перестали уговаривать. А когда спохватился и полюбил, досталось мне значительно меньше: всякий раз, нежа кусочек фаршированной рыбы с обязательным красным хреном, непременно собственного бабкиного приготовления, я с грустью понимал, как много я упустил, приступив к этому занятию с таким чудовищным опозданием. Главный принцип бабкиной кулинарии — это отсутствие лени у кулинара. В данном случае: весь рыбный фарш пропускался через мясорубку не меньше трех раз.

Сивцев Вражек, 14. Семья в сборе, нет только Сони. Она в лагере, 1951 г.

Винегрет или салат. Ну что, спрашивается, можно усмотреть особенного в бабкином винегрете. Я вам скажу: он всегда был сухой, то есть не давал сока, и всегда был мелко, очень мелко, так мелко, как редко кто режет, нарезан. Не знаю, сумел ли я сформулировать причину превосходства бабкиного винегрета над всеми остальными винегретами, которыми меня потчевали во всех уголках нашей великой родины, но нигде и никогда не пробовал я этого популярного блюда, равного бабкиному. Хотите верьте, хотите нет, это был царственный винегрет. Ну вот, я уже запел-заговорил стихами. Пора переходить к первому блюду.

Вам когда-нибудь в юношеских снах снилась блондинка со светло-золотистыми волосами? Вот такого цвета и был бабкин

бульон. И никаких кружек — в глубоких сервизных тарелках. И наливался бульон прямо из кастрюли, потому что в супнице подавалось к бульону то, чего больше нигде я не видел, и что придавало для меня особую ему ценность — бебелах. Я — точно — не специалист по еврейскому языку идиш, но спросить уже больше не у кого: единственная живая сестра мамы уже не помнит, точно ли это называлось бебелах. Зато я точно помню, как это изготовлялось. Делали слоеное тесто, как для хвороста, но пресное, раскатывали его в большую, очень тонкую лепешку, потом наперстком из этой лепешки нарезали крохотные белые кружочки, остатки лепешки снова сваливали и снова раскатывали, и снова нарезали, пока тесто не кончалось. Эти кружочки сыпали в кипящее масло, и как только из них вырастали темно-желтые и коричневые — что? — затрудняюсь назвать — вынимали шумовкой. Больше всего это было похоже на воздушные пузыри, обтянутые хрустящей корочкой. Вот они-то и подавались к бульону. Кто сыпал в тарелку, кто закусывал, запивая — это уж как вам хочется.

Еще бывал фасолевый суп. Но не суп с фасолью, а именно фасолевый, непременно из красной, хорошо и заранее размоченной фасоли с мучнисто-туманным, серо-малиновым шлейфом от каждого разварившегося фасолевого боба.

Не буду вас мучить описанием второго, тем более что вариантов было не так уж много: кисло-сладкие голубцы, вкус которых до сих пор помню, потому что он был именно кисло-сладкий, с большим количеством придававшей этот вкус подливки, или кисло-сладкое мясо с черносливом, цимес — тушеная по-еврейски морковь. А могло быть что-нибудь совсем простое: тушеная курица со сваренным зеленым горошком, все искусство приготовления которого заключалось в том, чтобы точно угадать время, когда его надо снять с огня, чтобы горохи перестали существовать по отдельности, но еще не стали гороховой кашей.

И такая деталь. По молодости я ужасно не любил кожу с тушеной курицы. И дед, как по ритуалу, забирал с моей тарелки ободранные с курицы шкурки и с удовольствием доедал их, нисколько мною не возмущаясь и никак меня не осуждая.

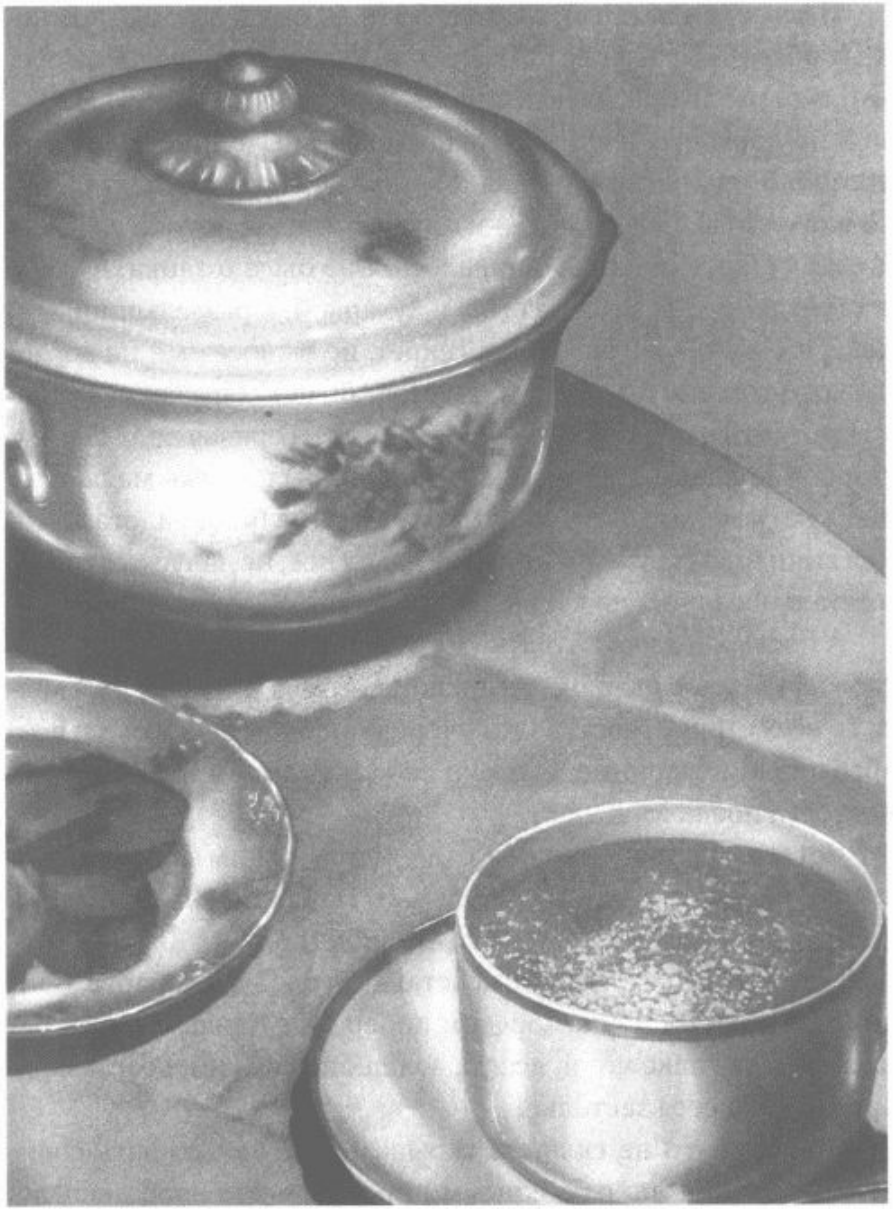
А вспомнилось это, когда я первый раз собрал такие же куриные ошметки с тарелки младшего и позднего сына и демонстративно съел их в воспитательных целях. Может, и деду они не так уж и нравились?! Но еду надо доедать — так было, и так я оказался к этому приучен.

За исключением бебелах — все вещи простые, широко известные и в большинстве ничего ни особенного, ни

специфически еврейского. Обед не сулил неожиданностей, зато прелесть ожиданности, его аппетитная предвкушаемость делали любой обед праздничным.

Да, я забыл про обязательную белую хрустящую скатерть — не бывало иначе. Не помню ни разу. Ну и еще одно — не знаю, специфически еврейское или как, но мое самое любимое лакомство — вот оно было не всегда, изредка подавалось к бульону вместо бебелах и такое вкусное, что от меня его до обеда приходилось прятать. Потому что если я его до времени находил… тут только две вещи меня спасали: всепобеждающая любовь деда с бабкой и наглядное подтверждение качества продукта. Это называлось «грибенки». Я даже с подачи деда Мули выучил еврейское: «А шмек грибенки на штык брейт». Что на идиш означало: «Лишь бы хлеб белый, а икру можно и черную», а буквально в переводе: на кусочек хлеба гусиных шкварок — пригоршню. Ну вот, разрушилось обаяние таинственности. Вообще, никогда не обращали внимания, что неназванное или названное своим, отдельным, таинственным словом, оно, что бы оно ни было, красивее, вкуснее, забористей, чем равнодушно обозванное подходящим, но случайным для этого словом.

Ну что такое шкварки?! А грибенки — это кусочки жира и кожи с курицы, утки или гуся, зажаренные в собственном соку с большим количеством жареного хрустящего лука. Посмотрел в Интернете и обнаружил, что куриные шкварки на идиш называются трибенкес. Не поправляю задним числом, привожу только истины для.



Портрет еды (из «Книги о вкусной и здоровой пище»), 1955 г.

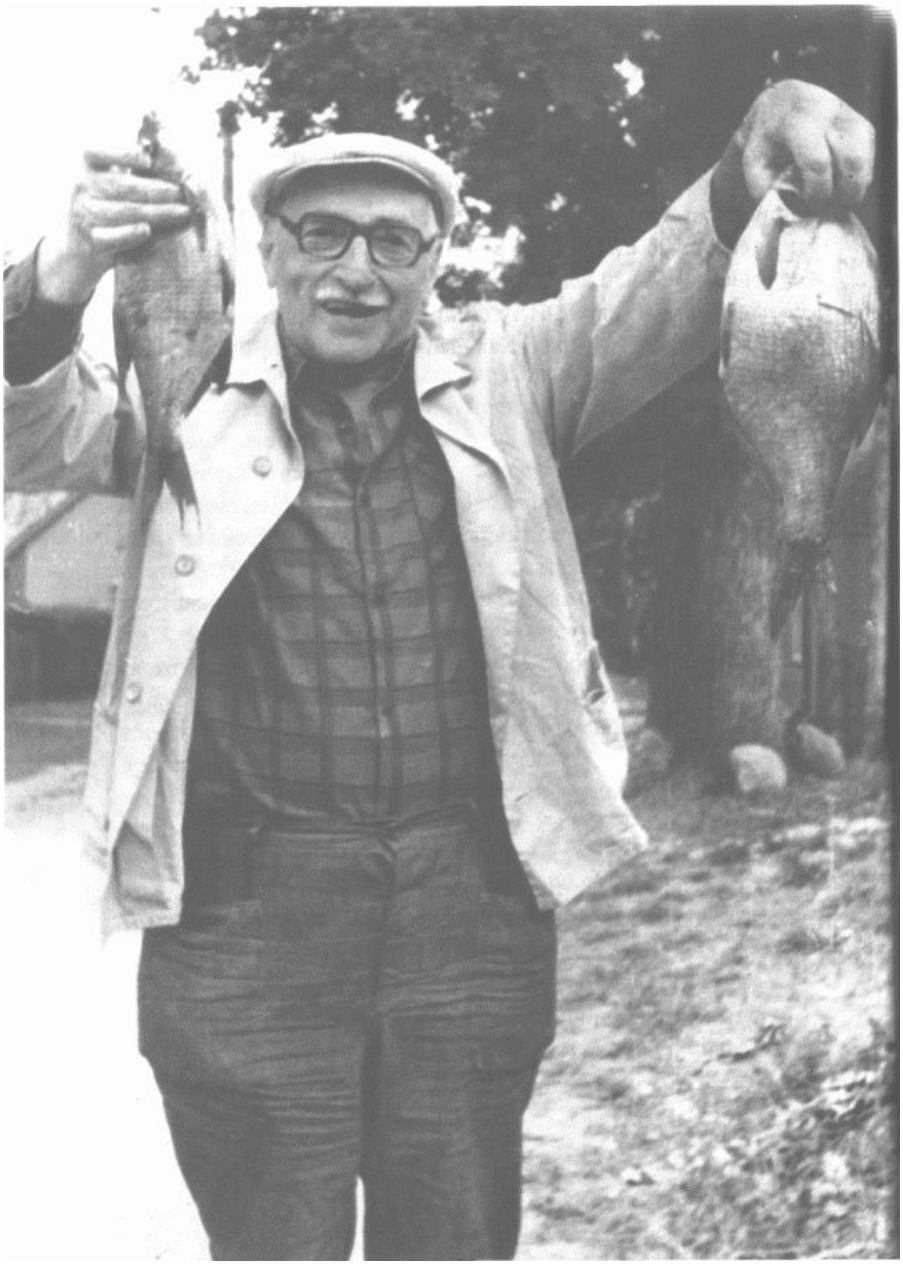
И еще один важный, а может быть, и самый важный компонент обеда — бабка Берта Павловна. Глядя на эту полноватую, когда-то очень красивую женщину, празднично одетую, с прямой по-королевски спиной, невозможно было предположить, что целый субботний день она не отходила от плиты и разделочного стола. Обед готов — и никаких следов потной забегавшейся кухарки в ней не оставалось. Она была хозяйка. А что у этой хозяйки она же сама была и кухаркой, и

разделыщицей, и пекарем — это уже ее, бабки, секрет, не выносимый на всеобщее осмотрение ни за что и никогда. Дочки допускались только смотреть и после обеда — мыть посуду. Горячая вода шла от газовой колонки в ванной, а раковина была столь мала, что, дабы не разбрызгивать воду, на кран всегда была надета длинная виниловая трубка — за этим следил дед, не допускавшийся в остальное время на кухню ни при каких обстоятельствах.

А после обеда из «Чуда» — металлического складного, круглого футляра с дыркой посередине, чтобы пирог прогревался со всех сторон, доставался очередной бабкин шедевр и под абсолютно искренние, сколько себя и гостей помню, крики восторга поедался к чаю.

Кстати, бабкины пироги отличались одним общим свойством: непочатые они не черствели. На свой день рождения на полюсе холода (в 240 км от Оймякона) или на Клухорском перевале, в общежитии комсостава в городе Джакарта (Индонезия) или на Черноморском побережье Кавказа пирог извлекался из упаковки и, всегда волшебно свежий, возглавлял организующееся застолье.

Я вообще-то не склонен скрывать или заныкивать свой день рождения, но с бабкиным пирогом — это вообще было невозможно. Вы спросите: «А как он к тебе попадал?» Один раз он прошагал в моем рюкзаке пол-Кавказа, другой — его привез летчик, которому нельзя было перевозить чужие неподцензурные письма за границу, а про пирог в инструкциях ничего не было, словом — это уже был не столько бабкин, сколько мамин секрет. И традиция эта поддерживалась больше двадцати лет подряд. Каждый год 8 августа, с 1948 года начиная.



Старший племянник — Марк Савельевич Ласкин. Отепя, Эстония, 60-е годы

Кто собирался на эти праздничные обеды? Давайте посчитаем: дед Самуил Моисеевич и бабка Берта Павловна — так

сказать, основоположники, сестры Ласкины, все три: старшая — Фаина, 1909 года рождения, средняя — Софья, 1911 года рождения (она, впрочем, с 50-го по 55-й год за столом не присутствовала по уважительной причине — тянула срок в Воркуте), и младшая Евгения, она же Женя, Женечка и Женюра, моя мама. От младшего поколения присутствовал один внук — я, второй (Вовка) после окончания школы №59, где он в отличие от меня отбыл все десять классов, был отправлен в Тульское оружейно-техническое имени Тульского Пролетариата училище, а потом тянул лямку военной службы вдалеке от Москвы. Только в конце семидесятых, когда уже ни деда, ни бабки не было в живых, брат вернулся дослуживать в одну из московских военных приемок. Так что вся любовь и все попустительство по отношению к внукам были все эти годы направлены в основном на меня.

За стол садились в 4 часа пополудни. За пять минут до назначенного срока раздавался звонок в дверь и появлялся отчим отца, деда Саша, со словами: «Аля, как всегда, опаздывает». И действительно, минут через 15–20 влетала запыхавшаяся бабка Аля, которую, надо сказать, даже в эти минуты житейской неловкости иначе как Алинькой, кроме деда, звавшего ее Алей всегда и при любых обстоятельствах, не звали.

Присутствовали мужья дочерей: у старшей их было последовательно три, причем и первый, и второй рано умерли, а третьего из дома попросили, и попросили из-за меня. Но об этом чуть позже. А вот мамин послесимоновский муж, Лазарь Хволовский, появившийся в нашем доме во время моего пребывания в экспедиции в 57-м, он, пока до конца шестидесятых был мужем, бывал по воскресеньям на Сивцевом обязательно. А когда перестал, все равно бывал на этих обедах регулярно.

Одно из главных правил этого дома: у тебя могут быть с человеком разные отношения, но если он приведен тобою в дом, то его отношения с этим домом и другими его обитателями сохраняются даже в том случае, когда ты свои личные с ним отношения изменил или прекратил, если… Вот это «если» объяснить сложнее. Попробую с другого конца: имя моего отца, ушедшего от матери в сороковом году и редко (на моей памяти — раза три-четыре, не больше) приходившего на Сивцев в гости, было окружено в доме атмосферой любви и почитания, несмотря ни на что. И отец до самой смерти моих деда и бабки сохранял какую-то необычную для него теплоту в отношении к ним. И дело не в том, что, уйдя от матери, он все равно оставался моим отцом, сыном принятых душой этого дома вторых моих бабки и деда, то есть членом семьи, присутствующим в жизни, мыслях и чувствах этого дома,— просто человек, принятый душой этого

дома, был для него больше, чем муж, приятель, друг, любовник. Переставая быть всем вышеперечисленным, но, сохранив в себе то, за что его полюбили и приняли, он оставался полюбленным. Он мог меняться, но если сохранялось в нем то, за что полюбил его этот дом, он был охраняем его стенами и в любой момент мог войти и без старания или напряга почувствовать, что он — свой.

Когда в феврале 71-го умер деда Муля и возникла проблема, как захоронить его прах в крематорском колумбарии на Донском, без тени сомнения моя тетка Соня поехала к отцу и — пулей — получила от него документ, за который немалые деньги заплатили бы антисемиты: «Прошу… близкого моего родственника, Ласкина Самуила Моисеевича…»

Так что не только все одиннадцать лет, что Лазарь Израильевич Хволовский был мужем моей матери, но и перестав им быть, принят был на Сивцевом с той же мерой заботливой сердечности даже тогда, когда приводил на Сивцев новую свою жену.

Это может показаться равнодушием, всепрощением, синдромом второй щеки, но не было ни тем, ни другим, ни третьим. Душа этого дома либо принимала людей, либо нет. И приняв, не мелочилась, на разменивала «роскошь общения» на мелкие пятаки сведения счетов или подсчета итогов. И уж расскажу заодно, как лишилась третьего мужа моя старшая тетка. Было это осенью 58-го. Мы с мамой к тому времени заимели свою квартиру: в первом писательском кооперативе возле метро Аэропорт. Я только что поступил в институт, и школьный роман, помноженный на взбесившиеся за почти два года экспедиции гормоны, подтолкнул меня. Я решил жениться.

А баба Берта и деда Муля решили, что рано. И взялись меня от женитьбы отговорить. Воскресенье. До обеда еще пара часов. Последнее солнышко осени, и мои любимые предки пытаются с помощью резонов заставить меня отказаться от матримониального безумства. Ну о чем они? О том, что у нас с мамой только-только появился свой дом. Что мамин муж моложе ее на 13 лет и ей нелегко. Что в девятнадцать можно себе позволить проверить чувства и потратить на это еще годик-другой. Что я ни разу не привел до сих пор свою невесту на Сивцев — и что это значит? Разговариваем мы в большой комнате: слева в ближнем левом углу бабкина тахта, справа — в дальнем, возле окон, дедова. Все уже готовится к обеду, то есть обретает воскресную праздничность. Мы сидим за еще не раздвинутым столом и довольно мирно (я вообще не помню случая, чтобы деда Муля на кого-то поднял голос, не то что крикнул), но не понижая голосов, спорим, тем более напряженно,

что полной веры в свою правоту у меня нет и ее приходится слегка в себе раздувать, как гаснущую печку. Если кто-то есть в доме, все наши препирательства слышны отчетливо. Чуть позднее, когда у бабы Берты стало не так хорошо со слухом, весь дом стал говорить на пару децибел громче, но сейчас это еще не нужно. Взволнованная беседа любящих, но никак не могущих внушить свои резоны друг другу близких людей. И тут открывается дверь меньшей из комнат, и появляется Владимир Викторович, теткин муж — приймак, ушедший к красавице-тетке от семьи и уже года два обретающийся на Сивцевом Вражке. Он крупный, красивый, породистый, ему чуть за пятьдесят, кандидат, преподаватель Бауманского института, и без паузы врезается в наш спор, как соседская дрель за стеной в тихий выходной, резко и чужеродно.

Впечатление дрели не от голоса — от содержания и манеры речи. Они хотят мне добра, он жаждет меня поставить на место, они стараются думать вместе со мной, он заведомо обладает истиной и готов мне ее вдолбить: «И ты собираешься вместе с женой сесть на шею матери на все время вашей учебы?!!» — на нем уже брюки и еще пижамный верх. Он уверен в своей бестрепетной правоте. Он живет в этом доме уже два года и так и не может попасть в тон этому дому. Теперь — как ему кажется — попал, и его устами глаголет несомненная истина, наконец-то понятная и этому дому.

Житейское в этом доме всегда было одухотворено, а здесь оно, прямое и негнущееся, выдавалось за истину в последней инстанции. По принципу «я не знаю, что вам возразить, но то, что вы говорите, мне отвратительно». Как этот человек мог жить в этом доме столько времени — не знаю, наверное, срабатывал вечный предохранитель: старшая дочь и два ее умерших мужа… и лучше стерпеться с этим чужаком… и любимой дочке с ним жить. Но он переступил какую-то невидимую черту и тем опошлил, опростил и обезобразил все их самозабвенное движение души. Это было столь резко и неожиданно, что я, видимо, тоже взволнованный предыдущей неприятной для меня беседой с бабкой и дедом, вдруг зарыдал и вылетел из дома на улицу.

И тогда из второй, ранее закрытой, комнаты вышла моя средняя тетка и по-лагерному резко (чего никогда, ни до, ни после, мы от нее не слышали) сказала: «Вы — червяк, сколько времени вы живете в этом доме и так ничего и не поняли. Выметайтесь, чтобы духу вашего здесь к вечеру не было. С Дусей я поговорю сама».

Они еще с Дусенькой встречались, но ноги его в доме больше не было. Так оно и сошло на нет, Дусенькино третье замужество,

и не помню с ее стороны ни единого упрека. Видимо, и ей нелегко давалась эта очевидная несовместимость мужа и дома. И, поставленная перед выбором, она выбрала дом. Слова же я услышал потом, от матери, которая среднюю сестру понимала и оправдывала.

А я через пару месяцев женился. А еще через полгода — развелся. Кстати, оставленные наедине в нашей с мамой квартире в первую брачную ночь, мы обнаружили на прикроватной тумбочке бутылку моей любимой «Хванчкары» от мамы и коробку любимого печенья моей жены — «Суворовского», наполовину облитого шоколадом, от моей тетки Сони. Мне в доме больше никто не сказал ни единого слова. И когда спустя полгода развелся — тоже.

■

Ну так кто же за столом-то? Как водится, я начал с чужого, случайного, а свои? Самым постоянным гостем воскресных обедов на Сивцевом был тезка деда Самуил Иосифович Кац. Все, включая отцовских родителей, звали его Сэм, Сэмик. Был он среднего роста, идеально спортивного телосложения, в молодости побывал в Палестине, где строил первые кибуцы, основывал спортивное общество «Маккаби» (теперь этим именем называется половина израильских футбольных команд), играл и там, и позднее в СССР в футбол, а на моей памяти был заядлым болельщиком, средней руки инженером и жутким спорщиком — и по мелкому, и по крупному, и по любому поводу споривший беззаветно, не зная удержу. Светом в окошке была для его одинокой жизни дочка Алла, старше меня лет на семь, затюканная отцовыми громогласными филиппиками, направленными в любую сторону, лишь бы подкинуть хвороста в зарождавшийся спор. Уйдя от Аллиной мамы, жил Сэм где-то в глухой коммуналке и только в самые последние годы жизни переехал в квартиру, принадлежавшую матери другого друга нашего дома, Левушки Александрова, рано, по моей памяти, погибшего. Сэм был любимым партнером деда по послеобеденному преферансу, хотя и доставалось деду по полной программе, если он делал неверный, с точки зрения Сэма, ход. У Сэма было несколько старых друзей, в том числе знаменитый эстрадник Левушка Миров (который Миров и Новицкий), актер и гитарист Вахтанговского театра Костя Монов, а домом его по выбору сердца был Сивцев, и это было так очевидно и так нежно, что ему все его протуберанцы прощали заранее. Сэм был истинный джентльмен по подаче: элегантный, отглаженный,

накрахмаленный, и все это чуть-чуть в духе персонажа, которого в фильме «Мечта» играет Астангов; ничего за этой внешней изысканностью не было: ни дома, ни семьи, и рубашки свои он, по-моему, крахмалил и гладил сам. Я был влюблен в Сэма, он был мужчиной моей мечты — такой красавец, молодец и удачник. А когда я понял, что это все (кроме красавец) не совсем так или даже совсем не так, было уже поздно: он стал и остался для меня любимым другом дома, которого долго и безуспешно я пытался заинтересовать своей персоной, потратил на это несколько лет, и был им в конце-концов переведен из «говорящей обстановки» в число замечаемых и даже сердечно принимаемых членов семьи. Когда он умер, от него не осталось ничего, кроме юношеских фотографий, да и те увезла дочка Алла, ныне доживающая свой век в Израиле. Он был единственным из маминого поколения, который был со всеми на вы.

Сэмик — С. И. Кац — на Сивцевом вместе с мамой, 40-е годы

Частыми гостями на Сивцевом была любимая мамина подруга Нюня Мельман, она же Анна Дмитриевна Дмитриева, и ее муж Боря Рунин. Это были с литинститутских времен самые близкие друзья. А если учесть, что родовое гнездо Мельманов тоже располагалось на Сивцевом Вражке, чуть ближе к

Гоголевскому бульвару, в двухэтажном флигеле, на месте которого сейчас крохотный скверик, если идти от Гоголевского — слева, не доходя до дома 14, где жили мы, то этому не приходится удивляться. Семейство Мельманов было более многочисленное, чем наше: кроме трех дочерей — Мани, Добы и Нюни — там было еще два сына. Старший — Додик, инженер-автомобилист, он был похож как две капли воды на знаменитого Жана Маре, но в отличие от французского актера — совершенно некрасив. И младший — Наум, он же Нема, взявший литературный псевдоним Мельников и в этом качестве прошедший полный курс космополитизма, порицаемый, изгоняемый и очень способный. В середине 60-х кумир тогдашнего театра Олег Ефремов решил делать со своим театром фильм, так вот фильм делался по повести Немы Мельникова «Строится мост».

Нюня и Боря были активными свидетелями-соучастниками моего рождения: отвозили и забирали мать из роддома и вместе с отцом активно выпивали и веселились по этому поводу.

Нюня была литературным редактором и переводчиком, ей мы, в частности, обязаны первыми переводами повестей Чингиза Айтматова, а Боря и в литературе, и в кино считался серьезным критиком — вот они-то и бывали на Сивцевом довольно часто.

Нюня была похожа на мою мать — маленького роста, пропорционально и ладно сложенная, с вечной беломориной во рту — в сивцевские времена обе курили папиросы. Нюней в нашем доме (и даже Нюнькой) звали ее все три поколения, включая мое, то есть меня. Мы и потом жили с ней рядом, в Аэропортовско-писательском заповеднике — их с Руниным дом был построен лет через пять после нашего. Была интересная подробность, о которой я узнал много позже, в годы перестройки. Нюни уже не было в живых. Оказывается, сестра Рунина была замужем за сыном Троцкого, и он остался в живых случайно, всю жизнь этот факт своей биографии скрывал. Когда же решился об этом написать, оказалось, что он не в силах никому простить этот накопленный страх, и воспоминания юности, в том числе и о моем отце, при всех их несомненных литературных достоинствах, носили печать этого неизжитого, горького страха, за который ему хотелось спросить с каждого, кто был его спутником, и, увы, не хотелось предъявить этот счет и себе тоже. Понять я его могу, а принять его претензии к друзьям юности у меня не получилось. Так я ему и сказал, когда он после долгих маневров дал мне эту рукопись прочитать. Матери, кстати, уже тоже не было на свете, значит, случилось это после марта 91-го. Был Боря сухощавый, длинный, с лицом, которое запоминается в профиль из-за

королевского носа, и чем-то похож на еще одного сивцевского гостя-родственника. Вообще родственников у нас было не просто много, а несуразно много, потому что дед с бабкой оба вышли из многодетных еврейских семейств, и количество двоюродных братьев и сестер у матери с сестрами превышало пределы моей памяти. Родственников в доме помнили, кого-то любили, с кем-то дружили, но постоянными гостями Сивцева назвать из них можно всего нескольких.

Мама и Яша Харон, о котором рассказ впереди, между 35-м и 37-м гг.

Вот такими постоянными гостями из родственников были мамины кузены, известный советский юморист Борис Савельевич Ласкин и его старший брат Марк. Дети покойного дедова старшего брата Саула, они часто бывали на воскресных обедах. Сейчас, когда оба они давно ушли, а все их — три на двоих — дочери наполняют для меня смыслом понятие «родственники за границей», и я встречаюсь с ними, когда приезжаю в Израиль, мне кажется, что отношение каждого в отдельности к Сивцеву и обитавшим там Ласкиным были и сердечнее и ближе, чем внутрисемейные отношения между домами двух родных братьев.

Борис был выше, ярче и представительнее Марка. Его на Сивцевом любили и жалели. Любили за то, каким он был, и жалели за то, что он делал. Начав в кино, в бригаде звукооформителей, он написал несколько знаменитых на всю страну песен, таких как «Три танкиста» или «Тучи над городом встали», вместе с Владимиром Соломоновичем Поляковым написал сценарий «Карнавальной ночи», писал другие, менее

знаменитые сценарии и пьесы, но главный свой сатирический хлеб зарабатывал ежедневным писанием текстов для друзей-сатириков типа Миронова — Менакер или Миров — Новицкий, а главное — небольших рассказов, где не без сюжетной элегантности хорошее уступало место замечательному, а добро побеждало неразумное или оступившееся добро. При этом Боря, он же Боба, лично был человеком с выдающимся чувством юмора — бытового, легкого, я бы сказал, шипучего. Для него шутить было, как для шампанского пениться, и делал он это без пауз, натягов или напрягов, беззлобно и элегантно. Так вот, за это Борю любили, а за каждую очередную книжку рассказиков — жалели и старались книжку как бы не заметить, что, как вы понимаете, было несложно сделать, ибо книжка только что принесена, и можно было легко сделать вид, что вошедшие в нее рассказики не виданы, не читаны, а потому: книжка сегодня, а отзыв на нее — потом, когда-нибудь. И мне кажется, что Борис Савельевич на это не сильно обижался.

Любимый племянник — Боба (Борис Савельевич Ласкин), середина 30-х

Марк был человек основательный, профессию имел химико-технологическую, житейски надежный, брата любил преданно, но втайне ревновал к его славе, то ли считая ее чрезмерной, то ли подозревая, что и сам бы мог так, сложись жизнь по-другому. На самом деле жизнь у него сложилась вполне удачно, но предпринятая в конце ее попытка написать семейную историю не вышла за рамки перечислительной семейной хроники. Я к его

рукописи буду еще обращаться как к информационному справочнику, но не более того. Зато именно Марк основал большую, многофигурную летнюю колонию москвичей в городе Отепя, в Эстонии, куда все мы, включая и семью Бориса, по многу лет ездили отдыхать, купаться и ловить рыбу, в чем Марк был непередаваемо хорош. Марка в нашем доме любили никак не меньше Бори, но в его жизни отсутствовали взлеты и протуберанцы, которыми следовало гордиться или стыдиться, и была она ровной и, как уже было сказано, основательной.

Отдельно надо бы рассказать о семействе Харонов. На Сивцевом Вражке они бывали не так уж часто. Но вся их история так тесно переплелась с жизнью нашего семейства, что им придется посвятить отдельную главу в этой книжке. Харона с мамой познакомил его сослуживец по звукооформительской бригаде киностудии Боб Ласкин, и был Харон первым гражданским мужем моей мамы. А Света, она же Стелла Семеновна Корытная, его третья или четвертая жена, сидела с теткой моей в Воркуте. Но, как уже сказано, об этом в свое время.

Бывали в доме и младшие дедовы брат и сестры, все трое с медицинским образованием, с той разницей, что крохотная тетя Фаня была фармацевтом и работала в аптеке, младшая — тетя Женя, когда-то учившаяся у знаменитого Ганушкина, того, который больница, и с его благословения получившая докторский диплом, но по какой-то непреодолимой страсти к чтению всю жизнь проработавшая корректором в «Учительской газете», и дядя Яша, прошедший врачом обе мировые войны. Дядя Яша — уже старый, полуослепший, каждое воскресенье ходил на Сивцев обедать со своего Новинского бульвара. Ходил и был этим счастлив. Все это были люди, которым Сивцев был всегда рад, если они приходили, о которых здесь думали, о ком заботились, кого ездили спасать, или лечить, или выручать, или наконец утешать в беде. А вот бабкиных не то восемь, не то девять сестер Аншиных, как и положено по женской их участи, жизнь раскидала по свету, дала мужнины фамилии и сделала дальними, то есть пишущими или звонящими со всего Советского Союза. И многочисленные фотографии, которые так любит перебирать моя приближающаяся к столетию тетка, на твердом картоне с вензелями и названиями фотостудии на обороте, уже мало что мне говорят, несмотря на усердные по малоуспешные старания Дусеньки упорядочить мою семейную память.

Очевидно, ласкинская кровь была крепче, генетический коктейль ярче, чем аншинская, потому что все родственники деда запоминались, а бабкины имели шлейф и не имели определенного лица.

Деда Муля — Самуил Моисеевич Ласкин

Деда Муля — свадебное фото, 1907 г.

Сердцем Сивцева Вражка, источником его духа и основателем его традиций был дед. Дед был человек грамотный, хотя никакого последовательного образования не получил.

Я очень горжусь выведенной мною формулой интеллигента: человек, в котором гуманизм шире, чем его собственные убеждения. Формулу эту я вывел, сравнивая своего деда и Владимира Ильича Ленина. Два дедушки, мой и дедушка Ленин, лавочник и вождь мировой революции. А вот надо же: мой дед в эту формулу укладывается, а Ильич — ни в какую, как верблюд не может пролезть сквозь игольное ушко. Ленин — демон целесообразности, готовый на любое безличное преступление во имя высших абстрактных, отделенных от живого человека, ценностей. И дед, который принимал и обнимал весь мир, не питая к нему вражды, всех, даже людей, виновных в его собственных несчастьях, преемля, и если не оправдывая, то по крайней мере стараясь понять.

У деда все было доброе: и руки, и слова, и сердце. И не его вина, что слом времени, придуманный Лениным, пришелся на самую плодовитую часть его жизни. Почему мать была последним ребенком? У деда должно было быть как минимум шестеро детей. Он словно одаривал нас непомерным запасом семейности, не растраченным на многих и сосредоточенном на нас: трех дочерях и двоих внуках.

Торговля — а дед всю жизнь проработал в торговле, начав мальчиком в рыбной лавке в Орше и закончив лет 60 спустя старшим экспертом по рыбе в системе московских гастрономов,— научила его честности и контактности, и таким честным и открытым людям и обстоятельствам он оставался всю жизнь. Я не знаю, любил ли дед «людей», но то, что дед умел любить отдельного человека и что этих, отдельных, было очень много, это я знаю. Дед всю жизнь работал и достиг в своей работе высшего знания: можно было сорвать этикетку с любой банки рыбных консервов и, открыв банку, дать ее деду осмотреть и обнюхать, после чего Самуил Моисеевич изрекал: «Каспийский частик — первый сорт» или «Сайра балтийская». И можно было на содранную этикетку не глядеть — как в аптеке. А уж про селедку дед мог прочесть не одну лекцию, причем про некоторые виды селедки его лекция скорее напоминала поэму.

Сам готовый сочувствовать любой человеческой беде, дед решительно противился любой попытке посочувствовать ему. Когда дед умирал, а умирал он долго, после плохо сделанной операции на желудке, то, лежа на своей, дальней от входа в комнату, тахте, он никогда не стонал ночью, какими бы мучительными ни были боли. «Нельзя будить Берточку и девочек» — всё. А было ему восемьдесят шесть лет, и никаких признаков старческого маразма не наблюдалось в его совершенно четком и адекватном сознании при всех мучительных болях. Дед был добр,

как бывают добры патриархи, добр вселенским всепониманием человеческих слабостей и прощением человеческих несуразностей. «В нем воплотились высокая еврейская святость, таинственная духовность и доброта — все качества, которые освящали Иова», — это из Надежды Яковлевны Мандельштам, из «Второй книги».

Умер дед в 74-м, когда мне было 35, так что я знаю, о чем говорю.

А вот то, чего я не знаю, я с удовольствием процитирую или перескажу по рукописи Марка Ласкина — сына дедова старшего брата — Саула.

«Семья Ласкиных жила в Орше, как говорится, испокон веков. Достоверно известно, что мой прадед — Мордехай Пинхус Ласкин умер в Орше в возрасте около 80 лет, пережив всего на один год свою жену Двойру. Он хорошо владел русским языком (по тем временам явление редкое), любил шахматы и служил бухгалтером у местного помещика Сипайло.

Его сын — мой дедушка — Моисей Мордухович Ласкин был купцом не то третьей, не то второй гильдии. Он вел оптовую торговлю соленой рыбой, солью и керосином. Жена его — бабушка Хая из Шклова (местечко в 40 км от Орши, ниже по Днепру)…» — тут сделаем маленькую остановку: отметим, что рыбная торговля была для деда Самуила наследственным занятием — это раз, а во-вторых, невест Ласкины, видимо, традиционно брали из Шклова, потому что и дед Самуил был женат на шкловчанке — моей бабке Берте.

«Орша в начале века была уездным городом, и народу там жило тысяч 10–12. Она, как и Шклов, входила „в черту оседлости“, то есть в те районы будущих Белоруссии и Украины, где разрешалось проживать евреям. Городок был, прямо скажем, небольшой, но река и пересечение двух железных дорог (кстати, чтобы проехать из Москвы в Могилев, до середины 80-х надо было делать в Орше пересадку — это я знаю по собственному опыту) сделали из Орши культурный центр — гимназия, городское и реальное училища, „Талмуд — Тора“ (светская еврейская школа) и много хедеров, где учили еврейские молитвы и немного грамоту. Кстати, жили там не только евреи, но и белорусы, поляки, литовцы, латыши и, разумеется, русские». В 1905 мои русские предки пытались и здесь устроить погром моим еврейским предкам, но, наткнувшись на сопротивление отрядов еврейской самообороны, ограничились парой пожаров, да выпустили перья из десятка перин. Упоминаю об этом только потому, что в отряде самообороны состояли и дед, и его брат Саул, который был старше на год.

Между прочим, взяв рукопись Марка Савельевича (Сауловича), я обнаружил, что в своей уже где-то соврал: Саул не был старший среди детей, до него была еще сестра Сима, дед был третьим ребенком, то есть детей у Моисея было не пятеро, а шестеро. А образование получили трое младших, старшую дочку выдали замуж, двое старших сыновей работали в торговле отца, младшие — все как один — получили медицинское образование.

Видимо, поначалу Саул был у них министр для внешних дел — ездил закупать рыбу в низовья Волги, Нижний и на Аральское море, а Самуил — для внутренних — оставался на складе, где не любил торчать Саул. И еще одна интересная деталь: женились старшие братья Ласкины в один и тот же месяц: Саул 7 августа 1907 года, а Самуил и Берта Аншина — через неделю, и неслучайно, потому что отец их Моисей не мог допустить, чтобы младший сын женился раньше старшего. Из чего можно сделать много разных смешных выводов, но я выберу один: дед мой Самуил так любил свою Берту, что очень спешил на ней жениться, и, надо отдать ему должное, похоже, ни разу об этом не пожалел. Пятьдесят лет спустя, в августе 1957 года, когда весь Сивцев гулял и гудел на золотой свадьбе деда и бабки, я, как последний изгой (или, если хотите, гой), сидел в горах Сунтар-Хаята, в Якутии, в 240 километрах от ближайшего жилья, проходил там в экспедиции свою первую школу жизни и мог участвовать в этом празднике только мысленно. Дед бабку любил нежно, ласково и ровно. Она всегда была Берточкой, и гордился ею дед, и баловал трех своих дочерей. Стоило посмотреть, как на 8 Марта дед дарил всем четырем своим женщинам духи «Красная Москва» и обязательную плитку самого лучшего московского шоколада. То «Золотой ярлык», то «Славу».

Переехало семейство Ласкиных в Москву в 1923 году, когда их было уже пятеро. Снимали квартиру где-то на Сретенке, все дочки учились в одной и той же школе, причем две старшие — в одном классе, несмотря на разницу в два года. Почему так — я не знаю, думаю, что, скорее, оттого, что Соня была на редкость способная, а не потому, что Дуся была слегка заторможенная. И тут, в Москве, дед ступил на скользкий путь веры вождям. Следуя прямым указаниям Владимира Ильича, он на паях открыл рыбный магазин. Так они вошли в НЭП, и пребывали там до начала тридцатых, пока деду не приснился наяву сон Никифора Босого из «Мастера и Маргариты», и не поехал дед в свою первую ссылку. Это, так сказать, по части экономического базиса. Теперь несколько соображений об идеологической надстройке. Из всех идеологических вопросов касаемо деда мне интереснее всего вопрос о еврействе. Тем более что когда-то перед

шестнадцатилетием и получением паспорта у меня был спор с дедом, кем мне записаться: евреем или русским.

Сивцев был домом, где жили евреи. Не еврейским домом, а домом евреев, тут готовили еврейские блюда, помнили еврейский праздники, любили свою еврейскую родню — русским был только один из зятьев — мой отец, но это был дом русской культуры, русскую классику читали и знали, русский язык любили и гордились теми, кто знал его безупречно, как моя мать, правда, и дед, и бабка помнили идиш и иногда перебрасывались фразами на этом языке, особенно при внуках, потому что от дочек этот язык был плохой конспирацией, но, пожалуй, всего один раз — и именно тогда, перед моим шестнадцатилетием,— мне на Сивцевом Вражке дали понять, что еврейство — это что-то вроде татуировки, сделанной в юности — ты вырос, она уже ничего не говорит ни тебе, ни окружающим, но она есть, и с этим уже ничего не поделаешь.

■

Это был 55-й год, мать еще была безработной, тетка еще сидела, но как-то в момент, когда это случилось, я был еще маленький, думать об этом начал позднее и не относил тогда эти события непременно по еврейскому ведомству, словом, с юношеским максимализмом хотелось из неосознанного протеста поставить эту татуировку, хотя бы в паспорт, который предстояло получить. А деду, который в отличие от меня, всю эту жизнь знал на собственной шкуре, надо было меня отговорить.

Наверное, лично мне везло. Или лично меня берегли, но всего дважды мне по-настоящему пришлось в юности столкнуться с жидофобством. Может быть, дело в фамилии, которую я носил, похожесть на отца, флер и щит его имени, что еще?

С началом седьмого класса я стал хуже учиться, появились тройки в четверти. Я, видимо, вступил в возраст самоутверждения, пошли конфликты. Наконец посреди одного из уроков я врезал по морде соседу по парте, он вылетел училке по русскому прямо под ноги — меня вызвали на педсовет.

— Чем занят весь советский народ? — спросила меня молодая учительница английского.

— Строительством коммунизма,— отрапортовал политический подкованный я.

— Чем может помочь этому строительству ученик советской школы?

— Хорошей успеваемостью и примерным поведением.

— И с успеваемостью у тебя стало средне, а уж с

поведением… скажи сам.

— Неважно,— я смотрел на свои мышиного цвета форменные штаны тех лет.

— Значит, ты против строительства коммунизма в нашей стране?

Знала бы Элга Абрамовна — так звали молодую англичанку, что в драку я полез из-за слова «жидёнок», сказанного не мне и не обо мне: речь шла о Марике Кагановиче — моем тогдашнем однокласснике. Ничего этого я педсовету, естественно, не рассказал, меня, как подрывающего дисциплину в классе «А», перевели в параллельный класс «Б» — на том дело и закончилось.

А у Элги Абрамовны я спросил, помнит ли она этот случай, лет через семь, когда после экспедиции навестил родную школу. Элга Абрамовна ни этого случая, ни своих слов решительно не помнила. Марик Каганович (*кстати, никакого отношения не имевший к Лазарю Моисеевичу. — А. С.*) окончил школу с золотой медалью, и табличка 1956 года с его именем много лет украшала школьный вестибюль, как, впрочем, и моя — но серебряными буквами — года третьего выпуска нашей замечательной, без всякой иронии, школы № 1, о которой я еще расскажу.

Второй случай был по странному стечению обстоятельств тоже связан с Мариком и, судя по обстоятельствам, произошел двумя годами раньше. Мы сидели после уроков в комнате Марика в коммуналке, родителей еще не было дома. Папа его зарабатывал, рисуя портреты Ленина. Мы о чем-то, не помню уже о чем, беседовали, когда в дверь стали ломиться соседи по коммуналке. Марик напрягся и сделал мне знак молчать.

«Жиды пархатые, убили нашего Сталина», — причитал чей-то пьяный голос из коридора. Мы сидели тихо как мыши. Было немного страшно и почему-то очень стыдно.

Так что же говорил мне дед? Не помню. Помню ласковый, без всякого напора, тон. Помню характер дедовой речи — я потом использовал его, переводя пьесу Миллера «Цена». Там есть такой персонаж — восьмидесятилетний еврей, торговец мебелью. Пьесу мы переводили вместе с отцом — он мой перевод пьесы для чтения превращал в диалог для сцены, и необычный порядок слов у этого Грегори Соломона удивил его.

— Почему слова у тебя стоят как-то по-особому?

— Так говорит дед, Самуил Моисеевич.

Отец на секунду задумался, прикинул: «Хорошо». И стал миллеровский персонаж говорить без акцента, как дед, и только порядок слов выдавал его еврейское происхождение.

Вот все это помню, а самих слов не помню. И еще помню, что желание мое записаться евреем было сродни полученному

приглашению на несанкционированный митинг: не пойти неудобно, а пойти — кто его знает, чем это кончится, могут и побить, и арестовать. Так что уговорить меня деду было, наверное, не так уж сложно. В общем, на этот не санкционированный моим еврейским семейством митинг я не пошел. Так я стал, а точнее остался, русским.

Не было у деда родственников за рубежом. Точнее, были, но занесенные или сознательно уехавшие туда в 10–20-е годы,— они так хорошо понимали про нашу обстановку, что признаков жизни не подавали даже после смерти вождя народов. Оттаяли некоторые, когда московские Ласкины тронулись в сторону заграниц — сразу появились, как поздние подснежники, какие-то зарубежные родственные связи. А у нас с дедом этого не было, пока дед был. Помню его рассказ, как где-то в двадцатых, когда НЭП и дедова рыбная торговля были еще в добром здравии, кто-то из мудрых его партнеров предложил ему всей семьей переправиться в Иран, далее везде или куда душа пожелает. Нет, отказался дед, трижды в ссылку — пожалуйста, а уехать с родины, обречь на неведомые перспективы своих трех девочек — ни за что. Ну, правда, и девочки его боготворили. Не просто любили, а берегли как могли, что в нашей стране далеко не одно и то же.

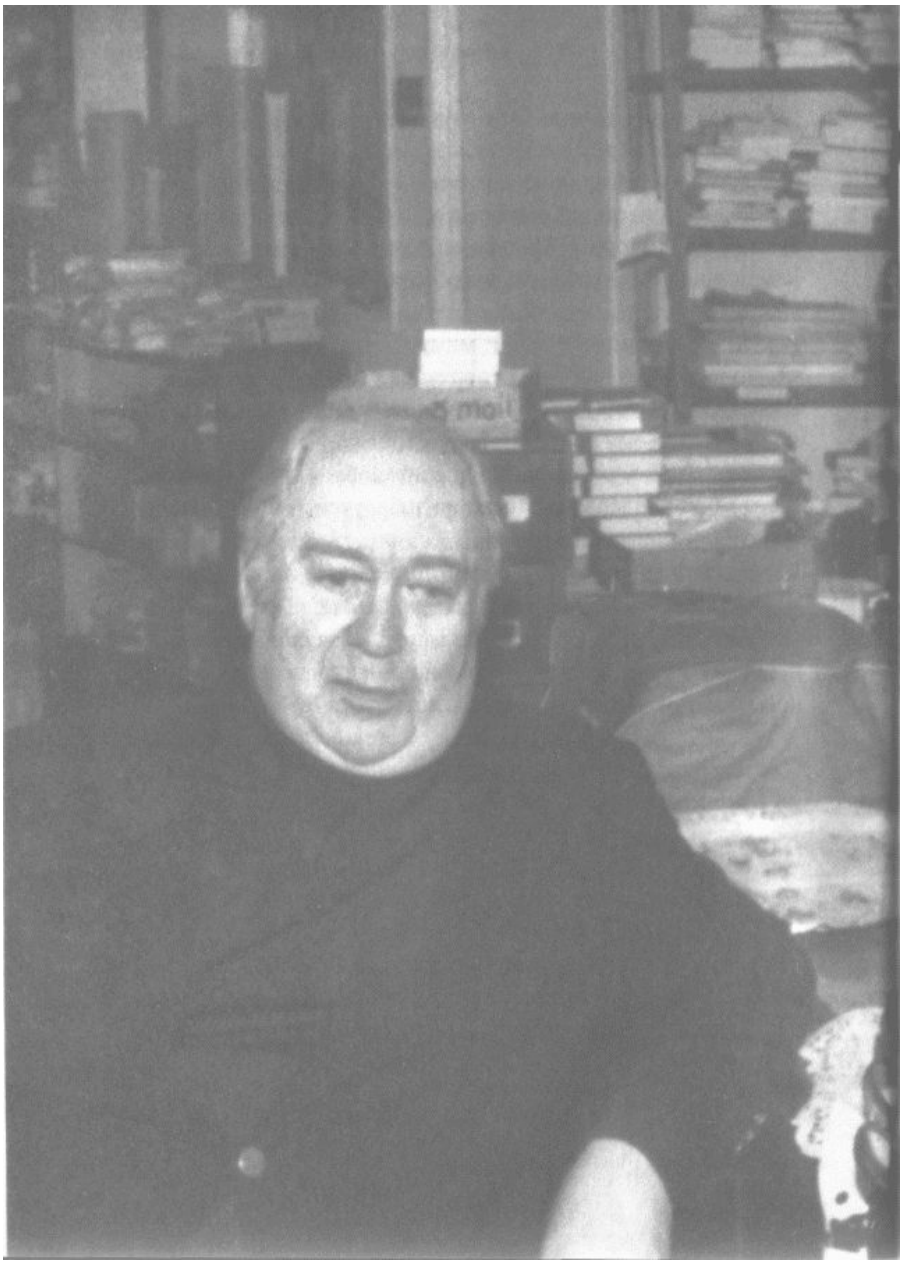
Когда Софью Самойловну посадили, а потом справедливый народный суд дал ей по полной — за то, что в качестве начальника отдела снабжения металлами «завышала в интересах своего завода» поданные на сторону заявки, тем самым нарушая (вот оно — вредительство!) ритмичность производственной цепи. И это обвинение было еще не самым экзотичным. Проходивший по тому же делу главный конструктор тогдашнего ЗИСа, лауреат Сталинской премии, получил свой срок за то, что сознательно вносил разрушительные элементы в созданные им конструкции автомобилей. Так вот, когда Сонечке дали 25 лет — это было так оглушительно, что две сестры, узнавшие об этом первыми, договорились и до самого Сонечкиного возвращения скрывали этот приговор от деда, боясь за него. Дед всегда знал, что — ни за что — в нашей стране дают только 10 лет.

А в ноябре 55-го на Ярославском вокзале все наше семейство встречало поезд из Воркуты, и прибывшая на нем после пяти лет лагеря тетка первым делом прямо на перроне встала на колени перед мамой и папой, прося прощения за причиненные им страдания, неудобства и мучения — а был ноябрь. И стоять на коленях было холодно и странно. А тетке было не странно. Она столько муки доставила папе и маме, что и вправду чувствовала себя виноватой. Кстати, несколькими месяцами раньше я первый

и единственный раз в жизни видел деда пьяным. Это случилось, когда пришла справка о пересмотре теткиного дела и ее реабилитации. Мы трое: дед, мама и я собирались в гости — у Бори Ласкина был день рождения, и весть о Сонечкином освобождении застала нас буквально на пороге. Не помню, кто в этот день был у Бори, как прошел его праздник, но обратно, на Сивцев Вражек, я, уже шестнадцатилетний, вез двух абсолютно пьяных и бесконечно счастливых людей: маму и деда. Дед даже пытался что-то петь из советского репертуара. Веду их, восторженных и спотыкающихся, по дорожке вдоль дома № 14: от ворот к нашему третьему подъезду, к квартире 59 на втором этаже, и чувствую, как взрослею, ибо впервые оба они доверены мне и без моей поддержки просто не доберутся домой. Такая вот общечеловеческая история.

А теперь про еврейскую сущность. Начнем с первоисточника.

Бернард Котен



Берни Котен — таким я его увидел через 25 лет разлуки, 1988 г.

В 1955 году на празднование десятилетия Победы в Москву в составе взвода Павловского — первого из американцев, что

встретился с нашими солдатами на Эльбе, прибыл сержант этого взвода, переводчик Бернард Котен. По стечению обстоятельств Котен был и личным переводчиком отца во время первой поездки того в Америку, где летом 1946 года он был селебрити — знаменитость: перевод его «Дней и ночей» входил в десятку самых продаваемых в Америке книг. По тогдашней рекомендации отца Котен был не просто отличным и компанейским парнем, а надежным и убежденным товарищем — коммунистом, добавлявшим словам отца ярости во время «митингов в Канаде». В 48-м Берни Котену было посвящено стихотворение в книге «Друзья и враги», которое многозначительно названо «Три точки» и имеет подзаголовок «Письмо в Нью-Йорк, товарищу…». Оно начинается в духе идеологии тех лет:

Мой безымянный друг, ну как вы там?
Как дышится под статуей Свободы?
Кто там за вами ходит по пятам?
Вас сторожит у выходов и входов?

В какой еще вы список внесены
По вздорным обвинениям в изменах,
Сержант пехоты, ветеран войны
С крестом за храбрость в битве при Арденнах?

…И описывает некоторые соломинки биографии Котена с жестокой близорукостью, присущей в те годы не только отцу, пренебрегая бревном в глазу собственной державы, где ветераны войны, солдаты, офицеры и генералы были не просто внесены в списки, а сидели в сталинских лагерях.

Но к 55-му сенатор Маккарти и его охота за ведьмами с коммунистическим прошлым перестали быть актуальны в Америке, и Котен приехал в Москву — по праву ветерана, в составе своего взвода, а еще по привязанности к России, которую он полюбил с ранних тридцатых, когда 6 лет учился в Москве, будучи сыном американского инженера, помогавшего строить метрополитен. В описываемое время Котен работал, а потом до самой пенсии возглавлял Русский отдел библиотеки Нью-Йоркского университета.

И вот этого шестипудового американского ветерана, еврея и жизнелюба, отец подарил нам с мамой. Мы были англоговорящие (я) и евреи (мама), что делало инициированное отцом содружество обоюдоинтересным и перспективным. И Симонов-старший не ошибся: мы продружили всю оставшуюся жизнь,

познакомили и сдружили друг друга со своими русскими и американскими друзьями. Это с одной стороны. А с другой — отец ввел Берни в состав семьи бывшей жены и сына и обрел возможность относиться к нему нежно, по-родственному, но как бы со стороны, участвуя в этом празднике дружбы только по мере отпущенного на это времени…

Берни взял на себя функцию, пользуюсь метафорой из известного стихотворения Евтушенко, «катера связи между городом Нет и городом Да», и с железной последовательностью, не реже двух раз в год, самыми экзотическими (на наш, советский, взгляд) способами добывая деньги на поездки в СССР, налаживал утраченные в двадцатые, тридцатые и сороковые годы контакты между разбросанными, раздробленными историей еврейскими, хотя и не обязательно еврейскими, семьями, друзьями и родственниками. Багаж, его сопровождавший, рос по мере обретения новых друзей и связей как снежный ком, достигнув к 1963 году размера двух огромных, специально купленных баулов, похожих на чехлы для разборных байдарок.

Берни был самым добрым человеком во всю мою жизнь, вторым после деда Мули.

Как это описать? Перечислить его добрые дела? Глупо, потому что каждое по отдельности оно как бы рационально и только в совокупности всех этих дел на трезвый взгляд — чрезмерно. Наверное, так: представим человека в виде дроби: сверху добро — делимое, делитель снизу. Когда речь идет о норме, подключение к источнику добра увеличивает знаменатель этой дроби, т.е. добро делится на большее количество потребителей или причастных к этому добру. А у Берни от твоего подключения к его человеческой дроби рос числитель, увеличивалось само количество делаемого добра, так что хватало на всех, сколько бы нас ни было. Был он при этом человеком искренним и наивным, а от доброты порою не то чтобы глупел, но выглядел «лопухом» — сквозь это и пробиться зачастую нельзя было. Например, походив в поисках очередных подарков по московским магазинам, Берни сделал вывод, что российские продавцы намного свободнее своих американских коллег.

— Понимаешь, Женья,— излагал он моей матери свои впечатления, округлым как яйцо глубоким басом, — у нее плохое настроение или ей не хочется работать, и она этого не скрывает, пошлет тебя куда подальше — и ничего не боится. А наши… у них вежливые манеры, потому что бояться работу потерять.

Иногда, чтобы набрать денег на очередную поездку, небогатый Берни собирал группу и при ней ехал в качестве бесплатного руководителя. Другой раз он поразил нас рассказом,

что собрал деньги, устроив обед из шестнадцати блюд, где каждое представляло какую-то из республик СССР, и наевшиеся друзья — а готовил он классно — оплачивали таким образом его следующее путешествие в СССР.

Что поразительно — доброта его всегда имела конкретную форму: посылки, письма, поступка, разговора, человека, которому можно доверять.

На дверной раме в нашей аэропортовской кухне висела подаренная Берни машинка для открывания консервных банок, универсальная и удобная настолько, что служила нам до самой маминой смерти в 1991 году.

Сейчас в некоторых японских ресторанчиках посетителям подают хворост, распустившийся в кипящем масле. Но не сладкий — из теста, а соленый — из креветочной пасты, производившейся в Юго-Восточной Азии и впервые привезенной Берни, чтобы порадовать нас чем-то необычным.

Берни познакомил маму с Наташей Треневой, переводчицей с английского, которой привозил из Америки заказанные ею книжки. Дружба мамы с Наташей продолжалась до самой Наташиной смерти, подкрепляемая неожиданным сходством: сыновья учились, хоть и на разных курсах, но на одном индонезийском отделении в ИВЯ при МГУ.

Он же познакомил нас с замечательно деловой, скуповатой и строгой дамой — Идой Глезер, владелицей книжного магазина «Четыре континента» на 5-й авеню — Four continent book shop, которая потом, когда Берни стал невъездным, ежегодно посещала Москву, бывала и у нас дома, и на обедах на Сивцевом Вражке, а в 79-м пригласила маму мою на месяц в Америку и трогательно ее там развлекала и опекала.

Так вот, в пятьдесят седьмом, в свой третий или даже четвертый уже приезд, Берни привез нам пластинку-гигант, где Теодор Бикел исполнял песни черты оседлости. На конверте-обложке было интервью с Бикелом, что его называют народным певцом, но это неверно. На большинстве своих концертов и пластинок он просто исполнитель народных песен, и только в этом альбоме он может назвать себя народным певцом, ибо поет на родном для себя идише песни своего народа.

Проигрыватель у нас был плохой, вроде маленького чемоданчика, разбирающегося надвое: половина механизм, половина — динамик, гигант он крутил с трудом, ему бы старые хиты на ребрышках — контрабанду на рентгеновских пленках, но слушать было можно.

На одной стороне Бикел пел под оркестр, на другой — под гитару. Песни еврейских местечек, белорусских и украинских,

еще, как объяснили знающие люди, несколько песен хасидов. Всего шестнадцать. Восемь на одной и восемь на другой стороне гиганта. С прослушивания этой пластинки и началось мое еврейское образование, не в смысле учебы, а в смысле формирования той части меня, которая с тех пор и навсегда осталась еврейской.

Когда лет через двенадцать я принес и поставил эту пластинку Утесову, Леонид Осипович отнесся к ней до обидного пренебрежительно: «Я пел это раньше и пел это лучше»,— сказал он. Ну кто я такой, чтобы спорить с мэтром. (Мы в это время делали о нем фильм.) Но мэтр был неправ, потому что во время прослушивания не видел деда Мули. А я видел.

Дед сидел, склонив на руки сильно полысевшую голову, подтягивая знакомым словам, губы шевелились, на глаза наворачивались слезы. Какая-то сверхъестественная связь чувствовалась между дедом и этими мелодиями, словно что-то то ли забытое, то ли много лет таимое, поплавок этих песен вытаскивал наружу из глубины души. Вот когда я понял, что дед — еврей. Да что дед, я понял, что и я еврей, по тому, как ложились на сердце эти мелодии.

С тех пор некоторые из этих песен стали шлягерами, как «Тум-балалайка», спетая потом сестрами Бэрри, потом уже кем только ни петая. До сих пор не знаю, что это значит, потому что перевод — штука лукавая, тем более перевод песен, но на идиш я эти слова под дедовым руководством выучил, причем мне совершенно было не важно, что они означают, я просто хотел, чтобы они остались в памяти такими, какими я их услышал впервые.

«Штейт а бохер, штейт унд трахт./Трахт унд трахт, агаанце нахт» — вот этими, цепляющими душу и по сию пору лишенными смысла словами, они записаны где-то глубоко во мне. Второй раз подобное чувство озарило меня, когда я слушал «Жди меня» на иврите. Слушал и вплетал в гортанную, но безупречную по ритмической точности ивритскую песню с детства знакомые русские слова. Это самое знаменитое стихотворение отца звучало на древнем языке моей матери.

А песен на этом диске было еще пятнадцать. И «Дядя Эля», которого в 20-е годы пел в переводе Утесов: «Как однажды дядя Эля в сердце чувствовал веселье», а на идиш: «Аза ребе Эйли — мейлах из геворн зеер фрейлех». И «Кум а хэр а филозоф» — в смысле «иди сюда, умник», и последняя песня «Восемьдесят ему и семьдесят ей» — песня про золотую свадьбу. Я не понимал слов, я просто запоминал их наизусть, пользуясь тем, что память на рифмованные строки была у меня в то время слоновья — я три

страницы Маяковского заучивал на спор с трех прочтений, до сих пор помню стихи поэтов, читанные и нигде не напечатанные. Потом, ближе к тридцати, этот поток запоминаемых без разбора хороших и плохих стихов, видимо, заполнил весь отведенный ему объем памяти, и великие стихи, пришедшие позже, я не запоминал и не мог уже запомнить. Но то, что запало в меня тогда, помню по сей день.

А дед все песни белорусского еврейского репертуара с этой пластинки не то помнил, не то вспомнил. Что в нем оживало? Не знаю, знаю только, что характер этих песен, где юмор и печаль сплетены воедино, где слезы — это продолжение улыбки, а улыбка сквозь слезы — выражение лица, понятен мне с тех пор, и стали эти песни настолько для меня частью памяти о деде, что вспомню — и сразу вспоминаю его, и опечалюсь, и улыбнусь, и подпою, и лишний раз поблагодарю Бога, что был у меня такой обыкновенный — необычайный дед — Самуил Моисеевич Ласкин.

Адрес Берни в Нью-Йорке был первый и единственный на тот момент надежный адрес, который мы могли дать моим и маминым друзьям Андрею Вознесенскому и Жене Евтушенко перед их первой поездкой за океан. И мы долго и подробно обсуждали с матерью, кому их них поручить эту миссию и остановились на Андрее как на человеке более надежном. Это было во времена, когда Берни еще приезжал в Союз, и представился случай убедиться, как мы плохо знали своих друзей. Женя остался верным другом Берни до самой его смерти, а Андрюша, получивший не меньший заряд берниевого дружества, стоило ему завести кучу других приятелей в США, забыл о нашем друге как о неудачной шутке.

У Берни была жена, но не было детей. Издалека, по его рассказам, семейная жизнь его казалась нам несколько странной и запутанной, но кто ж тогда мог вообразить, чем объясняются невнятные его отношения с женой. Еще у него были сестра и племянник Стиви, пацан, через врожденную болезнь которого мы потихоньку осваивали разницу в их и нашем отношении к болезням и больному. Стиви был полноценным членом общества, только он не взрослел: ему все время было двенадцать или тринадцать лет. Он сперва учился, потом даже работал в этом облегченном режиме. Берни его даже однажды привез в Москву, и надо было видеть, как он опекал племянника ровно и с удовольствием, начисто лишенный какого-либо взрослого раздражения. И не только сам Берни — вся его группа в тот приезд словно усыновила Стива — он был любимой заботой буквально для каждого из этих разношерстных американцев. Я заочно полюбил Америку, на это глядя.

А осенью 63-го все кончилось в один момент. На всякий «катер связи» есть своя «пограничная инспекция». Меня в то время в СССР не было, я работал переводчиком в Индонезии.

КГБ, естественно, отслеживал все «контакты» неуемного толстяка и, когда масштаб этих контактов стал, с их точки зрения, угрожающим для американо-советских отношений, положил его деятельности решительный конец раз и, как оказалось, навсегда. В отличие от нас доблестные органы знали самое слабое место Берни и взяли его именно за это слабое место. Котен был, оказывается, голубой, ему подставили агента — мальчика, захватили с поличным ночью, на тбилисском фуникулере, и с прекрасно разыгранным возмущением забрали в кутузку за «безнравственное поведение». Там его мытарили три дня, пытаясь завербовать и, не сумев этого сделать, выслали из страны, дав обильную утечку слухов о причинах такого «недружественного» акта. Знаете, я не помню ни одного человека, которого шокировало бы сообщение о том, что Берни — голубой. А вот то, что за это он выслан…

До меня в Индонезию дошли только невнятные отголоски этой истории. Но когда я возвращался, и отец с матерью встречали меня на аэродроме, после объятий первый вопрос мой был о Берни.

— Дадим скандалу немного успокоиться,— сказал отец,— и все, надеюсь, станет на свои места.

За прошедшие с той поры до смерти отца пятнадцать лет скандал забылся, но Берни больше в страну не пустили, а отец каждый раз со все большим внутренним раздражением реагировал на мои вопросы. Его взаимоотношения с власть предержащими были очень интимным, как-то по-особому личным делом, и эта особость, как раковые метастазы, поражала органы чувств, которые в иных обстоятельствах реагировали нормально. Отец был одним из главных «мачо» в русской поэзии, и никакие подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации здесь не присутствовали, говорить со мной на тему Берни ему было неприятно, отвечал он мне сухо и односложно, ни разу не упомянув, когда и с кем он на эту тему разговаривал. Да и разговаривал ли? Или, однажды получив решительное атанде, он просто скрывал от меня свою беспомощность в вопросе о возвращении Берни? Не знаю, но что-то неестественное в этом присутствовало.

И начался долгий, буквально в четверть века длиной, период нашей дружбы с Берни через океан. Мы с мамой получали от него письма, написанные невозможным для прочтения почерком, особенно неразборчивым, если он писал их по-английски, в кругу

нашего с мамой дома оказалось довольно много выездных знакомых, так что перипетии дальнейшей жизни Берни мы знали неплохо. Иногда их с суховатой неодобрительной, но все же заботой излагала приезжавшая раз в год на переговоры с «Международной книгой» Ида. Бывал у него дважды, а то и трижды отец, был даже с женой, она там с Берни подружилась, как, впрочем, и все остальные хоть сколько-нибудь нормальные люди. Его квартира располагалась в добротном старом нью-йоркском доме, откуда он не съезжал лет тридцать, и потому вопреки растущим ценам он платил копейки, ибо таков был порядок найма жилья в Нью-Йорке: пока не переезжаешь — платишь ту же арендную плату, что и когда въехал, дорожают только коммунальные услуги. Свои немногочисленные сбережения Берни тратил на поездки в Копенгаген, откуда изредка звонил. Мы с опозданием заметили, какую важную роль в его жизни играла эта датская столица. Он и раньше часто из Москвы заезжал в Копенгаген — расслабиться. Там с его аномалией он находил благоприятную среду, знакомства у него было обширнейшие и там. Потом начали уходить его близкие, а старик, про себя мы стали звать его именно так, их очень любил.

В 79-м в Америку поехала мама, первый и единственный раз за границу, и сразу в Нью-Йорк. Ей было 65 лет. Было это в разгар лета, в Нью-Йорке стояла жара, но мама жару любила, и ей она не мешала. Берни, ее ровесник, только что вышел на пенсию и очень растолстел. Он уже не мог мотаться с «Женьей» по Нью-Йорку, как это делал раньше с посланными мамой и мной друзьями и знакомыми. Недавно умер Стиви, и из Берни словно выпустили дух, он весь обдряб и обвис, и только нежная любовь к моей матери могла сдвинуть его с места, но не очень часто и не очень надолго. А мама плавала вокруг статуи Свободы на пароходике, встречалась с уехавшими навсегда (так тогда казалось) или высланными из России друзьями и один раз испытала культурный шок — его испытывали почти все, но — в разных местах и по разным поводам. Мать этот шок настиг в крупнейшем книжном магазине Нью-Йорка, где на площади величиной в стадион лежали и стояли книги. Туда привел ее, конечно же, Берни.

Он еще жил на старом месте, где когда-то в соседней квартире жила сестра со Стивом, он еще что-то эдакое ей сготовил, уж я не помню что, и мама рассказывала об этом скорее с печалью, чем с восторгом.

А меня с 64-го года не выпускали из Страны Советов. Чем я им во время пребывания в Индонезии досадил, так и не знаю, но с 1964 года начиная не пускали даже в Болгарию.

В том же 1979 году, вскоре после возвращения матери из Нью-Йорка, умер отец. Вдова его, Лариса Алексеевна Жадова, словно предчувствуя, что и ей осталось недолго на этом свете, торопилась составить книжку воспоминаний об отце. Берни прислал свои воспоминания по-английски, и я, по старой памяти, а также от ностальгической по нему грусти, взялся их перевести.

Я и тогда знал, и сейчас, перечитав его текст в книге, вижу, что Берни был уже не в форме. Все, что он написал, кроме одного крохотного эпизода, было повторением имен, мест, известных нам из отцовских, давно написанных, воспоминаний об Америке встречи с кинозвездами — Чарли Чаплин, Гэрри Купер, Бэт Дэвис, но все — без живого нерва, веселых или сентиментальных деталей, словом, прямо для этого сборника, где прекрасные воспоминания чередовались с «паровозами» — казенными воспоминаниями обязательных для прохождения книги лиц. Я позвонил ему в Нью-Йорк и буквально силой вырвал из него незначительный эпизод, о котором он предпочел не упоминать. Речь там шла об их совместной с Галактионовым и Эренбургом поездке 46 года: «У меня тогда была привычка после завтрака выпивать большой стакан молока. Это ужасно раздражало Эренбурга. Он со своей привычкой к французской еде и французскому питью видел в этом признак молодости Америки и очень сердился… Зато Симонов, который отнюдь не был любителем молока, с тех пор требовал всякий раз себе молока за компанию со мной. Этот акт солидарности заставил меня полюбить его. Сразу».

Все мои попытки заставить его включить в воспоминания несколько историй о том, как и что пил в 46-м в Америке тридцатилетний Симонов, натолкнулись на решительное сопротивление, хотя сам Берни в начале нашего с ним знакомства с удовольствием вспоминал, что и он, и папаша заслужили тогда гордый титул hollow leg (пустая нога), означавший в Америке способность выпить несчетное количество спиртного без заметного ущерба для организма и окружающих. Среди этих виски-сториз была одна — ну просто убойная. Это в воспоминаниях он пишет про молоко, но когда в течение нескольких недель к ним был приставлен молодой и неважно знавший русский язык представитель Госдепартамента, они утро начинали со стакана совсем другого напитка, требуя от сопровождающего непременно отдавать должное этой «непререкаемой русской» традиции. К обеду спутник, как правило, уже не вязал лыка, и они оставляли его спать в гостинице, отправляясь по своим делам, но предварительно всякий раз на прощание отщелкивали застежку на его толстом

госдеповском портфеле, предвкушая ужас его одинокого пробуждения. Я эту историю не только слышал от отца, я и переводил этому, уже постаревшему человеку, когда в начале семидесятых он появился в Москве и должен был прийти к Симонову-старшему в гости. Рассказав мне предварительно эту историю, папаша хмыкнул и добавил: традиции надо соблюдать, так что готовься.

Редкий случай: отец с Кошеном пьют… кока-колу. Америка, 1946 г.

Пока не набрался, мужчина был любезен и деловит, хвалил мой английский и звал учится не то в Йель, не то в Гарвард. Спустя пару месяцев из Америки пришло приглашение: «Вашему сыну… Александру», так что наша с папашей шутка обернулась против меня, независимо от моей «невыездности».

Большинству авторов воспоминаний к их опусам прикладывали фотографию с воспоминаемым. А перед куском, написанным Берни, составители вынуждены были поместить фото встречи отца с Гэрри Купером, где никакого Берни нет, хотя, надо полагать, он там присутствовал, ведь не сам же отец с Купером по-американски разговаривал. Но в обширном фотоархиве отца обнаружилась одна-единственная фотография 1946 года, где они с Берни сидят в шикарном ресторане, но народу на фото слишком много, и надо чуть не стрелкой указывать, где там Котен. У Берни такие фотографии, разумеется, были, но их он постеснялся прислать, да и нельзя было послать их тогда по электронной почте.

Так скромнее скромного выглядят в книге «Три месяца рядом с ним», которые из уважения и любви «к Косте» он не дал

оснастить сколько-нибудь живыми подробностями.

А еще почти десять лет спустя, осенью 88-го, в Америку пустили и меня. Я приехал в составе такой большой культурной делегации, что больше бывает только при поездках Большого театра или ансамбля «Березка». Глава нашей безумной тусовки Генрих Боровик так сказал перед отъездом: «…На нас возложена только одна миссия: продемонстрировать нашу новую, советскую открытость».

Не знаю, как мы, а Америка принимала нас с потрясающей открытостью и добросердечием в частных домах, клубах, залах, храмах сорока семи, кажется, имеющихся в Вашингтоне конфессий, волонтерские семьи селили нас на сутки в своих домах по дороге из Вашингтона в Нью-Йорк, и отношения развивались в ритме этого всеобщего безумства симпатий, от kidnapping до adoption, т.е. от «похищения до законного усыновления», по мере того как выяснялось, что из-за разорвавшегося железного занавеса приехали такие же нормальные и даже очень симпатичные люди. Для меня высшей точкой этой вакханалии взаимных чувств стал момент, когда чуть не силой пришлось останавливать сопровождавшую нас волонтершу — тридцатилетнюю танцовщицу, пытавшуюся в одиночку перегрузить весь багаж нашей многолюдной делегации из автобуса в гостиничные номера или наоборот. На нас подавали заявки, нас ревновали, нас засыпали подарками. Мы были celebrities, т. е. «признанные знаменитости», несмотря на то, что большинство наших фамилий редко или никогда не звучали по-английски. И вот сквозь все это безумие первой недели пребывания в Вашингтоне и Массачусетсе я нес в себе предощущение, что первый человек, которого я увижу в Нью-Йорке, будет Берни. Берни, которого к тому времени я не видел, страшно сказать, четверть века — большую часть моей жизни. Америка без Котена была неполной, а точнее, не была еще для меня Америкой, как бы хорошо мне в ней ни было.

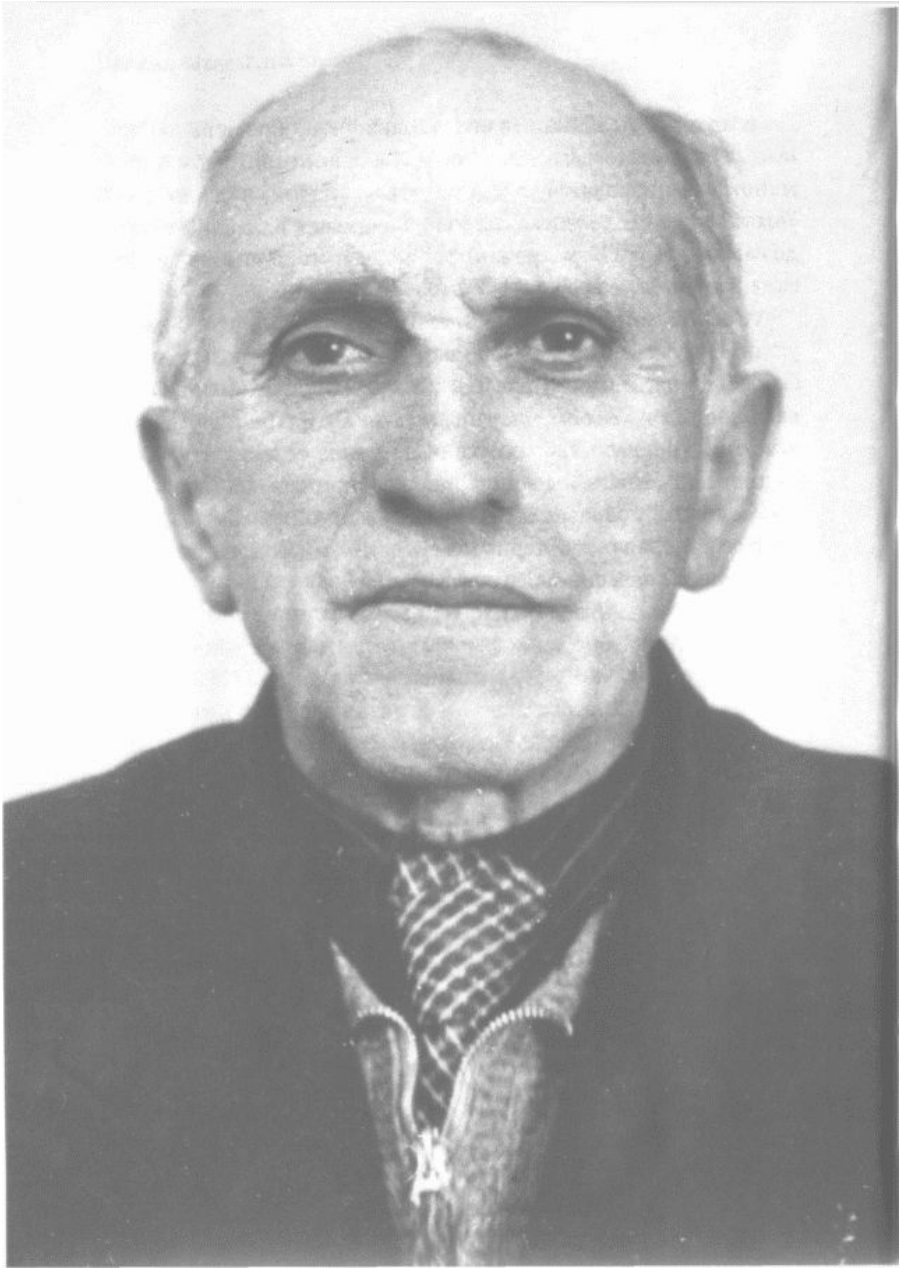
Я уже созвонился с ним, и он обещал встретить меня в холле гостиницы, в которой нам предстояло остановиться, но нам изменили порядок дня и вместо гостиницы сразу повезли в какой-то старинный актерско-режиссерский клуб, где нас ждали, вопреки почти полуторачасовому опозданию нашего автобуса. И отказаться нельзя, и мы обмениваемся речами и взаимными комплиментами, и поет Градский, и Бондарчук читает монолог Отелло, и что-то из Чехова играют американские коллеги, и самые громкие аплодисменты срываю, как ни странно, я, потому что на двух языках читаю знаменитый «Мандалей» Киплинга, и в виске бьется строчка «Кто услышал зов с Востока, вечно помнит

этот зов», и она о Берни, который уже третий час ждет меня в гостинице. И наконец эта гостиница, и огромный, округлый, плачущий Берни, и я, так похожий в его глазах на любимого его «Костью», я тоже плачу, и мы наконец обнимаемся, и его большие, как связка сосисок, пальцы нежно гладят меня по мокрым щекам.

А потом я познакомил его с только что обретенным, новым своим знакомым, тем самым священником Томом Хартманом, и они нравятся друг другу, и я по традиции «дарю» ему Тома, и, уже после моего отъезда, возникает их содружество до самой смерти Берни, о которой первым сообщит мне в Москву Том.

А перед моим отъездом Берни устроил для нас с Томом ужин. Он уже был болен, рассеян и ориентировался в мире, скорее, движениями души, чем правилами общежития. Готовясь нас удивить, он купил в каком-то магазине полуфабрикат утки в апельсиновом соусе и, поставив ее на плиту, уселся нас ждать. Когда мы вошли, посреди комнаты возвышался в кресле глыбообразный Берни с блаженной улыбкой на губастом лице, а вокруг черными снежинками оседала гарь от сгоревшего апельсинового соуса.

Дед (продолжение)



Дед Самуил Моисеевич — главный оплот Ласкинского семейства, конец 50-х гг

Я позднее приведу послужной список деда Саши — Александра Григорьевича, почему бы его не уравновесить

послужным списком деда Мули — Самуила Моисеевича, тем более что таким списком служила ему трудовая книжка, выданная в январе 1939 года. Она сохранилась:

«Год рождения — 1879.

Образование: (нужное подчеркнуть) — подчеркнуто: начальное.

Профессия — агент-товаровед.

Общий трудовой стаж к тому времени — 22 года — написано „со слов“, из них 4 года „подтверждено документами“.

На работу принят двумя годами раньше — 21 января 1937 года, в Мосгастроном, на склад № 201, „на должность агента“».

С этого времени начинается относительно спокойная часть дедовой жизни: позади и работа мальчиком в рыбной торговле отца, и совладение рыбным магазином в Москве, и три ссылки. Лишенец, он в том числе лишен и трудового стажа, ну не засчитывать же за стаж работу хозяина магазина и годы ссылки.

В 40-м назначен на должность кладовщика рыбо-сельдяной секции.

15 октября 1941 года — в самый пиковый день московской паники «освобожден от работы в связи с эвакуацией».

Дальше — Челябинск, где рядом завод, на котором работает младшая дочка, поиски работы, обустройство семьи и с января 42-го — старший товаровед и завскладом базы «Гастроном» в г. Челябинске, а 31 мая 43-го — «освобожден в связи с отъездом на постоянное местожительство в г. Москву».

Здесь, в 44-м, принят на последнее свое место работы — московскую контору «Особторг», в 1955 переименованную в «Торг Гастроном», сначала замзавом рыбно-жировой секции продбазы с матер. отв. (что, видимо, означает материальную ответственность), где в том же 55-м достигает своего служебного потолка — заведующего рыбным отделом продбазы, откуда в 57-м, 1 апреля, уходит на пенсию. Ему 78 лет.

Запись о поощрениях и награждениях только одна — за 1939: «За образцовую работу 1 квартала и проведение предпраздничной и праздничной торговли премирован 150 рублями».

На последних трех страницах трудовой книжки напечатано постановление СНК Союза ССР об их введении от 20 декабря 1938 года. Здесь есть несколько любопытных пунктов.

«Пункт 1. Ввести с 15 января 39 года…» и «Пункт 7. Администрация предприятий и учреждений обязана закончить выдачу Трудовых книжек рабочим и служащим до 15 января 1939 года».

Фантастическая дисциплина: с 15 января ввели и к 15 же января обязаны закончить выдачу. Нам, к такому жесткому

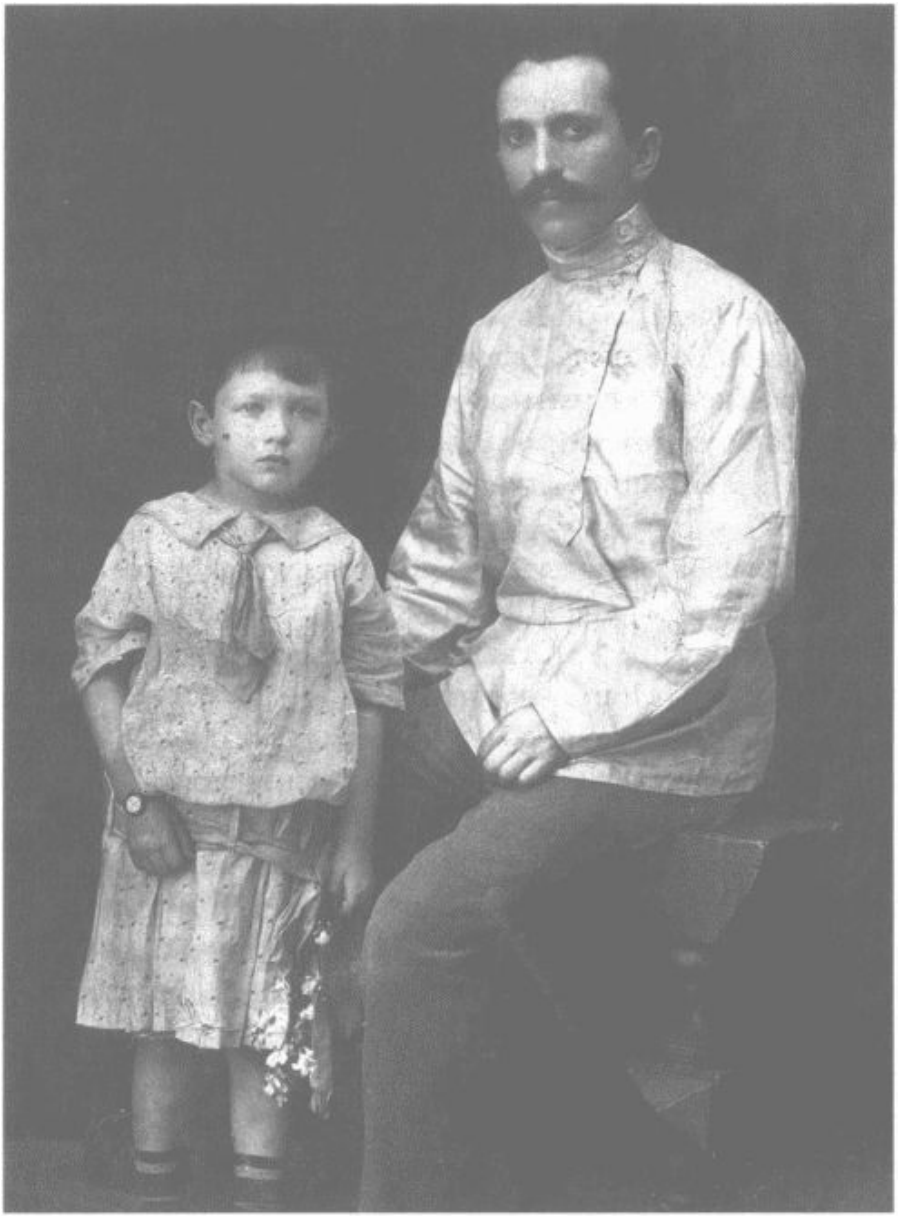
графику не привыкшим, начинает казаться, что это ошибка. Но нет. Деду ее все-таки выдали 19-го, всего на четыре дня опоздали.

И еще одна деталь.

«Пункт и. За выдачу Трудовой книжки взимается плата с владельцев книжек в размере 50 копеек», а в Пункте 12: «В случае утери Трудовой книжки владелец Трудовой книжки подвергается в административном порядке штрафу в размере 25 рублей».

Словом, получить дешевле, чем потерять в 50 раз, — вот так-то.

И в заключение: «взыскания в Трудовую книжку не записываются» — вот такое преимущество у работника сельдяной торговли перед царским офицером. Впрочем, как мы еще узнаем, эта графа и у деды Саши оказалась пустой.



Одна из сохранившихся фотографий деда. Шклов, 1917 г.

Так уж получилось, что источником нашего семейного благополучия оказался первый муж старшей тетки: он не только получил квартиру на Сивцевом Вражке, но и дачу в Ильинке, по Казанской дороге. Летняя двухэтажная дача, с мая по август становилась чем-то вроде филиала Сивцева Вражка. И дача, и дом наш вроде бы стояли на месте, но расстояние от одного до другого всегда было разное. Тут и возраст едущих, и виды транспорта, и пробки на шоссе, и набитость электричек — все это

приводило к тому, что время на поездку от дома до дачи и обратно менялось.

Ну сперва была только электричка. Поскольку Ильинка — это следующая станция после Быкова — третьим в то время аэропортом Москвы, то электрички туда ходили регулярно. До дачи от платформы Быково идти минут 30, а от Ильинки — минут двадцать или двадцать пять, в зависимости от быстроты ног. В послевоенные годы для выезда на дачу нанимался грузовик, он же доставлял хозяйство обратно по окончании летнего сезона. Потом от Быкова пустили в нашу сторону автобус, и от его остановки на улице КИМ до нашего Краснознаменного пешком совсем пустяк — минут семь. Зато ждать автобуса у Быкова приходилось минут двадцать или больше. Легковую машину первым и единственным в нашем семействе приобрел мой брат, он же кузен, Володя, но было это уже за пределами дедабабкиных биографий, так что не в счет. В те времена, о которых пишу, надо было сесть в электричку на Казанском, доехать за сорок минут до Ильинки, перейти пути, и дальше ты волен был выбирать маршрут по 1-й Лесной, по Парижской коммуне, 2-й Лесной и т.д., и каждый прокладывал здесь путь по собственному усмотрению, ориентируясь на только ему известные пристрастия, — все равно — меньше чем за двадцать минут — только бегом. Вот на эту дачу после войны выезжали всей семьей, друзья селились, снимая дачи по соседству, все ездили на эти дачи почти каждый день, тем более что об «достать продукты» на месте не было и речи — все, что удавалось отоварить, возили из Москвы, тратя на дорогу туда и обратно не менее трех часов, при этом были веселы и даже, отчасти, счастливы.

Берта Павловна была дачным якорем — ей, раз уж приехала, никуда из Ильинки не надо было, и она царствовала и хозяйствовала там, а дед долгие годы ездил к ней туда все лето, ежедневно.

А вообще до середины 50-х дачная жизнь в Подмосковье била ключом. Все были веселые, но бедные, и вместо индивидуальных курортов создавали коллективный отдых в двух шагах от дома и работы. Все соседние дачи, да и наша тоже, были полны детьми и праздниками. А вот уже к концу 50-х, когда дети моего поколения подросли, праздник дачи пошел на убыль, стал событийным, то есть непременно для него нужен был повод, чтобы собраться и приехать, и на дачах пребывало в основном поколение дедов, привыкших к этому ритуалу отдыха и, пока сохраняются физические силы, не желающих менять привычки, зато расплачивающихся за это относительным одиночеством своего отдыха. Уже возникло «надо съездить к папе и маме на дачу» или

«ну как не стыдно, ты уже две недели не был у деда с бабкой в Ильинке».

Никогда не замечали, что разным видам транспорта соответствует разная мера времени? Ну, скажем, в самолете время тянется бесконечно долго за счет ограниченности внешних впечатлений и раздражителей. Скандал или выпивка эту нуду сокращают, отчего и популярны в воздухе. Поезд — куда меньше действует на нервы, зато последние полчаса перед Москвой тянутся бесконечно, из-за того что за окнами до зубной боли знакомый пейзаж, и ни смотреть, ни читать уж нет ни сил, ни интереса. Так вот — электричка в Ильинское была очень долгим путешествием из-за тотального однообразия окружающего. Но я ездил. Поехать было трудно, а быть там с дедом и бабкой — нет, потому что радость их при твоем появлении была такой неподдельной, что то, что еще пятнадцать минут назад казалось напрасной тратой своего молодого времени, отзывалось душевной теплотой и искренним интересом ко всему, что ты есть, и любому, что с тобой за это время случилось и стряслось, что и ты сам, и все, что в тебе было, обретало высокий смысл. Очень способствовало чувству самоуважения и собственного достоинства. Меня Бог не обидел друзьями, я всегда был в гуще людей и событий, но внутреннее право судить по-своему, не склоняя головы перед авторитетами, основательно подпитывалось там, на даче, на задней верандочке, где мы сиживали с дедом и бабкой и где все, что бы со мной ни было, бывало безумно важным, и где я получал такую моральную поддержку, которой, как оказалось, мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Раз тебя так любят, значит, ты чего-то стоишь. Носи это в себе и чувствуй — помогает.

Дед — приказчик в рыбной лавке отца с родственником, Симой Залманзоном. Орша, 1906 г.

Бабка, дед и первая их внучка Ира, конец 50-х гг.

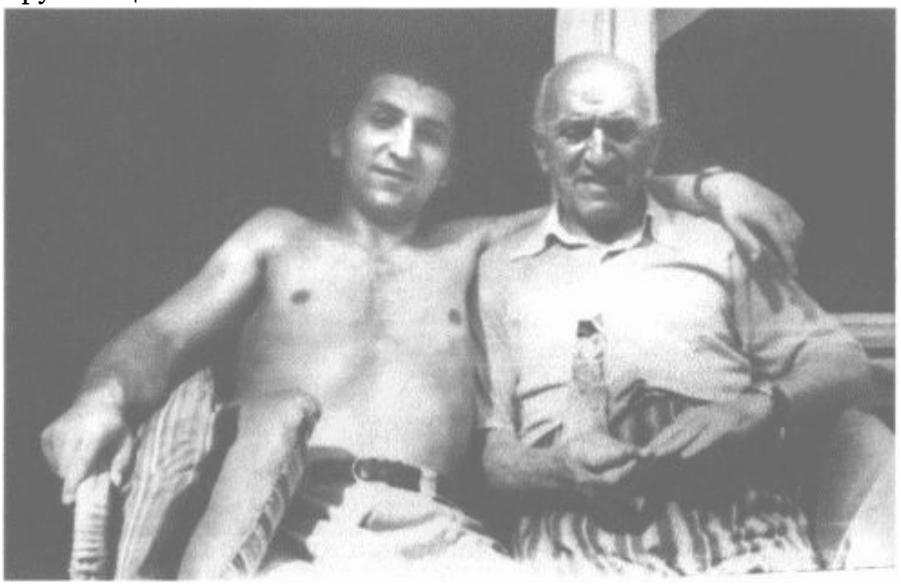
Участок в Ильинке с высоченными, почти что прибалтийскими, соснами был запущенный, заросший черникой и мелким кустарником, с полным отсутствием товарного производства. Одна-две хилые грядки теткиной зелени, немного полудиких, полуодичавших цветов и полная свобода от рабства самообеспечения. Типичная дача городских жителей без малейшего желания возиться в земле, выращивать свои овощи или сажать свою картошку. Это была дача от слова давать, а не от слова производить.

Прошла от дома ты до лагерного сбора,
Судьба свела нас за обеденным столом.
И вот уже почти как две недели скоро
Как неразлучные товарищи живе-о-о-ом.

…Мы сидим с дедом и бабушкой на задней, непарадной, открытой веранде, мы только что поели и даже пропустили с дедом по стопочке. Я запеваю, а дед с бабкой подхватывают припев:

Эх, подружка, моя большая кружка,
Полулитровая моя.
Поишь меня, поишь меня ты крепким чаем,
За что тебя, за что тебя я уважаю.
Эх, подружка, моя большая кружка.
Полулитровая моя.

…Слова припева дед давно выучил, у бабы Берты это никак не получается, она подтягивает нам бессвязными, но мелодии не нарушающими повизгиваниями: «и-и-и-йех» или «а-а-а-а».



Мы с дедом на даче в Ильинке, 1967 г.

Идешь на завтрак, на обед или на ужин
Всегда со мной ты на брезентовом ремне.
Как альпинисту ледоруб в походе нужен,
Так на привале ты необходима мне-э-э-э.

Почему именно эта песня стала нашим семейным гимном на троих — уже не помню, но поем мы ее только втроем и, главным образом тут, на даче, поем самозабвенно, получая от этого огромное удовольствие.

«Эх, подружка, моя большая кружка…» — сосны высокие-высокие, до неба, а песня — ну, никак к случаю не подходящая: то ли туристская, то ли из студенческих военных лагерей, а я в этих лагерях ни разу не был, и даже откуда она — не помню.

Настанет день, и мы расстанемся с тобою,
Из лагерей мы возвратимся по домам.
Я подниму тебя дрожащею рукою,
Налью в тебя свои прощальные сто гра-а-а-ам.

Песня — форма, а содержание — это какая-то нерассуждающая любовь друг к другу, она не имеет отношения к словам, но она нуждается в пении просто так, прозой ее не выскажешь.

«Эх, подружка…» — мы идем с дедом к станции Ильинская, он всегда идет меня провожать. Идет легко, как молодой, и мы говорим друг другу что-то бытовое и неважное, но ни я не могу отказаться, чтобы он шел меня провожать, ни он не хочет расставаться со мной, пока жизнь дает еще минутку побыть вместе. У станции мы прощаемся, я еду в Москву, дед идет домой, к бабе Берте. Я даже не задумываюсь, как сильно и преданно мы любим друг друга в эти минуты.

Задумываюсь сейчас и пытаюсь описать то, что неописуемо. Кстати, песен хором на Сивцеве не пели. Такого в заводе не было, а вот на тебе: сколько вспоминается через песни.

А еще дед обожал читать газеты, обсуждать политические новости и играть в карты. В преферанс: с мамой, Сэмом и… то ли с Марком Ласкиным, то ли с Лазарем Хволовским. Или в ап-энд-даун — игру, в которую могли играть сразу человек восемь. Тут уж допускали и меня, и теток, и разграфляли лист: кто сколько взяток заказал, сколько угадал и взял, и сколько получил за это очков. И я часто выигрывал к явному расстройству и тайному удовольствию деда.

Берта Павловна никогда ни в какие карты не играла.

Бабушка Берта

Баба Берта. Свадебное фото, 1907 г.

Из предыдущего рассказа о несравненной бабкиной стряпне можно заключить, что бабка была в этом доме главной кухаркой. И это будет большая ваша ошибка. Бабка была в этом доме

королевой. И поэтому никогда не возникал вопрос: «Кто главный?» Главных королев же не бывает. Только когда деда уже не стало, выяснилось, что кроме королевских черт, в характере Берты Павловны присутствуют и вполне житейские, разного достоинства, в том числе и не самые удобные в общежитии качества, и стало ясно, что, пока жив был дед, — это он своим поклонением и смиренным признанием высоких бабкиных достоинств как-то эти менее достойные ее качества сводил до незаметности. Бабка было человеком властным, но в присутствии деда — а отдельно от него я разглядел бабку только после его смерти — реализовала эту свою властность через поднятую и высоко почитаемую роль хозяйки дома.

Берта Павловна была человеком отчасти эгоистичным, охотно сосредотачивавшимся на своих желаниях, болезнях, намерениях, но при жизни деда все ее и желания, и болезни настолько стояли в центре мироздания, по крайней мере для деда, что было это совершенно незаметно и вылезло только после того, как деда не стало. Ну и потом, когда дед умер, бабке было уже за восемьдесят, так что проявление этих качеств, все, включая трех ее дочерей, принимали за возрастное. И, наконец, случилось с бабкой традиционное стариковское несчастье — в 83 сломала она шейку бедра. И сразу, без боя, сдалась, сделалась упрямой и капризной, и в конце-концов дочки так и не сумели заставить ее встать. Ее оскорбляли костыли, она ненавидела судно и горько жаловалась на жизнь, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяла себе делать, пока рядом жил дед.

А пока он жил рядом, была она женщиной гордой, но при этом безмерно доброжелательной, и все острые углы ее характера, как оказалось, стирала-скрадывала дедова к ней нежная, не знающая сомнений, любовь.

Наступает время, и начинаешь сам в себе разбираться: что откуда взялось. И хотя чаще всего обнаруживаешь в себе причудливое переплетение отцовских и материнских черт, но кое-что во мне — напрямую от бабы Берты — это точно. Ну, скажем, в экспедиции, когда за неимением иного применения моим юным способностям меня заставили печь хлеб, обнаружилось, что тесто в формах у меня подходит чуть не в два раза выше, чем у научивших меня этому людей. Это-то уж точно от бабки доставшаяся энергетика, никому в семье это не удавалось, все три дочки готовили хорошо, а пекли средне, как все. А у меня кирпичи хлеба получались высокие, со светло-коричневой, хрустящей корочкой — как бабкины пироги. Да и вся моя неленивая любовь к кулинарному искусству от нее, от Берты Павловны. Было несколько коронных блюд, которыми я время от

времени поражал воображение друзей. Одно из них — и по тем временам, когда банки крабов стояли на полках любого магазина вполне доступно — были «крабы запеченные». Однажды на даче, имея под рукой все необходимые ингредиенты, я изготовил это блюдо и подал на стол бабке с дедом. То, что это очень вкусная еда я знал и сам, но уж очень хотелось попотчевать родичей и повыпендриваться хоть самую малость тоже.

Бабка Берта готова была признать меня гением в любой области, только не в районе кухни. Она вежливо попробовала поданное яство и спросила: «Из чего ты это сделал?» Я подробно, как профессор профессору, объяснил ей, что на банку крабов полагается банка майонеза (если кто помнит, были такие 200-граммовые баночки под железной крышкой) и 150 граммов тертого сыра.

Бабка Берта взяла с тарелки еще кусочек, похмыкала и без малейших признаков восторга сообщила мне: «По отдельности тоже неплохие продукты».

Больше я Берту Павловну удивить кулинарными изысками не пытался.

Сестры Ласкины звали Берту Павловну «мамочка» и никак иначе, а дед — «Берточка», и только если надо было докричаться из большой комнаты в кухню: «Бе-эрта!» — с открытым приятным «а» и не менее протяжным «э». И только я звал ее «Ба!», звал с детства, и никто не посягал на эту мою привилегию. Бабка обожала вспоминать, как в Челябинске, в эвакуации, где она вынуждена была исполнять обязанности единственной моей няньки, я ходил за ней хвостом и на разные лады требовал: «Ба, читай! Ба, читай!» — видимо, с той поры и повелось.

Бабушка Берта и ее правнук — мой сын Женька, 1971 г.

Бабка никогда не работала и никогда не считала денег. О деньгах в доме не принято было говорить, хотя достаток в доме был средний, и накоплений ни от деда, ни от бабки не осталось никаких. Во встроенном шкафу хранился сервиз — всю мою жизнь один и тот же, однажды, когда средняя из дочерей — Сонюра — нуждалась в помощи, раз и навсегда дом избавился от серебряных ножей и вилок. Кстати, большая часть этого сервиза бесполезным грузом до сих пор стоит у старшей из дочек Ласкиных в шкафу, а мне пепельницей служит маленькая серебряная тарелочка с надписью: «Дорогому Самуилу Моисеевичу в день восьмидесятилетия. Семья Аграник. 15/ III-1963 г.»

В середине шестидесятых у бабки начались возрастные проблемы со слухом, но гордость не позволяла ей в этом признаться, и, поскольку слуховые аппараты были тогда в зачаточном состоянии, бабка освоила несколько надменные вид и тон, позволявшие отчасти недослышать, что ей говорят собеседники, и величественно кивнуть, делая вид, что все поняла, просто это не то, что заслуживает серьезного внимания.

Выяснилось это в будни, а проявилось в день воскресного обеда осенью 1967 года. В тот день я впервые привел на Сивцев Вражек женщину, в которую был влюблен и на которой собирался жениться. Надо сказать, что кроме всех прочих достоинств Сивцев Вражек обладал еще свойством проявителя. Неорганичность, неспособность быть естественным, быть самим собой Сивцев

выявлял почти мгновенно, потому что ничто в поведении самих его обитателей, ни в отношении их к новопришедшему или новоприведенной не побуждало ни гордиться, ни тянуться, вставать на цыпочки. Эта проверка Сивцевым была и поначалу очень важной, а с возрастом обретала еще большее значение, но это с одной стороны, а с другой — в силу моей уверенности в «эффекте Сивцева Вражка» я, подчас весьма легкомысленно, использовал Сивцев для налаживания более теплых и доверительных отношений с дамами. Ну согласитесь, если кавалер добивается от вас просто того же, что и другие кавалеры, это одно, а если он приводит вас в свое семейное гнездо, о котором вдохновенно и многословно рассказывает, в женщине, тем более в молодой женщине, возникают химеры серьезных отношений, что иногда делает их более податливыми, а иногда — и это тоже бывает — совершенно недоступными к употреблению, так серьезно начинают они смотреть на будущее. А иногда и без особой задней мысли получал я удовольствие, заключая с очередной барышней пари, что если она — хоть на минутку — почувствует себя неловко, хоть какой-то вопрос или замечание примет за бестактность — мы немедленно с Сивцева уходим. И не было случая, чтоб я проиграл пари. А парили со мной девушки разные, в том числе и случайные.

Но в тот день Сивцев знал, что женщина, с которой я приду на воскресный обед, — это моя судьба, да еще довольно известная актриса, да еще я был как раз на переломе биографии: уходил из «Художественной литературы» на кинематографическое поприще, словом, любимый внук привел в дом свою невесту, и этот факт слегка напрягал знакомящиеся стороны. Не забыть бы потом описать два важных обстоятельства: обстоятельство нашего с Олей Бган знакомства и историю моих бород. Они оба имеют прямое отношение к делу, но рассказ мой об этом дне основательно задержат. Поэтому только об одном из них, но кратко.

Бороду — первую — я отрастил в 16 лет, в экспедиции. Потом, по разным причинам, то отращивал ее, то сбривал. В описываемые дни был я безбород, и это очень нравилось бабе Берте, а я в духе Сивцева Вражка объявил, что борода моя — бабкина собственность, и вновь отпустить ее, чего очень хотела Ольга, я могу только с бабушкиного разрешения.

Встреча с Сивцевым прошла классно. Ольга с ее актерской непосредственностью произвела самое лучшее впечатление на всех моих родичей, все мы по случаю взаимного волнения выпили на рюмку-две больше, чем обычно. Мама и сестры готовили перемену: убирали остатки обеда и накрывали чай. Тут Ольга

тихим таким клубочком подкатилась к бабке и что-то стала шептать ей на ухо. Мне-то слышно, а Берте Павловне — нет, но бабка держит марку, величественно помалкивает и только кивает.

«Ба, — говорю, — ты же не слышишь, что она у тебя просит, а киваешь. А она, между прочим, просит разрешения, чтобы я отрастил бороду. Я ей уже доложил, что бородой моей распоряжаешься ты».

Тут Берта Павловна по-королевски повернулась, и под оглушительный хохот всех присутствующих произнесла: «Я думала — жениться, это — пожалуйста. А бороду — никогда!» Берта Павловна ушла последней из дорогой моей четверки. И случилось это через девять лет после смерти деда. Кстати, гражданский брак дед с бабкой заключили уже после золотой свадьбы. Через пятьдесят лет после хупе. И дочки были их свидетелями.

Сонюра

Самой красивой в семье была моя тетка Соня, середина 30-х гг.

Все достоинства этой семьи и все недостатки ее судьбы столпились, как солдаты на плацу биографии моей средней тетки, Софьи Самойловны. Если душой семьи был дед, Сонечка

была ее душевной мукой; если головой, мозгом Ласкинского сивцевовражского семейства была моя мама — младшая из сестер, Сонечка была головной болью. Так сложилась ее жизнь, что апогей жизненных невзгод семейства выпал на ее долю, лег на ее плечи, изуродовал и ее, и ее биографию.

Все дети болели, но именно Сонечке выпало заболеть полиомиелитом, что сделало ее на всю жизнь хромой — левая ее нога была тоньше и короче правой, и стоило тетке устать, как все ее усилия ходить так, чтобы это было незаметно, шли прахом.

Деда трижды высылали, у мамы моей арестовали ее первого мужа и многих друзей, но именно на Сонечкину жизнь пришелся главный удар по семье — почти шесть лет из двадцатипятилетнего приговора она просидела в тюрьме и лагере.

Дед после ссылок остался жив, мамин первый муж, пусть не скоро и не к маме, но вернулся из лагерей цел и невредим. И только теткиного мужа — коминтерновца, одного из основателей Венгерской компартии — расстреляли по приговору тройки, только у нее случился по этому поводу выкидыш, только тетка Соня больше никогда не имела детей и не вышла замуж.

А между тем из трех сестер — старшей — дебелой красавицы Фани, моей матери — младшенькой, по-еврейски «мизинкер» (да-да, от мизинца — самая маленькая), именно средняя сестра была воистину драгоценным камнем, не похожая ни на кого в семье: с черными, чудовищной густоты волосами, она походила, скорее, на цыганку, чем на еврейку. У нее была внешность аристократки и непроходящая ее болезнь — мигрень — тоже носила аристократический оттенок.

Мама у Сонюры на свидании. Воркута, лагерь, 1953 г.

Я помню ее после возвращения из лагеря, до того она существовала в доме в качестве фантома, с 50-го по 53-й — в какой-то немыслимо дальней командировке, а с 53-го я уже знал, что тетка — в лагере, и даже знал где. Слева фотография, где они с мамой сняты в зоне, на фоне голого, без признака деревьев воркутинского пейзажа. Сонюре сорок два, матери тридцать девять, мать уже седая, Сонюра еще черноволосая и обе силятся улыбнуться в объектив — самые старые, какими я их помню. Даже перед смертью они не были такие выжатые как лимон.

Сонюра с матерью были очень похожи. Не внешне, а по внутреннему устройству, по миропониманию, по главным жизненным установкам, если угодно, по принципу: «Если тебе плохо, то это моя вина» (и это «тебе» включало обширный круг родичей и друзей). Этот обременительный по жизни принцип достигал высокого, а для непосвященных — абсурдного, накала. Ну, к примеру, все мамины письма Софье Самойловне в период, когда Евгения Самойловна ходит по прокуратурам и следственным управлениям, добиваясь пересмотра дела и реабилитации сестры, полны острейшего чувства вины за занудность, бюрократичность и замедленность процесса. А Сонечка в день возвращения, стоя на коленях, просит у мамы с папой прощения за причиненные им ее отсидкой неприятности и

неудобства. Это, на мой взгляд, извращенное чувство ответственности было им присуще неизменно и особенно обострялось, когда речь шла о них двоих. Если не знать, что Сонечка была старше Женюры на три года, и не обращать внимание на внешнее несходство, эти двое были как однояйцовые близнецы, с их обостренной, почти болезненной связью друг с другом — генетическое единство было явным, неразрывным и отчасти мистическим. Они знали друг о друге все, а чувствовали друг друга на уровне подсознания. Жили они с молодости отдельно, но потребность в общении была так велика, что 7–8 взаимных звонков в день составляли статистический минимум. Все, что касалось хозяйства, было раздельное, а все, что составляло жизнь души, — совместное и нерасторжимое. Мать всегда могла сказать, где ее сестра и что она в этот момент делает.

Ну, скажем, в 50-м, когда тетку взяли, то арестовывали ее не в Москве, а, как было принято, в командировке, в Нижнем Новгороде, носившем гордое имя Горький. О том, что она арестована, мать узнала из звонка тамошних родственников. Что делает мать? Она бросается в поезд, наутро она в Горьком и двое суток ищет возможности увидеться с сестрой: органы, милиция, прокуратура — всюду туман, никакой определенности, никакой подсказки. Сами подумайте, Сталин еще здоров, и космополитская кампания в разгаре.

Вечером второго дня мать нашла свою сестру в отдельно стоящем вдали от вокзала вагонзаке и даже перекрикнулась с ней, дав ей возможность увидеть себя вопреки всем усилиям конвоиров отогнать ее от запретной зоны. Как нашла? Так никто и не знает. Но нашла и увидела.

Эта душевная неотторжимость поражала, и единственный обостренный, вечный конфликт между сестрами формулировался примерно так: «Ты для меня сделала больше, чем я для тебя, — это нестерпимо». Под аккомпанемент этих разногласий прошла вся моя сознательная жизнь. Это было стихийное бедствие — остановить их энергию не могло ничто, даже пошатнувшееся здоровье. И интонационно напряженный, так чтобы другая это слышала, постоянно возникавший спор:

— Алеша, скажи Сонечке, чтобы она взяла деньги, почему она должна нас кормить! — это мама.

— Алексейка, объясни наконец Женюре, чтобы она перестала скандалить из-за копеек, — это Сонечка.

Или:

— Опять ты ничего себе не готовишь, ты умрешь от голода, — это мама.

— В зиловском заказе было мясо, а я, как ты знаешь, терпеть не могу кухни,— это, конечно, Сонечка.

Что бы они делали сейчас, в эпоху продуктового изобилия (и что бы ни дал я, чтобы эти причитания вновь зазвучали у меня за стеной)?

Сонюра умерла в январе 1991-го, накануне своего восьмидесятилетия. Мама умерла через два месяца, с уходом из жизни Сонечки она почти мгновенно устала жить. Впрочем, нет, был еще один повод для взаимного недовольства — отношение к собственному здоровью. Каждая из них постоянно пеняла другой, что та недостаточно внимательна к своим болезням. Они, правда, мгновенно прекращали пенять друг другу стоило кому-то из них действительно заболеть — тут поднимались все связи, знакомства, аптеки, лекарства, больницы, специалисты — не было ничего, что бы другая для сестры не добилась, не добыла, не смогла сделать, о чем бы не договорилась.

Когда человек так погружен в заботы о близких удивительно, но Софья Самойловна была, без преувеличения, выдающимся работником по месту своей службы — в отделе снабжения металлом ЗИЛа, но здесь, с вашего позволения, я, по уже установившейся традиции, залезу в архив, благо, что архив этот теперь уже почти весь размещен в моем комоде. Как немного остается от нас официальных бумаг: в Сонюриной папке 40 писем от моей мамы в Воркуту, десяток справок, характеристик и листков по учету кадров, прослоенных почетными грамотами, конфетная коробка с государственными наградами да три варианта трудовой книжки. С них и начнем. Первая — ни по размеру, ни по форме не напоминающая привычный серый прямоугольник — начинается с 1926 года, заканчивается 38 годом и именуется «Трудовой список» — розовая брошюра вдвое больше размером, чем трудовая книжка:

В 1926 и 1927 годах работала практиканткой в бюро статистики труда и в ЦОС ВСНХ; с третьей записи уже начинается работа: оперативный учетчик металлоимпорта, через 10 дней переведена в корреспонденты учета, а еще через полгода исключена из списков «за переходом в Цветметимпорт», где занимает должность корреспондента группы стали, еще через полгода — ответственный исполнитель группы стали, а через еще два года, в 33-м — старший товаровед Директората стали.

В том же 33-м премия к Октябрю 150 рублей. В 34-м уже 300 рублей — в январе и 425 — в ноябре, «за хорошее качество работы».

Для сотрудника со средним образованием (школа-девятилетка №35 и статкурсы, законченные при школе),

беспартийной и не комсомолки тетка делает неслабую карьеру в деле снабжения металлами. Попытки доучиться в вечернем ВУЗе не удались. Так она и останется экономистом-товароведом или по другим документам — инженером-металловедом, без законченного высшего образования..

В 1933 году, как это зафиксировано в одной из ее автобиографий, там же в «Металлоимпорте» выходит замуж незарегистрированным браком за гр. Зайдлера Эрнеста Леопольдовича, члена ВКП(б), директора конторы В/О «Металлоимпорт», венгерца (так пишут в те годы), 2 декабря 1937 года его арестовывают, а 18 декабря он уже умер от воспаления брюшины и язвы желудка (поразительно быстро воспаляются органы у арестованных органами), о чем уже в апреле 38-го Сонечка получает официальную справку. Никаких иных упоминаний о Зайдлере и уж тем более фотографий в архиве не сохранилось. Зато сохранилось странное «Удостоверение» в коричневом коленкоре, по размеру идентичное трудовой книжке, выданное п/я Ж-175/22 МВД СССР, где весь ее жизненный путь уместился на двух разворотах:

«Наркомвнешторг, 1930–1935;

Наркомчермет, 1935–1941;

Министерство автомобильной и тракторной промышленности, 1941–1948;

Автозавод им. Сталина, 1948–1950».

А уже на следующем развороте со стандартной надписью «СТАЖ выполняемой работы по специальности» — еще 2 записи:

«Воркута, Кирпзавод №2 — разнорабочий, 1951–1954»;

«Воркута, подразделение п/я Ж 175/22 — библиотекарь, 1954–1955 по 9/XI».

Это, так сказать, временный заменитель, или трудовая книжка для освобожденных зэков, а к ней сопроводительная характеристика, которую вместо начальника п/я Краснова подписал некто Горохов, что «Ласкина С. С. <…>, пребывая с 20/I—1951 по 9/XI—1955 в подразделении п/я Ж 175/22, проявила себя с положительной стороны. Ласкина С. С. работала в течение 3-х лет разнорабочей и больше года библиотекарем в подразделении. К работе Ласкина относилась очень добросовестно, инициативно, вела большую работу по расширению крута читателей, проводила массовые мероприятия, активно участвовала в общественной жизни.

Ласкина проявила себя очень дисциплинированным человеком, не нарушала режима, не имела взысканий».

Ну прямо санаторная характеристика!

Вообще в судьбе всей моей семьи, и Сонечки в частности,

заметна одна характерная черта органов: бить так, чтобы снаружи следов не оставалось и чтобы только недреманное око уполномоченных лиц могло определить историю и географию надругательств над их судьбами, и быть предельно скромными и незаметными.

Ну а появлению последней характеристики предшествовали 3 справки. Первая — от 2 ноября 1955 года: «…Дело пересмотрено Военной Коллегий Верховного Суда СССР 22 октября 1955 года. Приговор Военной Коллегии от 25 ноября 1950 года в отношении Ласкиной С. С. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело прекращено».

Вторая — от 4 ноября того же года из Главной военной прокуратуры. Здесь формулировка носит менее радикальный характер: «…дело дальнейшим производством прекращено за недоказанностью ее вины». Эта справка выдана деду, Ласкину С. М.

Ну и третья справка, от 10 ноября, с фотографией, на соответствующем бланке-формуляре: «…содержалась в местах заключения МВД с 24 мая 1950 по 10 ноября 1955, откуда освобождена по определению ВК Верховного Суда СССР от 22/X—1955 за прекращением дела за недоказанностью.

Следует к месту жительства город Москва».

И фото пэтэушницы с печатью все того же Ж-175/22.

Подписи: начальника лагеря (колонии, тюрьмы);

начальника отдела (части), черточка, обозначающая «за неграмотного бухгалтера уборщица Петрова», и две фамилии разными чернилами: Маликова (Грозунова).

Этих трех справок ждали почти 2 года, с тех пор как мать начала хлопоты по пересмотру дела Сонечки. И во всех письмах, что в эти годы написала сестре моя мама, в каждом — чувство вины, за то, что не справляется она с этим монстром государства по восстановлению им же попранных прав. Приведу отрывок из двух-трех писем, чтобы не быть голословным. Каждый вторник мать, как на работу, отправляется на Кировскую, туда, где расположена Военная прокуратура.

«Сегодня утром я была на Кировской, (*это письмо от 23 ноября 1954 года, до освобождения почти год, но ни та, ни другая этого не подозревают. — А. С.*). Там твердо и убежденно разъясняют нам, что в конце декабря все будет закончено, такие же сведения поступают из других источников. Мне не совсем понятно, как они справятся, поскольку до сих пор еще не приехали те четверо, которые вызваны в Москву; их ждут в ближайшие дни. Разговор с ними, по моим расчетам, должен занять не менее 3–4 недель. А может быть, все это чистая

формальность, и действительно декабрем все должно закончиться? Столько ждали, подождем еще немножко. Время работает на нас, и обратного хода быть не может».

Из письма от 10 марта 1955 года:

«Атмосфера наших приемов по вторникам дошла уже до последнего накала. Скоро будет „бабий бунт“. А все оттого, что царит полная неразбериха. […] Начальство уже само запуталось и не знает, что нам говорить. Но как бы то ни было — все неуклонно ведет к неизбежному концу. Во всех высоких инстанциях этот вопрос принципиально решен уже несколько месяцев назад, все сейчас зависит только от низшего аппарата, подготавливающего документы и изыскивающего способа, как бы себя меньше замарать. Поэтому так все задержалось».

Но вот уже прокуратура передала дело в Военную коллегию Верховного суда, а затяжки продолжаются. Дела более чем 200 человек рассматривают раз в неделю по чайной ложке. Об этом — в письме от 5 октября 1955 года:

«…Самое занятное во всем этом деле заключается в том, что прокуратура (Терехов) делает вид, что не ожидала этого возврата (дела трех обвиняемых-реабилитируемых вернули на доследование). Все вместе, по-моему, заключается в том, что кому-то неприятно, чтоб это дело сразу ликвидировалось и тем самым снова возникло в атмосфере, поэтому решено избрать систему медленного расследования. Раз в неделю по 6–7 человек — вроде, как бы незаметно. Ну и черт с ними, у нас сейчас хватит терпения…»

Вернувшись, с ноября 1955 г., Сонечка, как и обещала, положила свою жизнь на алтарь семьи. Она была семейной палочкой-выручалочкой, и не было такой нужды, с которой нельзя было бы к Сонюре обратиться. Впрочем, и обращаться-то было не надо. Ну, скажем, не два и не три раза моя мама на день рождения 25 декабря получала крайне необходимые для жизни или хозяйства подарки. Получала-то от меня и благодарила, бывало, меня, а придумывала их, а зачастую и покупала Сонюра. Сонечкина комната, а впоследствии и квартира были для нас с братом постоянным холостяцким резервом — не один наш роман сопровождался позвякиванием выданных мне или Володе Сонечкиных ключей. Тем, что Сивцев Вражек до самого своего последнего дня оставался нашим семейным гнездом, мы тоже обязаны Сонечке: когда уже после смерти деда с бабкой встал вопрос о переезде моего военного брата в Москву, к жене, возник вариант обмена Сивцева Вражка, и Сонечка, пожертвовав своей выстраданной автономией, пошла на то, чтобы под конец жизни снова съехаться со старшей сестрой, которую, конечно же,

любила, но с которой прожила врозь больше сорока лет.

Жертвенность была ее главным качеством, но она смертельно обижалась, когда это кто-то замечал, не говоря уж о том, чтобы ставить ее кому-то в пример.

Сонечка и хозяйственные сумки с продуктами — это была чуть не ежедневная картинка из нашего семейного быта и на Сивцевом, и на Зубовской, и впоследствии на Аэропорте. А мелкие хозяйственные нужды в период всеобщего дефицита, когда Сонюре вытачивали на заводе какой-нибудь водопроводный флянец для Сивцева или гнули аллюминиевые трубы для нового обличья нашей с мамой комнаты на Зубовской! А лекарства!.. впрочем, об этой стороне Сонюриной деятельности я уже говорил. Но это всегда было только Сонечкины связи, исключительно Сонечкины договоренности, отдельно Сонечкины знакомые и знакомства — никогда ни один из источников ни на Сивцевом, ни на Зубовской не засвечивался и никакими обременительными для дома контактами не сопровождался. Даже просто своих сослуживцев по ЗИЛу Софья Самойловна в дом не приводила. Они появились там только в день ее похорон и, как оказалось, были прекрасно осведомлены о всех персонажах столь жестко охраняемой теткой личной жизни.

Вывернутая наизнанку формула: личной жизнью было все, что касалось семьи, а того, что принято так именовать, — не было вообще. Ни одного Сонечкиного романа, если таковой и был, не видели и объекта его не знали ни мамочка с папочкой, ни любимые племянники. Разве что младшая сестра — от нее у тетки не было секретов, но мне почему-то кажется, что и она ничего подобного не знала.

Сестры Ласкины вскоре после переезда в Москву, 1932 г.

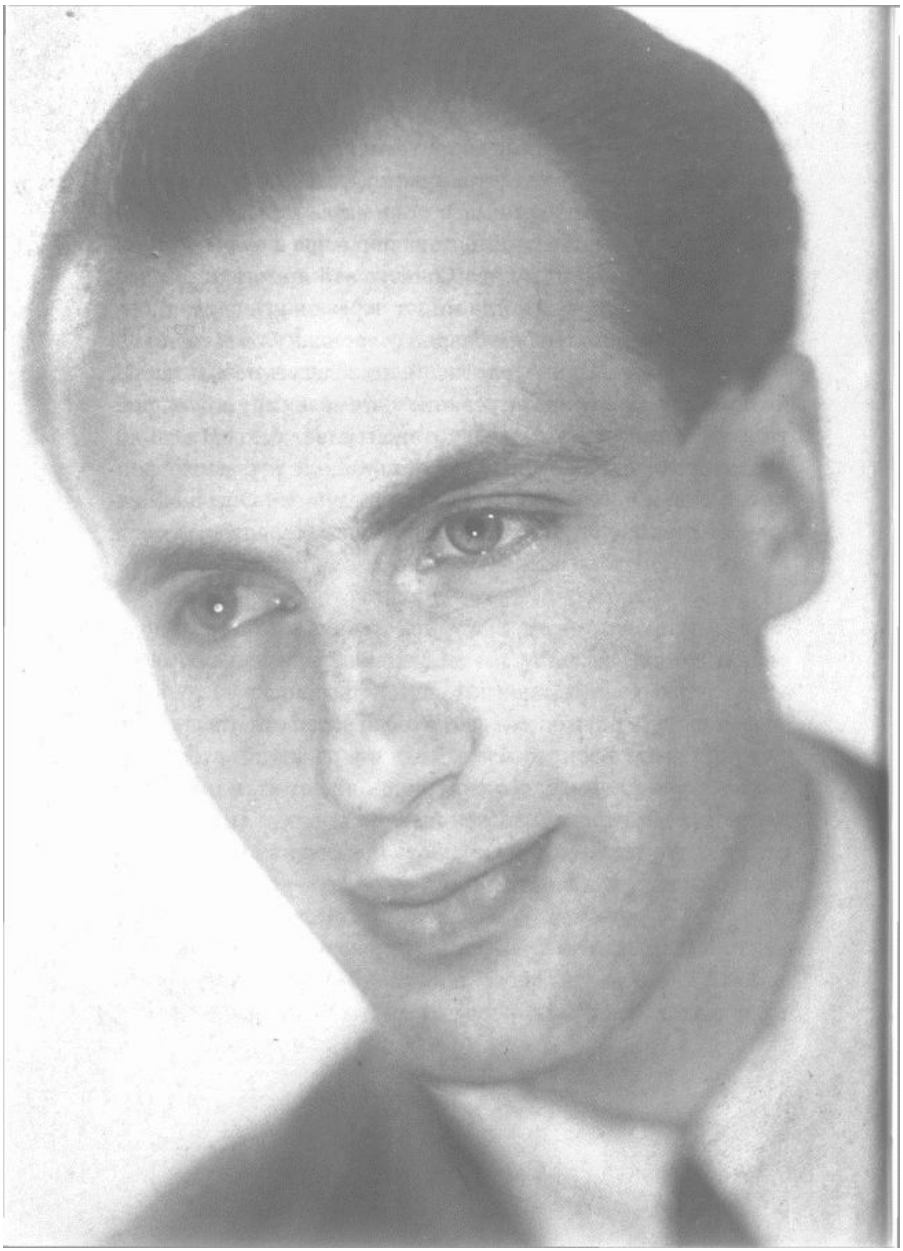
Мне представляется, что именно Софья Самойловна была краеугольным камнем сивцев-вражского устройства. Никогда не выходя на первый план, она скрепляла эти отношения изнутри, поддерживая всех и каждого в устремлениях или амбициях, если они не противоречили духу Сивцева Вражка и их можно было удовлетворить за ее, Сонечкин, счет, но она же становилась непреклонной и по-лагерному резкой, если чьи-то желания или действия могли нанести этому устройству-единству ущерб. Так поставила она крест на своей собственной судьбе в 55-м; так изгнала из дома мужа сестры, чей вялотекущий конфликт с духом Сивцева Вражка был оборван ею раз и навсегда при обсуждении моей преждевременной женитьбы в 59-м — я об этом уже писал; так было, когда решался вопрос с маминой госпитализацией в начале 60-х, когда воспаление желчного пузыря требовало хирургического вмешательства, а дух дома, всегда предпочитавший полумеры чему-то жесткому и решительному, этому сопротивлялся. И мать поехала в 51-ю больницу, и прожила без этого пузыря еще лет двадцать. Так было… словом, так было часто, но по-мужски решительно, без колебаний и охов. Так же бестрепетно, только куда чаще, отстаивала она свои взгляды на работе. И при всеобщем преклонении перед ее опытом и

профессиональной эрудицией это так впечатляло, что, уже уволенная на пенсию, она была приглашена на работу снова и последние 5 или 6 лет трудилась в официальной должности кладовщицы с исполнением всех обычных обязанностей старшего инженера-экономиста. Причем сделано это было уговорами ее начальников, а не только сотрудников и подчиненных.

Вечер, Аэропортовская, 4 — еще Аэропортовская, а не Черняховского. Пришла Сонюра, заметно прихрамывая на свою больную ногу, видимо, очень усталая. Она буквально серая от очередного приступа мигрени, хотя сумки ее свидетельствуют, что после работы она, как обычно, «прошмонала» по дороге магазины в поисках, чем бы нас с мамой порадовать. Уже мать традиционно поворчала, уже Сонюра, попив чаю, села на кухне за крытый красным пластиком кухонный стол, ныне доживающий свой век на кухне в квартире моего старшего сына — ее последнего любимца в уже сильно поредевшем ласкинском семействе.

— Алексейка, — говорит тетка,— ты не мог бы… Я откладываю свои записки-бумажки и, изображая из себя не то специалиста по биотокам, не то мануального терапевта, выхожу на кухню и погружаю пальцы в седые косматые, густые теткины волосы. Я массирую ей голову жестко и нежно — я сам очень люблю это делать, чувствуя, как тетка постепенно расслабляется, плечи и шея становятся менее напряженными, более податливыми. Я с тех пор верю в чудодейственность своих рук, потому что Сонечке это помогало. Во всяком случае всякий раз, когда минут через 10–15 я спрашивал: «Ну, как?», она нежно и благодарно говорила: «Божественно!». Было ли это так? Приносило ли ей это облегчение — не знаю, но с тех пор, благодаря ее реакциям, я смело беру в руки почти любую женскую голову, в которой живет боль. И всякий раз пальцы мои вспоминают это ощущение курчавого фонтана волос и боли, таящейся где-то в глубине. Обычно женщины тоже говорят, что помогает, но чаще те, которые меня любят.

Харон и Стелла



Яша Харон — звукооформитель на Потылихе, 1933–1934 гг.

Мне бы надо объяснить, чем для меня был Харон и почему в записках о своей семье я отвожу ему отдельное место.

Яков Евгеньевич Харон и был человеком отдельным, на всех

остальных похожим, но иным. Где-то мне случилось уже написать, что он «болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет». Когда с таким человеком имеешь дело, обычно выбираешь что-то одно: либо болезни, и тогда он для тебя упрощается, становится как все — кто ж ими не болеет. Либо выбираешь этот пожизненный иммунитет — и тогда воспринимаешь человека как символ, образец, флагшток.

Но если ты воспринимаешь его противоречивость как особую ценность, нинакогонепохожесть, тогда он становится человеком твоей жизни, и не память о нем, а его, словно живого, ты несешь через всю жизнь, не как объект для подражания, а как линию своего собственного горизонта.

Именно поэтому часть своей жизни после смерти Якова я так или иначе посвятил тому, чтобы объяснить остальному человечеству, пусть хотя бы по частям, что же это такое за феномен — Яков Харон. Вскоре после его смерти я выпустил в Бюро пропаганды советского кино составленную из его статей книгу «Записки звукооператора». Первую часть предисловия к этой книжке опубликовал в «Советской культуре» под названием «Профессия звукооператор», где рассказал, чем была эта профессия для Якова. И вся многочисленная рать советских звукооператоров признала меня за своего, хотя предисловие в отличие от статьи продолжалось утверждением, что только Харон в моих глазах служит воплощением всех описанных мной исключительных качеств. Меня даже пригласили во ВГИК, где открылся звукооператорский факультет, и я три года читал там «Режиссуру звука».

В восемьдесят девятом мне удалось наконец напечатать книгу «Злые песни Гийома дю Вентре», включавшую в себя 100 сонетов, прозаический комментарий Харона о том, как в лагере под названием «Свободный» писались эти «переводы с французского», воспоминания о его друге и соавторе Юре Вейнерте и некоторые стихи самого Вейнерта. Предисловие к этой книжке, может быть, лучшее, что мне удалось в жизни написать. А предисловие это перепечатывала на машинке еще моя мама. И ее реакция на каждый написанный кусок была радостью совместного служения тому, чтобы наша полусекретная, пролежавшая не одно десятилетие рукопись стала общедоступной книжкой. Хотя после первого издания за 20 лет книжка не была больше издана ни разу, она — эта история — продолжает сводить и объединять людей, и феномен этот до сих пор не объяснен.

Ну, скажем, несколько лет назад произошел казус, который доставил бы немало удовольствия самому Харону: из Франции от аспирантки Сорбонны я получил письмо с просьбой разрешить ей

цитировать текст книжки, и предисловие — единственно доступное во Франции жизнеописание Гийома и его авторов. В письме было сказано, что ученая дама собирается защищать диссертацию по Гийому и перевела для этого часть его сонетов на… какой язык? На язык оригинала?..

В конце девяностых я сделал для ТВ серию передач о стихах своих любимых поэтов, тех, кого помнил наизусть. Рядом с Самойловым, Слуцким, Симоновым в числе «Поэтических позвонков» там была и передача с сонетами Гийома дю Вентре.

Ну уж и совсем личное. Последние годы, это, правда, перестало быть актуальным, но с юных ногтей у моего поколения Дон Жуанов был набор стихов, который отворял нам сердца атакуемых дам. Когда ответного чувства добивались на наших глазах и ушах поэты, они читали все-таки свои стихи. Зато наша бездарность компенсировалась широкой образованностью. Программы были как в фигурном катании — обязательная и произвольная, так у меня Гийом входил в обе. Только представьте себе, какой соблазн был услышать в ответ, что «Гийома дю Вентре, ну как же, слышала, только не припомню что…» а ты, преисполненный негодования и величия, читаешь, ну, может, это…

Когда стоишь одной ногой в могиле,
Ты вправе знать: за что тебя любили?

Меня любила мать за послушанье,
За ловкость рук — учитель фехтованья,
Феб-Аполлон за стихотворный пыл.

За томный взор меня любили прачки,
Марго — за вкус, а судьи — за подачки,
Народ — за злой язык меня любил.

Отец духовный — за грехов обилье,
Раскаянье и слезы крокодильи.
Агриппе нравилось, что я — чудак.

Три короля подряд меня, как братья,
Любили так, что чуть не сдох в объятьях.
Лишь ты меня любила «просто так».

Пионерский отряд советской колонии в Берлине. Слева — с барабаном — Я. Харон, 1928 г.

…А потом небрежно, как плащ с плеча, добавляешь: «Агриппа — это д'Обиньи, поэт XVI века, они служили с Гийомом в одном полку».

А вот сам Яков Евгеньевич Харон шел дальше — он очень любил жениться. Сразу по двум причинам: влюбчивости и природной порядочности. Лично я знал четырех его жен. И все были первостатейные женщины. А уж когда Харон писал женщинам письма, сомнения в его влюбленности могли возникнуть разве что у адресата, уж адресат-то знал, что письмо для Харона — это способ самовыражения, а не атрибут романа, но даже адресат, если на минутку потеряет контроль над собой, тоже мог ошибиться.

Зато другие лица, читавшие эти письма — а их было как минимум два, — на входе и на выходе, ведь из лагеря в лагерь могли быть сообщены крамольные мысли или крутые маршруты, или чего еще боялись цензоры тех лет — вот они, точно, считали, что Харон влюблен в женщину, которой пишет, и если письмо не имело любовного оттенка, то могло и не пройти через отверстие цензуры, не зря же буквально в каждом письме Харон жалуется, что и от него, и к нему доходит одно письмо их трех, да и то — неизвестно какое, несмотря на его нежные отношения с девочками с почты, ближайшей к месту ссылки. Нет, если б Харон время от времени не женился и не писал бы знакомым женщинам влюбленных писем, Яков неминуемо бы лопнул от прилива нежных чувств, обуревавших его наряду с другими человеческими талантами, коими был Харон нашпигован в изобилии. Мне уже довелось писать, что в число этих талантов входили написание музыки к спектаклю «Репка» и сочинение сонетов Гийома дю Вентре, создание партитуры звука для фильма «Дневные звезды» и изобретение карусельного станка по разливке чугуна в изложницы минных корпусов, хромирование бабок и

дирижирование 8-й симфонией Брюкнера, чему он готов был научить и учил своих студентов и во ВГИКе, и на высших режиссерских курсах, где Харон преподавал. Удачно жениться входило в число вышеперечисленных талантов. А женился Харон удачно — все его жены оставались потом его друзьями. Самым надежным его другом была, по-моему, первая из тех, кого я знал, жена — моя мама.

«Знакомство с новыми истинами и новыми людьми, с новыми местами и новой работой, — писал Харон, — все это происходило у меня с непременной примесью чего-нибудь смешного. Даже с прекрасным полом знакомился и сближался я большей частью… каким-нибудь шутейным или розыгрышным способом. Хотя бы с той же Женей».

А Женя и была моя мама, Женя Ласкина.

В 34-м двадцатилетний Харон вернулся в Москву из Берлина. К этим двадцати с Хароном уже случилось главное — он определился со своим будущим. «Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино», причем сразу звуковое, с первых его шагов. Влюбленность в кино началась на премьере «Броненосца Потемкина», той самой знаменитой, берлинской, описанной в романе «Успех» у Фейхтвангера, о которой впоследствии Харон писал одной из своих аспиранток: «Картина-то была звуковая, со специально написанной музыкой, и это я вам говорю не как старший преподаватель, а как живой свидетель этой самой премьеры». Потом он этому учился в Берлинской консерватории, да не только фортепьяно и дирижированию, но и музыкальной структуре фильма. С этими запасами он и устроился на работу в кино — в первую шумовую бригаду будущего «Мосфильма», работавшую тогда еще не на Потылихе, а на Лесной улице, где кроме него ваяли шумы еще два недоросля — будущие знаменитости: Борька Ласкин и Женька Кашкевич.

Борис Ласкин — кузен моей матери, человек, сделавший юмор своей профессией и ставший известным советским писателем; Евгений Кашкевич — один из столпов школы советских звукооператоров, с его участием снято чуть не 100 фильмов, и имя его есть во всех советских киноэнциклопедиях. Да, а шутка была довольно рискованная. Демонстрируя новой знакомой свою несравненную эрудицию, Харон спародировал бессмертные строки Маяковского «На цепи нацарапаю имя Лилино. И цепь исцелую во мраке каторги». У него получилось смешнее: «На жопе выжгу имя Женино», за что он немедля получил по физиономии и обрел дом и кров, переехав вскоре в мамину комнату на Зубовской площади, откуда его и возьмут 1 сентября 1937 года и куда он на время вернется через 10 лет, а

потом, уже из другого города, его заберут снова, на этот раз в вечную ссылку, и он опять вернется на Зубовскую уже в 55-м.

Вот в это второе возращение, там, у нас, на Зубовской, Харон познакомится со Стеллой.

Стелла, она же Света, тоже недавно вернулась из лагеря. Студентку филфака МГУ отправили в воркутинский лагерь, известный довольно широко. Это даже в «Архипелаге» упомянутый так называемый Кирпичный завод, где сидела Света вместе с моей теткой, Софьей Самойловной Ласкиной; была ею пригрета, и когда — одной из первых — получила справку об освобождении, то от Сонечки получила и адресок, где можно было найти приют, пока не получены реабилитационные бумаги и свое жилье. Самые главные тут слова «одной из первых» — они требует расшифровки. Реабилитационная волна начиналась мелкой зыбью, возникала эта зыбь за счет лично знакомых высоким начальникам людей, которых они хорошо знали до того, как эти люди оказались за решеткой. Светин папа, Семен Корытный, был секретарем Московского горкома партии, где работал вместе с Хрущевым. Так что зыбь начиналась именно с таких людей, уже ставших лагерной пылью, но оставивших после себя в зарешеченном пространстве жен, детей и других близких родственников. Женой расстрелянного Семена Корытного была Белла Эммануиловна Якир-Корытная, родная сестра Ионы Эммануиловича Якира, советского военачальника, к тому времени тоже давно расстрелянного. И сама Белла Эммануиловна была старым членом партии, чуть не с дореволюционным стажем, и верным ленинцем, о чем еще не раз придется упомянуть в этом рассказе. Вот когда у Хрущева возникла наконец возможность поинтересоваться судьбой расстрелянного Корытного, ему доложили и про жену, и про дочку, которых он хорошо знал, и он распорядился их свободой в соответствии со своим реабилитированным представлением о справедливости.

По этому поводу в письме моей мамы от февраля 55-го — сестре в Воркуту сказано: «Сонюрик, порадуйся за Катю, <…> у нее и у матери все складывается очень хорошо. Сегодня они получили ордер на двухкомнатную квартиру. Получили справку о реабилитации отца. У матери тоже на днях будет. Кате, очевидно, удастся поступить осенью в аспирантуру. Если захочет и сдаст экзамены, то ее наверняка примут. Все, что с ними происходит, делается как по волшебству. Источники этого тебе, наверное, понятны. Так почти у всех, кто был такими, как они…»

Наличие высокопоставленных личных заступников сильно подталкивало процесс реабилитации. Настолько, что совсем независтливая моя мать, бьющаяся за пересмотр теткиного дела в

военной прокуратуре и в суде, не может удержаться от обиженной интонации. Остается объяснить, почему Свету-Стеллу мама называет «Катей». Не знаю. Здесь совпадает все, кроме имени, а с другой стороны — сколько еще таких секретов Полишинеля выдумали мои родичи за пять лет подцензурной переписки, включая секреты, так мною и не разгаданные.

Стелла Семеновна, в общежитии Света, оказалась, как и многие другие дети врагов народа, сиротой в детском доме, и как она выживала в первые годы после ареста родителей, можно себе представить по многочисленным жизнеописаниям людей схожей судьбы. Меня интересует лишь факт поступления Стеллы Корытной на филфак МГУ в годы войны, откуда и ее, вслед за папой и мамой, призвала к отсидке Страна Советов, и оказалась она в Воркуте еще раньше тетки.

Контингент женского воркутинского лагеря состоял из основных двух призывов с небольшими посторонними добавлениями. Призыв 37-го и набор конца 40-х — начала 50-х. Последний делился на две неравные части: большинство были молодые женщины арестованные за связь с иностранцами. Ну тут понятно: были победа и дружба, а потом совершенно безотносительно к судьбе отдельных граждан и особенно гражданок победа в одночасье переросла в холодную войну. И все недавние друзья (штатские и военные) мгновенно превратились в нежелательных и подозрительных иностранцев, общаться с которыми, а уж тем более водить романы, стало изменой родине — за что большинство из них, не успев этого осознать, отправились в места не столь отдаленные. Меньшую часть второго призыва составили евреи, пострадавшие по своему 5-му пункту, но, как всегда у нас бывает, получившие свои сроки вовсе не за это, а по индивидуально или коллективно подобранным обвинениям в саботаже, как это написано было в деле моей тетки — «за злостные завышения заявок на снабжение металлом». Тетка сидела по знаменитому зисовскому делу, о котором по Москве ходили упорные слухи, что зоо евреев хотели взорвать ЗИС. Подготовку взрывов им не шили, видно, лень было органам изобретать от нуля всю технологию: взрывчатку, капсюли и бикфордов шкур. Поэтому каждому выписали обвинение в исполнении своих служебных обязанностей, но… с вредительским уклоном. Дали, правда, от всей души, тетке так двадцать пять лет строгого режима.

Вот в такой компании и оказалась молоденькая филологиня, Света Корытная. Там, в лагере, она… впрочем, что ж я все своими словами? В последней главе «Прозаического комментария к поэтической биографии», сопровождавшей или, скорее,

обрамлявшей 100 сонетов Гийома дю Вентре, Харон сам описал эту историю так:

«…Накатавши тачку с глиной или доведя себя до соответствующего состояния иными занятиями, девчата и женщины расходовали избыток сил… на поэзию. Вспоминали и читали друг другу, вероятно, все подряд — пока однажды, исчерпав запасы классики и современности, одна из них стала припоминать сонеты дю Вентре — ну да, в нашем переводе: другого отродясь не было. И надо же было, чтобы чтица хорошо знала переводчиков, — сами понимаете, она слегка романтизировала нас. Ну, в смысле силы духа и прочих эпитетов, обладающих среди прекрасного пола какими-то особыми чарами».

К этому добавлю очевидное уже проницательному читателю, что упомянутой «чтицей» была моя тетка, Софья. А сонеты Гийома попадали на «Кирпичный завод» через мою маму, одну из немногих, с кем Харон переписывался во всех лагерях и ссылках, невзирая на роман мамы с поэтом Симоновым, выход за него замуж и рождение меня. Как уж там они все это обшучивали, семейный архив писем не сохранил. Но то, что Света влюбилась сначала в Гийома дю Вентре, а уж потом в Харона — это исторический факт. Впрочем, я забежал вперед.

Последний, досветин, брак Харона можно было бы описать формулой «встретились два одиночества». Так оно, скорее всего, и было. Лучше я снова сошлюсь на самого Якова Евгеньевича. Ссыльный Харон в это время руководит в средней школе городка Абан кружками:«хоровым, драматическим, фотографическим, автотракторным, художественного слова и черт его знает какими…». Вот что пишет он из Абана в Воркуту, в апреле 54 года: «… вскоре после моего приезда в Абан, я, конечно, снова женился. Так уж повелось, что везде, где приказывали жить, я обзаводился семьей, что вполне соответствует интересам государства. Насчет деток — бог миловал, тем более что у моей супруги не так давно второй сынок пошел в армию служить, а первый свою дочурку на будущий год в школу пошлет. Ну ладно, ты не падай в обморок: Маргарита Александровна хоть и не девочка, но вполне еще женщина бракоспособная, чего и вам желаю. Она — актриса, училась в свое время в Камерном, <…> в общем — культурнейший, талантливый, чуткий, начитанный, добрый, остроумный и т.д. товарищ. Меня полюбила в припадке временного умопомрачения, иначе не объяснишь. Живем мы душа в душу и как еще придется <…>. Она руководит самодеятельностью в соседней школе. В общем — соревнуемся и помогаем мы с ней друг другу, и в повседневных суматошных

делах время бежит достаточно быстро. К сожалению, оба мы не умеем зарабатывать денег, что и определяет наш модус вивенди с точки зрения бытовой».

Но основная тема писем, естественно «реабилитанс».

Тетка Соня в каком-то из не дошедших до нас писем, очевидно, писала Якову о своем взгляде на систему реабилитации, что реабилитируют по имеющейся, хотя и официально не опубликованной, разнарядке, по каким-то категориям, и, отвечая ей, в самом конце, прежде чем втиснуть под обрез письма еще не известный в Воркуте сонет Гийома, Яков отзывается на эти ее рассуждения: «…Чтоб уж положить конец этому утомительному анализу по недостойному поводу — официально информирую тебя, что 25-го марта, вопреки собственным убеждениям и только ради того, чтобы больше меня не пилили, написал и отправил мощную бумагу в Ген. прокуратуру. Все. Ви/а/лох/ин коп, как говорят сенегальцы, поможет она автору. (На идиш это бессмертное выражение в переводе с „сенегальского“ означает „Как дырка в голове“.) Дай боже, чтоб я ошибся».

Он таки ошибся. Судя по дате следующего письма, уже в первых числах мая, т.е. через месяц после отправки предыдущего, Харон с Маргаритой Александровной уже у нас с мамой, на Зубовской. Она — милейшая немолодая дама, что-то немедля взявшаяся кроить в гостевом отсеке на полу нашей с мамой комнаты: то ли плащ для моего школьного спектакля, то ли накидку для себя. Харон, кроме высоких и очень ему идущих залысин, был внешне юн и большую часть времени проводил на одном табурете, обняв ногами другой, на котором стояла мамина «Эрика», и прямо на машинке достукивал недоделанные сонеты, предпочитая это занятие любым походам в город, в том числе и по поводу своей грядущей реабилитации. Для молодых читателей необходимо добавить, что пропуском на выезд из ссылки служило сообщение об освобождении, справку о реабилитации получали уже по месту жительства.

В этом письме из Москвы от 4 мая он сообщает в ту же Воркуту свои первые впечатления, что известная ей, Сонечке, Стелла вцепилась в сонеты, которые он закончил править на прошлой неделе (значит, приехали они в 20-х числах апреля), «перепечатал их и завещал Женюре: когда-нибудь, став мемуриальной редкостью, они дойдут, быть может, до заинтригованных потомков». При этом сообщает мини-рецензии: на спектакль «Баня» — «не вызвала энтузиазма», о постановке «Чертовой мельницы» в Театре кукол Образцова — «совершенно изумительна», о Верочке Марецкой в «Краже» — «не стареет,

понимаешь? Снова 25 лет человеку!!» и о «верхе блаженства» — еврейских песнях Шостаковича в исполнении Нины Дорлиак и Зары Долухановой (у рояля — автор).

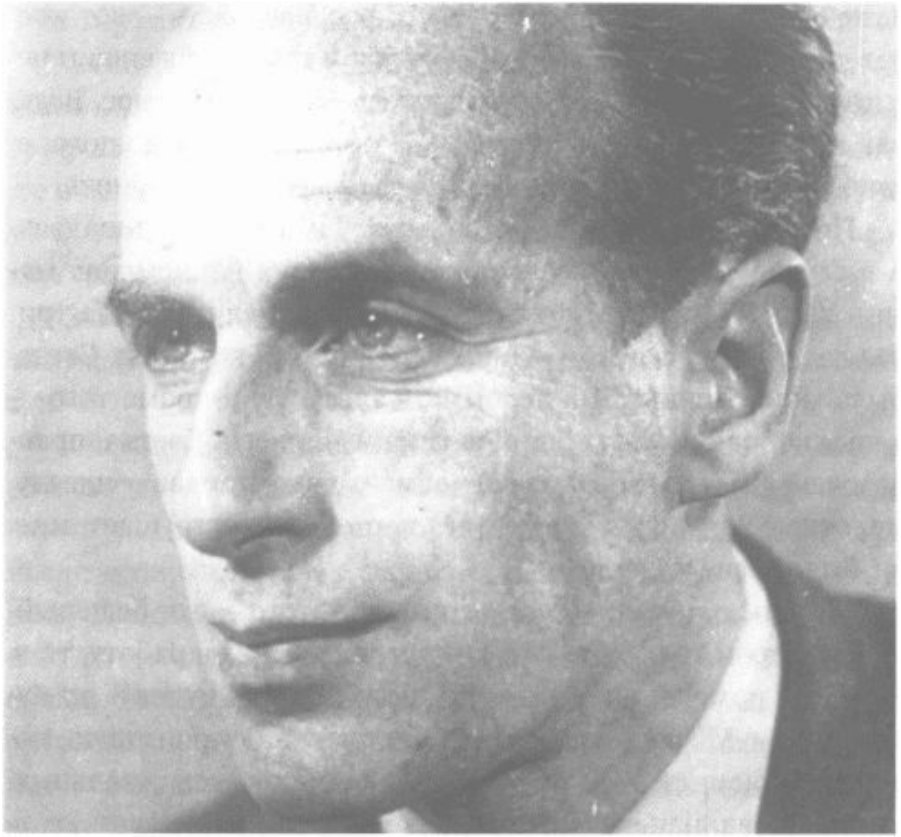
Яков глотает художественные впечатления как удав, с той только разницей, что делает это, не впадая в спячку, со всем сбереженным за 17 лет отлучки азартом. И уже начинает работать на Алма-Атинской киностудии, сразу и навсегда забыв, что всего полгода назад писал тому же адресату:

«…В течение скоро уже двух десятилетий лично я делаю совсем не то, к чему имею способности. Можно себе представить, как это меня бесит — если к тому же принять во внимание, что результаты деятельности других людей на „моем“ поприще отнюдь не подтверждают в моих глазах утверждение насчет „незаменимых нет“. Это бешенство, эта неукротимая ярость по поводу моего устранения от любимого дела, подкрепленная точным знанием, что и обществу — государству это мое устранение, скорее, вредно, нежели пользительно, поддерживает во мне какое-то минимальное желание дожить до того дня, когда я снова смогу работать „по способностям“, т.е. стать полноценным человеком. Сейчас же, по моему глубокому убеждению, я зря жру советский хлеб — я его не заслужил!»

Теперь он, слава богу, этот свой хлеб зарабатывал в любимом своем кино.

И пора вернуться к Свете (Стелле, она же Катя). Все-таки я был первым после лагеря мужчиной, с которым она проснулась в одной комнате. Мне шел пятнадцатый год, я был строен и спортивен, и пушок над губой уже можно было принять за усы. Я был влюблен, это у меня с молодости носило публичный характер. И тормозом в моих отношениях с девочкой, в которую я и был влюблен, как мне тогда казалось, была моя проявившаяся на уроках танцев неуклюжесть: я никак не мог освоить вальс. Света была тут компонентом, скорее, случайным: двумя или тремя днями раньше она приехала от тетки из Воркуты, первая на этом, ею проторенном, пути.

Света — она же Стелла — Корытная



Яша — он же Яков Евгеньевич Харон

Этих женщин с запиской от Сонюры было потом не то шесть, не то семь. Одну или несколько ночей они занимали гостевую тахту в нашей с мамой комнате на Зубовской, 4. Всем им было от 25 до 30 лет, трех, с которыми у матери потом сложились дружеские отношения, кого она позднее опекала и наставляла на путь истинный, я помню до сих пор. У них в моем тогдашнем ощущении, смысл которого я уяснил лет через пять или шесть, уже взрослым, была одна странная общая черта: их взгляд, которым они смотрели на меня в первое утро их у нас житья, что-то в нем было тревожное, вызывавшее чувство неловкости или даже озноба. Мне сейчас трудно его расшифровать — вот уже лет двадцать, как на меня этим взглядом никто из женщин не смотрит. В нем было что-то оторопелое и беспомощное. Ведь, как я уже сказал, я был первым существом мужского пола, в одной комнате с которым они — на свободе — провели ночь.

Потом мать звала нас к завтраку, и все заканчивалось. А в случае со Светой, еще до завтрака, она накидывала мамин халат, и мы минут пятнадцать исполняли: раз-два-три, раз-два-три, по

скособоченному полу нашей комнаты. Света была моим личным тренером по вальсу. Ну а кроме того — у нас скоро появился общий жизненный идеал. Светка, правда, очень быстро вышла за него замуж, а это, придавая идеалу мелочные жизненные черты, его постепенно разрушает, мне же было легче и проще.

Месяцы с мая по август пятьдесят пятого — это бешеный галоп: Харон то в Алма-Ате, где устраивается на работу, то в Ялте, где помогает друзьям в съемках «Белого пуделя» по Куприну, то в Москве, словом, как уж там у них произошло, но 2 августа написанный от руки, в отличие от всех остальных писем Якова, напечатанных через 1 интервал на машинке, в Воркуту поступает вырванный из тетради в клетку лист:

«…Жизнь моя за последнее время начинает наполняться до краев такими сногсшибательными ланцадрицами, что не остается времени для сна, не говоря уже об эпистолярных украшениях…

Короче говоря, это письмо я пишу тебе, сидя за столом у моей молодой жены — небезызвестной тебе Стеллочки (Светланы). Когда ты очухаешься от обморока, в который повергло тебя это сообщение…»

Вторая сторона листка — почерк Светланы.

«Вам знаком мой супруг гораздо больше, чем мне, так что к его художественному свисту вы уже привыкли. Вы первая рассказали мне о Дальневосточном стихотворце, родив мечты о возможной встрече. Встреча состоялась с неожиданной концовкой. Я оченно, оченно счастлива, даже мечтать о таком не смелось…» А в конце приписка Харона:

«Запятые проставлены мной (Я. Х.). Ошибки устранены там же (Ред.). В остальном — еще неизвестно, кто из нас свистун!!!»

Квартира, откуда молодые пишут послание своей невольной свахе, — это, видимо, та самая квартира Светки и ее мамы на улице Шверника, где Белла Эммануиловна поселилась после возвращения из своей ссылки вместе со вторым мужем, таким же ссыльным, Давидом Менделевичем Шерманом, почти слепым человеком с выжженными глазами. Наша общая семейная легенда гласит, что Белла и Давид, получив разрешение вернуться в Москву, бросили все, захватили самое необходимое и остановили первую попавшуюся попутку, идущую в сторону железнодорожного вокзала. Беллу посадили в кабину, Давид влез в кузов. По несчастью машина везла бутыли с серной кислотой, и на одном из ухабов… Словом, приехали они, когда лицо чуть-чуть зажило, но зрение восстановить так и не удалось. Несмотря на усилия врачей, Давид с трудом различал признаки света. Я много раз видел этого маленького ироничного человека, не только никогда ни на что не жаловавшегося, но вносившего мир в это

семейство, где исторические противоречия и конфликт поколений носили вполне конкретный и непрерывный характер.

А моя мать пишет Сонечке в июле 55-го все еще в Воркуту, несколько разрушая эту идиллию всеобщего возвращения: «… Сердечный привет всем вам от Стеллы. Ей, бедняжке, сейчас очень трудно. Отношения с матерью никак не налаживаются, и обстановка в доме очень тяжелая. Вот как устроен мир. Казалось, что б еще? А глядишь, и все мало» — в этом письме мама моя наконец-то вместо мифической «Кати» называет Стеллу — Стеллой впервые, но без каких-либо пояснений. Так это и останется для меня секретом: почему с самого Стеллиного приезда в Москву, описывая различные повороты и перипетии ее судьбы, мать зовет ее Катей, что за этим, каков тайный смысл псевдонима? Уже некого спросить.

Ну и раз уж я взялся за переписку сестер Ласкиных, попробую выбрать несколько кусков, иллюстрирующих или проясняющих ситуацию вокруг романа Якова Евгеньевича и Стеллы Семеновны.

Из письма от 7 сентября 1955 года: «Вчера я узнала, что Яша и Света написали тебе письмо с признаниями. Я сама была посвящена в это событие 4–5 дней тому назад (*прошу обратить внимание, что письмо, о котором идет речь, отправлено в Воркуту больше месяца назад, какой мадридский двор вокруг развернулся — не ведаю. — А. С.*) При всем том, что я очень люблю Харончика, мне немножко жаль Стеллу. Но она такая яростно-влюбленная, что готова своротить горы. А Яша, со свойственной ему холодностью, совершил явно не очень честный поступок (Марг. Алекс. ничего не знает), а тут, как ему кажется, он обрел то счастье, которое вполне заслужил. В общем все это очень сложно. Ко всему прочему есть еще предыстория…» И в продолжение — из письма от 9 сентября: «Стелла вцепилась в Яшу мертвой хваткой со дня знакомства. Я это поняла сразу, но до отъезда Яши с М. А. в Алма-Ата только посмеивалась над этим. Решение о совместной жизни пришло в переписке (очевидно). Я подробности не знаю. М. А. ничего не подозревает. По приезде в Алма-Ата он должен ее посвятить. Ты ведь знаешь, что Яша эгоист и в общем человек холодный. Меня он уверяет, что обрел счастье. Я ему не верю, но понимаю, что жизнь в семье Стеллы в Москве, конечно, лучший вариант из всех возможных. Стелла же еще не понимает, что ее счастье пока заключается только в том, что вышло так, как ей хотелось. А что будет дальше, кто знает? Мечтают о сыне…» Уже больше полувека прошло, уже на свете в живых только этот сын, о котором они тогда мечтали, да я, добровольный Пимен этого давнего романа, а как интересно: как сильно в матери, для которой Яков — вечный и надежный друг, и Стелла, в сущности

обретенная дочка, как сильна в ней солидарность с брошенной, которую, как ей кажется, обманули, как готова она обвинить двух счастливых перед лицом одного человеческого несчастья. Вот, что пишет она 5 октября: «…Несколько дней назад пришло решение по Яшиному (Харончика) делу. Он реабилитирован по делу 37 года и 48 года. Скажу тебе по большому секрету, что это дело взяла в руки Стелла, и еще до всех матримониальных событий, воспользовавшись своими связями, двинула вперед гигантскими шагами. Каким образом это произошло, я расскажу тебе лично, но ты об этом никогда ничего не знала и не подозревала <…>».

В ноябре 55-го Сонечка наконец вернулась в Москву. Вскоре Харон не только был реабилитирован, но и вместе с супругой получил собственное жилье в центре Москвы на Садовом кольце в двух шагах от Колхозной площади, напротив кинотеатра «Форум», в доме, построенном классиком советской архитектуры Жолтовским где-то в 53–54 годах. Более идиотской конфигурации комнат придумать было трудно: одна из них вообще была треугольной. По периметру пола эта теоретически трехкомнатная квартира была на несколько метров меньше, чем по периметру потолка — эдакая пирамида кверх ногами. Словом, нужно было употребить всю хароновскую жизнеутверждающую изобретательность, чтобы вписаться и жить там, да еще и гостей принимать. А вскоре в этом доме появился Юрка — ну как еще могли назвать своего сына Яша и Света? Конечно же, именем второго автора Гийома дю Вентре.

Дом был начинен всеми новинками электротехники, и Юрка научился включать свой проигрыватель со сказкой на ночь, чуть не раньше, чем говорить «мама». А с его «учить выговаривать буквы» была неслабая история, как папа, т.е. Харон-старший, долго обещал ребенку велосипед, если тот сумеет наконец выговорить твердое… «р», но обязательно в слове «синхрофазотрон». Пока наконец однажды Юрка не загнал его в угол и не продекламировал: «Синхрофазот-р-р-рон, синхр-р-рофазотрон, синхр-р-рофазотр-р-рон, когда купишь вер-р-росипед?»

В том, что я в конце концов стал режиссером есть немалая доля хароновского влияния. Учителями мы в жизни обычно называем тех, чьи принципы или методы мы переняли или усвоили. Но есть еще и третий вид такой учительско-ученической связи — сила жизненного примера. Пожалуй, в случае с Хароном определиться будет не так просто. Я лично остановился на жизненном примере, ибо жизненный принцип Харона: установка на шедевр — это то, что можно, конечно, иметь в виду, но крайне нелегко воспроизвести в жизни, тем более что и у самого Харона

это ни разу не получилось довести до конца, до точки, ни разу не был он осуществлен в полной, удовлетворявшей его профессиональные амбиции, мере. Но ждал он шедевра от всех, с кем работал, и был крайне жесток в оценках, когда в силу тех или иных причин уровень сделанного не достигал задуманного или тем более заявленного. Поэтому с Хароном легко и приятно было общаться, приятельствовать, но работать с ним было трудно, а порой и мучительно. У него было одно удовольствие учиться, но реализовывать усвоенные приемы и правила лучше было с кем-нибудь другим, менее истово их исповедовавшим.

Помню, каким шоком была для меня реакция Якова Евгеньевича на только что вышедший и заслуженно популярный фильм Саввы Кулиша «Мертвый сезон».

«Для меня этой картины не существует, — отрезал Яков,— там в кадре подъезжает „Плимут“, а в фонограмме у него работает двигатель „Москвича“. Это халтура!» И никаких способов переубедить его, приводя в качестве аргументов массу актерских и изобразительных достоинств. Нет — и все.

Впрягаясь в работу, Харон совершенно искренне пренебрегал банальностями типа «знай сверчок свой шесток». Его касалось все. Так, в одной из немногих своих картин, которые он засчитал себе в плюс, — «Дневные звезды» Игоря Таланкина — именно Харон привел на пробы блистательно в конце концов сыгравшую в фильме Аллу Демидову. И Харон же в кадрах убийства царевича Дмитрия придумал и сам держал в момент съемок клизму с заменителем крови над телом убиенного младенца. Его собственная увлеченность кино была так велика, что он завлекал, привлекал и вовлекал в это занятие окружающих. Увлек и Стеллу, которая после защиты диссертации по Достоевскому стала заниматься киноведением и даже кинокритикой. Их дом на Колхозной стал типичным домом московской художественной интеллигенции: где читают, смотрят и обсуждают все новинки; где зарабатывают немного, но жить можно; где поят кофе гляссе, сделанным по особому хароновскому рецепту, когда к кофе и мороженому добавляется две чайные ложки виски; где обсуждаются все политические новости, правда, смысл этих событий каждый трактует по-разному — в зависимости от своего отношения к предыдущему лагерно-ссылочному опыту. Здесь возникали конфликты. И после снятия Хрущева и начала возвращения Сталина в историю и политику конфликты пошли серьезные.

Конфидант — человек, которому ты доверяешь свои тайны, сокровенные мысли, мучающие тебя сомнения. Так получилось, что конфидантом всех трех главных спорщиков этого дома — и

Харона, и Стеллы, и Беллы Эммануиловны — стала моя мать, так что сотрясавшие внутренний покой дома противоречия доходили и до меня, бывавшего там от случая к случаю. В сущности, схема конфликта полностью соответствовала личному опыту его участников. Харон — среднее, беспартийное поколение, для которого арест был нелепостью, несуразностью — чем угодно, кроме закономерности. Белла Эммануиловна — старый член партии — свои 17 лет тюрьмы и лагеря считала одной из неизбежных ошибок товарищей по партии, в остальном все делавших верно и последовательно. И Стелла — младшая, раньше всех (не по срокам, а во возрасту) хлебнувшая ужаса сиротства и лагеря, к которой — единственной — точно подходило определение Шаламова, что лагерь — тотально отрицательный опыт для людей и вместе, и особенно в розницу. Люди, в повседневной жизни любящие, заботливо и нежно относящиеся друг к другу, уважающие друг в друге мужество и терпение, стоило возникнуть меж них призракам прошлого, срывались как с цепи. А призраки эти возникали регулярно, ибо большинство друзей, приходивших в дом, звонивших, тех, о ком заботились и чью заботу о себе принимали без внутреннего протеста, — все как на подбор имели те же изъяны в биографии, будь это племянник Беллы — вечный диссидент Петя Якир, тетка моя Софья или другие старшие подруги Стеллы по Кирпичному заводу.

Как идиллически описывал это Харон в комментариях к Гийому: «Небольшой возрастной разрыв <…> был все же достаточен, чтобы я сел в тюрьму юнцом комсомольского возраста, а теща моя — коммунисткой с изрядным стажем. Поэтому наши наблюдения и выводы носили несколько различную окраску и были нам взаимно интересны.

— А кого винить-то? — спрашивала моя теща с глубоким вздохом. — Мы совершали революцию, мы защищали ее на всех внешних и внутренних фронтах, мы сами строили государство. И если мы его так построили, что в нем — несмотря на ясные предупреждения Ленина — оказалось возможным возникновение культа и всех его трагических последствий,— зачем же искать виновников на стороне?»

Харон, со своей любовью к правильно поставленным запятым, конечно, являл себя миротворцем, но для Светы, чье восприятие прошлого носило характер не всеобщей, а личной трагедии, ужаса беспросветности, личного бесправия, страха, одиночества, каждый происходящий в жизни поворот к несвободе был драмой, и искать виновника этих драм в себе она не хотела и не могла. Жизнь становилась ужасом. Ужас — болезнью. Пока Харон извлекал из этих поворотов объективные несуразности, а Белла

Эммануиловна — исторические уроки для отринувших марксизм, у Светы это был накапливающийся сгусток нездоровья, даже когда повод сам по себе был бытовым или нелепым.

Юрка Харон вспоминает, как в шестьдесят пятом, когда снятый уже со всех постов Хрущев жил на даче, их пригласили с мамой в гости, куда они приехали, то ли опоздав, то ли опередив назначенный час. Никиты Сергеевича с Ниной Петровной не было, они ушли за грибами, мама Стелла, с мамой Радой о чем-то заболтались, а Юрка с Васей — сыном Рады и Аджубея — тырили на кухне впервые увиденную Юркой молочную кукурузу, сваренную в початках. Так для Юрки в его жизненном опыте слились воедино Хрущев и кукуруза. Но ведь поездка к отставному генсеку уже была диссидентством и мама Стелла не могла этого не понимать, хотя и не поехать в гости к другу своего отца не могла. Ехала с сыном. Уезжала со страхом.

Здесь я перейду от фактов к догадкам. Мифическая «Катя» становится Стеллой именно тогда, когда матери становится понятной неведомая дотоле, но вполне просматривающаяся из последнего, рассказанного младшим Хароном, эпизода, связь между реабилитированной среди самых первых Стеллой Семеновной Корытной-Якир и лично, или через каких-то доверенных лиц, Никитой Сергеевичем Хрущевым. Тогда понятны и скорое освобождение Беллы, и невероятно быстрая реакция властей на просьбу Харона о реабилитации, и квартира в самом центре Москвы — все становится на свои места, а главное — абсолютно естественно, что эти связи не могли быть обнародованы, пока Никита Сергеевич занимал все ключевые посты во власти. В этой исключительности ее ситуации была и опасная черта: если ты не можешь объяснить, почему ты такой везучий, возникают подозрения, что твое освобождение сопряжено с каким-то постыдным поступком или подозрительными связями в твоем лагерном прошлом. А с другой стороны — связь эта настолько гиперболична для всеобщей повседневности, что объявлять о ней всем — нелепо, невозможно и даже отчасти стыдно. Теперь только представьте, как и чем оборачивается эта связь после снятия Хрущева. Она сама становится аргументом для обвинения тебя в антигосударственных побуждениях, а в собственном, достаточно воспаленном воображении — поводом для пересмотра всех тех благих результатов, которые тебе эта связь принесла.

Добавлю к этому, что, как удалось выяснить, отец Стеллы был не просто хрущевским приятелем, он был именно тем старшим товарищем, который вытащил Хрущева из Украины в Москву, где сделал первым своим замом по московскому областному

комитету партии, т.е. определил его партийную карьеру. Не знаю, как по-партийному, но по-человечески у Никиты Сергеевича было достаточно причин относится к памяти Корытного с благодарностью. А Света и была этой памятью.

Но для нее вся эта исключительность была западней, а перемена в участи Хрущева — еще и двойной ловушкой. Подумайте о реакции окружающих, если даже моей матери невероятная скорость решения дел, за которые бралась Света, казалась чем-то если не предосудительным, то уж подозрительным безусловно. На этой истории надо было поставить точку, и жить дальше с чистого листа. Но сделать это Света не сумела, да и, как говорилось выше, вся атмосфера ее дома, дома ее матери, состав друзей и знакомых решительно этому противились. Света жила в настоящем, но все больше погружалась в ужас прошлого, которое представлялось ей неминуемым будущим.

Света предприняла три попытки покончить с жизнью. Две — с помощью снотворного, и Якову удалось оба раза их перехватить, откачать ее, привести в порядок. Но уже никакие «примочки» свободы в виде поездок с Хароном в Германию и Италию не могли снять с жизни тень нарастающего внутри ужаса. И в конце шестидесятых Света это все-таки совершила. На ее похоронах, на круглой площадке перед крематорием у Донского монастыря, где делятся своими грустными воспоминаниями все те, кто пришел проститься с покойником, Яков с каким-то перекошенным от странного восторга лицом, шепнул мне, глядя на собственную бесслезную, горестную, но бестрепетную тещу: «Посмотри, вот это женщина! Ни слезинки — железное поколение!» И не знаю, чего в этом было больше: восторга или трепета.

А потом Харон женился на моей памяти в четвертый раз. Женился на замечательной женщине — враче, которая была другом их со Светой дома и которая провела рядом с Хароном самые тяжелые его последние три года. В эти годы Якова окончательно догнал и в конце концов удушил лагерный туберкулез, и последние полтора года он то лежал в очередном приступе, то ваял на «Мосфильме» свой последний фильм «Гойя». Я — хоть убей — не помню хароновских похорон. Последнее мое о нем воспоминание живое и, я бы даже сказал, несколько макабрическое. Харон в постели, на высоких подушках — поза помогает ему дышать — рассказывает мне, как надо считать дни, чтобы женщину при соитии уберечь от беременности. Рассказывает в подробностях — с экскурсами в биологию животных и китайскую медицину. Происходит это в связи с моим последним огорчительным проколом по этой части,

ликвидировать последствия которого помогала мне хароновская жена Неля. Харон, как всегда, ироничен, эрудирован и содержателен, и все это выдается на-гора в форме трепа, прерываемого тяжелыми приступами кашля. Я не знаю, что Харону жить осталось неделю, Харон об этом подозревает, но всепобеждающее учение Харона о том, что жизнь и смерть — это совершенно разные ипостаси существования, уравнивает слова говорящего и память слушающего.

— Ты бы взял бумажку — сроки записать, — говорит мне Харон. Я не беру бумажку, я помню все им сказанное в тот день, как когда-то помнил стихи дю Вентре, строфу за строфой.

Иванишев А. Г., или Деда Саша

Отчим отца — мой дед Саша — перед Первой мировой войной. 1912 г.

Вообще-то он был Александр Григорьевич Иванишев, но в

семейном обиходе именовался дедой Сашей — особенно заглазно.

Родился он в 1883 году, в семействе паровозного машиниста, происхождения, стало быть, пролетарского, но среди пролетариев — элитарного. Сколько всего было у деда братьев и сестер, я не помню, но двоих помню точно: дядю Мишу, жившего под Москвой, в родовом гнезде деда, тогда называвшегося Ухтомкой, и так — похоже — по сей день. И тетю Варю, жившую в большой комнате классической коммуналки в Москве, на Петровских линиях, где долгое время по приезде в Москву обитали потом и деда Саша, и жена его Алинька. Дед, как ни странно, самый описанный в отцовской литературе персонаж. Ему посвящена поэма «Отец», его черты, да и облик обнаруживаются у персонажа пьесы «Русские люди», Васина. Вообще у всех отцовских героев — последовательно военных, то есть с юности избравших этот род занятий и имевших или выстроивших в соответствии с ним характер и мировоззрение, вплоть до Серпилина в «Живых и мертвых», есть какие-то черточки дедова кремневого характера. Личность деда оказала большое и четко направленное влияние на характер и мировоззрение отца: любовь к армейскому «что сказано — отрезано», «да — это да, нет — это нет. И спорить бесполезно». Преклонение перед понятием «солдат», жесткое и недвусмысленное представление о солдатском долге как главном долге мужчины. Всю Великую Отечественную, пройденную отцом «от и до», с ним неотступно была память об отчиме и его несгибаемых, не подлежащих сомнению нравственных понятиях солдата.

Как было обещано, вот он передо мной — послужной список Иванишева, подполковника 20-го пехотного Галицкого полка, составленный 28 мая 1917 года, написанный четким и витиеватым писарским почерком. Командир батальона. Кавалер орденов Св. Георгия IV степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени с мечами, Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станислава III степени с мечами и бантом. Имеет медали: темно-бронзовую на Александро-Георгиевской ленте, светло-бронзовую на Владимирской ленте и светло-бронзовую на Национальной ленте. (*Никогда этих награду деда я не видел. — А. С.*)

Из потомственных почетных граждан Московской губернии, вероисповедания православного, родился 9 августа 1883 года (*старый стиль*. — А С.), Казанское реальное и Московское военное училище окончил по первому разряду.

Подполковничье жалованье его за год состоит из собственно жалованья — 1344 руб., добавки в 480 руб. и столовых — 660.

Итого в год 2484 рубля. Примерно по 200 руб. в месяц.

В армии с 1903 года.

Унтер-офицер — 1904.

Подпоручик — 1905.

Поручик — 1908.

Штабс-капитан — 1912.

Капитан (за боевые заслуги) — 1914.

Подполковник с мая 1916.

Участвовал в походах и делах против Японии, Австрии, Германии. Трижды ранен. Отдельная запись свидетельствует о безупречном исполнении воинского долга:

«20 июня 1916 года, у деревни Горный Скробов, командуя 3-м батальоном 20-го пехотного Галицкого полка, при исключительно трудных обстоятельствах, в минуту замешательства и остановки батальона, вызванной выпущенными противником удушливыми газами, он, несмотря на ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, личным примером ободрил своих солдат, привел их в порядок и во главе батальона вновь двинулся в атаку, преодолев очень широкую полосу искусственных препятствий противника, овладев весьма сильно укрепленным пунктом его позиций, занятие которого имело решающее значение на исход боя, захватив одно орудие».

Пункт XI — холост.

Пункт XII — есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное. Ответ: «Не имеется». С щеголеватым писарским росчерком на «я».

Пункт XIII — подвергался ли наказаниям или взысканиям <…> по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке. Ответ: «Не подвергался». И вторая, еще более изысканная загогулина после «я».

И в конце послужного списка, состоящего из семи пронумерованных листов, подпись командира 20-го Галицкого пехотного полка подполковника Островского.

Приложено и свидетельство о последнем ранении: 20 июня 1916 года тридцатидвухлетнему подполковнику пулей раздробило кость третьего пальца правой ноги, и был он перевязан и эвакуирован с поля боя.

Открытка с дороги. Второй справа среди стоящих — дед. Едет на Японскую войну, 1905 г.

Как происходило превращение царского подполковника в командиры Красной армии, доступная мне часть семейной истории умалчивает, тем более что происходило это еще за ее рамками. Но из переписки известно, что семейство покойного князя Оболенского оказывается в Рязани, чтобы подкормиться после голодного Питера, и знакомство бабки с будущим мужем происходит именно там, на рубеже 1919–1920 годов.

Очень точная строчка, кажется, Слуцкого, «есть кони для войны и для парада» — так вот, деда Саша, безусловно, относился ко второй, непарадной, категории офицеров, был невысокого роста с головой в форме огурца, с высоким, еще увеличенным ранними залысинами лбом и жесткими усами, по мере удаления от военных занятий сокращавшимися в объеме и терявшими франтоватость. По причине отравления газами носил очки — маленькие, в круглой роговой оправе, а читал в годы, что я уже помню, присоединяя к очкам большую лупу. Но выправку имел до самой смерти бравую, спину держал прямо, был гибок, но не гнулся. Всегда ходил в сапогах, лучше старых, сшитых на заказ, чем новых, но массового производства, в полувоенных френчах, галифе и пальто типа шинели, или шинели типа пальто, и все попытки купить ему туфли или шубу обычно кончались его жестким «нет». Бобровую шубу и шапку пирожком отец купил ему в последние пять лет жизни, и дед их не любил, хотя гордился подарком и его добротной прочностью.

Первые документальные упоминания о деде Саше восходят к

21 году и содержатся в письмах старших сестер бабки Александры Леонидовны. Я приведу несколько отрывков из этих писем, не только знакомящих адресата с новым персонажем этой несчастной семьи, но и дающих представление о той стороне их жизни, которая не нашла отражения в отцовском творчестве.

Из писем Софьи Леонидовны Оболенской (2 июня 1921 г.):

«…Аля, после долгих исканий, сошлась с одним бывшим офицером, и сейчас, кажется, у тихой пристани. Кирюша ее преумный мальчик, она еще служит в Гублескоме».

(7 июня 1921 года):

«…Аля пережила много душевных драм, Миша ее так и не вернулся, да и слава Богу, конечно, раз что он человек больной. Жизнь ее, конечно, разбитая, не может она напасть на подходящего человека, нервничает, все время неудовлетворенная, а в силу этого и Кира, мальчик необычайного ума, но ужасно издерганный. Да, я забыла сказать, что Люля заключена в административном порядке за то, что как „бывшая“ в контрреволюционном духе воспитывала детей дома „Грудного ребенка“, и за то, что плохо их кормила…»

Из писем Дарьи Леонидовны Оболенской (29 сентября 1921 года):

«…Недавно приезжала из Рязани Аля, чтобы хлопотать о возвращении своей обстановки, прожила уйму денег, а когда отпуск ее уже кончился, вышло постановление, запрещающее возвращать прежним владельцам что бы ни было <…>.

Мы жили в Рязани по чужим углам, обворованы дочиста. За месяц до отъезда в Петроград украли последнее белье, приготовленное для стирки, устроить которую надеялись с помощью одной женщины за 40 тыс. на готовом мыле. Деньги эти были выручены за продажу чего-то, но когда прачка пришла, не оказалось ни белья, ни мыла. Приехав в Петроград, пришлось убедиться, что и тут ничего нет. От нашей гостиной и кабинета осталось 2 красных кресла и стол, да четыре зеленых стула и кресло, но и это было приятно увидеть».

А. Л. и А. Г. Иванишевы в гостях у старшей сестры бабы Али — тети Люли (Л. Л. Тидеман), с ее сыном Андреем и дочерью Марусей, 50-е гг.

И снова Софья Леонидовна (теперь уже июнь 1923 года): «… Аля пишет, что собирается сыграть свадьбу с Александром Григорьевичем Иванишевым, с которым живет душа в душу и обрела наконец себе покой; он бывший полковник, в настоящее время читает лекции по артиллерии, а по вечерам с Алей вместе прирабатывает разными кустарными изделиями, состоя заведующим склада кустарей. Человек он симпатичный, добрый, с большим характером, прекрасно влияющий на Алю, а о Кире и говорить нечего — лучшего воспитателя своему сыну и желать нельзя. На вид только он выглядит „недоноском“, да кроме того, удушливые газы дают себя знать на глазах, ну да что делать. Важно, что Аля нашла себе удовлетворение».

Хочу обратить ваше внимание на несколько деталей в этих письмах, с дедом не связанных. Как-то так я прожил свою жизнь, не до конца поняв, чем в реальности оборачивались слова бессмертного Интернационала «кто был ничем, тот станет всем». Как-то не доходило до меня, что формула эта действует и в обратную сторону: кто был всем, тот стал ничем, пока я не прочел этих писем, секретно, через друзей и знакомых переправляемых из внезапно ставшего чужим Петрограда в отделившийся на недосягаемое расстояние Париж, туда, где обосновался родной брат сестер Оболенских, недавний губернатор, бежавший из-под расстрела через Константинополь в 1918 году. В этом

всероссийском ограблении есть что-то такое тоскливо-злобное, такое бессовестно-демонстративное, что сердце заходится от жалости к этим беспомощным, временем, людьми и обстоятельствами публично и демонстративно попираемым женщинам, воспитанным, интеллигентным и готовым приспособиться к любой жизни, кроме подлой — которую им навязали их победившие современники.

И дед для них в принципе — мезальянс, «не нашего круга», хотя они готовы принять и даже полюбить его, если с ним будет хорошо их любимой младшей сестре.

А сестре достался человек редкой верности и надежности, но характера мало приспособленного для семейной идиллии — слишком много в нем было железа: жена офицера не должна работать, подъем — в семь ноль-ноль. Точность вообще была сродни одержимости: дед сроду никуда не опаздывал — каково это было вечно торопящейся и никогда не поспевающей бабке.

Но было в деде еще что-то, что могла знать только Александра Леонидовна, что составляло дедову суть и так резко и неохотно выпускалось наружу, что только в одном бабки Али письме я нашел об этой сути упоминание. Письмо это бабки — отцу, 56-го года, и написано после прочтения только что присланной поэмы «Отец», той самой, а выражает оно одно только, как дед нас любил: Алю, отца, меня, но терпеть не мог, это нам каким угодно способом демонстрировать.

А. Г. Иванишев всю жизнь оставался верен военному делу. На занятиях в Перми в эвакуации, 1943 г.

«… Мы на 3 дня уезжали в Москву, (*из Рязани. — А. С.*) тебе 6–7 лет, ты остаешься у старушки Латышевой, которая тебя обожала, а предварительно везешь к ней сам, как полагалось в нашей суровой жизни, свое имущество на салазках. Видимо, ты вспотел — вернувшись я застала тебя с сильным воспалением легких. Ездила я ради папы тот раз, и он очень мучился и пугался. И вот, дойдя до предела усталости и волнения, я, как сейчас помню, заснула на полу у твоей кроватки, дежурил он, и когда я проснулась, ты мне сказал: „Мамочка, он целовал мне руки, говорил: „Мальчик мой дорогой, детка моя родная““. После этого ты захотел слово „Сашуля“ заменить словом „папа“».

Но при этом с первой же стычки с отчимом отец узнал, как стоять в углу в наказание за непослушание. В общем, что это я пытаюсь его поэму пересказать своими словами. У меня и самого есть вполне достаточный опыт общения с дедом Сашей.

Первый опыт — времен войны. Сам не помню, но в архиве отца нашел такое его письмо (написано в сентябре 42-го из Челябинска — отцу на фронт):

> «6.9.42
> 9.30 (*характерно! — А. С.*)
> Здравствуй, дорогой Кирилл!
>
> С 9 августа я провожу свой отпуск у Алешки в Челябинске. Он прелестный, умный ребенок. Очень сообразительный, находчивый, а порой и хитрый, иногда капризничает и очень любит шалить. Шалости детские, не вредные. Ведет себя геройски. На днях мы сидели с ним в детском ПКО. Вовка сидел верхом на деревянном коне-качалке и подрался с соседним мальчиком его возраста (8 лет). Вдруг Алешка соскочил со скамьи и стрелой помчался к ним, начал его (Эмиля) так тузить кулачонками, что тот обратился в бегство.
>
> За этот месяц старался отучить от капризов и хныканья. Но еще не достиг успеха, хотя уже реже стал капризничать. Недавно за ужином стал показывать фасоны: „Не хочу каши, дайте картофеля“, предупредил, что надо кушать то, что дают, иначе можно выйти из-за стола и лечь спать без ужина, так и случилось. Конечно, у бабушки сердце обливалось кровью, но сделать она ничего не могла. Эта мера хорошо подействовала на Алешку, да и на Вовку, чуть капризы, сейчас напоминаю — и ребята отлично едят. Утром Алешка на меня жаловался Женичке, она возвращается с работы в 12 ч. ночи и даже позже, но от нее получил подтверждение

правильности решения дедушки и смолк. Когда я его наказываю, заявляет, что он не будет любить меня, но быстро забывает и опять мирится со мной. Кирюша, карточку прислать новую почти невозможно. Я ходил в фотографию — отказались, снимают только миниатюры на паспорта и анкеты, нет бумаги; схожу в ДКА, говорили, что, быть может, у них есть фотограф. Пытаюсь получить здесь в Челябинске комнату, Малый театр едет в М.[оскву], в институтах есть для меня работа, тогда переедем сюда, если отпустят из Физм. и-та, где я работаю. За Алешкой надо смотреть и его воспитывать, иначе будет портиться. Берта Павловна целый день по хозяйству, Вовка с 8 до 12 ч. дня в школе, а потом приходит и шалит, дразнит и портит характер Алешке, да у соседей есть 5 л. мальчик, который приходит из детского сада и учит многим шалостям.

Один Алексей отлично играет. Да и нам в смысле питания будет много лучше. Кирюша, у Алешки нет шубки, мы ходили несколько раз на барахолку, но ни материи, ни [нрзб]

найти не могли. Если у тебя есть старое пальто или тужурка, пришли ее через Фани, вату и подкладку здесь найдем, или скажи Варе, не найдет ли она у Лиды или других знакомых что-либо подходящее для шубки. Мама сильно похудела и постарела от твоих редких писем. Плохо спит по ночам. Только не пиши ей об этом, а лучше каждый месяц присылай хотя короткую открытку, это сразу подбадривает. Желаю тебе здоровья, успеха и сил на трудную работу.

Крепко целую тебя.

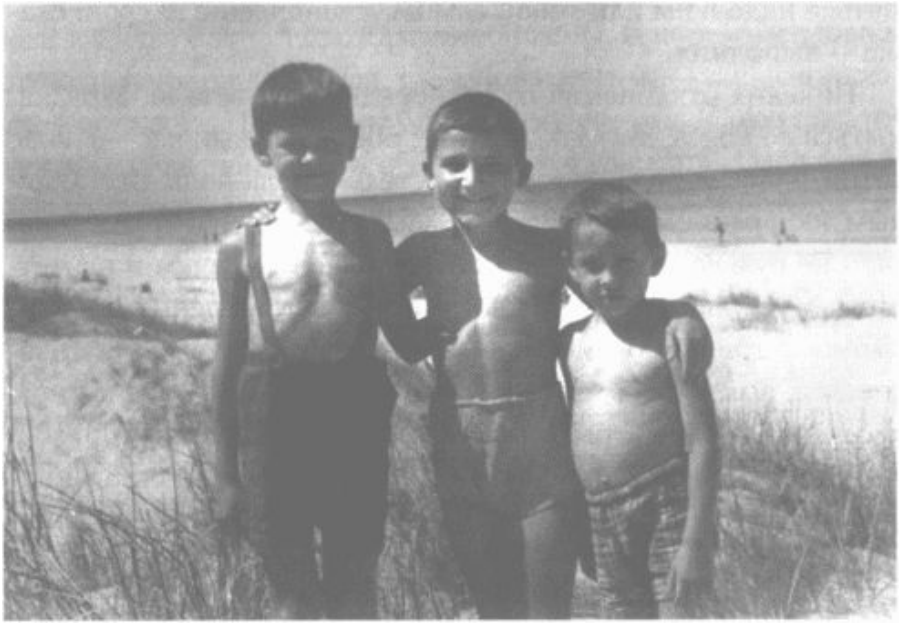
А. Иванишев».

У деда Саши было несколько любимых историй про детей. Самая памятная про мальчика и волка, а может быть, и не мальчик там был, но, встретив волка, этот то ли мальчик, то ли взрослый не испугался, и когда волк открыл пасть, чтобы его проглотить — сунул в эту пасть руку, схватил волка за основание хвоста и вывернул наизнанку. В этой байке все нереально, кроме отваги — ради нее и рассказывалась эта история. И надо сказать, когда я ее слышал, то охотно воображал себя этим мальчиком, и никакие сомнения утилитарного порядка насчет правдивости истории не омрачали мое юное воображение.

Вторая дает представление, как дед относился к стихам. Обожал мне читать:

«Боже, — думает Алеша, — то наверно кости гложет красногубый вурдалак. Он меня съест, если я земли могильной с ним не съем», — тут я замирал, несмотря на очевидные поэтические неточности произносимого текста.

Мы с дедом на Гоголевском бульваре, 1946 г.



С друзьями на Рижском взморье (Н. и Ф. Чирсковы), 1948 г.

Вскоре после войны, в 47–48 годах, будущий «врач-убийца» знаменитый отоларинголог, профессор Фрумкин, осматривал мои гланды, вечно порождавшие ангины, и порекомендовал отвезти меня на лето туда, где море и сосны, — так возникла идея поездки в Прибалтику, где к тому времени Союз писателей обрел два пансионата: в Дубулты и в Дзинтари. Отец готов был отправить меня туда на все лето, дело было только за сопровождающими лицами, ибо мать, к тому времени поступившая на работу в Радиокомитет и пока что не уволенная из него по пятому пункту, еще даже на первый отпуск не заработала, посему единственным резервом были деда Саша и Алинька — родители отца, то есть родственники писателя, что делало их пребывание в писательском доме официально оправданным. И вот два лета подряд дед с бабкой поочередно пасли своего внука в Прибалтике. Кстати, «врач-убийца» был настоящий доктор: лет пятнадцать потом я не знал, что такое ангина… Прибалтика была недавно освобожденная, немного, видимо, испуганная, как я теперь понимаю, и не по-нашему чистая и размеренная, чем очень нравилась деду. Вот отрывок из его письма к отцу: отчет конкретный и четкий:

> «…Комната у нас хорошая, кругом зелень и чудные сосны. Несколько раз были на море, но еще никто не купается. Кормят нас хорошо, дают такие большие порции, что не только дети, но и взрослые не с’едают.

Масло 150 гр., сахару 100 гр., молоко, сметана, творог, белый хлеб и т.п. в изобилии».

Дед не ограничивал мою девяти-десятилетнюю волю, он только вводил ее в жесткие временные рамки: купайся, играй, с кем хочешь, только потом не жалуйся, а главное — возвращаться надо в им или тобой самим установленный срок: сказал — выполнил.

Никаких отклонений от распорядка дня: встали, зарядка, мыться до пояса, завтрак, гулянье, обед, мертвый час — спать, потом опять гулять — ужин, в постель в ноль-ноль. Все. Главным поощрением были походы с дедом в платный тир, где стреляли не пульками, а остриями с кисточкой, причем и на меткость, и на удачу: крутили перед тобой круг с делениями, и ты выпускал три кисточки наугад, а уж потом, когда круг останавливался, выяснялось, сколько очков ты набрал: на стене тира висела таблица выигрышных сумм и соответствующих призов. Так вот, в тир мы ходили два раза в неделю, если в остальные дни не было за мной каких-либо грехов, особенно по части нарушения обещаний и задержек по времени. Никакие мольбы не действовали и никакие ссылки на других не проходили. Если ты был чист и прав — шел и стрелял. Нет так нет.

Коса нашла на камень в мертвый час: этот час должен был быть мертвым, то есть ни читать, ни смотреть в окно, а главное, не шуметь, сказано «мертвый» — спи. Все. Дед выполнял и это условие неукоснительно: снимал гимнастерку и галифе, откладывал на соседний стул свои очечки и засыпал, предварительно убедившись, что я лежу с закрытыми глазами.

Вот не помню только, в первое это было лето или во второе, но приспособился я деда надувать: дождусь пока тихонько засвистит храпачок, свидетельствуя, что дед попал в объятия Морфея, достаю из-под подушки книжку и сорок пять — пятьдесят минут читаю. Потом, в преддверии звонка будильника, прячу книжку под подушку и закрываю глаза — до дедова подъема минуты две-три.

Что читал, не буду врать, не помню, может, и «Повесть о настоящем человеке», но однажды, оторвавшись от книги, я увидел яростно-изумленный взгляд деда. Встав в своих солдатских подштанниках, дед выпростал из-под аккуратно сложенной верхней одежды толстый военный ремень, сложил его вдвое и…

…Тут я в целях самосохранения нарушил главную заповедь мертвого часа — тишину. Поскольку это было первое, и, заглядывая на все шестьдесят лет вперед, могу добавить — и

единственное мое физическое наказание, визжал я, как будто меня не пороли, а резали, отчего в движениях деда появились первые признаки нерешительности:

— Молчи, — прошипел дед, — мертвый час — не буди соседей.

Ну тут я залился соловьем, понимая, где мое спасение.

Стеганув меня раз пять или шесть сквозь довольно толстое одеяло, дед опустил ремень и вынес вердикт:

— До конца путевки без тира.

В тот же день соседка по корпусу, мамина подруга, та самая Нюня Мельман, прислала маме телеграмму, типа «тиранит вплоть до избиений физических, и приезжай спасать ребенка», о чем через годы мать рассказывала мне с вполне добродушным, но долго почему-то обижавшим меня смехом.

Звал меня дед всегда Алексеем. Уменьшительные варианты не шли у него на язык: Кирилл — отцу, Аля — жене, в минуты высшего раздражения — Александра, остальные по имени-отчеству или по установленным семейной традицией именам. Исключение помню только одно, сестер Ласкиных любил нежно и звал Евгению Самойловну Женечкой и даже Женюрой, Софью — Сонечкой, а Фаню — Дусей.

У отца по другому поводу есть в стихах строчки: «…Той мерой простой и железной проверить кого-нибудь вдруг». Дед был именно такой мерой, если хотите, эталонной крепости и определенности. С ним было нелегко и несладко: попробуйте положить свой гибкий организм спать рядом с эталоном — бока болеть будут долго. Но с ним было и легко: предсказуемость очень облегчает жизнь окружающим.

В «Глазами человека моего поколения» у отца рассказана история ареста деда — в Саратове, весной тридцать первого года. Дед провел в тюрьме несколько месяцев, допрашивали его в уже сложившейся традиции органов по десять часов кряду, без сна и отдыха, под яркой лампой, бьющей прямо в глаза, и пытались заставить солгать. Не добились и ранней осенью выпустили. В чем его обвиняли, отец так и не узнал, а может быть, и остерегался интересоваться или не хотел об этом вспоминать.

Там есть замечательная деталь, характеризующая деда: пришли за ним ночью, но он не открывал дверь, пока не надел полную форму — галифе и гимнастерку с ремнем.

Начальник училища, где служил тогда Александр Григорьевич, повел себя, пользуясь терминологией деда, «по-свински». Жену и сына выселили из офицерской коммуналки буквально на следующий день, чего дед стерпеть не мог, и когда вернулся, высказал свое возмущение начальству в выражениях

соответствующих, а затем ушел в отставку, тем более что состояние здоровья давно к этому подталкивало.

С 1932 года дед преподавал военное дело уже в Москве, сперва на соответствующей кафедре Индустриального института имени Карла Либкнехта, потом — до первых послевоенных лет — в Управлении трудовых резервов.

Что-то из этого я рассказал по «Эху Москвы» в одной из передач. И на следующий день — звонок Саши Брагинского — известного специалиста по итальянскому кино: «А знаешь, он ведь и у нас преподавал, в Инязе». Помнят деда-то, оказывается, не только я.

Потом был период, о котором приходиться писать, сверяясь с документами отцовского архива. Став в 1946 году депутатом Верховного Совета от Смоленщины, отец взял деда на пару лет к себе на работу — депутатским секретарем. Не знаю, хорошим ли помощником был дед, но то, что с той самой поры на все получаемые отцом письма непременно следовали ответы, и система эта, модернизируясь и усовершенствуясь, в основе своей имела четкую военную формулу: получил — ответь, попросили — отзовись, и то, что при всех передрягах, женитьбах и разводах, переездах и перестройках эта система работала, — безусловно, результат нелегкого опыта, который получил отец, взяв на работу любимого отчима.

Отец со своим «депутатским» секретарем, конец 40-х — начало 50-х гг.

Но допускаю, что, во-первых, я ошибся, и работа длилась не «пару лет», а около четырех, и есть несколько версий, как и почему она в конце-концов закончилась. Среди писем бабы Али есть одно от 17 августа, видимо, 50 года, где речь идет ровно об этом.

«…Отдельно — об отце и такое, чтобы он не знал. Видишь ли,

я много думала над тем, как быть с работой дальше. Никакой помощник, независимо от возраста и пола, тут не поможет, п.ч. вдвоем по очереди прочитывать письма, чтобы их заносить в журнал или по исполнении разбирать и подшивать бумаги, или отвечать — невозможно. Отнять у отца это дело — значит убить его. Да кроме того и не найдется за деньги другого человека, который бы так искренне и глубоко болел душой за твоих избирателей и так самоотверженно работал на их пользу, не считаясь со временем и усталостью, как он, кто был бы так настойчив в хлопотах! Выход, по-моему, в том, чтобы тебе лично (может, это лучше через отца) связаться с каким-нибудь юристом и договориться о систематической консультации, скажем, 2 раза в неделю, с тем чтобы все дела, по которым отец настойчиво, но во вред себе, а иногда и в затяжку дела, часами в одиночестве ломает себе голову, разрешались этим самым юристом, а отец являлся бы только исполнителем его распоряжений и писал бумаги по его указанию. Тебе это тоже будет легче. Папе же следует сказать, что ты, ближе столкнувшись с делами и связанными с их решением юридическими трудностями, в докладах Нины Павловны в его отсутствие, увидел, что на него (на папу) ложится ненужная работа, которую может легче и быстрее разрешить юрист, тогда как папа с меньшим утомлением и большей возможностью сможет отдаться своим непосредственным хлопотам и переписке по секретарским делам».

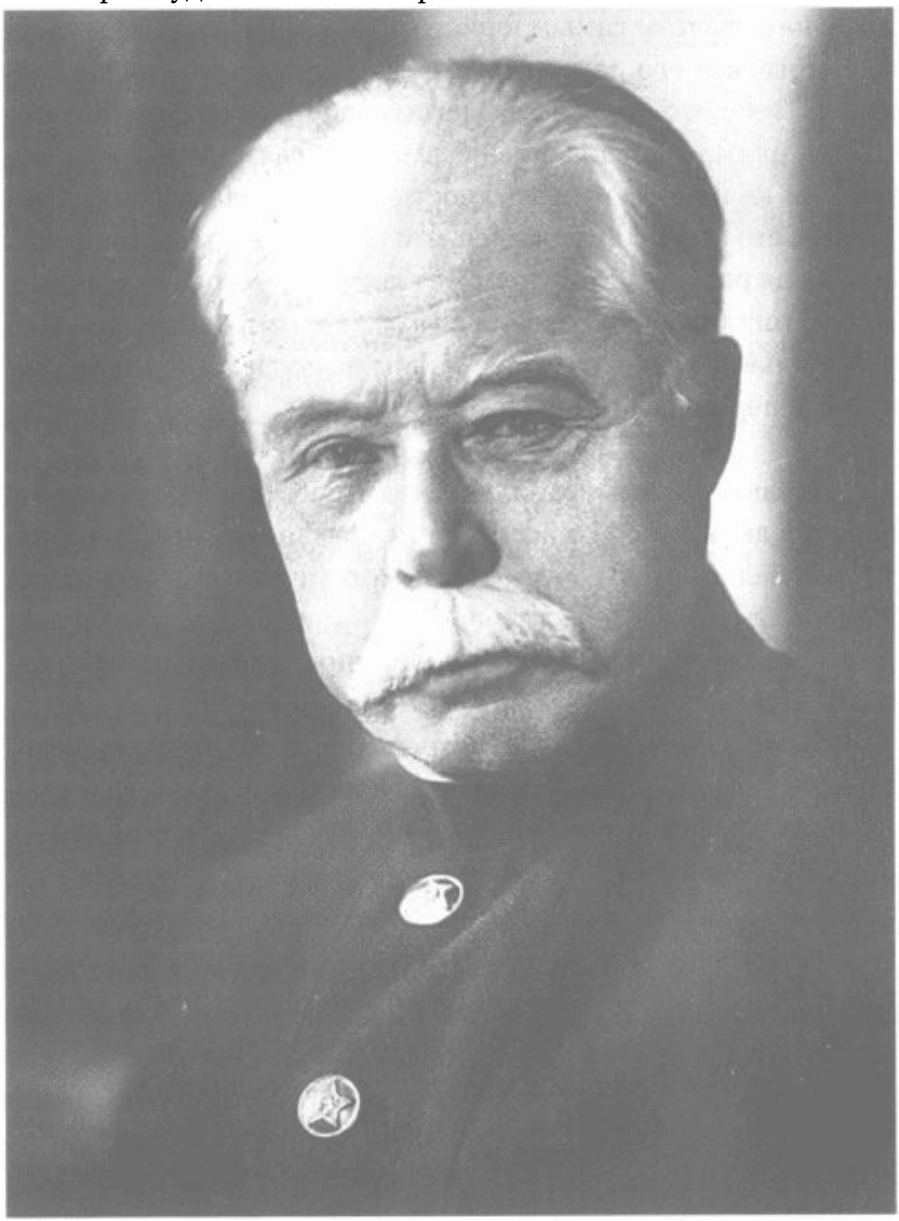
Все-таки, если я правильно понимаю, речь здесь идет о том, что деду тяжко со всеми теми обязанностями, которые на него налагаются, а дед — гордец, он никогда в этом не признается. Это бабка, как, впрочем, и во многих других случаях, старается быть доброй, даже проникновенно доброй, в том числе за счет сына.

Помню слова самого отца; что более жесткого и методичного помощника у него никогда не было. И это при том, что отец умел себе помощников выбирать, были они первоклассные и верные, никогда и ни при каких условиях его не сдававшие, так что слова эти — скорее, результат полученного сыном урока, чем объективная оценка сотрудничества с дедом.

Как уж там они строили свои отношения, сказать не берусь — мал был, но эксперимент длился, видимо, довольно долго. Потом выдохшийся от дедовой требовательности отец то ли его прервал, то ли нашел какой-то благой повод свести его на нет.

До и в начале 50-х дед еще побывал в роли воспитателя-наставника подрастающего поколения. Со мной — в поездках в Прибалтику, с моим сводным братом Толей в Переделкино, на

симоновско-серовской даче, по сию пору вызывающей слюнявый восторг у биографов-беллетристов, а также сценаристов и режиссеров художественных сериалов.



Дед Саша — до последних дней жизни в военном, 1958 г.

Умер дед от рака. Лечить его тогда, в 61-м, не умели вовсе, и, скорее всего, он знал, что обречен. Да и чувствовал себя плохо, и слаб был настолько, что не мог этого скрыть. В свою последнюю больницу он ехал с дачи из Пахры, на «скорой», присланной туда из первой еще Кремлевки, размещавшейся на улице Грановского.

Так получилось, что именно в этот день я оказался в Пахре и сопровождать деда назначен был именно я. И это последнее воспоминание о живом деде, хотя я и навещал его в самые последние его дни в больнице на той же улице Грановского. Дед лежал во френче и галифе на носилках, ему вкололи обезболивающее, и он все порывался ехать сидя, как все. Не помню, что говорил дед, не помню, что говорил я, помню только лютую тоску, которая незримо сопровождала нашу отрывистую беседу, и точно помню: дед не боялся; смотря в очевидное уже ему будущее безо всякого трепета, не вспоминал давно забытого Бога, не говорил банальностей, ехал в смерть, без охов и трепета, предчувствуя этот последний свой жизненный шаг. И только тогда я увидел, какой он маленький, — раньше не замечал.

Толька

Дача в Гульрипши — К. и А. Симоновы и Анатолий Серов, 1954 г.

Вот отрывок из письма деда отцу. Воспитательные средства те

же, что я испытал на себе. И такое же железно-последовательное чувство ответственности за порученное дело.

> «…Анатолий стал исправляться, учится на 5–4 и иногда получает тройки. 2 была только одна за все время по английскому языку. Ведет себя лучше, но еще срывается и порой учителя жалуются на то, что сидит в классе невнимательно, шалит, мешает ребятам. В понедельник с последнего урока убежал и уехал в Москву к Косте на рождение, за что лишен билета на футбол. Но следить приходится буквально за каждым шагом. Добросовестности нет, все делает только тогда, когда знает, что слежу и накажу (хлеб, вода или переделать работу, пока не будет ни одной поправки и исполнено красиво)».

Толька — Анатолий Анатольевич Серов — был моложе меня на месяц и шесть дней. Я родился 8 августа, а он 14 сентября — эти даты помню, как верстовые столбы перед отчим домом. Был Толька русак, белотелый блондин с румянцем во всю щеку и со всеми типичными пороками российского характера, проявившимися очень рано и тем более заметными, что оказался этот характер загнан в сокрушительную для него нелюбовь и ненужность. Я еще найду место рассказать о наших с ним отношениях, а здесь хочу только обозначить формальные рамки проблемы. Толя был сыном таких родителей, что можно только позавидовать: отец — герой Советского Союза, летчик, любимец нации и ее вождя, Анатолий Константинович Серов, которого Толя не знал. Тот погиб почти за полгода до его рождения. Мать — Валентина Васильевна Половикова — Серова, одна из самых красивых и талантливых киногероинь предвоенного, военного и первого послевоенного кино. И с сорок третьего — новый отец, Константин Михайлович Симонов — знаменитый поэт и многогранный деятель поздней сталинской эпохи. Одна, но важная деталь: Толя не был усыновлен моим отцом, о чем и он, и я узнали только в конце пятидесятых. Почему? У меня есть некоторые соображения, которые рискну высказать.

Когда отец влюбился в Серову, он, как и всякий влюбленный, был готов любить ее сына, маму, собачку, словом, все, что было частью ее жизни. Роман был долгим. «Жди меня» написано в 41-м, а замуж Валя согласилась пойти за него целых два года спустя. Поэтому я думаю, что судьба Толи в данном случае решалась Валей, а не отцом. Толя в тот момент был некой дополнительной гарантией ее независимости: сын — мой и пенсия его тоже, как бы ни повернулись дальше наши отношения. И отец это принял.

Но не забыл. И хотя Толька всегда на моей памяти звал его папой, внутренне у отца был какой-то барьер, загородка, ну хотя бы дополнительная портьера, отделявшая их друг от друга, а отца от душевной за него ответственности.

Среди документов под грифом «Секретно» в одном из государственных архивов есть докладная Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. из Нижнего Тагила от начальника группы по делам несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области. Вот некоторые изъятия из этого документа, рассекреченного в 1995 году. (*Орфография оригинала. — А. С.*)

«…в Нижнетагильский особо режимный детский дом направлены на воспитание ряд подростков, имеющие материально обеспеченных родителей.

Основанием для направления этих детей в детдом с особым режимом послужило отсутствие надлежащей заботы о них со стороны родителей, не уделяющих должного внимания вопросам правильного воспитания детей, вследствие чего эти подростки оказались неустойчивыми в поведении.

В связи с этим нас интересует вопрос, почему родители, покалечившие своих детей, остаются безнаказанными, и в отношении их ограничиваются только материальной ответственностью».

Под номером первым в следующем за этим списке от 2 октября 1954 года идет: «Серов Анатолий Анатольевич, 1939 года рождения, сын погибшего героя Советского Союза А. К. Серова. Мать мальчика, заслуженная артистка РСФСР — Серова Валентина Васильевна, имеющая зарплату 1500 рублей в месяц (справка театра). Отчим мальчика — писатель К. Симонов». Далее в списке еще 4 фамилии.

«…В личном деле Серова имеется заключение зав. поликлиническим отделением Московского психо-неврологического диспансера для детей и подростков о том, что подросток интеллектуально полноценен, не является психическим больным, однако труден в поведении, т.к. за ним нет достаточного надзора <…>. Следовало бы т.т. Серову, Симонова <…> и других показать общественности на страницах печати, обсудить по месту их работы, и на их примерах научить кое-кого тому, как нельзя воспитывать детей».

В октябре 54-го, когда составлена эта бумага, Толе уже 15, я виделся с ним только что летом, когда его временно забрали из детдома и привезли в Гульрипши, туда, где под Сухумом у отца была дачка на Черном море. Толька был послушный и благостный, и лишь перспектива возвращения в детдом омрачала его неунывающее чело. Есть фотография, где мы втроем стоим

возле внешнего забора дачи, мы с отцом — из породы горных орлов, с шевелюрами наверх и горбатыми носами, а Толька — как кукушонок, затесавшийся в эту компанию, веселый, разбитной кукушонок.

Мы с Толькой в переделкинских прериях, 1952 г.

Счастливое детство — это подспудное ощущение, что ты нужен окружающим тебя взрослым. Нужен и любим ими, совершенно независимо от твоих талантов или успехов в учебе. Этим воспитание отличается от дрессировки.

Самую универсальную формулу этого процесса я услышал много лет спустя от мудрой Бабы-яги — Надежды Яковлевны Мандельштам. Понаблюдав как-то в Тарусе, где она у нас гостила, как я жучу своего пятилетнего сына, Надежда Яковлевна отозвала меня в сторону от поля битвы за его примерную воспитанность и сказала: «Алеша, у меня никогда не было своих детей, но я много работала и со школьниками, и со студентами, так что опыт мой, конечно, не универсален, но вдруг окажется полезным: скажите, вы, правда, верите, что детей можно воспитывать?»

— ?????

— По-моему, с ними можно только дружить.

Не могу сказать, что слова Надежды Яковлевны перевернули меня или мир, но запомнились навсегда.

Вот таких взрослых-друзей у Толи никогда не было. Он был опекаем, понукаем, оцениваем и наказываем, поощряем и воспитуем, но никогда не был любим и нужен. Никому.

Что-то жутко неправильное было в этой формально оправданной отправке его, тринадцатилетнего, в Нижний Тагил.

Толька рассказывал мне, там, в Гульрипши, что в детдоме он — заложник. Папаша дает детдому много денег, приглашает группы за свой счет на экскурсии в Москву и Ленинград, и его — Тольку — гладят по головке, хвалят, но, чтобы не расставаться с таким источником щедрых благ, регулярно провоцируют. И говорят: «Отпускать рано, видите, человек еще не полностью встал на путь исправления».

До Нижнего Тагила Толя успел отличиться не раз, переводили его из московской школы в переделкинскую, ловили на кражах, на том, что, прогуливая уроки, связывался «не с теми» компаниями. А ведь в основе всех Толькиных «подвигов» лежала завышенная, ничем в реальности не подтвержденная, защитная самооценка: как доказать окружающим, что ты из знаменитой семьи.

— Ну, из знаменитой, так принеси пожрать, достань бутылку, угости товарищей.

И сделать это открыто нельзя, потому что некому доверительно объяснить ситуацию, попросить помощи или совета. Его проблемы были его проблемы, и решались они на внешнем, души не трогающем уровне, на уровне «сыт, ходит в школу, делает уроки». Что он там себе думал, переживал, воображал, чему стремился соответствовать — никого толком не интересовало. Видимо, в Тольке это было от родного отца: неуправляемость, но не сдобренная страстью к небу, сформировавшей из этой неуправляемости великого летчика.

В середине 50-х отец ушел от Валентины Васильевны, а в 57-м Толя женился и явился к матери в ее квартиру на Пушкинской площади. И тут только выяснилось, что ему ничего не принадлежит, что он — не сын Симонова, даже формально. Это было настолько большим разочарованием для его молодой жены — вгиковки, первокурсницы из провинции, что развод был быстр и бесповоротен, а объяснение для друзей оказалось двусмысленным: «Была замужем за сыном Симонова». Так меня «женили» первый раз — заочно.

Кстати, письмо прокуроров рассматривалось в отделах школ, науки и культуры ЦК КПСС, и к их письму пришпилена бумажка, подписанная замзавом и зав. сектором, что «приводимые в письме факты не могут рассматриваться как ненормальные <…> и <…> дети известных деятелей искусства, трудновоспитуемые (имеющие несколько приводов), находятся в этих домах с разрешения Минпроса РСФСР. <…> Возвращение их в семьи не будет способствовать трудовому воспитанию, которое они получают в детском доме».

Так что трудовое воспитание Анатолию не помогло. Он погиб

в 40 лет от пьянства где-то в Тикси, работая там не то механиком, не то электриком.

Ну и напоследок еще одна история, напрямую с Толей не связанная, но дающая представление о том, кого и как воспитывали в таких детдомах.

В один прекрасный день в нашей с мамой квартире на Аэропорте раздался звонок в дверь. Дома я был один. Открыл. Передо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек. «Здорово! Ты не сильно изменился, — сказал он,— почти такой же, как был в Тагиле».

А надо сказать, что буквально за несколько дней до этого я испытал культурный шок и получил урок интеллигентности на всю оставшуюся жизнь. Моя двоюродная сестра попросила меня занести в дом напротив какую-то то ли бумагу, то ли письмо жившим к доме №3 на той же 2-й Аэропортовской своим знакомым, Валерию Фриду или Юлию Дунскому.

В чью квартиру я позвонил, до сих пор путаюсь, но все же, скорее, в квартиру Дунского. Мне открыл высокий худощавый, лысоватый человек в очках. Не успел я представиться, как меня раздели, усадили в кресло, принесли чаю и «Мишек косолапых», поинтересовались моими делами, здоровьем ближайших родственников, и все это без малейшего напряга, так, что у меня создалось ощущение, что это бывает здесь с первоприходящим всегда. Прием был настолько сердечным, что я и не заметил, как сбылось предсказание пославшей меня кузины: они тебе понравятся, и ты с ними подружишься. Так оно потом и было почти 40 лет.

И вот под свежим впечатлением столь ошеломительно свойского приема я дал себе зарок встречать неожиданных гостей не хуже, чем известные кинодраматурги. Первым оказался этот молодой человек. Я уже понял, что принимает он меня за Толю, то есть никогда ни Толи, ни меня в глаза не видел. У парня оказался хорошо подвешенный язык и не знающее сомнений нахальство. Когда я ему, уже накормленному, напоенному и всячески обласканному попытался объяснить, что произошла ошибка, он не смутился: «Ну, мне же сказали, что ты — сын Симонова, что-нибудь не так?»

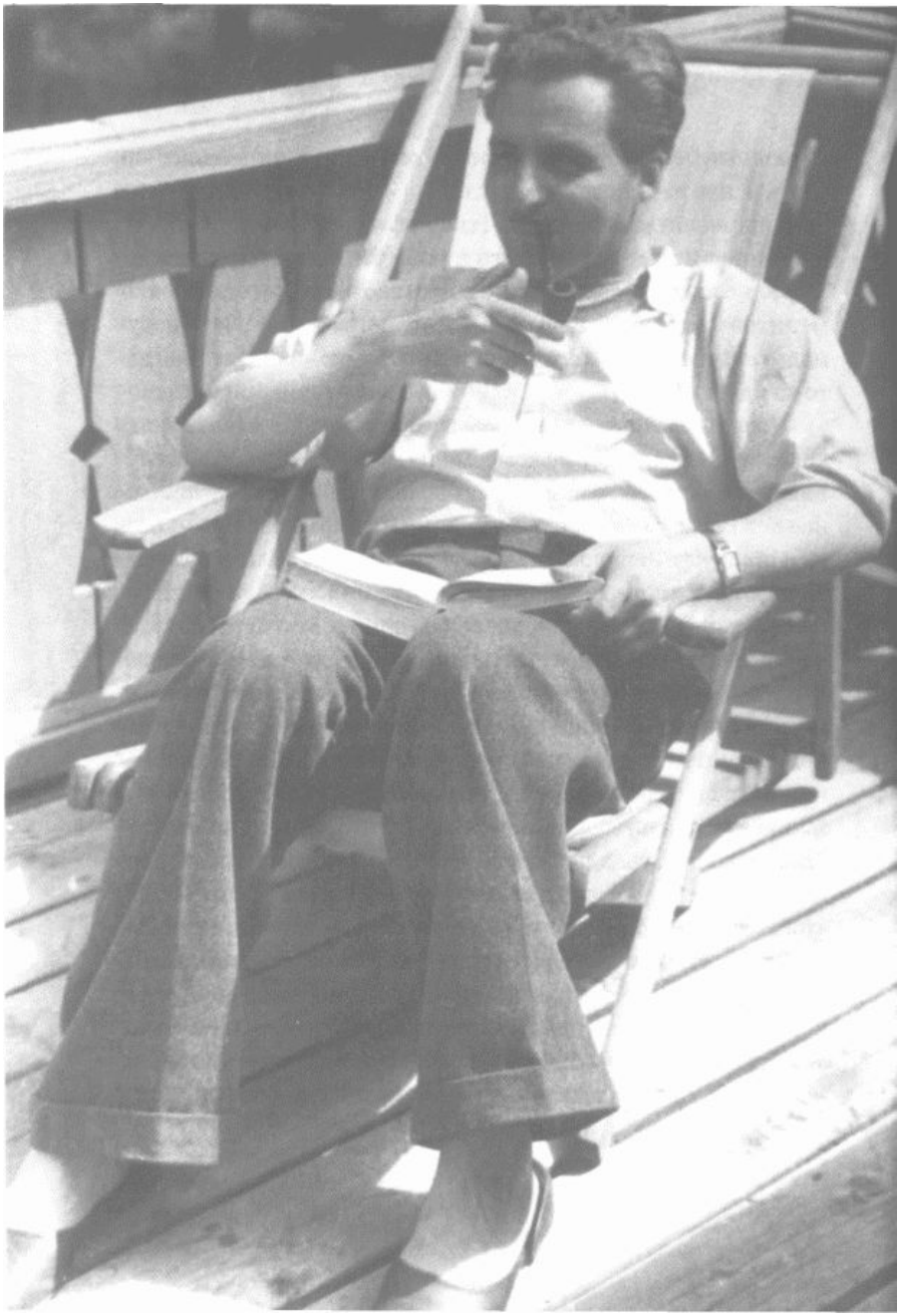
Мою попытку объяснить, что я не только не похож на Толю, но и ни разу не переступал порога Нижнетагильского детского дома, он благожелательно пропустил мимо ушей и, сытый и довольный, потребовал еще помочь ему деньгами, обещав сообщить о своей дальнейшей судьбе. Больше я его не видел и метод Фрида — Дунского в дальнейшем применял более избирательно. Как-то жалко было студенческую стипендию,

которую я как раз накануне получил.

В парне была нахрапистость профессионального сироты, описанная незадолго до этого в повести Александра Яшина «Сирота»; ныне, к сожалению, почти забытого, а тогда — знаменитого автора «Рычагов» и «Угощаю рябиной». И я подумал о судьбе Толи, который с этой публикой общался когда-то каждый день.

Последняя встреча с Серовым произошла в начале 60-х, когда мне как одному из комсомольских секретарей Института восточных языков при МГУ пришлось разбирать персональное дело Славки Анурова, как выяснилось при разборе — соседа и приятеля Толи по дому на Пушкинской. На Славу пришла бумага из Министерства обороны, что он каким-то образом способствовал побегу А. А. Серова из армии. Всю историю удалось без последствий спустить на тормозах, хотя такого рода бумаги могли потом сказаться на выездной характеристике, так что, при всем идиотизме, ситуация для Анурова была неприятная. Решающим для меня была непоколебимая уверенность Славы в своей правоте, в том, что Тольке с его скверным зрением в армии делать нечего, и то, что он ни о какой части своего поступка не жалеет. Вот в эти дни где-то меня подкараулил Серов и, стараясь выглядеть грозным, потребовал, чтобы я от Анурова отстал. Что уж он там нафантазировал-накрутил, как осуществлялся этот побег, теперь не помню, то, что Славку он подставил по его, Славкиной, доброте душевной и по своему вечному разгильдяйству, — это факт. Анатолия я, кажется, больше не видел. Так что в главном слове его судьбы, слове «ненужный», есть и моя виноватая буква.

Переделкино



Отец на балконе переделкинской дачи, конец 40-х гг.

Из письма отца уже появлявшемуся на этих страницах

Бернарду Котену, февраль 1947 года:

«…Вдобавок ко всем делам я был занят осенью еще одним делом: строил себе под Москвой дачу, потому что понял, что если я буду жить просто в московской квартире, то слишком мало времени у меня будет оставаться для моей писательской работы <…>.

Ну ты сам понимаешь, что частному человеку построить на свои средства зимний загородный дом сейчас не так просто в стране, где столько разрушено и где в первую очередь — это я, конечно, понимаю так же, как и все, — строятся гораздо более важные вещи.

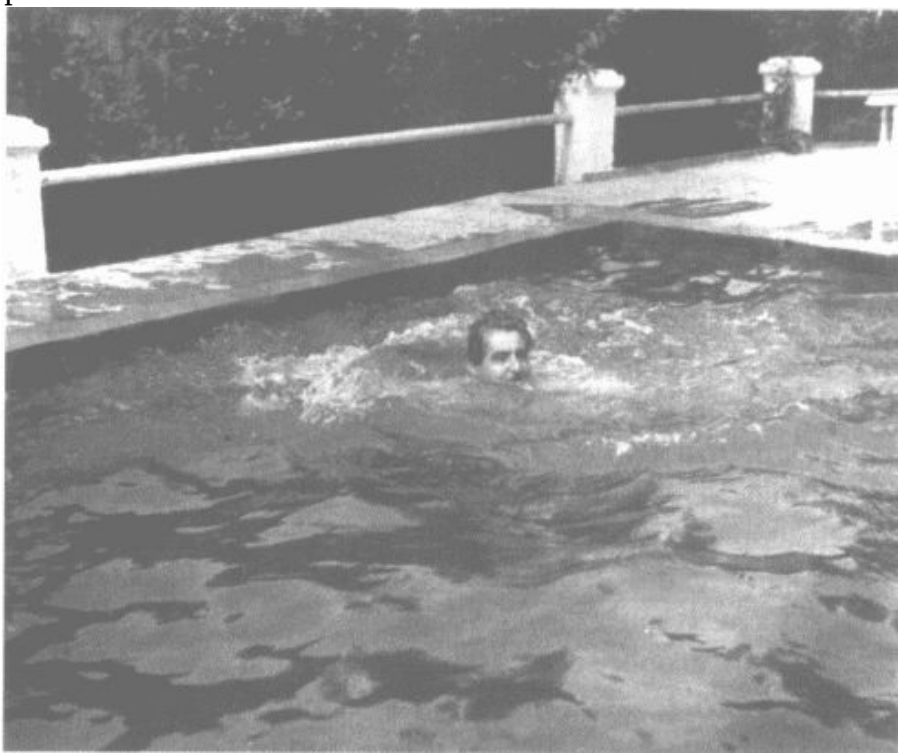
<…> Она недалеко от Москвы и в очень хорошем месте: это кусок старого помещичьего парка, тихо, далеко от дороги и хорошо и летом, и зимой».

А среди деловых бумаг отцовского архива в РГАЛИ есть и такая:

> «…Мы, нижеподписавшиеся,
>
> <…> Гладков Ф. В. продал, а Симонов купил право застройки, во исполнение которого на участке возведен: одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и сарай, расположенные в поселке Переделкино <…>.
>
> За проданное право застройки Гладков Ф. В. получил с покупателя Симонова К. М. 250 000 рублей.
>
> (Договор от 5 октября 1946 г.)»

Место было действительно замечательное, рядом — бывшая усадьба бояр Колычевых, где в скором времени обоснуется загородная резиденция патриарха всея Руси, эта усадьба отделяет отцову дачу от железной дороги. До станции Переделкино — в обход резиденции — минут 7–8 хода. Дача, как видно из документов, построена с нуля, но на обжитом месте: от старого барского сада остался выкопанный пруд с беседкой посередине, вечно захламленный и запущенный, где мы ловили тритонов и головастиков. Позднее небольшой второй этаж к даче пристроили: на всех известных мне фотографиях дачи он имеется. Есть и фотография отца на верхнем дачном балкончике. До других дач писательского поселка было отсюда не меньше километра. Поэтому из писательских детей я не знал почти никого. Ну да и не удивительно: за 10 лет жизни этой дачи я бывал там четыре-пять раз в год. И запомнилось мне Переделкино вовсе не роскошью дома: и отец, и Валентина Васильевна были люди со вкусом, и дом был выстроен для жизни, а не для демонстрации своего благополучия. Роскошным был участок: там были свои горки, свои чащи, как я уже сказал, свой пруд, и

вообще — этот участок для меня был целым миром, таким огромным, что можно было жить, не выходя за его границы. Отделен от других он был с двух сторон дощатым забором, а от соседей — штакетником. Но был такой большой, что соседей я просто не помню.



В начале 50-х на даче выстроили бассейн

В начале пятидесятых на даче выстроили бассейн, открытый бетонный параллелепипед с украшательскими тумбочками по периметру. Бассейн действовал только летом — никакого подогрева там, естественно, не было. А вот с размерами… сказать сейчас затрудняюсь: тогда, мальчишке, он казался большим. Много лет спустя, когда и дача эта сгорела у второго поколения перекупщиков, и возведен был на этой территории кирпичный с двухэтажными секциями литфондовский дом, приехал я туда, сопровождая приятельницу — венгерскую кинематографистку — историка кино, которую пригласил к себе на беседу живший там Виктор Борисович Шкловский, и, внезапно осознав, что нахожусь на бывшей территории отцовой дачи, пошел по участку «в поисках утраченного времени». Единственное, что напомнило мне о старом симоновско-серовском доме, был бетонный бункер, в котором, как мне потом объяснили, один из новых владельцев соорудил что-то вроде летнего бара. Вот он был размером

примерно 4 х 7 и, скорее всего, это и был бывший бассейн. Когда спустя лет пятнадцать я снимал на этом месте кусок для фильма об отце, там не осталось и этого реликта.

Между тем бассейн, как бы то ни было, представлялся по тем временам экзотикой, иначе откуда бы взялись впоследствии такие роскошные сплетни о нем и об эстакаде, по которой в золотистом платье съезжала в бассейн из дачи пьяная Серова. Бред. Вздор.

Мои воспоминания о Переделкине живут в двух совершенно разных резервуарах памяти: один — довольно тощий — это воспоминания о своей жизни на этой даче, а второй — куда более солидный — о чужой жизни или жизнях, которые я имел случай там наблюдать, включающие отца и тетю Валю, их гостей и собак, и саму дачу, и образы этой жизни, и ее знаки. И хотя между ними нет очевидной и ясной границы или рубежа, они довольно резко различаются. Видимо, дело в том, что я на этой даче очень сильно чувствовал свою непричастность к отцовской жизни, как-то никогда до конца не исчезавшее собственное чужеродство. И причиной тому вовсе не Валентина Васильевна, а сам отец, для которого мое присутствие в тогдашней его жизни было фактором более или менее случайным, навязываемым ему родичами (в первую очередь — матерью и отчимом) или случайным стечением обстоятельств, или, наконец, чувством неисполненного долга, словом, вещами в его, главной тогда, общественной жизни почти невесомыми, на эту жизнь никак не влияющими.

Эти «понукания» иногда носили драматический, а то и истерический характер. Примером тому письмо из времени, которое я помню только по названиям мест и событий. Оно написано бабкой Александрой Леонидовной в декабре 44 года. Бабка с дедом недавно вернулись из эвакуации из Молотова (*Пермь. — А. С.*). Следующий раз в Перми я непременно попробую найти место, где они жили в эвакуации. Как-то пока не стал этими заметками заниматься, не доходили до этого ни руки, ни ноги.

Письмо, а это, строго говоря, только первая его часть (вторая о другом написана 8 дней спустя), но посланы они вместе, и потому обобщение в начале связано не только с отцовским ко мне отношением. Но вторую часть приберегу на потом.

> «Очнись! Что с тобой, Кирюня? Приди в себя, возьми себя в руки. Это как дурной сон, от которого ты никак не можешь проснуться. Верни себе свой нравственный облик, который можно и должно было уважать и ценить. Свое чувство достоинства, так ярко отличавшее тебя с раннего детства. Сохранив его в самых страшных

условиях фронта, ты утерял его в личной жизни. Как довел ты себя до того, что не всем и не во всех обстоятельствах своей жизни можешь прямо смотреть в глаза, и именно близким людям! Как могло случиться что мне, твоей матери, которая так гордилась тобой, именно в том отношении, что „Кирилл не может так поступить“, бывает стыдно и больно за тебя. <…>

В детский сад, где проходят сейчас Алешкины дни, ежедневно к вечеру приходит за своим сынишкой моряк. Ребенок невзрачный, серенький, из заурядных заурядный. А в Алеше все больше раскрывается внутренних богатств души и сердца. Ты знаешь, я никогда не была пристрастна к тебе, объективно могу взглянуть и на Алешу, несмотря на свое все увеличивающееся чувство к нему. Это ребенок, от сближения с которым не только становишься лучше, но и богатеешь внутренне. И вот на днях он сделал мне невероятно больно, вернее, ты через него. Вернувшись из детского сада он объявил, что у него самая лучшая бабушка, самая лучшая мама, затем подумал и добавил: „И самый лучший папа в мире“ — он ведь выражается как взрослый. Кирюня, твой сын верит еще в тебя, в его дорогом детском сердечке живет вера в папу, ему хочется иметь его, настоящего папу, ему пора иметь его хоть в те дни и часы, когда жестокое действие войны дает эту возможность. Поверь же и ты в себя, мой родной, поверь, как верит Алешка. Верни себя настоящего, полноценного, ясного, не запутанного душевно, свободного морально в своих поступках, верни себя, прежде всего себе самому для своей работы, которая была для тебя всегда самым дорогим в жизни, а затем и нам, твоим близким, которые верят в тебя, любят тебя. Собери свою волю — ты всегда гордился ею, она более чем когда-либо нужна тебе именно сейчас чтобы встряхнуться, чтоб стать вновь самим собой …

11.XII-44

Мама»

Меня привозили в Переделкино погостить, и это мое ощущение «гостя» в отцовской жизни сохранилось потом надолго, а может быть, так и не было мною до конца изжито, несмотря на радикально изменившиеся взгляды, отношения и обстоятельства.

Но никакого внутреннего протеста против установленного порядка вещей у меня не было. И хотя мы неоднократно дрались

с Толей по поводу того, чей Симонов папа, и хотя, как я сейчас думаю, инициатором этих драк бывал, скорее, я, потому что его резоны, что живут они вместе, что его мама — жена отца, оказывались куда весомее моих, сводившихся к тому, что он — Серов, а я — Симонов, драки эти не носили характера тотальной вражды, да и не водилось между нами идти к взрослым жаловаться друг на друга, но на тетю Валю, так я много лет звал Валентину Васильевну, эта моя соревновательность почему-то не распространялась. В Тольке была нахрапистость, но не было уверенности в себе, поэтому стычки чаще кончались в мою пользу, что не мешало нам в остальное время развлекаться и шкодить вместе: ловить тритонов в пруду или строить вигвамы на опушке леса. Есть даже детские фотографии, где мы воинственно играем в индейцев, особенно хорош на них Толя в шарфе, повязанном на лоб, в очках и с вороньими перьями, воткнутыми в светлую шевелюру.

Но потом наступал вечер, и в комнату, где я спал, какой-то тревожно-аккуратной походкой входила тетя Валя, садилась рядом и начинала объяснять, что ни в чем передо мной не виновата, что никогда не уводила отца у моей матери, иногда при этом плакала. И это было не один и не два раза, и запомнилось навсегда, хотя ни тогда, ни позже у меня не было к ней ревнивого чувства. Я этих взрослых, далеких от меня, отношений не понимал и испытывал необъяснимую неловкость, сопряженную почему-то с чувством собственной вины, поскольку в дневное время она не давала мне ни малейшего повода для ревности, да и не была «мачехой» — слишком надежно был я охранен материнской любовью и доверием.

Тетя Валя (В. В. Серова) в домашнем халате, начало 50-х

Сейчас я понимаю, что что-то уже разладилось в отношениях между В. В. и К. Эмом, но механизм этих изменений срабатывал только под влиянием алкоголя. И еще была в этих визитах какая-то наша общая тайна, и я долго не рассказывал о них никому. Отцу так и вовсе никогда.

К той же поре принадлежит запомнившийся визит на дачу серовских коллег по театру Моссовета. Лето, жара. Плятт с полотенцем на шее, Завадский в плавках, женщины в легких

купальных или просто в легких халатах, все слегка подшофе идут в бассейн купаться, и восхищенная реплика Завадского: «У Вали типично половиковские ноги — ни одной жиринки, как у скаковой лошади». Почему запомнилось? Бог его знает, может, потому, что впервые услышал ставшее впоследствии своим и банальным сравнение женщины с лошадью. А может быть, поразила выразительная губа Завадского, который смотрел на своих актрис, как влюбленный хозяин конюшни.

Постоянных или долгих гостей я на даче не помню, впрочем, это, может быть, еще и потому, что сам я там бывал нечасто и недолго. Дольше других была Фаина Георгиевна Раневская. Она жила в том самом мезонине, о котором шла речь в купчей. Это был домик о двух комнатах, стоявший в углу участка и окруженный кустами сирени. Видимо, Валя уже работала с Раневской в Театре им. Моссовета, оттуда и ее присутствие на даче в Переделкине.

Тут надо сказать, что лет до тринадцати я был образцово-показательным ребенком, круглым отличником сначала в одной, а потом в другой школе, вступал без проблем и сомнений в октябрята и пионеры, учил английский с англичанками и делал успехи, участвовал в общественной жизни и занимал первые места в конкурсах художественной самодеятельности. И давалось мне это легко, без особых усилий и без какого-либо насилия над собственным я — словом, как будто специально по контрасту с Толей, выглядел положительным образцом юного строителя коммунизма, хотя оставался при этом нормальным пацаном, живым и независимым, как пацану и положено. Жил, как жилось, потому что никому, ничего не надо было доказывать.

В один прекрасный день, год, видимо, 54-й, осень, потому что занятия в школе начались, и был выходной, а иначе как бы я оказался на даче. Фаина Георгиевна, сейчас уже не вспомнить, по какому поводу, решила послушать, как я читаю стихи. Знал я их к тому времени много, но в основном плохие. Много, поскольку, как уже было упомянуто, запоминал стихи чохом, буквально с двух прочтений, а иногда и на слух. Плохие, потому что их тогда было больше, а мать не сразу обнаружила этот мой пробел в образовании и стала знакомить меня с настоящими стихами. Но, видимо, были среди плохих и не самые плохие, в том числе отцовские; уже любил я тогда (правда, позднего) Маяковского, раннего Луговского, уже «гвозди бы делать из этих людей» — было любимо, и еще не вызывало оторопи своей наглядной бесчеловечностью. В общем, что я ей читал — не буду врать, — не помню, но внимание ее мне льстило, хотя уж поначалу-то точно — объяснялось, скорее, местом действия, чем чем-либо иным.

Обожаю людей, которые так умеют слушать. Фуфа, так звали ее в переделкинском обиходе, слушала, впитывая тебя, как губка, побуждая к чтению самого любимого, самого сокровенного; сидела крупная, даже тяжелая, хорошо известная мне по кино, но совершенно не похожая на своих персонажей, как будто игравшая иную роль, — не то судьи, не то судьбы. В ней не было ничего смешного, только мудрое и несколько усталое любопытство.

Пару раз говорила «еще» — и я читал еще. Потом как-то необидно засмеялась и сказала: «Ну что, пойдешь в артисты». После чего дала мне адрес какой-то своей знакомой руководительницы кружка в Доме пионеров на Полянке и велела явиться к ней на наступающей неделе, она ей позвонит.

Вот, собственно, и все. К руководительнице я явился, у них был спектакль на выпуске, слушать меня «после Раневской», она сочла ненужным и приказала явиться через столько-то дней. Почему я не стал артистом — это я знаю, но ощущение, что тебя благословила сама Раневская, помогало мне и тогда, когда в университете я бегал в массовке замечательной команды ЭСТа (эстрадной студии «Наш дом»), и потом, когда пришла пора менять участь, и, бросив все свои литературные занятия и успехи, я пошел на Высшие режиссерские курсы. Что-то важное она во мне разглядела — так мне сегодня хочется эту историю интерпретировать, и так это или не так, но мне в будущем это послужило немалым подспорьем в том, как складывать свою жизнь.

А теперь о большом, отцовском «резервуаре памяти»… Странно, но именно в Переделкине я помню связанные с отцом события, людей или отдельные эпизоды больше никогда не повторявшиеся.

На даче, например, было три собаки. Одну из них, белую сибирскую лайку, звали Чижик, а вот насчет двух других возникли противоречия: сестра моя, Марья, которая на 10 лет моложе и на этой даче провела первые 6 или 7 лет своей жизни, утверждает, что две другие собаки были кавказские овчарки, в то время как моя собственная память клонится к сенбернарам. Впрочем, вполне возможен вариант, когда каждый из нас хорошо запомнил одну, полюбившуюся ему или подружившуюся лично с ним, собаку. И тогда вариант: два добродушных гиганта — сенбернар и кавказская овчарка — вполне возможен. Но больше никогда и нигде, ни в московских квартирах, ни на дачах в Пахре и Гульрипши, собак у отца не было. То ли отец не сильно любил собак, то ли (и это мне кажется более убедительным резоном) его перестала устраивать основная задача домашней собаки: отвлекать хозяина от его основных занятий. Частным случаем

такого отвлечения служит и сторожевой лай. Наверное, можно сказать, что больше в этой жизни времени на отвлечения отец решил не тратить.

Точно так же я больше никогда не видел отца за картами. Только в эти годы, причем и в Переделкине, и в Гульрипши. В силу своей уникальности эта картинка до сих пор стоит перед глазами: праздный отец. Всю остальную жизнь он либо работал — сочинял, диктовал, писал письма, разбирал бумаги, готовился к диктовке, разговаривал с авторами, вел заседания, ходил ходоком в высокие кабинеты; либо отдыхал: готовил еду, вел стол, изредка играл в теннис, вытащенный последней его женой — Ларисой, ходил на лыжах, читал, наконец — тут, правда, мы упираемся в некоторые его занятия, которые могли быть и отдыхом, и работой. Из этой категории — книги и рукописи, выставки, спектакли.

Я помню, как однажды меня буквально оскорбили слова отца: «Эти две недели в Париже я отлично поработал». Только много лет спустя, наездившись сам и потеряв остроту (второго-третьего) восприятия чужой страны, я понял, что он прав и как он прав. Так вот отдыхающим (в смысле вышеперечисленного) я его видел много раз, а вот праздным, то есть убивающим время, только в эти годы. Даже странно — ведь по всем моим личным воспоминаниям и по вовсе не личным, а по сугубо официальным оценкам, количество возложенных в эти годы на него обязанностей и ответственностей было несусветное.

Задумываюсь над тем, в чем тут дело, и неожиданно прихожу к выводу, что убивание времени можно обнаружить еще и в официальной хронике присутствия отца на огромном количестве юбилейных мероприятий, где он представляет Союз писателей или депутатствует в Верховном Совете. Есть, есть в этих коротких кадрах, вошедших в разные хроникальные сюжеты конца сороковых — и до середины пятидесятых, а особенно в исходных, более обширных материалах, снятых для этих сюжетов, которые обнаруживались в Красногорске, в архиве, то же сосредоточенно-отсутствующее выражение лица человека, смирившегося в этот день с тем, что время умирает без толку.

В карты играли они с Валей вдвоем или втроем, когда приезжала Валина мама, Клавдия Михайловна Половикова, в просторечии — Роднуша. Играли, как я запомнил, в канасту, игру, где каждый за себя, колода вверх рубашками — на столе и перед каждым набранные им комбинации.

Меня, к тому времени освоившего правила и отчасти приемы игры в преферанс и покер, в игру не брали, и в канасту играть я так и не научился. Позднее, вспомнив эту картинку, я где-то

раздобыл справочник карточной игры, нашел канасту, так что помню я правильно, была такая игра, но научиться играть в одиночку как-то не хватило ни времени, ни желания.

И еще — отцовские руки, которые держат карты. Тут уже карты — вещь случайная, просто вспомнилось в связи с канастой. А руки отца в те годы: тыльная сторона кистей в язвах, в красно-коричневой коросте заживающих и в очагах новых, похожих то ли на прыщи, то ли на нарывы. Все эти годы у отца была какая-то нервная экзема, и не увидеть, не заметить ее, даже для пацана, приезжающего или привозимого нечасто, было невозможно. После 1956 года я ничего подобного не помню. Отцовские руки — часть его жеста, их можно увидеть на многих фотографиях, экспрессивные и яростно выразительные. И руки его чисты. Не берусь этого утверждать, но надеюсь, что догадка моя верна. Мне кажется, что эта экзема — прямая реакция нервной системы на постоянный, причем усиливающийся раздрай между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.

Кстати, во время войны никакой экземы у отца не было. Возникла она где-то в году сорок седьмом и промучила его, как я уже говорил, до 54-го, 55-го. Мне почему-то кажется, что и эта игра в канасту, и постоянное сидение в разнообразных президиумах имеют к экземе прямое отношение, может быть, тут нет причинно-следственных связей, но необходимость «убивать время» была оборотной стороной сверхвысокого имиджа, которому надо было соответствовать, и как-то они связаны. О том, что это десятилетие — самое тяжелое и противоречивое в жизни отца, я уже писал, цитировать самого себя как-то не хочется.

И последнее про Переделкино. Слева от дома, если смотреть на него от калитки, стояла аккуратная будка, которая большей частью бывала закрыта. По младости мы туда заглядывали, но ничего интересного там внутри не было: метлы, лопаты, пустые бутылки, словом, хоздворная постройка, сделанная с некоторой щеголеватостью, так чтобы назначение не бросалось в глаза.

Не могу объяснить, знаю я это или у меня это чувство возникло позднее, но я — последний раз в Переделкине. После этих дней себя я там не помню. Толя в Нижнем Тагиле. Дача пуста, в ней живут только трое: отцовская домработница Марья Акимовна, двоюродный брат Вали — Костя Либкнехт и я. Как минимум эта история продолжалась три, а то и четыре дня.

Сначала про Марью Акимовну, еще именуемую Машей Черной в отличие от другой домработницы, Маши Белой. В доме отца она появилась в войну, когда отцу впервые дали квартиру на Ленинградском проспекте, в так называемом ажурном доме. Была

Акимовна похожа на куклу-неваляшку, маленькая, плотная, без острых углов. Отцу была предана безмерно, хотя и осуждала за разные, с ее точки зрения, неправильные поступки. Но эти свои претензии держала при себе, а с другими людьми, в том числе с его женами, стояла за него насмерть, почему и с Валентиной Васильевной не всегда находила общий язык, да и с Ларисой Алексеевной тоже.

«Хозяин у меня хороший. Не пристает никогда». Это ее откровение было, мягко говоря, неактуально, учитывая ее редкую некрасивость. Жила она в доме отца много лет, переезжала с ним во все его «дома» и похоронена на кладбище в Красной Пахре, где была последняя отцовская дача.

Гостей любила, особенно мужиков, и, по словам отца, имела одно бесценное и таинственное свойство: какая бы в доме ни была накануне пьянка, как ни обыскивали с целью «добавить и закусить» вверенную Марье Акимовне квартиру, наутро перед отцом на завтрак стояла тарелка борща и хорошая стопка водки. Где и как она хранила этот запас, семейная история умалчивает. А еще говорят, что все тайное когда-то становится явным.

У Серовой были две тетки — по возрасту ненамного ее старше, которых Роднуша воспитывала как Валиных сестер. Костя был сыном средней из сестер Половиковых и фамилию Либкнехт носил по отцу. Какая-то связь со знаменитым немецким социалистом была, но я уже сейчас не помню какая. Костя был крупный, массивный, старше меня лет на семь-восемь. В семидесятые годы работал на ТВ, где мы с ним изредка сталкивались, и хотя отношения были, скорее, с оттенком симпатии, никогда не возникало серьезной потребности увидеться, поговорить — слишком, видимо, глубокий рубеж прорезал между мной и семьей Валентины Васильевны отец своим уходом, разводом, разделом имущества и так далее.

Марья Акимовна на празднике своего 50-летия. В кружевном воротнике между Н. П. Гордон и С. Г. Карагановой

Но это в перспективе, а пока мы — на даче, и нам скучно. От скуки слоняюсь по двору и вижу, что будка не заперта и, после долгого перерыва заглянув в нее, обнаруживаю, вот не знаю, как сказать, — склад или свалку пустых бутылок из-под спиртного. Их не просто много, их тьма, причем если бутылки из-под водки просто поверхностно грязные, то бутылки из-под вина выглядят варварски, словно тем, кто это вино пил, было недосуг найти в

доме штопор: пробка для быстроты продавлена внутрь и болтается там чужеродным поплавком.

Такое ощущение, что кто-то из хозяев, а было их всего двое, пил от другого тайком, наспех, старясь добраться до содержимого как можно скорее. Какая-то большая беда, или — мягче — неблагополучие в доме, стояло за этим кладбищем бутылок.

Но это все куда более поздние соображения, а тогда сдача бутылок была занятием доходным и весьма актуальным. Посему, взяв таз с водой и прочную бечевку, я, пользуясь неизреченным сочувствием окружающих, принялся извлекать пробки из бутылок, мыть бутылки и ставить их на солнышко сушиться. К концу дня, нагрузив найденные Акимовной две здоровые сумки, я прицеплял их на руль велосипеда и вел этот велосипед на станцию, в Переделкино, где имелся пункт приема стеклопосуды. Ехать не мог — коленям мешали слишком большие сумки.

За три имевшихся в моем распоряжении дня, я мало истощил имевшийся в будке запас, но каждый день привозил домой полную четвертинку, которую мы втроем и распивали. Остальными деньгами я честно делился с Костей, а Акимовна свою долю не брала, ограничиваясь участием в распитии четвертинки — не смела она посягнуть на хозяйское добро. Подозреваю, что это и был мой первый честно заработанный рубль.

Не знаю почему, но и эту историю я никому не рассказывал, может быть, подспудно ощущая ее неявный смысл, ставший очевидным мне много позже.

Алинька

Княжна А. Л. Оболенская — воспитанница Смольного института благородных девиц

Первое живое воспоминание о бабке Але — шестилетнее. А

может, мне уже семь, хотя вряд ли — я, по-моему, еще не хожу в школу. Почему-то мы остались с ней вдвоем на Сивцевом Вражке. И почему-то вместо сахара она в варящийся в кастрюльке кофе насыпает полную пригоршню соли — кофе мгновенно выкипает, обжигая Алиньке руку и тут… Тут я должен признаться, что любые мои воспоминания о живой Алиньке связаны с внутренней неловкостью, не сегодняшней, а тогдашней. Так вот, бабка без малейших колебаний тащит меня в туалет и, спустив с меня штанишки, требует, чтобы я пописал на обожженное место, потому что, как по ходу дела объясняет мне Алинька, лучшее лекарство от ожога — это детская моча. Эта новость и еще более неожиданное ее поведение вводят меня в ступор, и ждать моей струйки приходится нестерпимо долго.

Второе из первых воспоминаний — Дубулты, Рижское взморье, 1948 год — первое мое лечебное лето. Алиньке 58 — она стройна, с незапамятных для меня времен седовласа и похожа на прибалтийскую даму, что часто служит причиной мелких недоразумений. Для их разрешения бабка выучила по-латышски «не понимаю», что, если память мне не изменяет, звучит как «несо прут». Для удобства запоминания моя лингвистически одаренная бабка переделала это латышское «не понимаю» в русское «не сопрут».

И вот мы выходим с территории литфондовского Дома творчества в сторону, противоположную взморью, и оказываемся в прекрасном сосновом лесу. Тут к нам подходит красивый латышский старик и без тени сомнений обращается к бабке на прекрасном латышском языке.

«Не украдут», — с достоинством отвечает бабка. По лицу старика пробегает тень недоумения.

«Не стырят», — с тем же апломбом объясняет ему бабка Аля.

Старик делает попытку отступить.

«Ну, как это по-вашему, — не слямзят…»

Старик готов удариться в бега.

«…Не сбондят…» — удивительное для выпускницы Смольного института благородных девиц богатство русского языка.

«…Не свистнут… — и уже вслед скоро семенящему от нее латышу: …Ох, ну, не сопрут, не сопрут!»

Примерно тогда же бабкины записи фиксируют первые проявления моей наследственной гениальности. Среди ее бумаг мною найдено первое мое стихотворение:

Алинька, милая и дорогая,
Вышла она из цветущего рая.

Ангела хочет создать из меня,
Но нам обоим дорога трудна.

С припиской: «Первый поэтический опыт. Алексей серьезен и, видимо, талантлив». Что из приведенных строк абсолютно не следует и, на мой сегодняшний взгляд, даже не предполагается.

Еще один эпизод, но на этот раз не из памяти, а из семейных легенд, хотя по времени он восходит примерно к тем же 1946–1947 годам. В Ленинград поехала группа высокопоставленных деятелей культуры, чтобы оценить ущерб, нанесенный городу блокадой и обстрелами. Был включен в эту группу и отец. И поскольку общение со своей мамой всегда стояло для него отдельной строкой во временном его, очень, особенно в те годы, плотном расписании, и всегда было «проблемой», он решил воспользоваться этой командировкой и взял мать с собой.

И вот идет эта высокопоставленная команда по коридорам Смольного и с важным видом поворачивает головы в соответствии с призывом сопровождающих лиц то вправо, то влево и, соответственно, то охает, то вздыхает. Алинька держится от группы на вежливой дистанции, но внезапно церемонную процедуру нарушает ее громкий голос: «Кирюша! Ну посмотри же сюда, здесь был мой дортуар!»

Надо добавить, что раз написав отцу:

Константина не желала,
Константина не рожала,
Константина не люблю
И в семье не потерплю…

…Она всю оставшуюся с 1939 года жизнь продолжала звать его Кириллом. А «дортуар» — это по-нашему спальня. Только и всего.

Вот теперь попробую сформулировать, что же вызывает в памяти чувство внутренней неловкости. Бабка Аля в любых жизненных обстоятельствах вела себя совершенно естественно, но… без учета и самих обстоятельств, и задействованных в этих обстоятельствах ролевых актеров. Актеров «кушать подано» она могла просто не замечать. Это могло быть почти незаметно, как во всех вышерассказанных эпизодах, но могло прозвучать и как вопиющая бестактность, совершенно ею не замечаемая. Как оперный певец с хорошо поставленным голосом вдруг пользуется этой «поставленностью» в быту, вызывая у окружающих ощущение фальши, к которой очень трудно привыкнуть до степени

незамечаемости.

А. Л. Иванишева с сыном, еще Кириллом Симоновым, середина 30-х.

Я приведу здесь отрывок из бабкиного письма отцу, которое, как мне кажется, может этот феномен объяснить.

Октябрь 1943 года. Бабка Аля и деда Саша находятся в эвакуации, в Молотове. Поскольку мне еще не раз придется цитировать эпистолярии бабки Али, предуведомляю: все сокращения, в том числе и труднорасшифруемые — специфика бабкиного письма. В тетрадный лист или открытку Александра Леонидовна пыталась втиснуть столько слов, что писала сначала вдоль, потом на относительно свободных местах — поперек (низ страницы, место сгиба), а потом на белых образовавшихся пятачках — как придется, нумеруя эти «добавки», чтобы читающий уловил логику изложения. И все это почерком ученицы, имевшей за чистописание твердую пятерку — такое вот экзотическое сочетание, а может быть, привычка экономить бумагу. Впрочем, как вы увидите из письма, оснований для экзотических сочетаний в бабкиной жизни, характере и мировоззрении было вообще пруд пруди. А сокращения я буду, когда почту непонятными, расшифровывать в скобках.

«Теперь о возвращении в М. [Москву] — я полагаюсь на судьбу и только внушаю себе, что наступит день,

когда неизвестность этих дней будет в прошлом. Одно скажу, что в моем пребывании у тебя была еще 1 (одна) сторона. Ты о комфорте, кот. себе честно заработал и в кот. сейчас живешь, знал из книг и по рассказам, в жизни реальной — детства и юности — твоим комфортом были мои заботы и любовь. Я родилась, выросла и 25 лет своей жизни прожила в нем, в условиях, когда даже сама не разувалась. Потом жизнь круто сломалась, и ты знаешь и помнишь, что мать оказалась на высоте <…> без неискренности и ложного пафоса.

Но сейчас я устала жить, в каждом шаге надеясь на себя: убрать, выстирать, вынести, вылить, сходить в магазин, б-ная (оч. больная), здоровая — рассчитывать не на кого. И, скажу откровенно, мне хочется и я честно по-моему имею на это право, пожить так, как живет мой сын, кот. я вырастила, — в хорошо обставленной комнате, с возможностью взять ванну, пользоваться услугами. И мне больно подумать, что может по моему приезду в М. (Москву) быть иначе. Это уж я не смогу пережить, понимаешь, того факта, что ты мог после всего пережитого это допустить.

А как мы с папой прочли Вал. (*Валентинино или Валюшино, в зависимости от контекста.— А. С.*) письмо о том, что ее кв. [квартира] меняется не для тетки и нас, как ты мне говорил, и, следовательно, мечта об иной жизни, чем на Петровке, — блеф, папа и говорит: „Ну, конечно, разговоры одни, как и с шубой, обещает и не исполнит“.

Но я не сдаюсь и говорю: „Нет, он понимает, нет, этого не может быть“. Ведь правда, Кирюня, не может?! <…>

Ведь знаешь, вдруг прикоснуться к тому, на чем рос, и опять свалиться в яму, очень тяжело».

То есть начиная с 25 лет Алинька жила не своей жизнью, смиряя себя, загоняя эту жизнь в подполье памяти и сознания, но она все-таки прорывалась и тогда, по обстоятельствам, бабка давала петуха, громкого и не очень, резкого или помягче, но непременно.

В этой части моей семейной истории, слава богу, есть письма и документы, позволяющие представить себе этот жестокий рубеж бабкиной жизни, разделивший ее на жизнь, которой надо было соответствовать, и жизнь, о которой следовало забыть.

Александра Леонидовна Оболенская — младшая дочь князя

Леонида Николаевича Оболенского — одного их тех титулованных дворян, кто сделал карьеру на гражданской службе; действительный статский советник, прошедший все чиновничьи ступени, начиная с низших, что отложило отпечаток на его личность — методическую до пунктуальности, трепетно оберегавшую свое княжеское достоинство и характер, подверженный приступам ярости (*о чем ниже.— А. С.*).

Мой прадед — князь Л. Н. Оболенский — действительный статский советник

В 1874 году, когда Леониду Николаевичу был 31 год, он женился. Женился на Дарье Ивановне Шмидт — отец которой был действительным статским советником, а мать — урожденная княжна Шаховская, откуда и примесь восточной крови в нашем семействе.

В январе 1875-го у них родилась дочь Людмила.

В марте 1876 года — дочь Дарья.

В июне 1877 года — дочь Софья.

В июле 1878 года — сын Николай, и наконец в апреле 1890 года родилась дочь Александра.

Вы чувствуете эту железную русско-дворянскую поступь: рожать до самого сына. Три года подряд дочки — наконец долгожданный Николай, названный в честь деда, и пауза, а может, и вовсе удовлетворенность результатом. И только через 12 лет, в уже установившиеся, обкатавшиеся семейные отношения, ритуалы и традиции — маленькая Аля, которая младшего моложе на 12 лет, обречена быть шалуньей и любимицей, анфан терибль семейства, где бесконечно любят маму, а отца побаиваются, и присутствие его оказывает дисциплинирующий эффект… на всех, кроме маленькой Алиньки, которой про это пока ничего не известно.

Да и жизнь налажена: отцовы гражданские должности и обязанности по службе уже не напрягают княжескую гордость, а, скорее, льстят ей. Уже и благополучие семейства, пусть относительно скромное, но куда более комфортное, чем 12 лет назад, позволяет младшую отдать в Смольный институт, где все устроено по-английски строго, говорят день по-французски и день по-немецки, а на выпускном балу танцуют с непременно присутствующим на каждом выпуске государем императором.

Но я обещал про яростные вспышки Леонида Николаевича. Жертва одной из таких вспышек постоянно присутствовала перед глазами в качестве живого укора и предупреждения: дочка Дарья, в семье именуемая Долли, получила непоправимое телесное увечье в результате такого приступа ярости. По одной версии, отец швырнул в нее тяжелым, в коже, фолиантом и попал по лицу. По другой — этот удар сбил ее с ног, и она осталась хромой на всю жизнь. Это определило всю ее дальнейшую стезю — ни надежд, ни помыслов о браке, сестра милосердия в Первую мировую, тайное монашество после 1917 года, высылка из Ленинграда в Оренбург в 1934-м и смерть в 1940-м в одиночестве, без близких, без защиты и поддержки и в результате — без могилы. Отец мой ее знал, но не любил, она была странна ему до отчуждения.

Дарья Ивановна Оболенская (Шмидт) — моя прабабушка

Вот… А природу этих вспышек, мне кажется, я понимаю. Ведь, как я уже сказал, начинал прадед гражданскую службу с низших ее ступеней; несоответствие должностей и амбиций, происхождения и положения должно было накапливаться, а разрядиться «в присутствии» не могло — возможность вырваться, то есть постепенно идти по служебной лестнице вверх и вверх, зависела от того, насколько ровно и сдержанно проходишь ты отведенную судьбой должностную дистанцию: тот случай, когда судьба и служба — пусть на время — одно и то же. И не выплеснутое на службе копилось, нагреваясь иногда до белого каления, и выплескивалось яростно и некрасиво, по ничтожному поводу дома.

Вы только подумайте, услышать: «А столоначальником у нас князь Оболенский», или обращенное к тебе равным по рангу чиновником: «Ну, князюшка, тут вы дали маху!» Или того хуже — издевательское: «Высокое происхождение не снимает с вас обязанности составлять бумагу грамотно». На единственной сохранившейся фотографии он бородат, суров и благообразен. Но

кто ж не благообразен на этих жесткого картона карточках до самых 20-х годов. Там даже немногочисленные шутки, так и те — благообразны: слишком долго нужно было фотографию экспонировать, чтобы непосредственным было изображение.

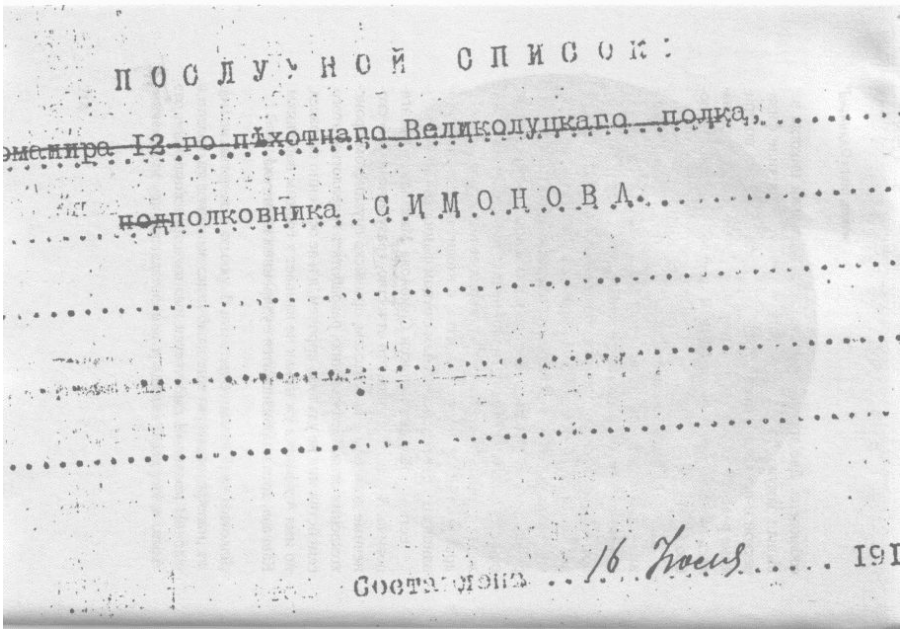
Леонид Николаевич умер в 1910-м. Самая старшая из сестер, Людмила Леонидовна, была к тому времени замужем за военным инженером Тидеманом, старшего ее сына по традиции назвали Леонидом, он в войну погиб в ополчении, двое других ее детей — Маруся и Андрей — поехали в 1934-м следом за матерью в ссылку. В 1911 году женился брат Николай, а поскольку семейные связи были еще нерушимо крепки, то его родившийся в 1913-м сын назван был Николаем Николаевичем, так как наследственная традиция была уже в семье соблюдена. Две другие старшие сестры Алиньки никогда не вышли замуж: Долли — по вышеупомянутой причине физической и психологической травмы, а Софья, видимо, по причине редкой некрасивости, которая, впрочем, никак не сказалась на ее на редкость контактном, веселом и щедром на добро характере.

Бабка Аля — выпускница Смольного института

Центром семьи продолжала быть мать — Дарья Ивановна — глубоко и преданно любимая всеми членами семьи, что можно увидеть по любому из сохранившихся писем. Сохранилось их не так много, главным образом — письма 1920–1923 годов, которые сбережены были братом в Париже, а не другими членами семьи в российских пределах и российских переделках, и отношение к матери в них одинаково трепетное во всех. Где-то в конце 13-го или начале 14-го года замуж выходит и Алинька. Начинается история ее недолгого, полного драм и тайн первого замужества, и входит в наше повествование полковник, давший нам с отцом фамилию Симонов.

Есть и послужной список Симонова Михаила Агафангеловича. Когда услышишь это отчество, сразу исчезают бесконечные домыслы о кавказском, армянско-грузинском происхождении отца. К сожалению, разработать генеалогию этого семейства мне не удалось, впрочем, я и не особенно старался, но имя Агафангел уж никак не взывает к горным вершинам Кавказа, хотя и произносится с ударением на ангела.

Послужной список


ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

...мандира 13-го пѣхотнаго Великолуцкаго полка,

...подполковника СИМОНОВА.

Составлен 16 Іюля 191

Страница из сохранившегося Послужного списка деда — Михаила Агафангеловича Симонова

Данный послужной список составлен 16 июля 1915 г., Михаил Агафангелович еще полковник. Из более позднего документа — списка Генштаба от октября 1917 года, следует, и это последние официальные следы М. А., что в чине генерал-майора он в октябре 17-го является начальником этапно-хозяйственного отдела штаба 5-й армии.

Родился 29 марта 1871 года.

Из дворян Калужской губернии.

Православного вероисповедания.

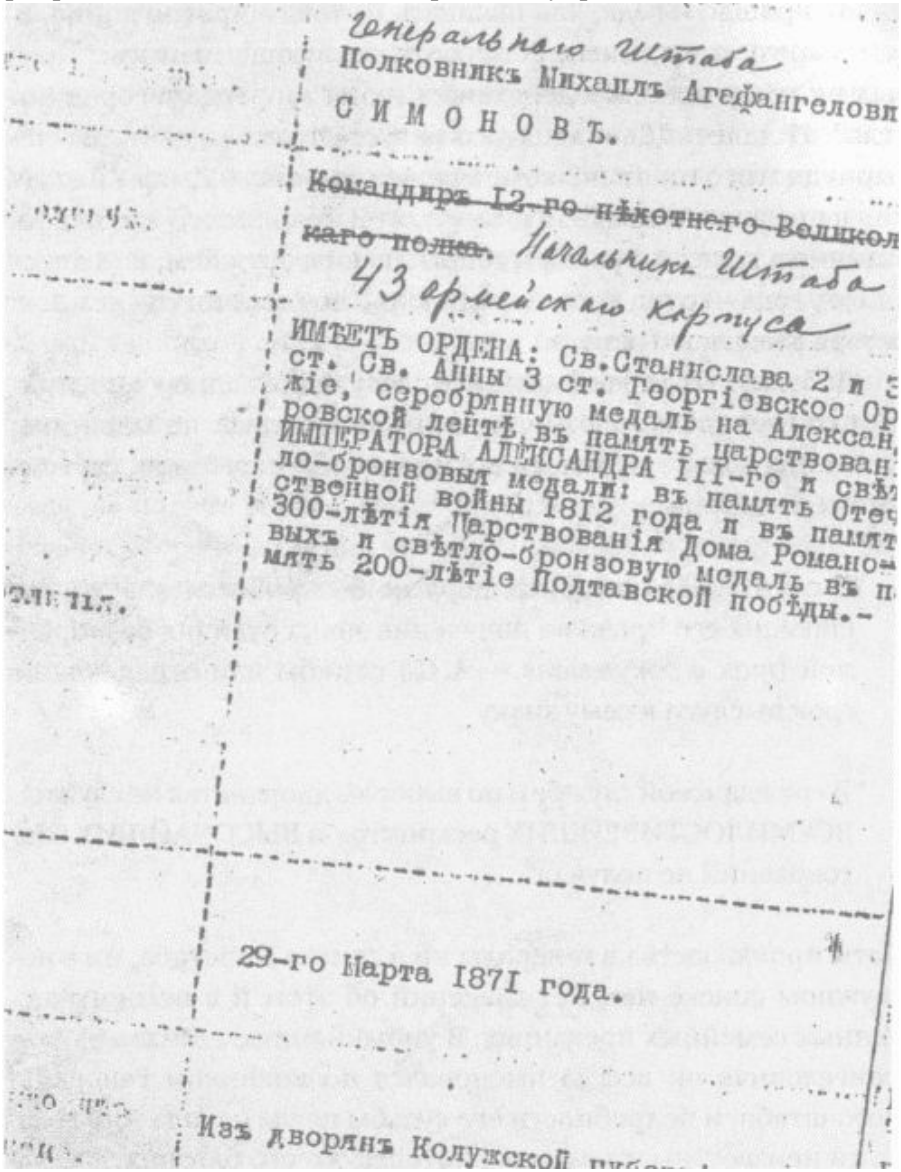
Учился в Орловском имени Бахтина кадетском корпусе, откуда в 1889 году, то есть в возрасте 18 лет принят в училище.

По 1-му разряду, то есть хорошо и очень хорошо, окончил Военно-Александровское училище в 1891 году и по первому же разряду в 1897-м — курс Общего и Геодезического отделений Николаевской академии Генштаба, и за отличные успехи в науках произведен в штабс-капитаны.

Имеет ордена: Святого Станислава 2-й и 3-й степени, Святой Анны 3-й степени, георгиевское оружие и несколько юбилейных медалей (в память 1812 года, 300-летия дома Романовых и даже 200-летия Полтавской победы).

Звания полковника удостоен в декабре 1907.

В этом звании переменил много должностей, пока в 1911 году не стал начальником штаба 1-го пограничного округа (*а надо сказать, что пограничник в тогдашнем понимании, это офицер, занимающийся фортификационными сооружениями в приграничной полосе. — А. С.*). Он ездит с контролирующими офицерами в соседние округа и вообще, по воспоминаниям бабки Али, занимается фортификацией, то есть строительством приграничных, в том числе и береговых укреплений.


Генеральнаго Штаба
Полковникъ Михаилъ Агеѳангеловп
СИМОНОВЪ.
Командиръ 12-го пѣхотнаго Великол
каго полка. Начальникъ Штаба
43 армейскаго корпуса
ИМѢЕТЪ ОРДЕНА: Св.Станислава 2 и 3
ст. Св. Анны 3 ст. Георгіевское Ор
жіе, серебряную медаль на Алексан
ровской лентѣ, въ память царствован
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го и свѣ
ло-бронзовыя медали: въ память Отеч
ственной войны 1812 года и въ памят
300-лѣтія Царствованія Дома Романо
выхъ и свѣтло-бронзовую медаль въ п
мять 200-лѣтіе Полтавской побѣды.-
29-го Марта 1871 года.
Изъ дворянъ Калужской

Одна из страниц послужного списка Симонова М. А.

1 августа 1913 года он сдал штаб округа по случаю отъезда в 2-месячный отпуск. Поскольку иных документов — ни гражданских, ни религиозных — мне найти не удалось, готов рискнуть сделать предположение, что именно в эти два месяца он, как сказано в послужном списке, женился «первым законным браком на девице княжне Оболенской Александре Леонидовне. Жена вероисповедания православного». Даты этого события нет в послужном списке. Так что, скорее всего, я прав, и в августе 1913 года Михаил Агафангелович, сорокадвухлетний холостяк-полковник, женился на барышне, на 19 лет его моложе, хотя, повторяю, не нашли мы об этом ни записей в церковных книгах Петрограда, ни в записях актов гражданского состояния.

Не прошло и года, как началась Первая мировая война, о чем в послужном списке есть соответствующая запись: «Прибыл на театр военных действий 1 июня 1914 года в город Ковель». И далее: «Двенадцатого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года с полком перешел границу у Дмары и вступил в пределы Австро-Венгрии». <…> В ноябре того же года за отличие в делах награжден георгиевским оружием, а 18 апреля 1915 года — отец еще не родился — по болезни отчислен в резерв Киевского округа.

Добавим, что с этой даты все следующие записи в послужном списке сделаны от руки, а не напечатаны на машинке. Есть и несколько не имеющих прямого отношения к службе записей, например:

> «В службе сего штаб-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия безпорочной (*так в документе. — А. С.*) службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку».

> «В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИХ рескриптов и ВЫСОЧАЙШИХ благоволений не получал».

Даты производства в генералы ни в списке Генштаба, ни в послужном списке нет, нет сведений об этом и в немногочисленных семейных преданиях. В упоминаниях о Михаиле Агафангеловиче он всегда именовался полковником Генерального штаба, и подробности его судьбы после начала 1916 года то ли неизвестны, то ли мало интересуют его близких.

Смутно помню только, как бабка Аля, которая и в минуты лирические не забывала о неуклонном своем предназначении — помогать всем мужчинам семьи в осуществлении их миссии — делилась со мной воспоминаниями о жизни с М. А. Про ее

участие в рязанской кустарной кооперации вместе с дедом Сашей и моем поэтическом взрослении вы уже читали, от работы над своими литературными произведениями отец ее решительно и рано отдалил, что было одним из неизменных поводов для переживаний, но начиналось это сразу после замужества: Михаилу Агафангеловичу Алинька помогала чертить схемы для книги — единственного нерукотворного свидетельства его присутствия в этой жизни (*ну, разумеется, не считая отца и фамилии Симонов. — А. С.*) — «Современная оборона морских границ», вышедшей в 1915 году, экземпляр которой имеется в отцовском фонде РГАЛИ.

Алинька (продолжение)

Алинька с долгожданным сыном Кириллом, 1916-й — начало 1917 г.

Итак, вскоре после начала войны Михаил Агафангелович едет на фронт, оставляя в Петрограде, на Малой Посадской в квартире на 5-м этаже свою, уже беременную, жену.

А вот что она пишет в 1969 году в письме к сыну, где речь идет о первом свидании 28 ноября 1915 года (*то есть в день его рождения. — А. С.*): «…Ведь я так трагично потеряла перед этим меньше чем за год твою сестру (в мечтах это была Ирина), чудесную девочку с длинными, как мне говорили, волосиками. Не выдержав трехмесячного отсутствия известий от мужа (Перемышль и пр.), я, не говоря маме, поехала в Гл. Штаб узнать правду. И там, не заметив, что я в положении, мне прямо сказали: „Ваш муж убит, полк передан другому“. Представляешь — мое возвращение домой и… мертвый ребенок. А наутро телеграмма из Ставки, что — жив! Я после долго не могла видеть детей, и когда он вернулся ненадолго в госпиталь, хотела, как можно скорее иметь ребенка». «Мне так хотелось родить ребенка, что я детей не могла видеть» — в этом типичная бабкина логика.

В этом трагическом событии муж хотя бы участие принимает: своим долгим, спускающим пружину сюжета, отсутствием. А письмо продолжается, и даже формальная связь с М. А. Симоновым из него исчезает.

«И вот тот же профессор у меня на квартире, а не у мамы, как в первый раз, та же акушерка и даже та же няня, которая была тогда напрасно „заготовлена“. Началось все без 15 мин. в 1 ч. дня, а в 6 ч. без 15 мин. я увидела у себя на постеле то, что было дороже жизни — маленькое невероятно черное существо, черные волосы, брови, глаза и оттопыренные большие пальчики (это видно и сейчас). И родился ты под уговоры пр. [профессора] Парышева Дм. Андр. — помню и сейчас фам., имя, отч.: „Да ты раньше родись, а потом кричи!“ — ты кричал еще не родившись, п.с. (*это, скорее всего, означает „поскольку“. — А. С.*) воды сошли у меня накануне, после того как я поднялась по лестнице — лифт испортился».

Тут я прерву бабкино письмо совершенно неожиданным, в том числе и для меня, комментарием. Он принадлежит Любови Викторовне Житько — моему секретарю и вдове недавно умершего моего доброго знакомого Миши Житько. Отдав написанный от руки текст Любови Викторовне для перепечатки на компьютере, я внезапно услышал от нее, а потом заставил это записать: «Я как-то не сразу поняла, что это тот самый Парышев, чье пресс-папье с вензелями инициалов до сих пор стоит у меня на письменном столе.

Старший брат Алиньки — князь Николай Леонидович Оболенский с женой, Париж, 1925 г.

А вышло так. Мой, ныне покойный, муж оказался праправнуком Дмитрия Адриановича Парышева.

К сожалению, все, кто мог бы хоть что-то рассказать об этой семейной истории, уже умерли, и поэтому я опишу, что знаю, и то, что прочитала.

Дмитрий Адрианович Парышев родился в 1858 году. Его отец — Адриан Федорович — был сельским священником, служившим в 1882 году в Ильинской церкви одного из сел Екатеринбургского уезда, о чем свидетельствует Пермский епархиальный адрес-календарь на упомянутый год.

Дмитрий Адрианович окончил Медицинскую хирургическую академию в СПб., военное учебное заведение, но в 1897 году перешел на городскую службу. Был заведующим родильным домом, работал по оперативной гинекологии в созданном им отделении больницы при Елисаветинской общине сестер милосердия в СПб. Посвятил себя почти исключительно научно-

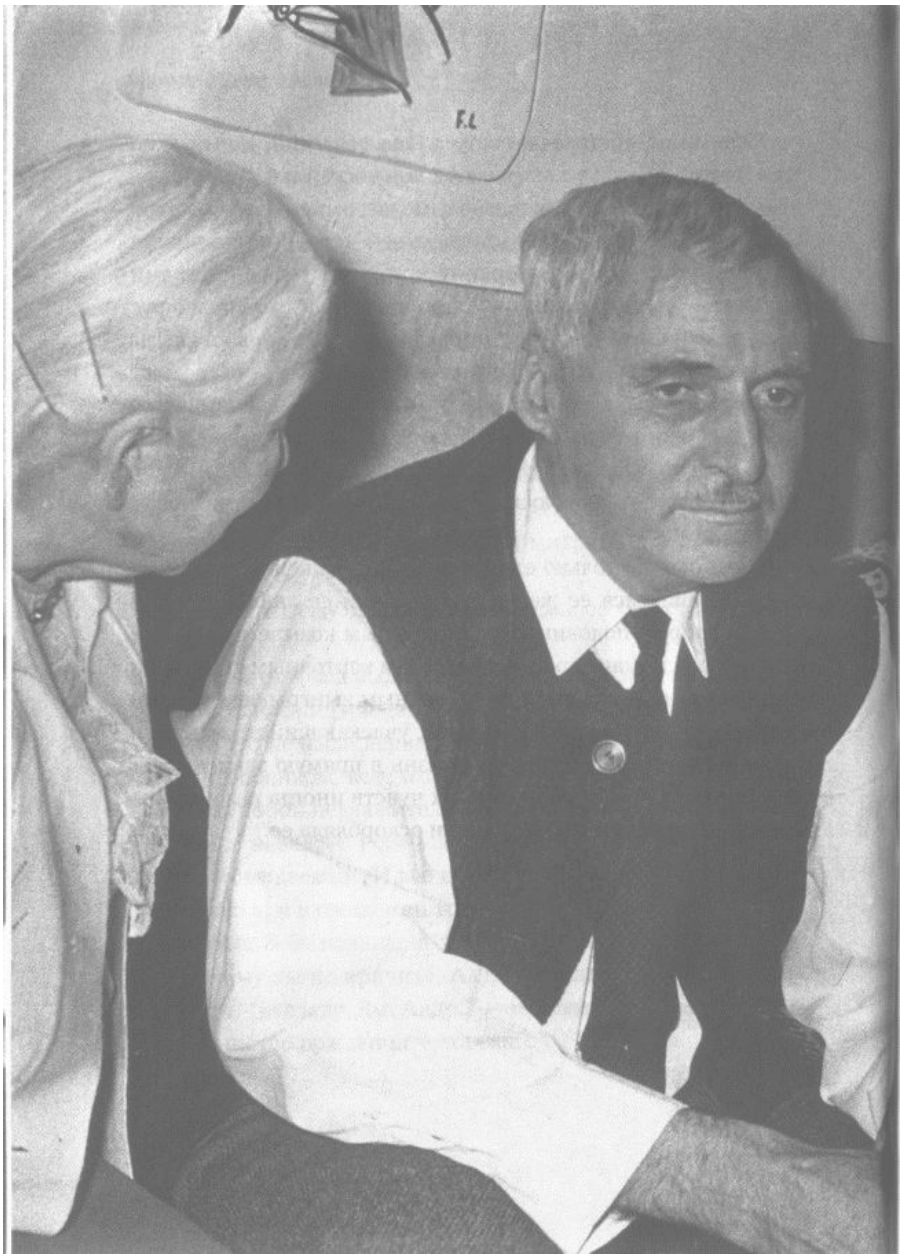
общественной деятельности, связанной с родовспоможением и охраной материнства. Дмитрий Адрианович Парышев умер в 1925 году.

А в 1915 году ему было пятьдесят семь, он был солиден, заслужен и бородат».

«…Боли эти 6 час. были поэтому адские, а зато ты получил редкую возможность подать голос, еще не родившись. Так вот, разве же это не была первая встреча, как я сказала, встреча матери с ребенком, кот. хотя и существовал в ней и давал о себе знать порой неуважительными толчками, но был еще ей невидим и неведом. Ребенок такой выстраданный, с такой страстью ожидаемый. И все вокруг были за меня счастливы, а не только я, и в ожидании трепетном этого момента я только искусала себе пальцы, а на вопрос профессора из передней „Почему вы не кричите, А. Л.?“ нашла в себе силы ответить шутя: „Вас жду, Дм. Андр.“ — это было как таинство, великое таинство рождения человека…»

Сочетание обстоятельности и легкомыслия. Капля юмора в чашке пафоса в кастрюле банальностей и быта — и при этом пусть несколько показное, но несомненное мужество. Она подчеркивает уникальность своей истории, настаивает на этом, но ведь с точки зрения истории всеобщей эта уникальность подтверждена: у Алиньки родился крупный русский поэт и писатель. Просто Александра Леонидовна всегда утверждала, что знала это с момента рождения, недаром же то место в письме, где я поставил многоточие заканчивается так: «…И, как теперь можно честно сказать, человека нужного и дорогого людям… И вот уже 54 года мы вместе. Завтра допишу, а то не успокоюсь перед сном, а завтра с утра рано в поликлинику».

Отец был не только единственной сбывшейся ее мечтой, осуществившимся ее желанием, главной ее любовью, но и во всю вторую половину жизни главным козырем ее жизни, она им болела, как игрок рулеткой или карточным столом, он был ее главной ставкой и несомненным выигрышем. Но при этом он был непоследовательный, увлекающийся, живой, и невозможность поставить его жизнь в прямую зависимость от яростного накала Алинькиных чувств иногда разочаровывала, часто раздражала, а порой и оскорбляла ее.



Нелегкая это ноша — быть Алинькиным сыном (А. Л. Иванишева и Константин Симонов)

Но я, помнится, начал с драм и тайн. Пора к ним вернуться. В картотеке проекта «Русская армия в Великой войне» есть

карточка, посвященная М. А. Симонову. Черный прямоугольник с надписью «фото отсутствует» и даты: «В 08.07.1915–19.10.1917 в чине генерал-майора занимал пост начальника штаба 43-го армейского корпуса». Но это новейшие, датированные 2003-м годом данные. А вот в первой известной мне автобиографии Константина Симонова, его, так сказать, рукой, написано: «Отец пропал без вести в 1916 году», в других автобиографиях вопрос об отце постепенно нивелируется и практически исчезает, уступая место формулировке «воспитывался в семье отчима, командира Красной Армии». В одной из промежуточных версий существует и такая формулировка «пропал без вести в Гражданскую войну». Где здесь драма и что здесь тайна, и какие по этому поводу существуют сведения и версии?

То, что он пропадал без вести в конце 1914 — начале 1915 года мы знаем из Алинькиного письма. То, что до октября 1917 года место его службы, а значит, и местоположение его, были известны, следует из вышеприведенной записи в картотеке. Есть еще одна важная для нас с точки зрения дат запись в автобиографии отца: «С 1917 по 1927 год жил в Рязани».

Следующим источником интересующих нас сведений о судьбе деда Симонова все так же служит переписка из Петрограда в Париж — от сестер Оболенских Дарьи и Софьи — брату Николаю. (Я ее уже цитировал в этих записках, но там меня интересовал акцент на деду Сашу — Александра Григорьевича Иванишева, сейчас хочу прочесть их еще раз с акцентом на судьбу Михаила Агафангеловича.)

Из письма С. Л. Оболенской (2 июня 1921 года):

> «Аля пережила много душевных драм. Миша ее так и не вернулся, да и слава Богу, конечно, раз что он человек больной. Жизнь ее, конечно, разбитая, не может она напасть на подходящего человека, нервничает, все время неудовлетворенная…»

Из письма С. Л. Оболенской (6 марта 1922 года):

> «…М. в Польше, звал ее к себе с Кирой, но слишком поздно, когда уже всякое чувство к нему прошло и осталось лишь одно горькое воспоминание от всей тяжелой, одинокой жизни…»

Из письма Д. Л. Оболенской (20 ноября 1922 года):

> «…Муж ее вдруг проявился в Варшаве, он написал

ей, что умоляет ее к нему приехать, что он заделался польским подданым, что дает ему право выписать жену и сына. Он уже три года живет в Варшаве. Аля ответила отказом…»

Из письма Д. Л. Оболенской (7 июня 1922 года):

«…Аля живет в Рязани, пока счастливо, на приглашение мужа приехать в Варшаву, где он уже три года находится, ответила отказом. Она много зарабатывает и делится иногда со мной…».

Из письма С. Л. Оболенской (октябрь 1922 года):

«…Аля в Рязани, живет с „новым мужем“ неважно. Кира все хворает. Она хочет ехать в Польшу, да не получает ответа от М., который звал ее несколько раз…»

Итак, из официальных святцев имя М. А. Симонова исчезает сразу после революции. Появляется вновь, но уже в частной переписке в 21-м — где он «так и не вернулся», и в 22-м, когда он «проявился в Варшаве», причем в других, более поздних, официальных бумагах, каковыми были отцовские автобиографии, дата его исчезновения — 1916 год, причина — то ли «пропал без вести», то ли исчез в начале Гражданской войны. В любом случае в синодике близких родственников он отсутствует 5 лет. Когда я делал фильм об отце, а занимался я этим вторую половину 2005 года, этот вопрос: что же дед Симонов делал эти пять лет и как сложилась его дальнейшая судьба польского гражданина после ноября 1922 года, интересовал меня чрезвычайно: ну не может просто так за здорово живешь исчезнуть в маленькой Польше Генерального штаба генерал-майор, за что-то дали ему польское гражданство и право выписать семью из России. Чем-то должен был он заниматься, и потом, ведь в 22-м ему всего 51 год. За что его так не любят в семье Оболенских, что толком не интересуются его судьбой эти пять лет? Ведь даже когда он появляется, то вопросами о том, где был, что делал, никто из сестер бабки не озаботился. Не был — объявился, был генерал — стал польский подданный, звал, звал, потом вдруг обрубил все концы, и никто особо не удивился и не огорчился. Есть в этой фигуре какая-то тайная отторженность, вызывающая у семьи скрытую недоброжелательность. Так мне представляется, так лично я эти письма понял. Кстати, в первом из них от июня 1921 года, где Миша еще не объявился, есть важная деталь, вызывающая в моей собственной памяти некоторые невнятные, полунамеками,

разговоры с Алинькой: «…Да и слава Богу, конечно, раз что он человек больной. Жизнь ее, конечно, разбитая…»

Давайте для полноты картины введем еще одну составляющую: зимой 1917–1918 годов из Петрограда в Рязань выехало все семейство Оболенских: мама — Дарья Ивановна, четыре дочери и трое внуков. Леонида Николаевича уже давно не было в живых. Главная мужская опора семьи, брат Николай, с 1915 года был губернатором (последовательно Курской, Харьковской и Ярославской губерний) и одновременно возглавлял Особый комитет по борьбе с дороговизной. В феврале 17-го арестован, привезен в Петроград, освобожден. После чего поселился в Орле. В августе 18-го бежал из-под расстрела в эмиграцию. Турция, Болгария, наконец, Франция, где вновь, как в 14–15 годах состоял при великом князе Николае Николаевиче, что в уже неоднократно упомянутых и цитированных письмах сестер составляет главный секрет Полишинеля — пишут об этом только робкими намеками, видимо, считая, что это место службы должно быть особо ненавистно новым властям, непонятным и трудно предсказуемым.

Вопрос о том, что делал Михаил Агафангелович с 1917 по 1922 год требует серьезных архивно-исторических розысков, причем, скорее, в Польше, чем в России. Эти розыски я начал в августе 2005 года, и — пока — никаких успехов. Возможно, эту часть мемуарных моих заметок еще придется переписывать, но сейчас я все-таки рискну слепить свою догадку по совокупности фактов и соображений вокруг этого имеющихся. Даже интересно будет сравнить, тем более что варианты простираются до возможности обнаружения кровных родственников в Польше. Напомню, что М. А. — чуть больше 50, и он женат или был женат на женщине девятнадцатью годами его моложе, так что даже вариант «седина в голову…» представляется отчасти вероятным, хотя, учитывая вопрос уже в этом тексте заданный, это маловероятно. А что вероятно?

В России революция. Генерал — безусловно, революционная мишень. И хотя генерал он не строевой, а, скорее, технико-технологический, что-то подсказывает мне, что единение с восставшим народом (а точнее так — большевистский переворот) как-то не вписывается в послужной список этого дворянина Калужской губернии, и желание к нему присоединиться никак не проглядывает из дальнейшего его поведения.

С 1915 по 1918 год Польша оккупирована Германией и Австро-Венгрией. В ноябре 18-го создание независимой Польской Республики, приход к власти Пилсудского, затем становление польской армии, военная операция против Украины, встречный

удар Красной Армии, печально для Тухачевского и его войск закончившаяся Варшавско-Львовская операция 1921 года. «Он уже три года живет в Варшаве» (*это, очевидно, следует из не сохранившегося письма М. А. в Рязань жене. — А. С.*), «…заделался польским подданным», то есть, вероятно, за какие-то заслуги получил польское гражданство. Каковы могут быть заслуги перед Польшей русского генерал-майора, имеющего опыт укрепления границ, разведки (пограничная стража предполагает и это) и ведения боевых действий, патриота России и врага захвативших в ней власть большевиков? Скорее всего, строительство и укрепление польской армии, ведь в те годы не было так популярно, как в наши дни, назначать боевых генералов на гражданские должности.

К 1922 году ситуация стабилизировалась, и генерал Симонов — по понятным причинам не подававший о себе вестей — пытается восстановить утраченные связи и вернуть себе семью.

■

Ну вот, в России воистину надо жить долго, все мои польские разыскания через друзей в польском посольстве, через посла, через журналистов в Польше и через друзей-историков, так или иначе имеющих с польскими архивами дело, дали наконец хоть какой-то результат. Отыскался хоть малый, но все-таки «след Тарасов».

Передо мной ксерокопия выписки из протокола «Общего годового Собрания Членов Русского Эмигрантского Комитета в Польше, состоявшегося 17 апреля 1921 года. Варшава, Краковское предместье № 66».

Пункт 2 — список кандидатов в Ревизионную Комиссию.

«г. г. Симоновъ
Савичъ
Яковлевъ
Красноперовъ
г-жа Тизенгаузенъ
Козловскш
Буцько
Диль
Оленинъ»

Фамилии со 2-й по 6-ю взяты в фигурную скобку, и против нее пояснение: «Неизвестно согласны ли баллотироваться».

И второй протокол, такого же «Собрания», но за 14 и 21 мая 1922 года на этот раз не на одной, а на 7 страницах, снова

напечатанный на машинке с «ъ» и «і», т.е. по старой орфографии.

Открылось заседание 14-го в 6 часов 20 минут вечера.

Закрылось в 9 часов 30 минут вечера.

Кандидатом в новую ревизионную комиссию снова внесена фамилия Симонова М. А.

Количество присутствующих на общем собрании не указано, но, судя по тому, что председательствующий просил желающих выступить подавать о том записки, народу там было немало. Нет и никаких указаний на социальный состав присутствующих: кто они — военные, чиновники, промышленники — признаков никаких.

Заседание 21 мая открылось в 6.30 и закончилось в 8.50 вечера. Идет обсуждение работы правления за 1921 год.

Вот одна страница протокола этого обсуждения:

> «Страница 5.
>
> В. И. Семеновъ даетъ подробную характеристику и оценку деятельности Комитета за истекший годъ, указавши, что уклонъ въ сторону такъ называемыхъ „малыхъ делъ“[2] обусловливался всей обстановкой деятельности Комитета за истекший годъ.
>
> В. Г. Лехно. Указываетъ, что Комитетъ сделалъ слишкомъ мало и не использовалъ вполне своего авторитета, ограничиваясь преимущественно деятельностью въ Варшаве.
>
> Просил Собрание при выборахъ иметь въ виду, что избираемые должны быть не представителями даннаго Собрания, а интересовъ всехъ русскихъ гражданъ въ Польше. К. Н. Николаевъ, возражая г. Лехно, указываетъ, что Комитетъ сделалъ все, что было возможно при существовавшей политической обстановке, которая не позволяла ставить вопросы въ широкомъ масштабе, а заставляла итти путемъ создания цепи прецедентовъ.
>
> П. Н. Масловъ выражаетъ пожелание встретившее одобрение собрания, чтобы будущее Правление Комитета въ своей деятельности руководствовалось следующими положениями:
>
> 1. Расширениемъ круга членовъ Русского Комитета;
>
> 2. Закреплениемъ въ ходе практической работы Комитета и утверждениемъ со стороны властей общихъ правовыхъ началъ, регулирующихъ жизнь эмигрантовъ;
>
> 3. Тесною связью съ русскими аполитическими организациями въ других странахъ, преследующими идентичныя задачи;

4. Более частымъ созывамъ Общихъ Собраний.

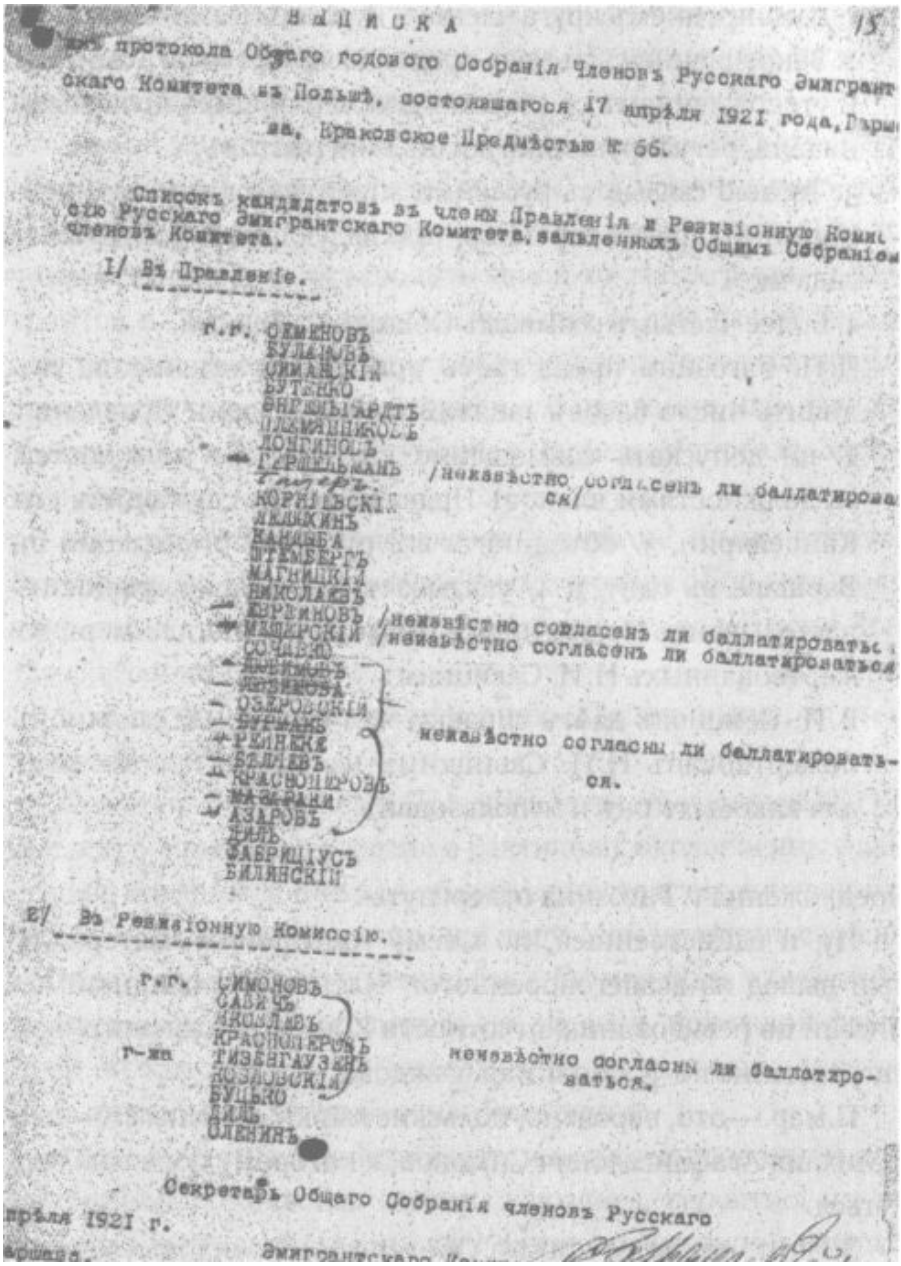
Д. Н. Рагозинъ предлагаетъ просить Правление: 1/ увеличить число часовъ занятий въ канцелярии Правления, 2/ не допускать совмещение какихъ-либо должностей съ должностями членовъ Правления или служащихъ его Канцелярии, 3/ объединить все русския организации въ Варшаве въ одну, и 4/ указываетъ на непрпавильное израсходывание Правлением Комитета 1 000 000 п. мар., пожертвованныхъ Н. И. Савицкимъ.

В. И. Семеновъ даетъ справку, что указанный миллионъ пожертвованъ Н. И. Савицкимъ на определенныя цели, для каковыхъ онъ и использованъ».

Предложения г. Рагозина отвергнуты.

Ну, и единственный, по моему усмотрению, материяльный вывод из вышеговоренного: «Членам Ревизионной Комиссии по ревизованию отчетности Комитета назначить вознаграждение по 35 000 п.мар. каждому».

П.мар. — это, вероятно, польские марки, а члены РК — это и Михаил Агафангелович Симонов, к которому пора мне вернуться.



ВЫПИСКА 15

изъ протокола Общаго годового Собранія Членовъ Русскаго Эмигрантскаго Комитета въ Польшѣ, состоявшагося 17 апрѣля 1921 года, Гарнизонная, Краковское Предмѣстье № 66.

Списокъ кандидатовъ въ члены Правленія и Ревизіонную Комиссію Русскаго эмигрантскаго Комитета, выбранныхъ Общимъ Собраніемъ членовъ Комитета.

I/ Въ Правленіе.

г.г. ОКМЕНОВЪ
БУЛАНОВЪ
ОМАНЬКІЙ
БУТЕНКО
ФИРСЕНБЕРДТЪ
ПЛЕМЯННИКОВЪ
ДОНГИНОЪ
ГЕРШЕЛЬМАНЪ /неизвѣстно согласенъ ли баллатироваться/
КОРНІЕВСКІЙ
ЯКЛЯКИНЪ
КАНАЛЕВА
ШТЕМБЕРГЪ
МАГНИЦКІЙ
НИКОЛАЕВЪ
КУРГИНОВЪ /неизвѣстно согласенъ ли баллатироваться/
МАШКРСКІЙ /неизвѣстно согласенъ ли баллатироваться/
СОЧАВКО
ЛОБЕМОВЪ
ЛИТВИНОВА
ОЗЕРОВСКІЙ
БУРМАНЪ
РЕЙНЕКЕ
БЕЛИЕВЪ
КРАСНОПЕРОВЪ
МАЗУРАНА
АЗАРОВЪ
ДИЛЬ
ФАБРИЦІУСЪ
БИЛЯНСКІЙ

неизвѣстно согласны ли баллатироваться.

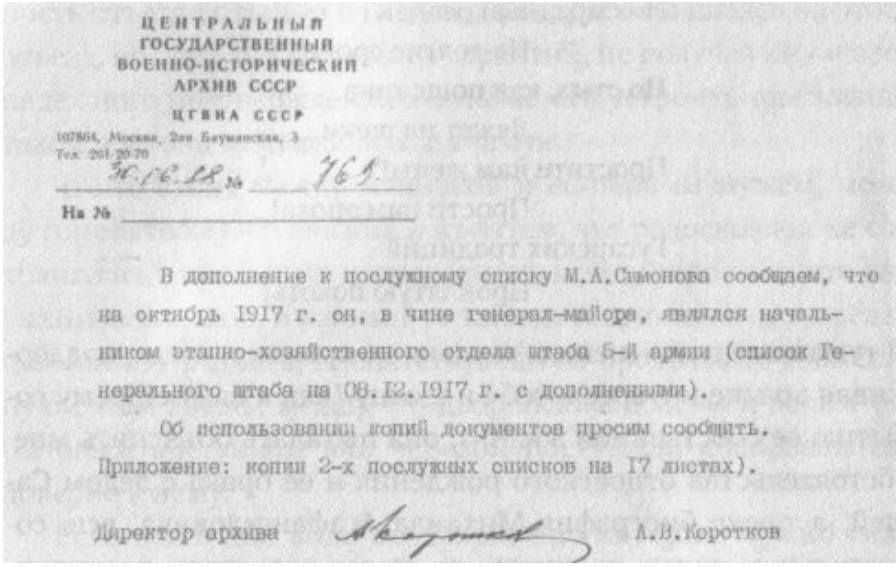
2/ Въ Ревизіонную Комиссію.

г.г. СИМОНОВЪ
САВИЧЪ
НИКОЛАЕВЪ
КРАСНОПЕРОВЪ
г-жа ТИЗЕНГАУЗЕНЪ
КОЗЛОВСКІЙ
БУЦЬКО
ДИЛЬ
ОЛЕНИНЪ

неизвѣстно согласны ли баллатироваться.

Секретарь Общаго Собранія членовъ Русскаго
прѣля 1921 г.
ршава. Эмигрантскаго Ком

Последнее упоминание деда Симонова, которое удалось найти в польских архивах



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
АРХИВ СССР
ЦГВИА СССР
107864, Москва, 2ая Бауманская, 3
Тел. 261-20-70
30.12.88 № 761
На №

В дополнение к послужному списку М.А.Симонова сообщаем, что на октябрь 1917 г. он, в чине генерал-майора, являлся начальником этапно-хозяйственного отдела штаба 5-й армии (список Генерального штаба на 08.12.1917 г. с дополнениями).

Об использовании копий документов просим сообщить.

Приложение: копии 2-х послужных списков на 17 листах).

Директор архива А.В.Коротков

Из переписки с архивной службой Министерства обороны

Значит, по датам письма Оболенских и этих документов совпадают: именно 21–22 годы — период возврата, а точнее так — попытки возврата к прошлому. Правда, нигде не сообщается о перемене гражданства.

Чем он занят? Не знаю, но в комитете активен, хотя и безгласен. Занимается «малыми делами» по причине того, что большими комитету заниматься в Польше не с руки. Им хочется всем, на круг, установить какой-то статус русских эмигрантов в Польше, но пока не выходит. И еще две любопытные детали: желание контактов с русскими «аполитичными» организациями в других странах, т.е. создание или, точнее, воссоздание, виртуальной России в Париже, Монреале, Берлине, Америке.

Мои разыскания продолжают давать не самые оптимистические, но все-таки результаты. 11 ноября 2008 года получено письмо от Адама Замойского, профессора истории Лондонского университета:

«…Я получил такую информацию. „За что купил, за то и продаю“.

Симонов действовал в Польше под чужим именем и, скорее всего, принимал участие в различных околовоенных действиях, которые велись под эгидой министерства внутренних дел, чьи архивы закрыты по сию пору. Мой источник сообщает, что какие-то бумаги можно было бы поискать в библиотеке Варшавского университета, но, не зная, под какой фамилией он там действовал, невозможно это отследить (вот откуда потребность в его фотоизображении).

Скорее всего, он действовал там под командованием 2-го департамента польских кадров, а позднее, вероятно, им руководил КОП — полувоенный Корпус пограничной стражи. Значительное число русских военных из Белой армии там, видимо, подвизалось и, что уже звучит совершенной фантастикой — получали содержание из Управления таможни во Львове.

Именно они занимались выдачей бывшим офицерам Белой армии новых документов.

Прошу прощения, что все это огорчающе приблизительно, но таковы обстоятельства».

Ну вот, операция «Ищем дедушку» продолжается, фотографий, как уже говорилось, в отцовском и бабушкином архивах не оказалось ни одной — так что искать их придется иным путем, через Калугу или по коллективным портретам выпускников Академии Генштаба, если таковые делались.

Оптимистично звучит название Корпуса пограничной стражи — это нечасто встречающееся понятие — последнее (в Русской армии) место службы деда Михаила.

Ну что же, кто ищет…

А семья почти в полном составе с конца 1917 года — в Рязани, где они худо-бедно, но кормятся, бросив имущество и жилье в опустевшем для них и оголодавшем для всех Петрограде. Мать с двумя незамужними дочерьми вернулась из Рязани в 20-м нищая, по непрактичности и деликатности своего способа общения с человечеством. Две другие дочери — старшая с тремя детьми и младшая с сыном — застряли в Рязани. Старший зять — инженер-майор Тидеман погиб в 17-м. И в отличие от зятя Симонова погиб надежно, навсегда. О младшем зяте ничего не известно, и в ощущении семьи он тоже, скорее всего, погиб, о чем они почему-то не скорбят. С 1918 года потерялся в потоках эмиграции сын Николай, и только природный оптимизм да ответственность друг за друга поддерживают слабый жизненный тонус этого семейства в рязанские три года. По мере сил и умений дочки служат. По стечению исторических обстоятельств их способности лежат в самых невостребованных областях жизни: языки, книжки, дети, культура. И все время — чужие, опасно чужие с их княжеским происхождением, пусть даже без серьезных претензий. Но все-таки помните: «…До 25 лет сама не раздевалась» — до какой-то степени это часть жизненного опыта всех женщин семейства Оболенских.

Вот на этом фоне и происходит знакомство Александры Леонидовны с преподавателем Рязанского пехотного училища А. Г. Иванишевым.

Седая с молодых лет, 28–29-летняя красавица, с маленьким

сыном и без всяких перспектив и тридцатисемилетний холостяк, служака, пораненный и потравленный газами, с единственным достоинством, очевидным с первого взгляда, — надежный, как армейский штык, с принципами поведения неизменяемыми и даже не обсуждаемыми. И это для младшей из Оболенских с ее трепетными полетами фантазии и борениями духа. Уж как там они поладили, сказать не возьмусь, но то, что этот роман продолжался долго и решение выходить или не выходить за этот штык замуж давалось Алиньке ценой нелегкой, тем более что дед Саша, как я его понимаю, никаких вариантов совместной жизни, кроме замужества, не знал, не обдумывал и не предлагал. То есть эфемерному и явно омраченному прошлому противостояло жесткими рамками ограниченное, зато надежное, предвидимое будущее. И она мечется, то решительно отвергая возможность отъезда с сыном в Польшу, то вдруг соглашаясь на этот отъезд, но, увы, без малейших гарантий, не получая никакого надежного подтверждения возможности устроить там жизнь такой, как она мечтала, выходя замуж.

Что-то стоит между Алинькой и ее первым мужем, между семейством Оболенских и их зятем, чья родословная не сохранилась в преданиях и документах, между радостью, что он, оказывается, жив, и какими-то тайными причинами, разъедающими эту радость, препятствующими продолжать совместную с ним жизнь, между его дворянским долгом и каким-то бытовым поступком или чередой поступков, подорвавшим доверие к нему.

Есть всего два вида болезней, про которые можно сказать «раз что он человек больной», сказать походя, как о чем-то делающем дальнейшую совместную жизнь либо жертвенной, либо невозможной. Это душевное нездоровье или то, о чем, в присущем ему романтическом стиле, написал в тридцатом году Михаил Аркадьевич Светлов. Стихотворение называется «Большая дорога», и последние две его строфы звучат так:

Большая дорога
Манит издалече,
Зовет к приключеньям
Сторонка чужая,
Веселые вдовы
Выходят навстречу,
Печальные женщины
Нас провожают…
Но смрадный осадок
На долгие сроки,

Но стыд, как пощечина,
Ляжет на щеки…
Простите нам жены!
Прости нам эпоха!
Гусарских традиций
Проклятую похоть!

И туманные разъяснения Алиньки во времена, когда, поддерживая во мне интерес к себе и к отцу (как к важнейшему событию ее собственной жизни), она пыталась объяснить мне обстоятельства отцовского рождения и ее брака с дедом Сашей, а также биография Михаила Агафангеловича, всю сознательную жизнь военного, до 42 лет холостого, воспитанного в офицерских традициях и холостяцком попустительстве к собственным мирским слабостям, и служба вдали от дома, и война, война, идущая уже год, — все это вместе наводит на мысль, что, когда он в апреле 1915 года получает отпуск по болезни, болезнь эта — прямое следствие «проклятой похоти гусарских традиций». И именно тогда, в конце февраля, первых числах марта, берет начало жизнь единственного Алинькиного сына, не только горячечно любимого, но и трепетно оберегаемого всю его юность от последствий болезни его отца, когда тревога за каждый его чих умножается болезненным страхом: а не связано ли это его недомогание с отцовской неверностью, имеющей или могущей иметь последствия самого низменного, в ощущении Алиньки, характера?

Я долго мучился над предыдущим куском текста, потому что никак не мог его сформулировать так, чтобы, с одной стороны, мысль моя, в сущности довольно простая, но для дальнейшего изложения кажущаяся мне чрезвычайно важной, была высказана недвусмысленно, а с другой стороны — сфера эта столь деликатна, что любая двусмысленность бросила бы тень на историю моей семьи, на саму семью, которой я обязан своим рождением, и на многие неожиданные и очень важные для понимания более близких мне по времени обстоятельств жизни этой семьи.

Ну, как говорится, слава богу, гора с плеч, а теперь хотелось бы понять, как все эти тайные для меня, но хорошо известные отцу и его старикам, обстоятельства сказались на его собственной жизни в самый существенный период — время формирования личности.

Начнем с простого: дед Саша — Иванишев. Выходя за него замуж, Алинька берет его фамилию и навсегда перестает быть

Оболенской или Симоновой. А вот ее сын и дедов пасынок остается на всю жизнь Симоновым, немало прибавив известности этой фамилии, но не имея, или по крайней мере, насколько мне это доступно, не поддерживая никаких связей с другими калужскими Симоновыми. Что это — дедова принципиальность: жена должна носить фамилию мужа, а пасынок — это ее дело? Или это отголоски тех самых не сохранившихся писем Михаила Агафангеловича в Рязань, дескать, мы не знаем, что там случилось с Симоновым, но прятаться от этой ситуации не хотим: он — Симонов, и сын его — Симонов, как в метрике (если таковая есть) или в церковных записях, каковых я в Питере, увы, не нашел. Едва ли в начале 20-х, когда фамилии еще прямо не влияли на биографии, когда спрятаться или исчезнуть было не чудом, а нормальным деловым поступком, когда сгорело или должно было сгореть столько документов: купчих, метрических, родословных, церковных, что проследить судьбу семьи или фамилии было сложно и казалось бессмысленным, это был осознанный акт, и какие-то серьезные или казавшиеся тогда серьезными резоны за ним стояли. Наконец, учитывая, что Симонов-старший опять растворился, теперь уже в пределах Польши, факт его «пропадания без вести» подтверждался тем, что, даже выйдя замуж, вдова его сохранила за сыном фамилию канувшего отца так, чтобы это на всякий случай подтверждало добросовестность заблуждения. Кроме того, зафиксированная в первых отцовских автобиографиях дата бесследного исчезновения Михаила Агафангеловича оставляла Кирилла Михайловича сыном пропавшего без вести полковника, а не генерального штаба генерал-майора, что сохраняло возможность формулы «сын военного» вместо «генеральского отродья», впрочем, допускаю, что, хотя приводимые мною версии резонны, сделано это было не на основании резонов, а по какой-то семейной договоренности или житейской надобности, а ее с дистанции времени труднее обнаружить и сформулировать.

В любом случае из всего вышесказанного следует вывод: фамилия Симонов была для отца связана со множеством неотвеченных вопросов и так до конца и неразрешенных проблем.

И вот один из этих вопросов и одна из этих проблем: вы никогда не замечали, как различаются два периода отцовской лирики — довоенный, времен «Первой любви» и «Пяти страниц», и возникший перед самой войной и всю войну охвативший — «С тобой и без тебя»? Они отличаются друг от друга так сильно, что только совсем глухое к стихам ухо может этого не заметить. Первый — романтически умозрительный, когда жизнь — это жизнь, а любовь — важная ее часть; когда человек способен

заранее определить, на скольких страницах уместятся перипетии его любви; когда любовь становится сюжетом, лишь частично ограниченным пределами собственной личной жизни; когда стихи вбирают свой и заемный или наблюденный опыт и ложатся на бумагу талантливо угаданной будущей прозой. Любовь юношеская у Симонова рациональна и требует сюжета, чтобы быть объясненной и выраженной. Это трезвая страсть, скорее, истории любви, чем сама любовь. Не случайно эта поэтическая традиция в отцовских стихах имеет только одно продолжение — в очень знаменитом стихотворении «Открытое письмо женщине из города Вичуга», где любовь эта не своя, а чужая. Этим стихам не хватает личного безумия, они, конечно же, сдобрены личным опытом, но по большому счету это — стихи сделанные, разумные и рассудочные.

И совсем другое — его лирика, посвященная Серовой, кипящая жаром страсть на грани приличия, где жить и любить — практически одно и то же, где строительный материал стихов ты сам, где нет ни победы, ни поражения, где все так обострено и так тонко, что гранью между быть и не быть кажутся одно слово, одно движение, одна простыня.

Отца уже не было в живых, когда, вспоминая его, моя мама, которой в творчестве отца посвящено одно-единственное стихотворение, написанное на «довоенной» войне, вошедшее в халхингольскую тетрадь, но, безусловно, относящееся к периоду довоенной лирики, — «Фотография», полностью совпадающее с вышеприведенными характеристиками и, по сути, безразличное к женщине, которой оно посвящалось, сказала мне вещь, показавшуюся мне странной, даже нереальной: «Отец пришел ко мне девственником, — сказала она,— пришел с только что написанной поэмой „Пять страниц“ и, что для поэтов типично, сразу же стал ее мне читать — это их, поэтов, способ прощаться с одной женщиной, уходя к другой».

«В каком смысле девственником?» — в полном недоумении спросил я.

«В прямом»,— сказала мать и больше никогда не возвращалась к этому разговору, сколько я потом ни пытался его возобновить.

Между тем отцу к середине 1938 года, о котором идет речь, было 23, и для отнюдь не пуританских нравов времени это странно, если… если, во-первых, это правда, а во-вторых, если не принять во внимание ту самую «дурную» болезнь его родного отца, которая разрушила мир в семье Симонова — Оболенской, надолго сделав опасным и «грязным» все, что связано с плотской стороной отношений между мужчиной и женщиной. Но если это

так — многое становится на свои места: «теоретичность» и некоторая рассудочность стихов, посвященных его первым любовям; литературность отношений с его первой женой, соученицей по Литинституту, Атой Типот, впоследствии хорошей писательницей Натальей Викторовной Соколовой; почти демонстративная вычурность их совместных фотографий, где он — рослый и стриженый наголо изображает Маяковского, а она, маленькая, с глазами чуть навыкате — Лилю Брик, и то, что ни в каких биографиях отца этот брак не фигурирует, а в дневнике Натальи Викторовны за 36–37 годы, в котором масса литературных споров и размышлений, связанных с первыми поэтическими опытами отца, совершенно отсутствует какой-либо намек на чувственную сторону любовных отношений, где нет ни его рук, ни его губ, ни каких-либо запахов того, что кроме духовной близости существовало и еще что-то, а не только «там начало конца, где читаются старые письма, где реликвии нам, чтоб о близости вспомнить, нужны» (*«Пять страниц», глава первая. — А. С.*). Во всех этих стихах автор как бы старше своего героя и только в сорок первом, канув в любовь, как в ересь, теряет возраст и обретает пол.

Не буду здесь описывать период, связанный с моим рождением, тем более что, как я уже сказал, в стихах он почти не отразился, но в середине 1940 года отца постигает солнечный удар, нечто, не поддающееся ни контролю, ни описанию, — он влюбляется в Валентину Васильевну Серову и… становится поэтом. Где былые рассудительность и трезвость, где причины и следствия, которые легко раскладывались по логическим полочкам — его смело, завертело, залепило глаза и уши, он теряет ориентиры в этой пурге чувств — он впервые не может провести грани между хорошо и плохо — а тут еще война.

В общем, кроме всех прочих причин такого поэтического пируэта, о которых сейчас не время и не место, здесь еще присутствует мотив освобождения, давно чаемой внутренней раскрепощенности, словно с тебя какую-то подспудную тяжесть сняли, и чувство свободы такое — хоть в любовь, хоть в омут. Так Симонов, избавившись от симоновского клейма, лишавшего мужчину мужской уверенности в себе, становится Симоновым — таким, каким всего через год-полтора его узнает и полюбит вся страна. Причем примет его, понятия не имея об этих тайных фамильных коллизиях.

Между тем, и эта моя догадка не исчерпывает емкости семейной истории отца, ибо происходит все это во времени, когда любая частная история уже не могла оставаться без догляда соответствующих органов, поводов для такого «догляда» в ней

более чем достаточно. Арест деды Саши в 31-м и высылка всей семьи Оболенских — Тидеманов из послекировского Ленинграда в 35-м, поездка (а может быть — и не одна) Алиньки из Саратова в Оренбург, арест и гибель в Оренбургском НКВД сестры Софьи и «воцерковление» сестры Долли — и долгая, до конца 40-х годов, ссылка сестры Людмилы — ну никак я не могу себе представить, что в соответствующем ведомстве это осталось без внимания. Допускаю, что внимание это могло быть незаметным, ненавязчивым, в ежедневном быту никак не проявлявшимся, но сам-то отец этого не знать не мог, а воображение у будущего писателя было, надо полагать, соответствующее. И не работать в этом направлении не могло.

В справочнике, выпущенном в 2004 году по случаю 70-летия Литературного института, справочнике неполном и сделанном наспех, тем не менее просматривается одна, общая для многих студентов, тенденция: интеллигенция «опролетаривает» семейное свое происхождение, и сыновья московских адвокатов приходят в Литинститут из шахт Метростроя. И у меня не поворачивается рука кинуть в них за это камень, тем более что у многих (по крайней мере у отца) это точно не было чистой мимикрией. Вот какие резоны приводит он сам в книге «Глазами человека моего поколения»:

«…На Волге гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это вместе взятое сыграло свою роль в том, что вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто <…> я после седьмой группы школы <…> пошел в ФЗУ».

«Это было существенно для бюджета нашей семьи, жившей, как говорится, впритирку без единой лишней копейки».

«Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, не сможем воевать, если на нас нападут, — это было совершенно несомненным».

В самой последней, не написанной даже, а надиктованной, книге, впервые, если не считать воспоминаний о Жукове, нацеленной не на публикацию, а на сознательный карантин, то есть на лежание в столе, мотив происхождения в данном контексте даже не упоминается, даже намека на него нет. Почему?

Так долго возводил и лелеял патриотический постамент для своей аргументации, что запамятовал, как он был построен, или

за давностью лет так и должно быть — смотреть на собственную юность через розовые очки? В фильме, который я снимал в 2005 году, моя сестра Катя, жившая с отцом дольше нас с Машей, общавшаяся с ним в «семейном» режиме, чего я вообще, а Маша с семилетнего возраста были лишены, сказала об этом жестко и недвусмысленно, вскинув правую руку, словно держа котенка за шиворот: «Вот как они его держали за его происхождение!» А ведь Катин опыт общения с отцом — он поздний, с конца пятидесятых, но у нее сомнений по этому поводу явно не возникало. Не могу понять.

Алинька (окончание)

Алинька в квартире на улице Красноармейской, где потом жил я

В «Новой газете» попался мне на глаза замечательный

отрывок из книги крестившего меня отца Георгия (Чистякова) о старушках его детства, о тех, кому к 1917 году было от 10 до 20 и которые сохранили в душе совесть и Бога, и так и пронесли наивно и бестрепетно через все дальнейшие нравственные испытания XX века.

«И было в русском языке слово „бабушка“. Вспомнишь его, и встают в памяти старческие руки, гладящие тебя по затылку, чай с каким-то удивительным запахом, варенье какое-то особенное и вообще океан доброты.»

Мои бабушки заметно старше Чистяковских, примерно на столько, на сколько я старше покойного отца Георгия. И обеих моих бабушек постигло безразличие к религии, наверное, каждой из них жизнь дала своего Бога.

У бабы Берты был ее Бог — ее семья, и она этому Богу служила верой и правдой, и он воздавал ей должное: трепетной до фанатизма любовью мужа, нежной заботливостью трех дочерей. У бабы Берты с ее Богом были простые, построенные на любви отношения.

У бабы Али Богом был ее сын, которого вечно приходилось с кем-нибудь делить: с женами, с работой, с войной, с редакцией, разве что в ревности к внукам Алинька была не замечена. Ее любовь к своему Богу была, скорее, языческая, чем христианская, когда этого Бога ставят в угол, бьют по губам, когда с ним рядятся по поводу его поведения, когда его молят через осуждение и осуждают через мольбу.

Ни в Алиньке, ни в ее доме не было домашности — подчеркнутая бодрость, ежедневная гимнастика, прямая спина; обязательная, но часто меняющаяся домоправительница; в посуде — разнобой с претензией на изыск; в манере — слегка чопорный стиль с оттенком церемонности и почти музейное количество фотографий: на стенах, на ночном столике, на бюро из карельской березы, на специальных подставках, в стандартных и самодельных рамках. Стоп, не могу — должен здесь же рассказать.

■

Когда Алинька умерла, отец — наследник ее квартиры на Красноармейской, 27 — добился, чтобы кооператив передал наследственный пай мне. Тянулось оформление довольно долго, и я, занятый на очередных съемках, не форсировал переезд в новое жилище.

Но вот — свершилось. Я вступил во владение квартирой. Кое-что из мебели отец вывез к себе на дачу. Квартиру надо готовить

к ремонту. Я в ней один и медленно и методично начинаю снимать со стен весь Алинькин семейный иконостас. Основной сюжет — ее Бог во всех возрастах, затем она, вместе с сыном и по отдельности. Далее основные родственники: внуки, племянники и внучатые племянницы. Каждая фотография надета на крупный шуруп вкрученный в большую деревянную пробку диаметром в большой палец руки. Снять — означает извлечь из стены эту пробку, оставив похожую на ячейку сотов заметную дыру. Пробки в стену кто-то вбивал навечно. Так что Алинькин вкус диктовался порою больше основательностью, чем эстетикой.

Вынимаю фотографии из рамок, фото — в кучу, рамки, автоматически на стол, пробки выкручиваю пассатижами и — на пол. И вот уже стена комнаты напоминает пластину, вынутую из улья — столько в ней одинаково крупных ячеек из-под пробок. Фотографии лежат отдельно — горкой — их еще предстоит разбирать, а опустевшие рамки толпятся на столе в беспорядке. И вдруг в тишине квартиры, где я один, раздается механический балаганчик звуков; «Ах, майн либен Августин, Августин, Августин». Заиграло безвкусное золоченое ведерко-подставка из-под шампанского, внутри которого была запрятана нехитрая музыкальная машинерия. Что-то я с него сдвинул, или оно заиграло само, по неведомому мне наитию — только вся бытовая картина уборки превратилась в печальный портрет ушедшей жизни, как в хорошем кино, когда неожиданный звук выявляет в синхронном с ним изображении, заложенный в него тайный смысл.

Я стоял, замерев, и, может быть, никогда больше, ни до, ни после, не чувствовал так сильно печаль и тщету Алинькиного существования, так нуждавшегося в материальном закреплении. Из пустых рам и рамок под звуки немецкой песенки медленно уходило таившееся в них Алинькино прошлое.

Я механически заставил ведерко замолчать. И ушел из квартиры до самого вечера. А потом вернулся и много лет жил в ней, переделав дом на свой лад и вспоминая Алиньку по конкретным памятным датам и праздникам.

■

Александра Леонидовна была женщина твердых правил. Обычно это упрощает жизнь и общение с себе подобными. Но правил этих было у нее много, так что некоторые проявлялись совершенно неожиданно для окружающих.

Я видел Алиньку, живущей в классической коммуналке на Петровских линиях, где после войны они жили у дедовых

родичей, с огромным кривым коридором, где воплощались в натуре все будущие фантазии из фильма режиссера Германа «Хрусталев — машину!», где на стене висели оцинкованные ванны и велосипеды, а количество дверей напоминало о муравейнике. Я видел Алиньку в квартире на Песчаных, причем уже там начисто не помню соседей, где у них с дедом была своя комната, куда она, по нашей общей нехватке жилплощадей, пускала мою маму с неизвестным ей, Алиньке, мужчиной, в чем мать моя признавалась много позже, когда Алиньки уже не было, признавалась не потому, что сожалела о греховности поступка, а восхищаясь высоким благородством отношения свекрови к своей недолгой, неудавшейся невестке.

Вообще очень важной чертой Алинькиного характера была любовь к чужим тайнам и умение их хранить. Помню уже в мои относительно зрелые годы единственным способом загасить бабкину обиду на долгое твое отсутствие было: рассказать ей некую тайну, которая за это время образовалась или возникла. Включенная в сохранение и сопереживание тайны, Алинька все тебе прощала. Такими же тайнами, полученными от своего Бога, она утешалась в многочисленных долгих и коротких разлуках. Усмирить жар ее ненасытной любви к сыну можно было чем-то даже довольно простым: присылкой еще не напечатанной пьесы, или статьи, или черновика стихотворения, верстской книжки. Ее Бог не часто такими подарками ее баловал, потому что по опыту знал, что, присылая их, втягивается в длительный процесс их обсуждения — бабка присылала свои разборы полученных произведений, а потом непременно требовала, чтобы он отозвался на ее критические соображения, а потом писала, в чем она с ним согласна (часто) или в чем не согласна (реже), и так до бесконечности. Так что быть Алинькиным Богом было далеко не безопасным занятием.

Я здесь приведу некоторые из ее посланий, чтобы понятно было, как непросто строилась эта религия.

Вот, к примеру, как Александра Леонидовна отрецензировала публикацию «Жди меня».

Письмо от 26 января 1942 года:

> «Не дождавшись ответа на свои письма, ответ на помещенное 14/I-42 в „Правде“ стихах „Жди“. В частности на строку, особенно бьющую мне по сердцу при твоем упорном молчании: „Пускай забудут сын и мать“.

На сына и на мать,
Учить других, как надо ждать
И как тебя спасать…
Чтоб я ждала, ты не просил
И не учил, как ждать,
Но я ждала всей силой сил,
Как может только мать!
И в глубине своей души
Ты должен сознавать:
Они, мой друг, не хороши
Твои слова про мать.

О ней мне говорят и посторонние, что она не соответствует действительности…»

И на обороте этого листка дописка: «Это последнее мое письмо — я не могу больше писать в пустоту».

Мне было два года, и обижаться на «пусть забудут» мне было еще рано. Наверное, мать имела такое право, если читать стихи как письма или записку, но что-то выспреннее есть в такой «поэтической» реакции, тем более что два месяца спустя в открытке от 21 марта, после описания успеха на правительственном концерте романса на «Жди меня» композитора-орденоносца (так в открытке) Берлинского, мать не может сдержаться и добавляет: «А как мой ответ на „Жди“ — ведь не плохо, а?»

Другое письмо — уже 1943 года:

«Я никогда не вижу из твоих писем, получил ли ты мои, читал ли их, дошли ли до тебя мои мысли, согласен ли ты с ними? Я писала тебе о своем впечатлении от стихотворения „Дом. Другу“, от романа… Я очень рада, что Володя Соловьев и Свердлин будут заняты в сценарии[3]. Кем будет Соловьев ясно, а Свердлин? Между прочим, я не знаю, насколько хорошо, что пьеса становится сценарием и роман тоже. „Фронт“, например, по-моему, в театре много лучше чем в кино, хотя кино — возможности и богаче, и шире. <…>

И, знаешь, публика не в восторге, когда кино повторяет уже известное. В этом отношении с „Парнем“ Столпер[4], ввел много нового, вплоть до дешевых Америк. Трюков, и поразил воображение, это правда, но обеднил содержание. Или не хватает уже пороха в

пороховницах, и потому все двоится?! Интересно мне, насколько ты доработал роман в смысле языка и сокращений, а главное, кто редактор, чьи пометки на полях: спрашиваю без конца и все впустую.

Знаешь до чего дошел отец? Он по-моему совершенно перепутал наши роли былого времени по отношению к тебе и пишет: „Придется тебе пожить на Петровке до того, как подыщешь комнату по вкусу, — Кир. некогда этим заниматься“. Ему, видишь ли, нашлось место на Лен. Шоссе, а я, у кот. такой страх перед Петровкой, должна буду жить там и искать.

Ну, право, точно он — я, всю жизнь на тебя положившая, а я — он.

И вообще, хотя ты и пишешь успокоит. слова по поводу комнаты, это все совсем иначе, чем когда папа по приезде писал: принимаемся с Кир. за поиски.

И что это, любопытно, я смогу найти, если тебе, имеющему связи и знакомства, и возможность уплатить за комнату, это недоступно? Ведь чтобы оформить, надо подыскать или иметь что-либо».

Накал чувств у Алиньки так велик, что она совершенно не ощущает грани между творчеством сына и проблемами собственного быта. Вообще этот гоголевский оксюморон из «Ревизора»: «Уповая на милосердие божие и два соленые огурца» — чрезвычайно характерен для ее писем.

Кстати, почти на каждом из них стоит черный штамп… просмотрено военной цензурой. Вот и на открытке от 25 января 44 года он стоит.

25/1:

«Кирилл, родной! Прежде всего другого горячо благодарю тебя как читатель за замечательн. стихи „Далекому другу“. Они звучат для меня как „Жди меня“, и есть в них совершенно бесподобный образ: „И если я молчу, я о тебе молчу“. Все хотелось подыскать эквивалент этому шедевру по фр., мне думается, это должно быть примерно что-то в этом роде: „et si je me tais, ce n’est que pour mieux songer a vous“, п.ч. по фр. твоя вольность буквально не переводима, приходится сказать так: И если я молчу, то лишь для того, чтобы лучше предаться мыслям о вас…»

Был ли у Алиньки литературный вкус? Если посмотреть на ее сына — то был, и совсем неплохой. А если посмотреть, что ей

нравилось в литературе (а читала она много), то скорее нет, чем да. Ее пристрастия были скорее личными, чем литературными. Время от времени, особенно в шестидесятые годы, когда она, как мать известного писателя, стала периодически живать в домах творчества, вокруг нее роились писатели средней руки, которые чутко воспринимали ее слова, отдавая себе отчет, что слова эти она не только произносит, но и доносит до ушей своего высокопоставленного ребенка. Некоторым удалось на этом, ну не то чтобы сделать, но подкрепить или подтолкнуть свою карьеру. Так Алинька стала литературным болельщиком начинающего автора — героя Советского Союза Владимира Карпова — все его первые книжечки с трогательными надписями по сей день пылятся на моих наследственных книжных полках. А он в итоге вырос в редактора «Нового мира» и генсекретаря Союза писателей. Воистину:

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

(Д. Самойлов)

Между тем взгляды на написанное у них с отцом сильно расходились, и просьбы ее о рекомендациях или рецензиях отец, как правило, встречал в штыки, что, как ни странно, только повышало градус жара Алинькиной убежденности в своей правоте и усиливало тайное счастье покровительства, которое тоже не было ей чуждо. Так встречались две движущие силы ее веры в свой литературный вкус: ее сын и ее писательское окружение — других не было.

Чтобы пояснить свою нехитрую мысль, возьму написанное об одном и том же матерью и сыном и сравню. В книге «Глазами человека моего поколения», в первом ее издании, на странице 131 есть пассаж отца о пьесе «Чужая тень», написанной им в 1948 и получившей шестую по счету и последнюю Сталинскую премию.

«Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух самоуничижения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести „Дым отечества“. В „Чужую тень“ это зерно правды было

притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собой заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило. За то, что в сорок первом году написал стихи „Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?“, нисколько не стыдно, потому что это был крик души, пусть крик души человека, в чем-то тогда зрячего, а в чем-то слепого, если говорить об адресате стихотворения, но все-таки крик души. А за „Чужую тень“ стыдно. И нисколько не жаль себя за свои тогдашние самомучения, связанные с нею. Так мне и надо было».

Речь идет о пьесе, написанной по прямому указанию, или, если деликатно, предложению Сталина, где финал пьесы не только переделан под прямым диктатом вождя, но повторяет кое-где его рекомендации текстуально.

И вот, что пишет по этому поводу наша дорогая бабушка в письме к отцу, в начале весны 1948 года, совсем по-иному трактуя муки автора, коим, возможно, она была отчасти свидетельницей.

«Итак, я прочла „Чужую тень“, но для меня это не просто „здорово“, как я это слышала от других. Для меня это: твои так сильно поседевшие виски, твое беспредельное утомление и ожидание и в итоге всего твоя победа. Победа твоя в целом и каждого из твоих героев в отдельности, п.ч. я чуть не физически ощущаю, как ты их вел к концу под непрерывным обстрелом возникающих сомнений, осуждений, порицаний и упреков, ожидающих их, когда они живыми людьми поднимутся на сцену и произнесут слова, которые ты им вложил в уста. <…> Помнишь слова Леси Украинки из „Лесной песни“ — „не можешь ты подняться до себя“. Так вот ты своей вещью помогаешь нам всем на разных ступенях общественного положения и в разном возрасте подняться внутренне до своих возможностей. Спасибо тебе за это <…>.

Как все это надо было пережить самому душевно, а не только продумать и пережить не за одного, а за всех, за каждого в отдельности в одиночку и в условиях возникающих конфликтов. И в том, как они честно и ненадуманно разрешаются, я и вижу твою победу».

Что самое удивительное — во второй половине письма, когда Алинька переходит от восторгов в целом к замечаниям по

конкретностям, она, несомненно, проявляет и житейскую наблюдательность, и здравый смысл, хотя, плохо помня это выдающееся произведение, я судить об этом берусь только в первом приближении.

Всю жизнь бабушка Аля не принимала отцовского псевдонима и во всех своих бесконечных родительских письмах, наставлениях, рецензиях, просьбах и страданиях называла сына «Кириллом» — Кирюшей, Кирюней, но ни разу — Костей. Не хотела привыкать. И не привыкла. Как, впрочем, и деда Саша. Старики любили его, лелеяли нежно все, что было с ним связано, иногда не понимали, роптали, обижались и жаловались, но — насколько же проницательно это родительское обожание — вдруг недвусмысленно и резко давали отповедь, если поведение его бросало тень на его же собственную репутацию — даже если это им только казалось. Я приведу здесь одно из таких писем, написанное бабой Алей в 44 году, когда вся Москва ринулась в Колонный зал, где их кумир, Константин Симонов, весь вечер читал «С тобой и без тебя» в присутствии дамы сердца — Валентины Васильевны Серовой.

Когда отец незадолго до смерти решил издать томик своей переписки с родственниками, от чего его тогда не без труда отговорили, он это письмо в подборку включил. Поскольку в этой предполагаемой книжке были и письма ко мне, отец счел своим долгом дать мне всю книжку на прочтение. Так я, в свою очередь, прочел письмо впервые. Оно не просто запомнилось, оно врезалось в память так, что в 2005-м, готовясь к картине об отце, я перевернул весь архив в РГАЛИ пока его не нашел. Мне казалось, что в этой работе, где я хотел рассказать о моем отце полно и честно, это письмо обязательно должно быть. Я его нашел, но в картине «Ка Эм» нет этого письма. Приспосабливая его в свой закадровый текст, я понял, что его нельзя коротко цитировать, его надо читать. Оно очень многое объясняет в драме отцовской любви к Серовой, объясняет не к славе его, не в его пользу, но жестко и мудро раскрывает некоторые причины обреченности этого поистине ставшего государственным романа поэта и актрисы, предугадывая и стараясь предупредить нелегкие и бесконечно запутанные проблемы, которые неминуемо возникают, когда отношения двоих людей помещаются под микроскоп государственного энтузиазма.

Это тем более интересно прочесть сейчас, спустя больше чем шестьдесят лет, когда нет ни его, ни ее, ни того строя, который характеризуется апокрифической фразой Сталина, которую приводят в хвост и в гриву во всех гламурных и якобы глубоко сочувственных публикациях, посвященных этим отношениям,

которые у меня навязли на зубах и повторяются с унылой настойчивостью.

«Надо издать эти стихи в двух экземплярах, — якобы сказал вождь о „С тобой и без тебя“, один — ему, другой — ей».

Я не большой поклонник Иосифа Виссарионовича, но сочинить подобную пошлость можно было бы, и не вкладывая ее в уста вождя. А ведь без этой, с позволения сказать «цитаты», не обошелся ни один из публикаторов, ни в газетах, ни в журналах, ни в фильмах и телесериалах. Впрочем, пошлости, как следует из приводимого дальше письма, хватало и в январе сорок четвертого.

19 января 44 года:

«Кирюня! <…> Ты так устроил свою жизнь, что рассчитывать поговорить по душе я не могу, а урывками при шофере не скажется то, что вынашивается в сердце или скажется не так, между тем хочется, чтобы знал ты, что я чувствую и думаю, все еще не умерла во мне эта потребность.

Так вот, мой друг, как ни горько, а должна сказать тебе, что то же ощущение боли и неловкости за тебя, какое я испытываю по отношению к твоей личной жизни, я пережила и на твоем вечере, и долго спустя, и очень, очень остро. Все мои смутные ощущения, неясные опасения и предчувствия как-то разом подытожились, и многое я поняла и в этот вечер, и в ближайшие после него часы и дни.

Во-первых, не старайся сразу принимать в штыки то, что я вижу и понимаю очень ясно, и, во-вторых, не пытайся применять к сказанному твое обычное примитивное объяснение: ревность. Нет, милый, здесь большая любовь к тебе и огромное желание видеть тебя возможно лучше и чище во всех областях твоей жизни.

Как я понимаю, К. Симонов сделал огромное важное дело, разбудив в молодежи большие требования к любви, заговорив о ней во весь голос, что не полагалось в обычных канонизированных формах литературы и поэзии, где герои любили и строили жизнь по определенному, казалось, твердо заведенному порядку. Симонов нарушил этот порядок, он показал такие внутренние богатства души, такие переходы и взлеты чувств, такое море возможностей, что дух захватывало. Молодежь поняла и почувствовала, что любить — это вовсе не так просто и легко, как казалось, что можно и

должно стремиться и добиваться, становиться лучше, что есть ради чего. А сколько хорошего ты можешь сделать этой молодежи, как можешь поднять ее. Это одна сторона, положительная, затем молодежь сделала и не могла не сделать этого вывода, что С., предъявляя к любви огромные требования, в своем чувстве не счастлив. Первое время это служило к его украшению: он хочет такого ответного чувства, предъявляет такие требования, что его трудно удовлетворить. Потом появился портрет женщины, которую он любит, он рос, постепенно составляясь из штрихов, рассеянных по стихам, приобретая плоть и кровь, и те черты, которые от него отталкивали и объясняли читателям, почему же С. несчастлив. И вот читатели, вернее читательницы (их, видимо, большинство), стали все больше и больше не любить женщину, которая делала их требовательного поэта несчастным, а он все дальше и дальше рассказывал о своем чувстве, делаясь все более откровенным, вынося на их суд то самое интимное, что обычно люди сохраняют для себя самого и для той, кот. любят. И тут началось то, что породило эту нездоровую атмосферу среди молодежи в ее отношениях к тебе. Героиня отталкивала своим портретом, да и слухами, кот. о ней доходили, а их Симонов, чистый и фанатичный в своем чувстве, не оставлял ее. И вот во всей своей силе и наготе встал вопрос: что же его держит? И тут услужливо побежали на помощь интимные подробности грехов и всюду циркулирующие слухи, а дальше на помощь пришло разбуженное и неудовлетворенное нездоровое любопытство. И в зал пришла не мыслящая в своем большинстве, не оценивающая, заставляющая поэта расти аудитория, а та толпа, которая не постеснялась вставать, напирать друг на друга, толкаться, чтобы видеть ту женщину, кот. одни осуждают, другие завидуют и все очень не любят, женщину, кот. ты все равно что раздеваешь перед всеми. Не думаю, чтобы ей это могло быть приятно. И не понимаю, как ты не учел этих возможностей. Мне было исключительно гадко, неприятно за нее и очень нехорошо за тебя. Такими театральных эффектами дурного тона не исправляют своих ошибок и не покупают прощения. А как мне больно, что все эти годы все дальше и дальше разматывается вокруг тебя этот грязный клубок сплетен и ты не находишь в себе сил и понимания жизни, чтобы

все расставить по местам.

И вот К. Симонов, кот. действительно есть чем гордится, вклад кот. за войну огромен и заслуживает всяческого уважения и высокой оценки, на своем первом за время войны выступлении в Колонном зале перед широкой аудиторией, все свои достижения сводит к одной лирике, а в лирике к своим отношениям все с одним и тем же человеком. Насколько богаче был твой вечер в Доме учителя, когда ты по этапам раскрывал свое творчество, свой внутренний рост. А где здесь были люди, которые хотели этого роста в дальнейшем, которые интересовались твоими планами, наметками?! Нет, они не спрашивали тебя ни о чем, они только писали записки, и ты этот раз даже не потрудился их взять и прочесть. Это был какой-то жест полубога, а на деле тебе и нельзя было их читать, п.ч. там, кроме нездоровых и неудобных для тебя и женщины, кот. все посвящается, вопросов и быть ничего не могло.

Ты и она, она и ты, это душно на протяжении нескольких лет подряд. Мыслящие люди относятся к этому критически. А разве не лирикой прозвучали бы некоторые строки из Суворова и разве может быть что лучше „Ты помнишь, Алеша?“

Из новых мне оч. понравились „На аэродроме“ и „Летаргия“.

Прости, родной, если не по душе, но зато это от души.

Мама»

Бабкиных писем отцу за войну очень много, думаю, больше сотни. И отец все их сохранил. В этих письмах — вся бабка, с ее трудной до болезненности любовью к сыну, чье имя и авторитет, как прочный киль, придают устойчивость ее эфемерному существованию, но это внешне, а внутренне она постоянно нуждается в подпитке этого чувства устойчивости и слезно жалуется и возмущается, когда ее не получает.

Особенно очевидно это из ее писем, написанных, когда бабка с дедом в Молотове, в эвакуации, а отец то в Москве, то мотается по очередным командировкам на фронтах.

Дед преподает военное дело в тамошнем институте, бабка не служит. Живут старики трудно. А то, что «как все» это бабке не облегчение, скорее, наоборот.

«Дров достала в Горисполкоме, — пишет Аленька в позднюю осень 41 года, — 3 кубометра, их доставят, а из

Литфонда надо будет доставить самой.

Ужасно с керосином — его нет, и он уже 100 за литр, но уже не найти.

Обещали включить свет, но дело идет уже месяц, и когда придет к победному концу, не знаю, приходится с 7 ч.30 м. сидеть в темноте.

Сделала печурку-лилипутик, на которой готовлю и пока обогреваюсь».

Следующее письмо про быт интересно тем, что там черной казенной ручкой цензора замазаны… цены на продукты. Ей нужно на зиму 41–42 года:

«I. Шуба — зимнее пальто теплое, длинное. Ведь ты знаешь мою коротышку, в прошлом году мной переделанную и за 23 дня лежания на полу тов[арного] вагона и поездки в Мол[отов], по трамваям приведенную в полную негодность. Здесь же морозы — я дрогла всю зиму.

II. Платок теплый.

Деньги на зимние запасы из расчета:

картофель 8 пудов на обоих по — *вычеркнуто;*

масло топл. 4 кило, — *вычеркнуто* — (если в деревне);

мед был — *вычеркнуто*, — когда я писала, теперь его больше нет, и он дороже;

— *вычеркнуто все* — и почти уже нет;

Сахара хоть 2 кило по — *вычеркнуто*».

Слава богу, есть вариант этого письма, отправленный, видимо, с оказией, где примерно тот же перечень продуктов, но с ценами.

«Деньги нужны до зарезу.

5 кило меду по 400 рублей

3 масла по 600

Картофель, не знаю сколько — сейчас по 30–35 кило, надо на двоих хоть 7 пудов.

Дров еще 3 кубометра по 800 р.

Яйца по 140–150 р. Десяток.

Все

Не виновата, что тебя родила и тебе приходится за такое дело и удовольствие расплачиваться — прошу извинить.

Просьба — все приступы колита мучают — у Чернышова, говорят, есть вино — пришли, бывают постоянные оказии через Военн. Комиссию и детскую

Молот[овскую] Организацию Писателей».

А вот как они живут в этом Молотове, на улице Цвилинга, в доме, где снимают жилье, написано оно в другой раз, после того как по радио отец читал свой очерк и деду с бабкой удалось его послушать.

«Представь себе уютную с белыми стенами низенькую комнату с 2 окнами, эту зиму вниманием Горсовета освещенную электричеством. В углу самодельную тахту, над ней одну из красочных стенных тканей с Афанасьевского, в углу же на стене афишу из Улан-Удэ о спектакле „Р.[усские] люди“ в 25-ю годовщину ВО революции, в ногах тахты на стене твой халат и углом стоит шкафик с твоим фото и книгами. Над диваном твои портреты эпохи мира, на столе и др. стенах — эпохи войны. Углом перед диваном парадно накрыт столик с бут. Кр. Вина и троих людей, каждый по-своему, со своим чувством, ожидающих твоего выступления. Один бог знает, до чего мне хотелось, чтобы мой дорогой лауреат, а ныне еще и подполковник (с каковым отличием сердечно поздравляю), сошкольничал и бросил как бы ошибкой в эфир одно только слово, такое для меня нужное „мамка“! Ну, кому бы от этого было плохо?! Итак, зазвучал дорогой голос, которого я не слышала больше чем 1½ г., картавый по радио неизмеримо больше, чем в залах при выступлениях, теплый, проникновенный. Ты хорошо читал в этот вечер, родной, именно так, как написан очерк. И печаль, его пронизывающая, лилась прямо в сердце. Я видела всех, все, о ком и о чем ты писал. Не видела только твоего лица этой минуты его выражения, хотя ты смотрел на меня со всех сторон. Сейчас это выражение должно было быть другим, и я закрыла глаза, чтобы еще полнее чувствовать тебя. — Сколько же ты вобрал в себя печали и ужаса, чтобы так передать, так заставить зазвучать слова».

Судя по всему отец присылал им с дедом по 2 тысячи ежемесячно. А дед, ругая Алиньку за расточительность, ограничивал ее в средствах.

> «…Из 2000 я ежемес. посылаю 300 р. Люле (*старшей сестре в ссылку. — А. С.*), оплачиваю комнату, прачку, редко но все же покупаю керосин по 50 р., но это невероятно трудно достать, и стоишь перед возможностью очутиться без чая, т.к. электр. в н[ашем] доме выключено. В общем пришли, пожалуйста, денег вне ежемес. присылки. Папа давал только 1½ мес. на молоко, когда я брала в день по 1 л., а так он считает, что он мне дал в долг, когда у меня раз не хватило на

сахар. <…> Родной, чувствуешь ли ты, как мне неприятно об этом тебе писать, но я вынуждена это сделать, т.к. денег не хватает».

Но даже если все в порядке, даже если бабка стала наконец получать выписанную ей Красную Звезду, все-таки:

«… И все не то, что хочется. Ну, да ты инженер челов. Душ, должен меня понять. Ведь слишком много всего накопилось за 1½ г. разлуки! Отец уязвлен тем, что ты ему не ответил на письмо об Алешке и не отвечаешь вообще, но оч[ень] тронут вниманием, заботой и посылкой. Милый друг, как я жду твоего письма из М[осквы]. Сколько ведь ты повидал и перечувствовал! Ты прав — я в исключ[ительно] хороших условиях и сейчас, с получением Кр. Зв. близка к твоим переживаниям, но ни радио, ни твоя такая дорогая мне, последняя, дивная во всех отношениях книжка, чтение пьесы, все это не исключает желания теплых строк, недавно написанных и быстро дошедших».

А вот чтобы представить себе, что Алинька имеет в виду под «теплыми несколькими строками», приведу ее письмо, написанное после возвращения из Москвы, куда она ездила повидаться с сыном. Это уже 44-й, относительно спокойный год.

«Кирюня, родной,

Какая же ты удивительная свинуха, между нами говоря, — была я в Москве, был у меня там сын и сын милый, теплый такой, близкий и бесконечно дорогой сердцу. А сейчас, как ножом отрезало! Я понимаю: я почувствовала тебя, твое, так сказать, внутреннее дыхание и бытие, чем жив близкий мне человек. Это очень много, почти все. Я и не прошу, сердце мое, бумажных длинных излияний, они мне не нужны. Мне только хочется несколько строк: как самочувствие, какая новая работа — начал ли пьесу, о кот. шла тогда речь в ЦК Комсомола, как с театром — устроилось ли помещение, где и как был на фронте, п[о]ч[ему] в Кр. Зв. так словно тебя и в природе не существует. Как складываются отношения с новым ред[актор]ом[5] и что с О[ртенбергом]. Видишь, 2–3 слова в ответ на готовый опросник! А любится, надеюсь, хорошо, как при мне. Ну, голубчик, так уж раскачайся, а то мамке грустно, она хандрит, а отец суров безмерно, и мне порой

холодновато.

И еще такая гнустность: до сих пор тете Варе Тр. не дано денег на отправку посылки тете Люле и на ящик для упаковки, и не возвращена кастрюля „Чудо“, кот. я брала для Вали. Очень безобразно, что и насчет этих хоз. дел надо беспокоить тебя».

Ну а на самом деле, как жилось Алиньке, насколько обоснованными были ее обиды, которые так легко принять за капризы. Так ли ласкала ее эта, сравнительно с другими, обеспеченная жизнь? Мне уже случалось писать, что отношения с родными, кровными, у отца складывались зачастую совсем не по-родственному. Меня в полную меру он стал воспринимать лет с 15, когда я более или менее сформировался как личность и отношения из родственных, т.е дающих какие-то мифические права на его внимание и время, перешли в разряд дружеских, пусть с огромной дистанцией в возрасте, но дающих право непредвзято, без всяких дополнительных «родственных» послаблений относится к человеку.

Мое ощущение, что деда Сашу отец любил в том числе и за то, что тот никогда ничего у отца не просил и ни в чем от него (как, впрочем, и от кого бы то ни было) старался не зависеть. Маму свою любил, но считал ее претензии на постоянную связь излишними, и только под давлением, по обязанности снисходил к ее недомоганиям, преувеличенным чувствам и не менее преувеличенным требованиям к нему, равно как и к ее собственным амбициям. Его внутренне возмущало право матери вмешиваться в его личную жизнь, настаивать на исключительности ее к нему и его к ней отношений, оценивать и его самого, и результаты его работы, и без всякого стеснения или внутренней неловкости делиться с ним своими оценками. Его раздражала ее ревность к женам, жизненным успехам. И он далеко не всегда умел это от Алиньки скрыть.

Видимо, именно в этом природа конфликта, о котором написано несколько писем. Идет 1947 год, отец достиг всех степеней известности. Он в той самой поре «общественной востребованности», о которой он потом скажет Лазарю Лазареву: «Эта страсть к общественной деятельности, она меня чуть не погубила как писателя». А старики, они, что ж, они сыты, устроены, здоровы. Ну и слава богу.

Как и всякая сильная страсть, а любовь Алиньки к моему отцу была именно страстью, она подвержена трагическим переживаниям по кажущимся мне случайным и почти бессмысленным поводам. Тогда возникает на одном и том же

месте масса противоречивых чувств и поступков, как в этом случае.

28 ноября 1947 года отцу исполнилось 32. Он не считал эту дату юбилейной и хотел бы от празднования оной увильнуть, о чем честно, хотя и не лично заранее предупредил мать и отчима. 25-го он получил первый афронт от бабки:

> «Кирюня, родной мой!
>
> Что это опять происходит, словно дурной сон, из которого никак не можешь проснуться?! Зачем этот жестокий и нелепый план встречи дня твоего рождения, которого я так ждала в надежде на самое естественное, самое законное для сердца матери — быть в этот день с тобой, хотя бы частично — в часы, с которыми у меня столько связано в жизни самого дорогого, самого важного и, к сожалению, самого больного. Столько воспоминаний милых, грустных, забавных, забот, как бы украсить его для тебя, этот день, иногда с таким невероятным трудом осуществлявшихся. Неужели же ты забыл все это? Нашу комнату на Садовой в тяжелые годы Гражданской войны… Тогда это была почти неосуществимая мечта о своих собственных салазках. Я как живой вижу перед глазами мешочек из бархата, который тебе хотелось иметь, для чего — уже не помню, но в это время тебя пленяли яркие кисеты. Твой уголок, отдельный совсем, у Матвеевны, с твоей детской мебелью. Монастырскую нашу келью с твоим уголком, с партой у окна, чудесную комнатку на отдельной квартире у Ананьиных. Наконец Саратов, Петровку, первый год в Москве, высокий мальчик в черной кавказской рубахе с бесчисленными пуговками, ее тоже тебе очень хотелось, продажу вещей в Торгсине, чтобы купить желаемое. Отдельные наши комнаты и опять Петровка и день рожд., когда ты от Аты пришел ночевать ко мне. Как я была счастлива тогда подарить такие крупные и важные вещи, как первая пижама в вашей семейной жизни. Я специально брала тогда считку бумаг и считывала по ночам, с риском разбудить отца, а ты знаешь, что это тогда значило?! Он выключил лампу, позже вывернул, и я работала последнюю ночь со свечкой, но доработала. И сколько среди этих 32 дней рождения таких, когда мне бывало тяжко или одиноко невыносимо, когда я страшилась за тебя в годы войны и болезней, обижалась всей болью сердца, на кот. способна

мать. Что греха таить — бывало нам с тобой нелегко, не в укор будет сказано теперешнему папе, твои отношения с кот. меня так радуют последние годы. И вот теперь, в 47 г., когда нет сейчас войны, заграничн. командировок, больницы, расстояний, кот. бы нас разделяли, а впереди 3-месячная разлука, Валя передает нам о назначенной тобой нам встрече 27-го между конц.[ертом] в ЦДРИ и ночным отъездом на дачу, где ты хочешь именно в этот день обязат.[ельно] писать стихи. Встреча на час, опять наспех, на ходу, нелепая, как отбытие номера. Приезд, который не только не устраивает, но глубоко расстраивает нас с отцом, обижает. Говорю от имени нас обоих — нам это слишком больно, мы этого не заслуживаем. Для тебя приятное местопребывание — дача, где твоя рабочая обстановка, вдохнув этот воздух, я как-то хоть несколько дней сохраняю ощущение тебя, твоего кабинета, вижу тебя мысленно. Нам с папой хочется приехать к тебе туда 28-го и именно в то время, когда ты родился, пусть от 5 до 7, раз тебе так понадобилось именно перед отпуском писать стихи, два часа, мы думаем, у тебя для обеда и отдыха найдутся, просто побыть с тобой, услышать, увидеть тебя, немножко узнать о ближайших планах. Неужели это нельзя, мы можем приехать поездом.

Родной, как бы я хотела, чтобы ты понял, почувствовал меня, как ты умеешь это в отношении выдуманных тобой людей, которые живут настоящей жизнью в твоих книгах. Пойми, это то самое твое: „она звала, а ты не прибежал“. Это очень страшно для обоих.

Не пришла сама, п.ч. боюсь не сдержаться.

Будем ждать твоего ответа.

Мама»

27-го, когда стало ясно, что сын стоит на своем, он получил открытку, подписанную «Родители», написанную рукой бабы Али:

«Кирюша!

В вечер твоего отъезда Валя передала нам, что ты хочешь с нами встретиться по случаю твоего рождения не в день рождения, а сегодня между и и 12 ч. в[ечера], между концертом в ЦДРИ и отъездом на дачу, куда ты едешь специально писать стихи.

Считаем это отбытием номера, ненужным нам, да, думается, и тебе, а для нас еще и оскорбительным. Предпочитаем ждать того дня, когда у тебя будет

настоящая потребность нас видеть и ты приедешь за этим сам.

Родители»

И вечером того же дня — письмо от матери, смягчающее все сказанное ранее, пытающееся извинить его молчаливую бестактность.

«Кирюня!

Валя звонила нам в вечер твоего отъезда. Я много перестрадала и передумала с тех пор и вот сегодня говорю тебе от чистого сердца: поступай, как считаешь правильным, как лучше и легче для тебя, так пусть и будет. А не написать тебе я не могла того, что написала, — это как крик при боли: я хоть частично выговорилась, и мне стало легче. Поэтому прими это, „прими на дружбу“, как ты мне написал на самом дорогом мне подарке — своей книге. И еще дай мне досказать несколько слов. У нас с тобой много бед из-за неестественности и редкости наших встреч, краткости их. А ведь мысленно, особенно ночами, когда я не сплю или просыпаюсь, всегда с мыслями о тебе, я так много говорю и пишу тебе. И еще одно: подумай над тем, что я говорила тебе о том, как летит время, которого не остановишь. Это к тому, что я, естественно, уйду из жизни раньше тебя и мы не знаем когда. Поэтому мне всегда так больно, что мы с тобой обкрадываем себя, лишая себя наших встреч. Родной! Ведь ничего нет страшнее непоправимого. И еще одно, и глупое и трогательное одновременно: я так берегу все знаки твоего внимания, что у меня все еще живет щеточка для ламповых стекол, которую ты подарил мне мальчиком.

Ну вот и все. Горячо обнимаю тебя, мой дорогой и единственный.

Мама»

Я тоже присутствую в этой переписке как постоянный повод для упреков отцу за его ко мне невнимание, граничащее с безразличием. То бабкины тревоги, что я остался на зиму без шубки, то напоминание об обещаниях отца прислать мне танк в подарок, то просто незримым и не слишком воспринимаемым адресатом укором.

Наши редкие встречи проходили в дружеской обстановке. 1944 г.

Не знаю, кто в чью жизнь входит, но мы впервые вместе на майской демонстрации в колонне Союза писателей, 1954 г.

Отец в первые полтора десятка лет оставался для меня чем-то вроде Сталина. Его не было, но грозное и влиятельное присутствие его в жизни ощущалось. А я, в свою очередь, если и играл в этих отношениях какую-то роль, то, скорее, роль трогательного малолетнего несмышленыша, молчаливого напоминания о невыполненном отцовском долге. И, как я теперь

понимаю, мне эта роль даже отчасти нравилась, по крайней мере подсознательно. Я к ней, похоже, приспособился — эдакий крохотный страдалец-всепрощенец. Останься мы с такими исходными один на один — ничего бы из будущих наших отношений не вышло. Мы бы оба так и закостенели, он — в образе великовозрастного преступника, я — в образе малолетней жертвы. Поэтому именно Алиньке и деду Саше я обязан тем, что, когда у отца дошли до меня сердце и руки, я оказался к этому готов и открыт. Они эту дверь придерживали для него и для меня, не давая ей захлопнуться. И когда настало время, он вошел в мою жизнь, не скажу легко, но вошел, не останавливаемый моим внутренним сопротивлением.

■

Прежде чем закрыть занавес над этой частью моей семейной истории, хочу задать сам себе непростой вопрос: как так получилось, что бабки и деды мои, такие показательно, я бы сказал, демонстративно, разные: происхождение, род занятий, судьбы до, после и в результате революции, идеалы и идолы, гражданские и семейные — все, через всю вторую половину своей жизни пронесли не замутненную ничем, искреннюю и последовательную любовь друг к другу?

Ну какие были объединяющие их особенности биографий? Все четверо из многодетных семейств — это, конечно, кое-что определяет, особенно если учесть относительное малолюдство в следующем поколении. Недолгий брак их детей, единственным вещественным итогом которого было мое рождение? На фоне всех катаклизмов времени — слабый узел, узелок, скорее, но ведь именно он сработал, мертвой хваткой сцепив в семью всю разбегающуюся центробежную русскость одних и всю центростремительную еврейскость других.

Отцова половина — идеологизированная: понятия офицерской чести, государственной ответственности, перемена жизненных стандартов, при сохранении себя в качестве надежного «державного» оплота. И материнская — материалистическая, торгово-частная, расположенная к соглашательству или молчаливому диссидентству.

Отцовы дед с бабкой в политике и идеологии святей папы римского: я уже вспоминал, в какой восторг пришла Алинька по прочтении лживой насквозь, казенно-патриотической пьесы «Чужая тень». Можно вспомнить и другое ее письмо, как она пошла голосовать в демонстративно безразличной к этому всенародному празднику Риге, в 1948 году. Какое возмущение

вызывало у нее бытовое, наплевательское отношение к этому важному ритуалу государственности — Дню выборов в Верховный Совет, как гордится она тем, что «не склонила головы», а гордо пронесла ее сквозь всеобщее равнодушие латышей,— таких, как ножом по стеклу, царапающих бестактностей более чем достаточно в огромной переписке ее с отцом.

Рассуждая о двух мирах, я ведь в сущности рассуждаю о комбинации собственных генов, как они сложились в результате. И насколько это существенно.

Я никогда не был отпрыском «неполной семьи». Братство Сивцева Вражка, включавшее обоих дедов и обеих бабок обеспечивало моему детству и юности ту страховочную сетку любви, куда я валился из-под купола жизни, когда пытался проделать трюк, связанный с отцовской фамилией или отцовским присутствием. Неприсутствие отца компенсировалось до 15 лет этой семейной музыкой, в которой первой скрипкой — всю мою жизнь — была моя мать.

Моя мама и ее отражения

Моя мама. Говорят, мы непохожи. По-моему, это неправда, 1946 г.

Мы охотно рассуждаем о влиянии известных лиц, героев,

политиков и поэтов на их окружение и мало думаем о том, что в жизни, а не только в физике Ньютона, действует закон всемирного тяготения и влияние известного А на неизвестное Б в принципе равно влиянию неизвестного Б на известное А. Просто в большинстве написанных нами биографий это трудно или невозможно обнаружить.

Да, известные люди оставляют свои следы в истории страны, в науке или культуре, их жизнеописания — это тропки, протоптанные биографами от одного общеизвестного следа к другому, поиски новых следов и утверждение их в качестве общеизвестных. Но ведь и участок территории, где найдены многочисленные следы чужих биографий, может сам по себе быть поднят до значения биографии, если удастся понять, почему именно здесь, почему именно так и отчего столь густо запечатлелись на этой терра инкогнита следы безусловно вошедших в культурный обиход имен.

Вот о чем я думал, разбирая всё, что осталось от мало кому известной биографии моей матери, перетряхивая полки шкафов и ящики стола и комода. Одно дело — входить в архив, где, каким бы непрезентабельным ни был интерьер, все равно возникает ощущение, что ты кончиками пальцев прикасаешься к истории и испытываешь законный и благоговейный трепет. А я входил в дом, где жил много лет, где и потом, переехав, бывал почти ежедневно, и пыль на шкафах ничего общего не имела с благоговейной пылью истории, а была просто пылью, которую мой старший сын, проживающий в этих двух комнатах, не удосужился стереть ни разу после бабушкиной смерти. Я отложил борьбу с пылью на потом, вытащил старый бумажник с документами — огромный черный лопатник, наверное, еще в нэповские времена принадлежавший деду, две папки, письма, врассыпную заложенные на полке между постельным бельем, и старомодную дамскую сумочку, и отдельные бумажки, там и сям засунутые между журнально-газетными вырезками и многочисленными рукописями. Я разложил их в более или менее хронологическом порядке и добавил некоторые общеизвестные публикации и свои комментарии. Я очень любил мать. Но мне хотелось написать о том, как ее любили другие. И за что. Потому что о том, за что ты любишь свою мать, написать нельзя. Как это — «за что?»

Из метрики: «Ласкина Евгения Самуиловна родилась 25 декабря 1914 года в городе Шклов Оршанского уезда Могилевской губернии. Отец — Ласкин Самуил Моисеевич…»

Из «Второй книги» Надежды Яковлевны Мандельштам:

«…Отец Жени, маленький, вернее, мельчайший коммерсант,

растил трех дочерей и торговал селедкой. Революция была для него неслыханным счастьем — евреев уравняли в правах, и он возмечтал об образовании для своих умненьких девочек. Объявили нэп, и он в него поверил. Чтобы лучше кормить дочек, он попробовал снова заняться селедочным делом и попал в лишенцы, потому что не смог уплатить налога. Вероятно, он тоже считал на счетах, как спасти семью. Сослали его в Нарым, что ли. Ни тюрьма — он попал в период, когда, „изымая ценности“, начали применять „новые методы“, то есть пытки без примитивного битья, — ни ссылки его не сломали. Из первой ссылки он прислал жене письмо такой душераздирающей нежности, что мать и дочери решили никому постороннему его не показывать. Жизнь прошла в ссылках и возвращениях, потом начались несчастья с дочерьми и зятьями. Дочери жили своей жизнью, теряли мужей в ссылках и лагерях, сами погибали и воскресали. История семьи дает всю сумму советских биографий, только в центре стоит отец, который старел, но не менялся. В нем воплотились высокая еврейская святость, таинственная духовность и доброта — все качества, которые освящали Иова. „У него добрые руки“, — сказала Женя…»

Это о происхождении. Но вообще-то для детей биографии родителей начинаются с их, детей, рождения. Остальное — так, преддверие, дымка юности предков.

Вот и для меня, впрочем, как и в доступных мне сегодня документах, всё начинается с фотографий в Солотче и с надписи на книге отца «Настоящие люди». Это первые и едва ли не единственные фотографии, где мои родители запечатлены вместе. А надпись гласит:

«Увы, утешится жена
И друга лучший друг забудет,
Но в мире есть душа одна…

Вот по этому поводу и дарю тебе книжку.
19 ноября 1938 г. Кирилл».

Стало быть, они еще не женаты, а время переломное: подписано — «Кирилл», а на обложке — «Константин Симонов». Значит, только что, в преддверии славы и выхода первой книжки стихов, он сменил имя с непроизносимыми для него «р» и «л» на более удобное для произношения — Константин.

Единственное качественное фото, где отец с матерью вместе, весна 1939 г.

Женя Ласкина — председатель профкома Литературного института, 1937 г.

И это кроме всего прочего, обрекло меня пожизненно отвечать на недоуменный вопрос: «Почему вы Кириллович, если ваш отец Константин Симонов?»

Затем «Свидетельство о браке». Сопоставление дат позволяет предположить, что именно «проект меня» повлиял на моих легкомысленных родителей. Предыдущие свои браки ни отец, ни

мать законом не освящали. Итак, свидетельство от 10.01. 1939 г., и до моего появления на свет остается ровно семь месяцев, почти день в день. Кстати, в «Свидетельстве…» никаких следов «Константина».

Теперь семь записок в роддом. А было, по контексту, еще больше, и связано такое изобилие их с тем, что рожала мать трудно: извлекали меня щипцами, и продолжалось это несколько дней.

Я привожу записку, самую мне понравившуюся и заодно дающую представление о том, что делают поэты, когда у них появляются дети.

> «Женя, родная моя. Ну, кажется, ты сейчас не то покормила, не то еще кормишь сына. Говорил с доктором — говорит все хорошо. И что ребенок понемногу оправляется от пережитых им потрясений. Напиши, как он тебе нравится и что он из себя представляет. Напиши, когда тебя переведут и когда сможешь звонить. Я сегодня на радостях заложил фундамент поэмы и теперь буду писать каждый день. Меня надули с книжками, и я достану их лишь к вечеру. Пока посылаю Форсайтов — это совершенно обаятельная книжка — я ее за эти дни прочел. Посылаю также свою последнюю карточку — снимался вчера на радостях, узнав, что у сына все в порядке. Малыш мой, как ты себя уже ведь совсем хорошо чувствуешь? Да? Тебе передают привет 2 мама 2 папа 2 сестра 2… И еще куча всяких людей… Все очень, очень хорошо, и я вдруг обнаружил, что перед лицом этого хорошо меня вдруг перестали волновать будущие мелкие житейские трудности. Бог с ними.
>
> Малыш мой — очень хочется услышать твой голос и увидеть твою наверное похудевшую морду. Целую твои лапы. Расскажи, какой сын и как ест — если плохо — значит, ты мне все-таки изменяла — это, на мой взгляд, самый верный критерий. Родная моя, жму лапы. Спроси, можно ли тебе передать еврейскую печенку.
>
> *Костя».*

Вот за этот год он и стал Костей из Кирилла окончательно. Сын — это я. А поэма — «Ледовое побоище».

Не успел я появиться на свет, как мой отец отбыл на свою первую войну, на Халхин-Гол, где и написал стихотворение «Фотография» — одно из трех, официально посвященных женщинам:

Я твоих фотографий в дорогу не брал.
Все равно и без них, если вспомним — приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Кто любит Симонова — все помнят, что «Жди меня» посвящено В. С, а вот кому посвящены эти стихи, не помнит почти никто. Между тем посвящение «Е. Л.» — это как раз мама, Евгения Ласкина.

…Я не брал фотографий в дорогу, на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя…

Насчет ревности не знаю, а фотографий, к сожалению, осталось мало, так я и не узнал, было ли это просто плодом поэтического воображения, или они в войну потерялись.

Отец с матерью развелись в 1940-м, когда мне был год. И хотя в отличие от «Свидетельства о браке» «Свидетельство о разводе» так и не обнаружилось в семейном архиве, сам этот факт житья с отцом врозь был для меня непреложным с самого начала жизни.

В 1941 году мать, единственная из трех сестер Ласкиных, получила высшее образование. Вот «Диплом об окончании отделения критики Литературно-Творческого Института Союза Советских Писателей СССР». Дата выдачи — 15 июля. По всем предметам — «отлично», по основам марксизма-ленинизма — «хорошо». Отличной успеваемости по этому предмету мать так и не достигла, но прояснится это окончательно только к шестьдесят девятому году, и речь об этом впереди.

С этим только что полученным дипломом мать в сентябре сорок первого вывезла все наше семейство в эвакуацию и начала работать на Кировском заводе в городе Челябинске в системе Наркомата танковой промышленности.

В сорок втором получила медаль «За трудовое отличие», в сорок пятом — «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лежат орденские книжки и книжки отрывных денежных купонов, на пять рублей каждый, с пометкой: «Отделяется кассой, производившей выплату». Наградные к тем орденам и медалям полагались. Но мать их почему-то стеснялась брать — купоны все целы.

Матери я в войну не помню. Из всей эвакуации сохранилась в памяти одна картинка. Это, видимо, зима с 1942 на 1943 год. Значит, Челябинск.

Города нет, не потому что нет, а просто памяти зацепиться не за что.

В пустоте — снег, почему-то вечер и две клетки посреди двора с налипшим на ржавчину инеем. В одной клетке ходит и воет волк, не страшный, но похожий все-таки на волка — морда к луне и вой, который только виден, потому что в памяти звука нет.

И вторая клетка — с мертвыми лисятами. Замерзли, поэтому и думается, что лисята, а не лисы. Смерзлись в комок. Рыжие с белым.

— Почему же, баба, не пустили волка к лисятам? Они бы грелись вместе.

— Нельзя. Он бы их съел.

Из эвакуации мы вернулись летом 43-го — это знаю по рассказам. А мать оставалась на Урале до 45-го.

В итоге — копия приказа по Главному управлению снабжения Министерства транспортного машиностроения от 19 февраля 1948 года № 40-к за подписью заместителя министра Н. Жерехова: «Начальник отдела сортового проката и труб тов. Ласкина Е. С. подала заявление о том, что она по специальности литературный критик и занимаемая ею должность начальника отдела проката труб не соответствует ее квалификации, в связи с чем приказываю: освободить тов. Ласкину Е. С…» и т.д. — всего шесть пунктов, из которых выясняется, что она заодно была и начальником отдела чугунов, ферросплавов, лома и цветных металлов, что для литературного критика, видимо, следует считать неслабой карьерой.

В том самом черном бумажнике я нахожу девять писем и открыток, написанных булавкоголовчатым экономным почерком Смелякова, на всех вполне приличный адрес Подмосковья. Это его письма из лагеря.

Первое — то, которое я хочу здесь привести, — написано в мае 1945 года. Последующие восемь являют дивную силу поэтического воображения не в стихах, а в жизни. Видимо, этот роман так и остался в письмах, и мать потом всю жизнь неловко себя чувствовала с Ярославом по этой причине. Впрочем, выдумать такое мне тем более легко, что ни одного ответного письма матери история не сохранила, потому что архив Смелякова, насколько я знаю, погиб.

Письмо без марки, сложено военным треугольником: «Просмотрено военной цензурой 197 728».

30.05.45:

«Милая Женечка (надеюсь, мне после воскрешения разрешено обращаться к Вам с нежной фамильярностью),

милая Женечка — Вы меня обрадовали и огорчили своим письмом. Обрадовали гораздо больше, чем огорчили. Главное дело, Вы пишете, что я, наверное, и не вспомнил о Вас ни разу. Грубая ошибка. Я вспоминал о Вас, пожалуй, не реже, чем Вы. У меня отличная память, я даже помню, как Вы записывали мой стишок про девочку Лиду. Интересно, потеряли ли Вы его? По-моему — нет. И Вы далеко не „не привлекательно“ выглядели в моих воспоминаниях; скорее, я сам сделал несколько неловкостей, если не по отношению к Вам, то в Вашем присутствии. Кстати, раз уж пошло на воспоминания, то у меня однажды болела голова, и Вы гладили мою голову — это было замечательное средство от головной боли. У нас его нет сейчас и когда еще оно будет? Я спрашивал о Вас у единственного человека из довоенного мира, которого мне пришлось увидеть,— у Сергея Васильева. И он сообщил, что Вы на Уральском заводе прекрасно работали и даже награждены медалью, что меня обрадовало. Но я понял его так, что Вы и сейчас там. Оказывается, нет. Вы у себя в семье, сын Ваш наверно стал уже гигантским ребенком — он был велик по-старинному еще тогда, в 41 году. Меня растрогало, что Вы даже помните день моего отъезда. Спасибо Вам, дорогая. Я мало изменился за это время, хотя внешне, наверно, постарел: у меня нет ни потребности, ни возможности заглядывать в зеркало. Стал опытнее тем тяжелым опытом, свойственным не поэтам, а людям иного порядка, и все-таки остался поэтом — очевидно, это во мне неистребимо. Сейчас я пишу свою большую вещь — повесть в стихах. Кажется, получается — и это вся моя радость. Пишу урывками, но пишу. Когда окончу, пришлю экземпляр Вам — читайте и не забывайте меня. Я все-таки этого стою. Мне хотелось бы, чтобы Ваше письмо было не последнее. Я рассчитываю на длинную переписку. Я не писал почти никому, кроме матери (послал одну открытку в „Знамя“). Не хотелось писать. А Вам почему-то захотелось, и я сразу же взялся за ответ. Хоть за это простите мне мои прегрешения. Ну, будьте здоровы и энергичны. Авось, мы с Вами еще встретимся. Это было бы прекрасно! Вот и Вам один восклицательный знак в ответ на Ваши, моя милая. Целую Вас почтительно и длинно

Ваш *Ярослав».*

Большая вещь — это, видимо, первое упоминание о поэме «Строгая любовь». А других неясностей здесь, по-моему, и нет.

Теперь наконец можно сказать, что «с войной покончили мы счеты», и заняться последующей, сугубо мирной, жизнью.

Увы, от сорок восьмого до пятьдесят пятого года никаких официальных документов архив не сохранил. Ни следов поступления в Радиокомитет в сорок восьмом, ни увольнения из него в разгар борьбы с космополитами в пятьдесят первом. Хуже того, нет в архиве и писем с пятидесятого по пятьдесят третий год, когда арестованная и осужденная моя тетка Софья Самойловна отбывала свои первые годы в Воркуте. Зато одно из первых моих собственных памятных событий относится именно к этим годам.

Почему дети не запоминают то, что, с родительской точки зрения, должны были и даже обязаны были запомнить, и наоборот, — почему совершенно забытые родителями разговоры или случаи становятся краеугольными камнями формирующегося характера и мировоззрения детей, сказать не берусь. Но то, что это именно так, — для меня несомненно и как для сына своих родителей, и как для отца своих детей.

Я сейчас перескажу один разговор, который я подслушал не по умыслу, а по недосмотру, по чисто географическим обстоятельствам: мы жили с мамой в одной, довольно большой, комнате, в коммуналке, и все, что говорилось в ней с расчетом, что я сплю, становилось мне известным, если вдруг я не засыпал как мертвый к 10 часам вечера. Я тогда был полноценным «жаворонком» и вставал не позднее шести утра, как заведенный.

Отец приехал, когда я уже спал. Был это, боюсь соврать, 52 или 53 год, когда впервые прошел слух, что к сидящим в лагерях стали допускать посетителей. Скорее, 53-й — после смерти друга всех советских заключенных — такое послабление выглядит более логичным. Мать собиралась ехать в Воркуту, к своей сестре Соне, уже третий год сидящей в известном по «Архипелагу ГУЛАГ» месте под названием «Кирпичный завод». В преддверии этого отъезда она вызвала отца для разговора, свидетелем которого я стал. Речь шла о моем ближайшем будущем.

Излагаю в форме прямой речи не потому, что готов поручиться за каждое слово, а потому, что смысл разговора, в то время для меня совсем не ясный, я потом многократно прокручивал в памяти, и смысл этот постепенно прояснялся — как переводная картинка, когда смываешь с нее очередной слой бумажных катышков.

«Если случится худшее, — говорила мать, — и я не вернусь или вернусь не сразу, я хочу, чтобы ты обещал мне, что Алексея

не будут никуда забирать с Сивцева Вражка, из дома деда и бабки: ни на улицу Горького, ни в Переделкино, ни к деду Саше с Алинькой — никуда. Ты в этом должен мне поклясться. Сонечкин срок — двадцать пять лет, и не воспользоваться возможностью, пусть самой слабой, повидать ее я не могу».

Вот, собственно, и все, что я помню. Я даже не сохранил в памяти, что ей отвечал отец. А теперь, что я понял.

Тогда — сразу — понял наконец что мамина любимая сестра вовсе не находится в длительной командировке, как это преподносилось мне последние два или три года.

Мать вернулась, повидав Сонюру, вернулась благополучно, а разговор, в подслушанности которого я долгие годы стеснялся признаться, крутился во мне. Сначала я понял, что мать хотела охранить мои уже сформировавшиеся связи с миром, где главным поводом для конфликта было: «Ты для меня сделал больше, чем я для тебя», где отец занимал место далеко не главное — вроде большого портрета на стене.

А еще через годы, прочитав переписку матери и Сонечки из Москвы в Воркуту, пережив разные фазы менявшегося во времени маминого отношения к отцу, к его изменяющимся взглядам и его меняющейся жизни, я понял смысл этого запрета так: «Ты неплохой человек, но то, как ты живешь, это не для моего сына. Он привык к иным отношениям. Привык, что его любят, что каждый этап его взросления, сопровождается восторженными взглядами окружающих его людей. И я не хочу, чтобы на него смотрели сквозь призму отцовских успехов и неуспехов. Это мой сын, и я хочу, чтобы он таким остался. А не стал „сыном твоего полка“, сборного и ненадежного».

Мать у меня была большим дипломатом, но при этом человеком решений и поступков. И при всем, как нынче принято выражаться, плюрализме свое мнение имела всегда и определенное. Так что жил я у бабки с дедом все то время, что мать ездила на свидание.

В письмах матери, сохраненных теткой в Воркутинских лагерях, тоже отсутствует переписка до пятьдесят четвертого года. Феномен этот для меня — полная загадка. Предложить могу только такое, довольно парадоксальное, объяснение: писать смели, а хранить боялись. Спросить не у кого. Софья Самойловна ушла из жизни на два месяца раньше младшей своей сестры — в январе девяносто первого.

Зато с 4 января 1954-го по 19 октября 1955-го писем около сорока. Привожу отрывки только из двух:

«12.5.54 (*дата по штемпелю. — А. С.*)

Из Москвы, г. Воркута Коми АССР л-к п-я № 223–33 р

Любимая моя! Кажется, уже смогу писать тебе спокойнее и чаще. Что-то явно сдвинулось с мертвой точки, и начался рассвет. Из моей записочки в последней посылке ты уже знаешь, что Евг. Льв.[6] возвращается в Москву. Дело его пересмотрено Воен. Колл. (хотя решало его ОСО)[7] и он полностью реабилитирован. Ждем его в этом месяце. Таких счастливых, как Таня, становится все больше и больше. Сегодня я была на приеме. Со мной уже разговаривали иначе, я оставила там заявление и теперь уже никак не смогу получить тот же ответ, что и раньше, т. к. многие аналогичные дела подняты из-под спуда.

Я очень обрадовалась возможности прожить у тебя неделю, но, должна сказать со всей большевистской прямотой, что у меня нет никакого желания этой возможностью пользоваться. Не думай, что я уже стала такой оптимисткой, даже, скорее всего, я еще смогу в августе побывать на Севере, но это уж если и будет, то заключительный этап.

Я еще не писала тебе о моем разговоре с Костей[8], который состоялся первого мая. Дело в том, что он тут же после праздников отправился на Украину (на торжества) и мою просьбу сможет выполнить после приезда, т. е. после 16-го. Вообще разговор с ним мне кое-что дал. Он не сомневается, что в течение какого-то времени все от начала до конца будет перелицовано, даже больше, на этот счет есть совершенно определенное решение, которое и проводится в жизнь. <…> Ты себе не можешь представить, как Костя изменился. У него ничего не осталось от того человека, которого мы с тобой знали. Ведь я последние годы очень редко с ним общалась, и то на какие-то несколько минут, так что мне это перерождение бросается в глаза не меньше, чем бросилось бы тебе. И его сегодняшний облик куда менее приятен, даже просто несравним с тем, что было когда-то. Дело не только в зрелости (вернее, старости, хотя он и молод), не только в умудренности жизненным опытом, знатности, благополучии — нет, просто все иначе. Ну бог с ним, пусть живет как может или как хочет. Вот только жаль, что Алексейка это все понимает, и очень многое в отце вызывает у него резкую отрицательную реакцию, многое не нравится, но он настолько стал взрослый, что убеждать его в чем-нибудь я уже не могу. <…>

Сонюрик, дорогая, я, правда, теперь писать буду чаще, про все, про всех и подробно. Стало немного легче на душе. А то уж очень было худо. Я все про себя понимаю, какая я есть св(олочь) и эгоистка. Не сердись, моя родная, любимая, я только тобой живу и только о тебе думаю. Целую тебя, целую твои усталые руки, будь молодцом, до конца уже немного осталось. Обязательно отправь заявление, если до сих пор этого не сделала. Следи за собой и пиши нам…»

Отец — «он же Костя» из маминых писем, 1953 г.

Письмо от 5 февраля 1955 года, адрес тот же:

> «Родная моя! Во-первых, прекрати посылку денег — это совершенно не нужно. Я понимаю, что тратить их особенно не на что, но пусть они будут у тебя — понадобятся на дорогу, а кроме того, все-таки кое-что можно покупать и не жалеть на себя тратить. Относительно обратной дороги. Решение по делу будет принято для всех без исключения. <…> В последний раз (1-го) они уверяли нас всех, что в конце февраля будет закончена их часть работы, и тогда будет составлен протест, который пойдет в высшие инстанции. По моим расчетам, раньше конца марта это не произойдет (судя по их темпам), но так или иначе исход неизбежен, и они это не скрывают. Я понимаю, как ты устала ждать. Девочка моя любимая, потерпи еще немного. Мне очень смешно сказал в последний раз один из замов Терехова: „Мы сейчас выясняем все производственные вопросы, но вы понимаете, если у нас „летят“ (в смысле проваливаются) производственные вопросы, то летит и все остальное!“ Это он мне говорил в качестве успокоения. Как будто мне это самой непонятно. И еще он сказал: напишите ей, чтоб не беспокоилась, все будет решаться одновременно. Вот и все новости по этому вопросу.
>
> С Костей я ни разу не говорила. Во-первых, потому, что это совершенно ни к чему, во-вторых, я виделась с ним дважды только на людях, в-третьих, если бы ты его увидала, то не стала бы спрашивать ни о чем. Он — видный гос. деятель, и ничего человеческого в нем не осталось. <…> О повести „В одном городе“[9]. Ты все знаешь. Ничего, кроме статьи Тарасенкова, нигде не появлялось. Боятся, очевидно. У Толи есть много справедливых замечаний, но он, по-моему, обошел главную тему — о трудной и неустроенной человеческой жизни. Повесть, несмотря на недостатки, много лучше, чем он о ней написал. Да, забыла, самый интересный факт из биографии Некрасова, главным образом для читательниц — он холост!»

К этим двум письмам необходимы, мне кажется, по крайней мере два пояснения. Сестре — самому близкому в семье человеку — мать пишет об отце без скидок и снисхождения, поверяя его,

тогдашнего, им же предвоенным. Отец конца сороковых — начала пятидесятых действительно был на грани превращения в литчиновника, нравственные принципы обрели государственный характер, политизировались литературные взгляды. Он и правда мог потерять себя, и только смерть Сталина и XX съезд его спасли.

Хотя мать и пишет, что Алексейка (то есть я) — такой умный, что все сам понимает, на самом деле понимал я тогда очень мало, а вот чувство непреодолимой дистанции, вежливо-суховатая заинтересованность в моих успехах отталкивали от отца и могли бы оттолкнуть невозвратимо, если б не мать. Не случайно в более поздние и более душевно теплые времена отец не раз благодарил маму за то, что она ему меня сохранила для дружбы. И был абсолютно прав.

Софья Самойловна вернулась в Москву поздней осенью пятьдесят пятого года, отсидев больше пяти лет. Все эти годы ее младшая и старшая сестры держали в тайне от родителей срок, к которому она была приговорена. И всю свою оставшуюся жизнь моя, тогда всего-навсего сорокапятилетняя, тетка отдала служению близким людям, семье, друзьям. А была она из самых красивых и умных женщин, каких я видел.

Реабилитация, если смотреть на нее с позиции нормального, прямоходящего человека была такой же позорной волынкой, какой становилась всякая изначально благородная по смыслу акция, которую доводилось осуществлять самодовольному советскому государству. Позднее мы имели возможность увидеть то же самое с возвращением гражданства изгнанным — возвращением, не сопровожденным извинениями за совершенное беззаконие. Были и тогда люди, не желавшие унижаться, обращаясь за реабилитацией, и все-таки вынуждаемые к этому если не государством, то чувством неловкости, которое испытывает нормальный человек, стоящий в полный рост среди толпы, стоящей на коленях (если, конечно, он не священнослужитель). Но их всегда мало.

■

Летом 1955 года датировано письмо В. А. Луговского из Сходни в Москву, где мы с матерью собирались в туристский горный домбайский маршрут:

> «Дорогой дружок Дженни!
>
> Очень обрадовался, когда услышал от тебя, что возвращение твое будет в конце августа.

У меня сейчас слишком большое горе[10], чтоб я мог особенно связно писать. Александр Александрович был самым лучшим, благородным, преданным и обаятельным другом в моей жизни, и другого такого в системе нашей солнечной и галактической мне не отыскать. Ты хоть сама с ноготок, но очень мудрая и все понимаешь. Потом, это еще большое горе моего дома.

В общем, я брожу в центре русской природы и размышляю о жизни и смерти, о творчестве и об истории, а больше всего о том, как все проходит мимо и исчезает.

Работаю над гослитовским изданием.

Вообразил, что ты, маленькая моя, пойдешь по горам и ущельям, и завидую тебе.

Ты такая родная и милая. Мы все испытали за 19 лет со времен желтого дрока — и горе, и радость, настоящие трагедии, встречи и разлуки, все виды жизненных перемен, а я все так же рад слышать „хэллоу“ по телефону, рад тому, что ты живешь на свете, рад тому, что я тебя верно люблю и что ты всегда останешься для меня дорогой и трогательно милой.

Вспоминаю все, что связано с тобой, а это очень, очень много. И главное — не разбегаться в разные стороны, быть вместе на всю жизнь. Ты-то мне очень нужна. Это очень, очень по-хорошему. Ну, до свиданья, буду ждать. Да будет легок твой горный путь. Целуй Алексея. Тебя целую и обнимаю 1000 раз и остаюсь твоим верным трубадуром. Напиши чего-нибудь — две строки, сюда или на Лаврухину[11] (кв. 98). Еще раз нежно целую.

Надо чаще, чаще видеться».

Покончив с периодом безвременья, когда мать так и не смогла устроиться ни на какую штатную работу, а перебивалась внутренними рецензиями, внештатной редактурой и даже — в первый и в последний раз — ездила в Азовское пароходство писать очерк о капитане, который служил лоцманом на Суэцком канале, мы входим в период, я бы сказал, «звездный». В пятьдесят шестом году, верный своему призыву «не разлучаться», В. А. Луговской, который был приглашен членом редколлегии в продукт «оттепели», журнал «Москва», настоял, чтоб мать взяли туда заведовать отделом поэзии.

Так началась для матери эта сладкая каторга.

Были два типа редакторов. Редактор-начальник (он же

цензор) и редактор-соучастник. Даже хороших, но слабых духом людей время вынуждало эти две редакторские ипостаси смешивать. В этом смысле над матерью время оказалось не властно. Она выбрала себе позицию соучастника и оставалась ей верна все последующие двенадцать лет, пока… пока за это ее из журнала не вышибли.

За это ее и любили. И поэты, и прозаики, все, с кем знакомство начиналось журналом, а дружба продолжалась потом всю жизнь.

А каторга? Вы попробуйте дружить с таким количеством «хороших и разных», да еще каких разных! А уметь отказывать — так, чтобы человек не обескрылел от твоего отказа. А помочь молодому взрастить в себе лучшее — то, что лишь намеком промелькнуло в принесенной подборке!

Не забудем, что конец пятидесятых и начало шестидесятых — время стихов, их обвала, водопада, поветрия, наводнения. Мать умела распознать лучших. Но и лучшие понимали, с кем имеют дело. Об этом — письма, посвящения.

«11 июля 1957 года

Евгения Самойловна!

У меня здесь нет даты стихотворения „Утешение“. Вообще, может быть, снять все даты, тем более что общие даты жизни автора имеются в заметке? Если это предложение редакцию не устраивает, то дату стих. „Утешение“ можно установить по старой антологии „Поэзия Грузии“. Там это стихотворение имеется в старом переводе С. Д. Спасского. Навестите меня, когда побываете в Тарусе!

Н. Заболоцкий».

«15 июня 1958 года

Женя, дорогая! Вы, должно быть, не помните,— когда Вы были у нас на моем дне рождения, против Вас сидел доктор Александров — маленький, в очках. Это один из лучших наших хирургов, хотя выглядит он совсем не как маститый хирург. Дело в том, что он еще и поэт — друг Штейнберга, Адалис, Багрицкого и других. Так вот — он принес мне свои стихи в надежде, что я смогу хотя бы некоторые напечатать. Посылаю их Вам — посмотрите. Если что-нибудь пригодится для „Москвы“, я буду рад, конечно. Моя астма немного смирилась. Здесь холодно, но воздух чудесный, и зацветают разные цветы. Когда приедете?

Ваш *К. Паустовский».*

Надпись на книге «Мозаика»:

«Милой Евгении Самойловне — моей счастливой звезде, с любовью. Моя поэзия зависит от Вас.

Андрей Вознесенский, 2 ноября 1960 г.»

Надпись на книге «Яблоко»:

«Дорогой Евг. Сам. — которую очень люблю и которая является для меня мерилом чистоты и справедливости — с неразделенной любовью.

Ваш *Женя (Евг. Евтушенко),* 1960».

«Дорогая Евгения Самойловна!

Мы плывем по Волге, и такое сонное благодушие — все замечательно (даже комары!). И я чего-то думаю о Вас.

Вы замечательный человек — и два Ваших качества явно отсутствуют у всех моих знакомых (писателей и нет): ненытье и радость чужим успехам. Время, что ли, у всех у них это вытравило. Поэтому так к Вам тянутся люди. Для меня очень хорошо, что Вы есть. И не только за все добро, что Вы для меня сделали, а еще как просто человек, вера в него — как вообще вера в человечество. Я, наверное, не так сказал, ночью на воде у меня складней получалось, а тут сейчас жарко, но мне хотелось Вам сказать это. <…>

Ваш *Володя*[12]. 19.06.61».

Надпись на книге «Перед снегом»:

«Дорогой Женечке Ласкиной от ее старого подопечного друга со столь же старой дружеской любовью.

Арсений Тарковский, 10 декабря 1962».

Надпись на книге «Второй перевал»:

«Дорогой Жене, первой из всех, кому я обязан за изданные стихи и книги, с любовью

Давид Самойлов, 30 декабря 1963».

«30 июля 1963 года.

Глубокоуважаемая Евгения Самойловна! Просидел над рукописью всю ночь. Большое Вам спасибо. Значительная часть Ваших поправок — мне на пользу.

99% помет я принял и исправил. Добавил 3 свои купюры. Если когда-либо будет второй сборник моих рассказов, то кое-что из купюр будет восстановлено (а Ваши поправки будут использованы). Теперь — надо дожить до ноября. Только прошу, в случае новой ревизии текста — показать мне.

Еще раз спасибо.

Ваш *Исаков.*

P. S. Мне понравилось, как Вы заступились за Веру Дмитриевну[13]. Редко бывает. Привет ей».

«3 декабря 1964 г.

Дорогая Евгения Самойловна!

В посылаемой Вам статейке я не стремился дать характеристику Зощенко. Мне хотелось сообщить его будущему биографу возможно больше достоверных материалов о нем. Все мы, кому выпало счастье знать его лично, всегда восхищались его принципиальностью, его мужеством, его щедрым и благожелательным отношением к людям. Но я воздержался от всяких дифирамбов. Пусть факты говорят за себя.

Судьба моей рукописи очень волнует меня. Я сознательно выбросил из статьи повествование о его последнем — страдальческом периоде его жизни, хотя этот период хорошо известен мне и по его письмам ко мне и по свидетельствам общих друзей. Мне кажется, что и сказанного достаточно. Пожалуйста, прочтите статейку и <…> сообщите мне, пожалуйста, мнение редакции и Ваше личное мнение.

Ваш *К. Чуковский*».

«Моя дорогая! Хотел поздравить тебя по телефону, чтобы Вы слышали мой голос (это чего-то стоит?). Но у Вас телефон молчит. Трачу крупную сумму на марку (открытка тоже стоит). Целую Вас нежно.

Ваш *Ледя Утесов.* 7.03.68».

Надпись на книге «Современные истории»:

«Евгении Ласкиной в знак признания ее заслуг перед родной словесностью. Может быть представлено вместо справки.

Современный историк *Борис Слуцкий,* 1969-й».

Кроме журнальной, у матери была еще и другая литературная

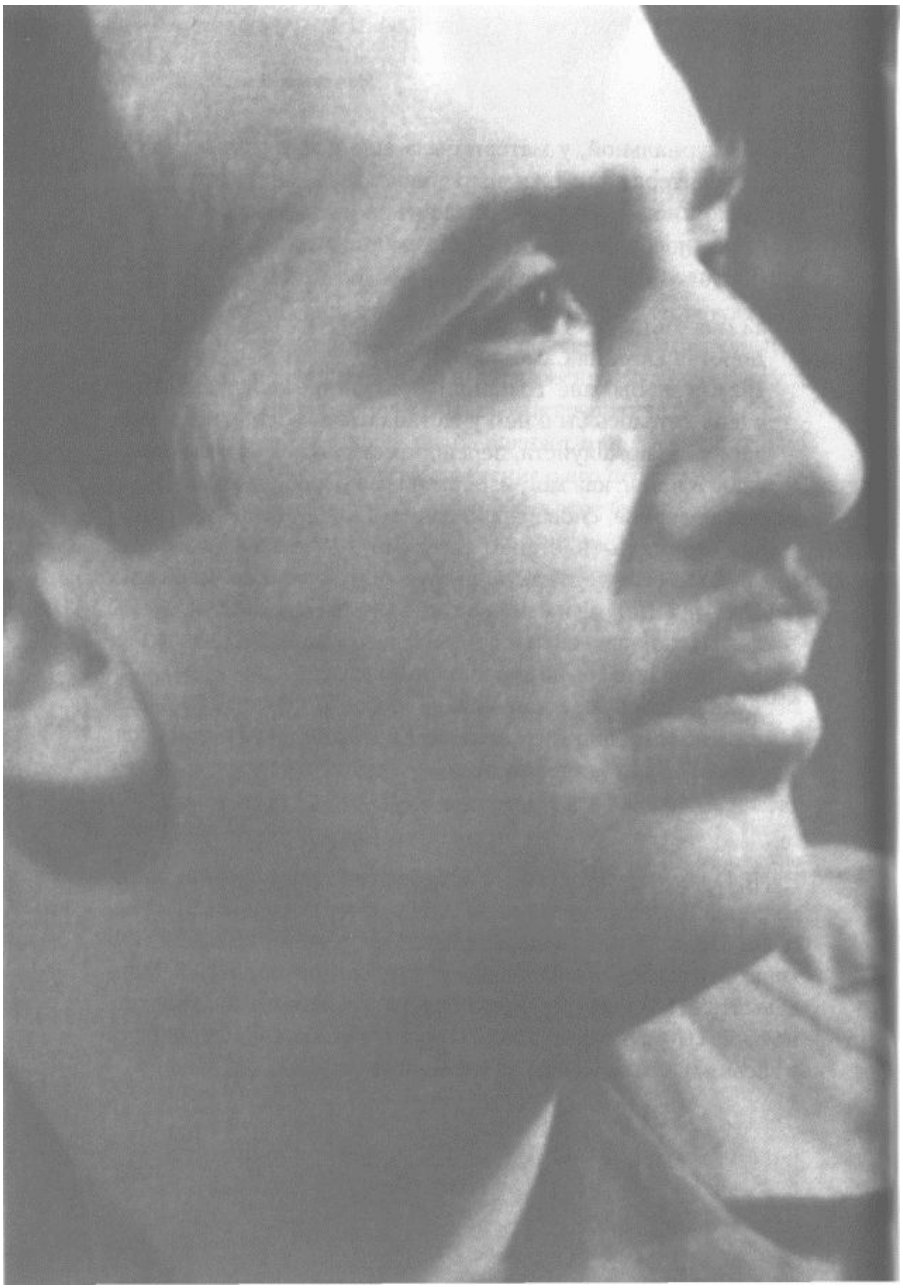
и нелитературная жизнь. И, как всегда, когда отсутствует прямой повод, косвенный тащит за собой воспоминание очень важное, прямыми документами не подкрепленное.

Сначала письмо:

> «14 мая 1961 г.
>
> Дорогая Евгения Самойловна!
>
> Помните, Вы мне говорили о сборнике калужан? Мне очень хотелось бы в нем участвовать, и, если это дело не заглохло, пожалуйста, перешлите им этот мой новый рассказ. В нем я, как мог, изобразил свою любовь к Оке.
>
> Вы, наверное, снова сняли дачу в Тарусе? Если так, тогда мы, может быть, станем соседями — я просил маму там тоже снять на лето какую-нибудь халупку. Сейчас я в Коктебеле, первый раз в нем, и он мне как-то не нравится, очень уж плоско, пыльно, мусорно и многолюдно. Тут, наверное, при Волошине было хорошо. Больше сюда я не ездок. Будьте здоровы, всего Вам доброго! Увидите К. Г. — кланяйтесь ему, спросите, почему он мне не пишет, сердится, что ли? Другим пишет, а мне — нет. Если сердится, то это очень плохо, бог с ним.
>
> Ваш *Ю. Казаков».*

Ну, К. Г. — это Паустовский, а вот сборник калужан — это, несомненно, «Тарусские страницы», где в итоге появились три рассказа Юрия Казакова, первая проза Окуджавы, стихи Корнилова, Слуцкого, Самойлова, очерки Ф. Вигдоровой и Н. Я. Мандельштам (под псевдонимом Н. Яковлева). Этой книжке суждено было сыграть в шестидесятых роль, подобную «Метрополю» в восьмидесятых, только качество литературы в ней выше.

О капустнике и не только



Один из авторов юбилейного капустника — Саша (Александр Аркадьевич) Галич

В декабре 1964 года мама справляла свое пятидесятилетие.

Ах, эти шестидесятые, — любовь моя, моя молодость, как обозначить их одним словом, чтобы как знак, как ключ, чтобы назвать и сразу — вот они, как живые. Такое слово — оно у каждого свое. Я знаю мое, я его давно обкатываю в памяти, для меня оно все означает и все открывает. И слово это — «ка-пустник». Боже мой! Каких только капустников тогда не было! Домашние, школьные, институтские, клубные, театральные для своих, театральные для публики, капустники на кинопленке и капустники на пленке магнитной… И все, буквально все — оттуда. От Арканова до Хазанова, от Горина до Юрского, от Паперного до Белинского[14] и от Жванецкого до Розовского.

Виноват — увлекся. Ведь я собирался просто рассказать об одном скромно отмеченном семейном событии. Решили мы поздравить маму с этой знаменательной датой. Мы — это ее двоюродный брат Борис Ласкин, наш сосед Александр Галич и я. Купить подарок было неинтересно. Интересно было сделать юбилейный капустник. И мы стали его делать.

Хотелось, чтобы начинался он торжественно. Торжественно — значит Левитаном. Попробовали подражать. Оно бы и неплохо получилось, кто ж из нас тогда не передразнивал Левитана? «Гаварит Москва!» — и всех делов. Но Боря сказал: «Халтурить не будем. Пусть запишет сам Юра». Позвонили. Согласился. Нет, мы, конечно, были с ним знакомы, только я вот и сегодня знаком, скажем, с Александром Любимовым или Татьяной Митковой. А ведь не позвоню и просить не стану, не решусь. А тогда поехал как ни в чем не бывало — и Юрий Борисович чуть не час мучился над пустяковым текстом. Дело в том, что у нас было написано: «Говорит Москва, говорит Москва. Работают почти все радиостанции Советского Союза», а Левитану это, главное для нас, «почти» стояло поперек горла, буквально. Никак не звенел на этом «почти» знаменитый левитановский металл, оно ему всю индивидуальность ломало. Но он, осторожно спросив, не обойдусь ли я без этой ерундовины, и получив отрицательный ответ, честно писал и переписывал то, что в его исполнении звучало чуть не каждый божий день от Москвы до самых до окраин.

Дальше должны были идти поздравления поэтов. А поэты мать любили. И, ей-богу, не только за то, что она их печатала в журнале «Москва». Правда, когда ее не стало, кое в чьей любви я начал сомневаться. Ну да не в Вознесенском дело. Его, кстати, тогда не нашли. А вот Пал Григории Антокольский был и восторженно выфыркивал в микрофон свои поздравления. И Александр Яшин был и, окая, читал «Болтовню». А в соседнем со мной кабинете (я тогда служил в издательстве «Художественная

литература», в просторечии — Гослите) корпел над рифмами Евгений Александрович Евтушенко. Вышел вспотевший и смущенный. Сказал: «Веселые не получились», — и прочитал в микрофон:

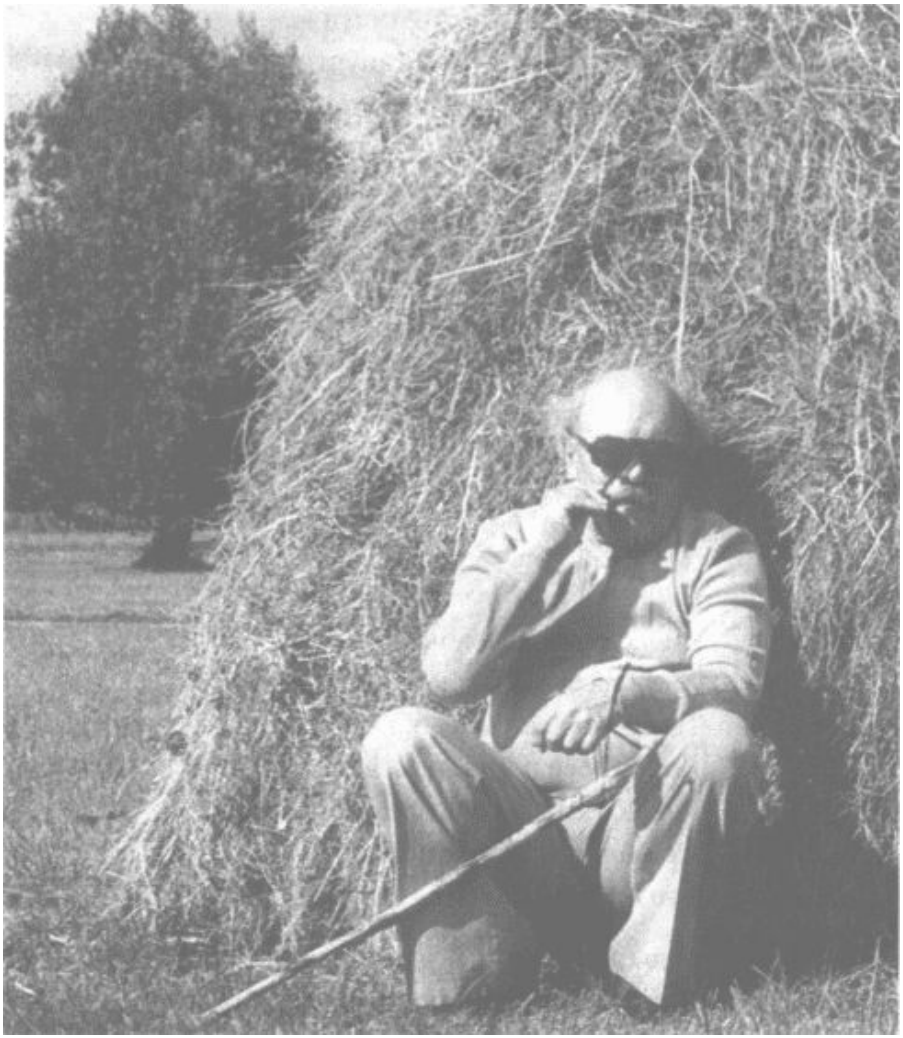
Живу я неустроенно, заморенно,
Наивно и бесплодно гомоня,
Но знаю, Вы, Евгения Самойловна,
Хоть чем-то, да покормите меня.
Мои стихи не будут мной замолены.
Все некогда — спешлива жизнь моя,
Но знаю, Вы, Евгения Самойловна,
Помолитесь тихонько за меня.
И все, кто жизнью и собою сломлены,
Приходят за спасеньем к Вам в свой час.
Но кто же Вас, Евгения Самойловна,
Покормит? Кто помолится за вас?

Так он их никогда и не напечатал.

Много мы потом с ним и дружили, и ссорились, многое и в том, и тем более в позднем Евтушенко было мне поперек души, но стихи эти у меня лежат на самой близкой полке памяти, и как вспомню их — знаю, что все равно, любимый или ненавистный, он мне — родной.

Потом в совсем другом месте записывал я Володю Корнилова. И его стихи остались подарком от души, не войдя в сборники ни тогда, когда его еще печатали, ни тогда, когда после многолетних мытарств сборники у него появились вновь. Читал он по листочку, волновался и от этого еще больше упирался большими губами в согласные перед ударной гласной, словно они — трамплины:

…Низко, земно Вам трижды спасибо,
Что над всей суетой и бедой
Подняла Вас высокая сила,
Именуемая добротой.
И в сплошной современщине душной,
Где слиняли и ангел и черт,
Я и счастлив и горд Вашей дружбой,
Убежденьями Вашими тверд…



Голос на нашей пленке — Давид Самойлов (Дэзик)

А Давид Самойлов поступил иначе. Это тоже было в Гослите, на записи капустника. Самойлов взял в руки квадратик микрофона:

— Дорогая Женя, — сказал он (на моей сохранившейся поныне пленке все эти, в большинстве своем ушедшие уже, голоса по-прежнему молоды), — я мог бы сказать нечто остроумное, ибо остроумие присуще мне. Я мог бы сказать нечто поэтическое, ибо поэзия привычна мне. Но я скажу нечто серьезное и грустное: «Женя, я люблю вас. Я посвящаю Вам это стихотворение, оно будет напечатано с посвящением Вам»:

ПАМЯТЬ

Е. Л.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит…

Ну, и дальше, надеюсь, многие помнят.

Поэтов по ходу их появления в капустнике представлял Борис Ласкин. О нем самом я уже поминал, а здесь хочу вспомнить его маленькие «мо» (словцо), которыми он предварял почти каждое выступление: «Личный переводчик Давида Кауфмана — поэт Давид Самойлов!» — так на пленке. А следующая его шутка оказалась печально пророческой.

— Сейчас, — сказал Боря, — случайно проездом оказавшись в Москве, юбиляршу приветствует знаменитый парижский шансонье — месье Александр Галич!

Кто из нас тогда мог подумать, что Саша умрет в Париже, с французским ударением на последнем слоге?

А текст был такой:

Ай люли, люли, люли,
Ай люли, се тре жоли!
Ах вальсок-вальсок, хриплый голосок,
Ты воспой ее ум и доблести,
Доброту ее подтверди, вальсок,
Мол, от каждого по способности.
Ах, вальсок, слова любви,
Это ж факт, что се ля ви!

…Самым неудачным в капустнике грозило стать поздравление Симонова-старшего. Я пришел к отцу, заранее предупредив о цели визита. Он отложил все дела, сел к микрофону, долго и нарочито откашливался, и тут… заколдобило. Ему хотелось сказать что-то смешное и доброе, но никак не вытанцовывалось. Доброе получалось банальным, а смешное — плосковатым. Промучившись минут 15–20, глядя на меня виноватыми глазами, он готов был уже махнуть рукой и попросить стереть написанное, как в проеме двери показалась моя сводная, семи лет от роду, сестрица Саня. Отец схватил ее в охапку и, подтянув к микрофону, сказал:

— Давай, поздравь тетю Женю, быстро!

Санька не заставила себя уговаривать и тоненьким, но громким голоском отрапортовала:

— Дорогая тетя Женя, поздравляю вас, что вам 50 лет, и еще желаю, чтоб наш Алеша сбрил бороду!

«Дорогая тетя Женя…» Отец и Санька, 1964 г.

Спустя несколько дней мы сидели за праздничным столом и после положенных тостов включили пленку с капустником. Дошла очередь до поздравления отца.

Послышалось его долгое откашливание, а затем тонкий голосок пропищал: «Дорогая тетя Женя…» Боже, с каким облегчением хохотал отец!

Ну вот, а теперь о Боре, Борисе Савельевиче Ласкине — моем дяде и любимом мамином кузене.

Бывает, что писатель давно умер, а книги его всё живут и живут, бывает, что писатель все живет и живет, а книги его умерли. Но бывает, что писатель и его книги умирают вместе, а в мире остается то, что было в книгах от писателя, а в писателе — от Бога. От Бориса осталась улыбка. И она живет в каждом человеке, кто когда-либо с ним встречался, я уж не говорю — дружил. Боря был великий импровизатор, с неизменным блестящим и необидным юмором. Но жил он во времена, для импровизаций плохо оборудованные, и хотя написанные им «Три танкиста» или «Спят курганы темные» вошли в песенную классику, а «Карнавальная ночь» — в кинематографическую, мне всегда казалось, что всю жизнь он занимался своим делом — в

качестве хобби, а не совсем своим делом — в качестве профессии.

Нашему капустнику он, разумеется, приходился и папой, и мамой. Сначала он там на чисто английском воляпюке разыграл перед микрофоном сценку, как обиделся Джон Стейнбек, который зашел к юбилярше хлопнуть рюмку водки, а ему предложили выпить виски за мир во всем мире, и лучше — в Америке. Потом Борис Савельевич с не меньшим пылом перевоплотился в немолодого, но еще не пробившегося в Союз писателей поэта, земляка юбилярши «с города Шклова», и прочитал его стихи, кои я здесь не рискну воспроизводить целиком, а приведу всего две строчки:

И, как сообщил Маяковский,

У в Шклове родился и Шкловский.

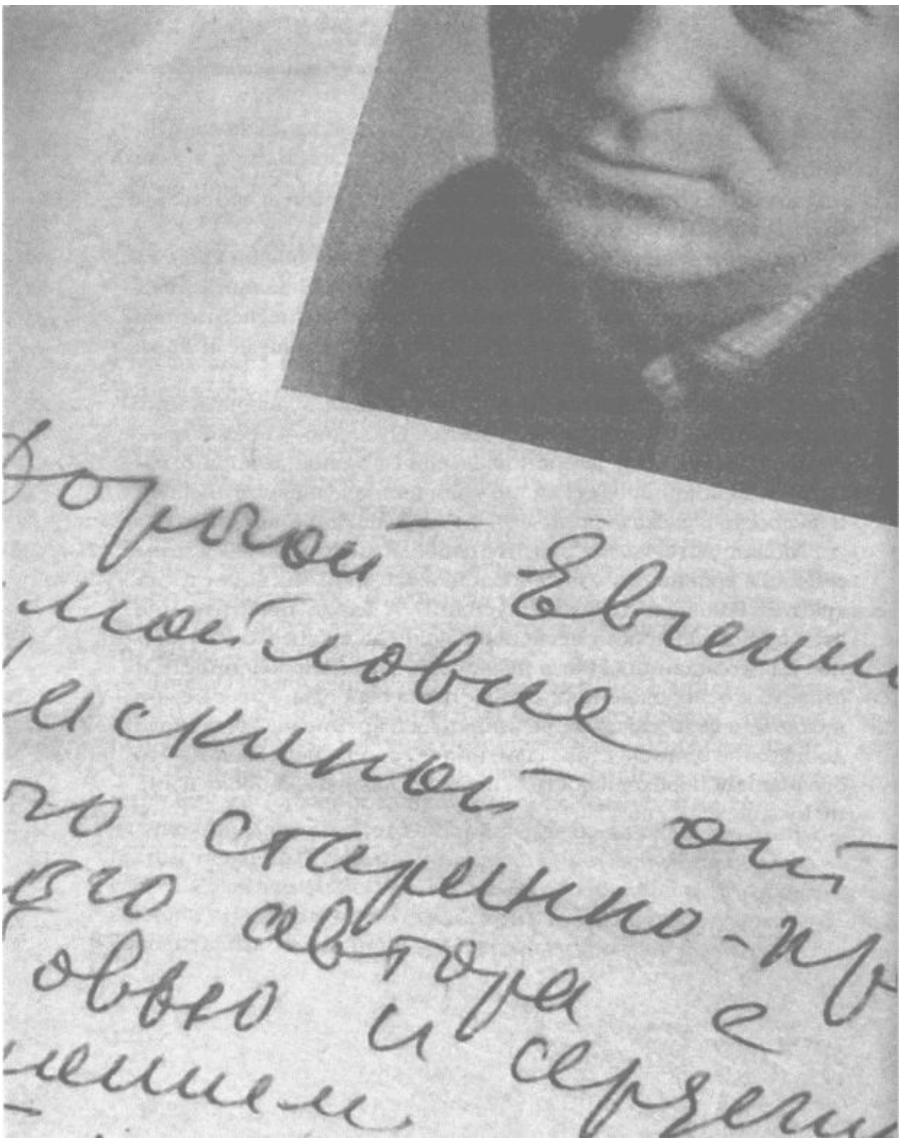
Поскольку сочинил их я сам и до сих пор горжусь, что мэтры мое слово из их песни не выкинули.

На всю эту запись-перезапись убили мы в общей сложности почти неделю. А слушали это пятнадцать человек двадцать пять минут. И были счастливы. Потом еще четверть века мать хранила эту пленку, изредка прокручивала ее и тоже была счастлива.

Ну я — ладно. Мне было двадцать пять, а в двадцать пять свободное время найти можно всегда. Ну ладно — время. Александр Аркадьевич и Борис Савельевич в конце концов были люди свободной профессии, но количество душевной энергии и щедрость в расходовании ее — это сейчас где? У кого хватит?

Может быть, дело в том, что свобода, в которой мы живем сейчас, в сравнении с несвободой, в которой мы жили тогда, требует больших душевных усилий? А вдруг, простите мне этот парадокс, просто несвобода душевно щедрее, благотворнее для созидания? Ибо в несвободе есть направленность и страсть к освобождению, есть острова свободы, которые — в каждом, и есть жажда объединить их в архипелаг? А свободе достаточно одиночества? Или, иначе говоря, несвобода — это осознанная необходимость… в других людях, а свобода в них не нуждается?

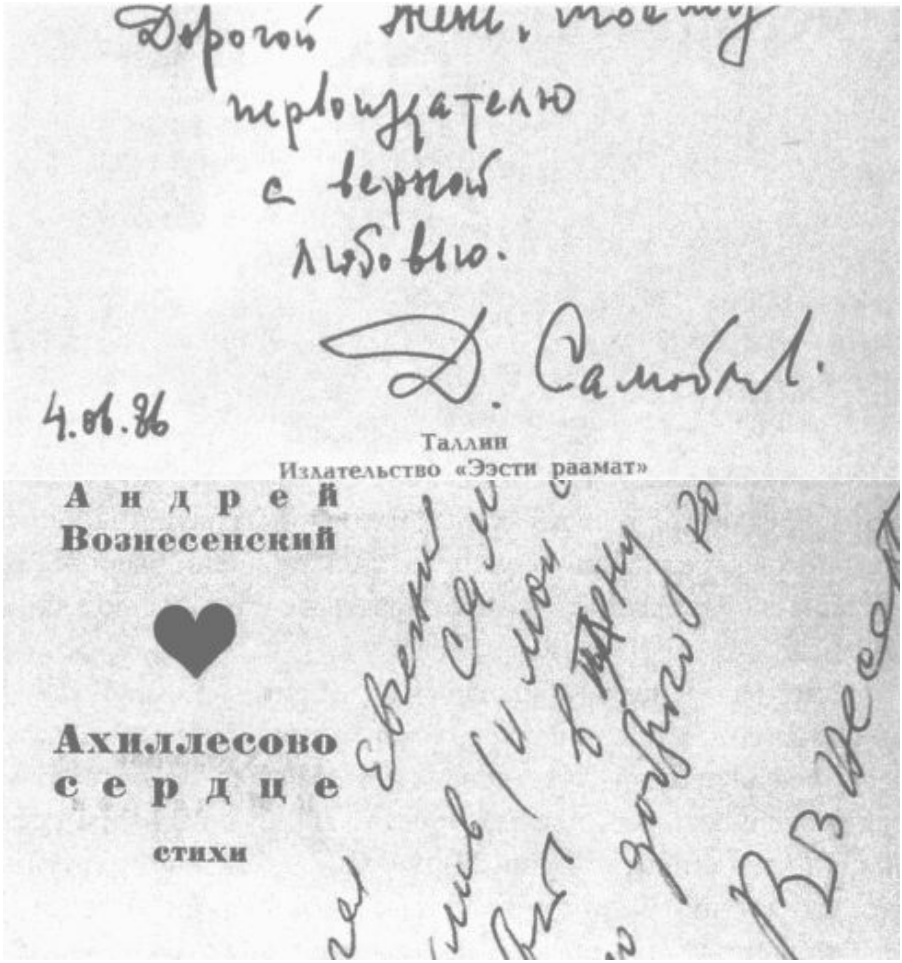
Письма



Автограф на книге Юрия Казакова

Шестидесятые были эпохой писем: «открытых», которые писали граждане государству, и «закрытых», которые в ответ рассылало государство в свои казенные учреждения. Но все-таки это было огромным шагом вперед: после трех десятков лет полной разъединенности, когда слова «без права переписки», как правило, были эвфемизмом слова «расстрел», — мы с властью состояли в подобии диалога.

И моя мама, не раз прошедшая по лезвию, у которой трижды сажали отца, потом первого мужа, потом друзей, потом сестру, — не колеблясь, участвовала и в самиздате, перепечатывая и распространяя письма Эрнста Генри, Александра Исаевича Солженицына, Лидии Корнеевны Чуковской и других, что, собственно, и делало эти письма «открытыми», ибо ни в каких официальных органах письма эти появиться не могли. А письма, где главным были не имена, а количество подписей, она подписывала, хотя время от времени и пыталась уберечь от этого занятия собственного сына, то есть меня.



Автографы на книгах стихов Д. Самойлова и А. Вознесенского

Писем перепечатанных в архиве несколько. Подписанных, естественно, нет: сегодня смешно вспомнить и невозможно поверить, что подпись под письмом могла быть поступком, за который карали, в котором каялись, которым гордились.

Но и в рабочее время маму, видимо, не оставляла вера в силу

слова.

Есть в архиве и эти документы:

> «В президиум Верховного Совета СССР. Поддерживаю ходатайство родных о помиловании Славы Соломоновны Пайны, осужденной по ст. 172 УК РСФСР на три года лишения свободы…»

> «В Московский Городской Суд. Я знаю Виктора Кислякова как автора журнала. <…> Убедительно прошу присоединить и мою просьбу <…>».

> «В Верхне-Волжское издательство. Об Александре Дождикове. <…> Нам известно, что книга его стихов включена в план Вашего издательства. Надеемся, что наше начинание будет поддержано и его земляками, и, публикуя новую подборку его стихов, мы сможем указать, что первая книга поэта выйдет <…>».

Все эти письма подписаны: зав. отделом поэзии журнала «Москва».

> «Приказ № 19 от 7 апреля 1969 года
> по редакции журнала „Москва“.
>
> За последнее время в работе отдела поэзии журнала „Москва“ (зав. отделом Ласкина Е. С.) были допущены грубые идейные ошибки, повлекшие за собой резкую и справедливую критику советской общественности и органов советской печати.
>
> На стадии верстки и сверки были сняты идейно порочные, политически двусмысленные стихи Е. Евтушенко (№ 1, 1968), Л. Озерова (№ 9, 1968), М. Шехтера (№ 9, 1968), М. Алигер (№ 3, 1969). Дело дошло до того, что без ведома главного редактора в ранее просмотренные им стихи М. Алигер была внесена правка, в корне меняющая смысл стихотворения, делающая его идейно порочным и политически неприемлемым. В № 12 было опубликовано идейно вредное стихотворение С. Липкина „Союз И.“
>
> Работа отдела поэзии подвергалась острой критике на собрании партийной организации и заседании редакционной коллегии журнала. Партийное собрание и редакционная коллегия выразили единодушное мнение о невозможности дальнейшей работы т. Ласкиной в редакции журнала.

Приказываю: За допущенные грубые идейные ошибки и политическую неразборчивость (*ну не могу смолчать: помните ее „четверку“ по „основам марксизма-ленинизма“ в Литинституте? Вот когда только загноилась у беспартийной мамаши эта червоточина! — А. С.*) освободить с 8 апреля с. г. т. Ласкину Е. С. от работы в журнале. Приказ довести до сведения всех сотрудников редакции. Потребовать от зав. отделами усиления политической бдительности и контроля за идейным содержанием публикуемых материалов.

Главный редактор *Михаил Алексеев».*

Давно прошли «оттепельные» времена создававшего журнал Николая Атарова, проходили времена и либерала Евгения Поповкина, вошедшего в историю литературы редактора, впервые напечатавшего «Мастера и Маргариту». Пришли времена стилистов. Слово «идейно» употребляется в этом коротком, но выразительном нелитературном произведении пять раз. А главная подлость документа в том, что подписавший его подонок отлично знал, что до пенсии Евгении Самойловне оставалось меньше полугода. Мать переписала этот приказ на память — от руки, так он и запечатлен в архиве — ее почерком.

А жизнь продолжалась. Уже вне редакции мать пестовала, кохала и поддерживала новое поколение поэтов. Появился в доме Иван Жданов. Мать честно признавалась, что стихов его не понимает, но верила в его предназначение. Появились Лариса Миллер, Лена Шувалова, Саша Радковский. Последней появилась четырнадцатилетняя Нина Грачева — кто-то кому-то сказал, что вот есть такая женщина, понимающая в стихах, и папа-шофер привел к ней обезумевшую, ошалевшую от стихов дочку… Когда несколько лет спустя ее не приняли в Литинститут, мать растормошила всю поэтическую Москву, дозвонилась, достучалась, добилась. И — кто раз в неделю, кто в две, кто в месяц, письменно или изустно — по крайней мере десяток цыплят разного возраста являлись к своей наседке. Со стихами и с детьми, с публикациями и с болезнями, с любовями и с друзьями. И число их не уменьшалось. Теперь матери нет. И осиротели давно уже выросшие девочки и мальчики.

Искусство

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР ПО
ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНК

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ:
РАДИО, 1 ПРОГРАММА, 19.30;
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 1 ПРОГРАММА

Программа ве
двух отделени
прозвучат песн
советскими ко
стихи поэта.
Л. Зыкина,
Хиль, Е. Камб
В. Трошин, М
в сопровож
симфоническо
союзного ра
под управле
ва.

Во втором
чит оратори
«Казнь Сте
полнении Б
союзного р
(художеств
К.

Газетная вырезка из маминого архива

Матери моей — до последнего дня — было присуще недоверие к официальной истории. В нарушение Главной Заповеди оруэлловского министерства Истории она хранила газетные вырезки, машинописные рукописи, переписывала от руки ненапечатанные стихи.

Последняя по дате — вырезка из «Московских новостей»:

некролог Виктора Платоновича Некрасова. Сколько с тех пор прошло? Всего ничего, и уже забылось, что сам факт такой публикации был событием, почти сенсацией, чьим-то мужеством, чьим-то поступком.

Уникальных материалов в этом разделе нет. Сейчас, в свете печатного бума более поздних лет, хранение их кажется бессмысленным. Но как выкинуть полную машинную перепечатку «Колымских рассказов», в свое время схороненную по просьбе Варлама Тихоновича Шаламова? Или толстенную папку с надписью «Демьян Бедный том I», скрывавшую подслеповатую — тех самых самиздатовских лет — перепечатку «В круге первом».

А рядом — «Советская Россия» от 13 марта 1988 года — статья Нины Андреевой. А рядом — из «Правды» — статья Жюрайтиса, обличающая Любимова, Шнитке и Рождественского за «издевательство» над «Пиковой дамой». А глубже — из «Известий» — Дмитрий Еремин, «Перевертыши» — о Синявском и Даниэле, а по соседству — «Бабий Яр» из «Литгазеты» и «Наследники Сталина» из «Правды». Все события важные, памятные, сохраняемые. Для себя? Для истории? Для внуков? Не знаю, а рука не повернулась выбросить. И у меня не поворачивается.

Вообще духовные вершины и глубины мерзости периода шестидесятых — восьмидесятых годов представлены и типично, и неожиданно. От руки переписанная «Жидовка» Смелякова, «Воронежские тетради» в двух экземплярах, там же и пастернаковские «Стихи из романа», и подборка Максимилиана Волошина «Темен жребий русского поэта»… Из самых старых и трогательно не выброшенных: «По ком звонит колокол», перепечатанный на машинке еще до войны, «Звезда» за 1946 год с рассказом Зощенко «Приключения обезьяны» — тем самым, за который его сживали со света. Да, забыл: «Письмо Сталину» Ф. Раскольникова; нобелевская лекция Солженицына; «Письма к другу» Экзюпери; подборка за 1961 год «Стихи Слуцкого о Сталине» и рядом — подборка стихов Феликса Чуева «Зачем срубили памятники Сталину?» Ну, разумеется, кое-что домашнее: первый, ненапечатанный, вариант дневников Симонова за сорок первый год; верстка и сверка «Москвы» за шестьдесят седьмой, со второй половиной «Мастера и Маргариты». А кроме того, вырванные из журналов и не дождавшиеся переплета публикации, среди которых «Пути-перепутья» Федора Абрамова и «Острова в океане» Хемингуэя.

Прорвавшаяся в журнал вещь могла ведь и не выйти потом, а выйдет — не достанешь вдруг. Так и хранили то, что дорого, то, что для души. А некоторые еще и переплетали, осваивая смежную

профессию переплетчика.

■

Два последних письма.

> «Женечка! Еще раз спасибо Вам за редкостную доброту ко мне и к моему „хвосту“ — Юре и Сергею Алексеевичу[15]. За Ваше редкостное терпение и за удивительную светлую доброту. С Вами ясно и светло, Женечка. Мне было удивительно хорошо с Вами. Простите за беспокойство и хлопоты, которые я Вам принесла. Поцелуйте от меня Алешу и золотого мальчика Женю. Мне кажется, это будет одаренный и хороший мальчик. Он умница и очень очаровательный. Спасибо, друг милый. Дай Вам Бог удачи и счастья. Женя уж потому будет хорошим человеком, что растет у Вас, с Вашим умом, тактом и душевной красотой. Целую Вас крепко.
>
> Ваша *Мандельштам.* 30.8.71».

Ну, перечтите обе книжки этой пронзительной и злоязыкой умницы и попробуйте найти что-нибудь сродни этому панегирику! Вот ничем бы не хвалился, а этим хвастаюсь, тем более что моя характеристика дипломатично опущена.

И последнее из писем. Оно уже адресовано мне, потому и в самом деле последнее:

> «Алексей, слов соболезнования никогда я не знал и не знаю, я человек не любвеобильный.
>
> Но Евгению Самойловну очень люблю и всегда любил, и люди такой красоты, ума, терпимости рождаются редко, и когда умирают, остаются в тех, кто еще жив, и в тех, кто потом будет жить.
>
> *Александр Межиров.* 25.3.91».

■

Есть люди — создатели климата. Они поворачивают реки, определяют пути литературы, воздвигают и опустошают моря и озера, ставят вехи на дорогах науки и культуры.

Есть другие люди — хранители микроклимата, те, кому человечество обязано сохранением преемственности поколений и нравственных норм, те, кто, несмотря на все протуберанцы

истории, воссоздают вокруг себя атмосферу, в которой можно дышать, быть самими собой и любить друг друга.

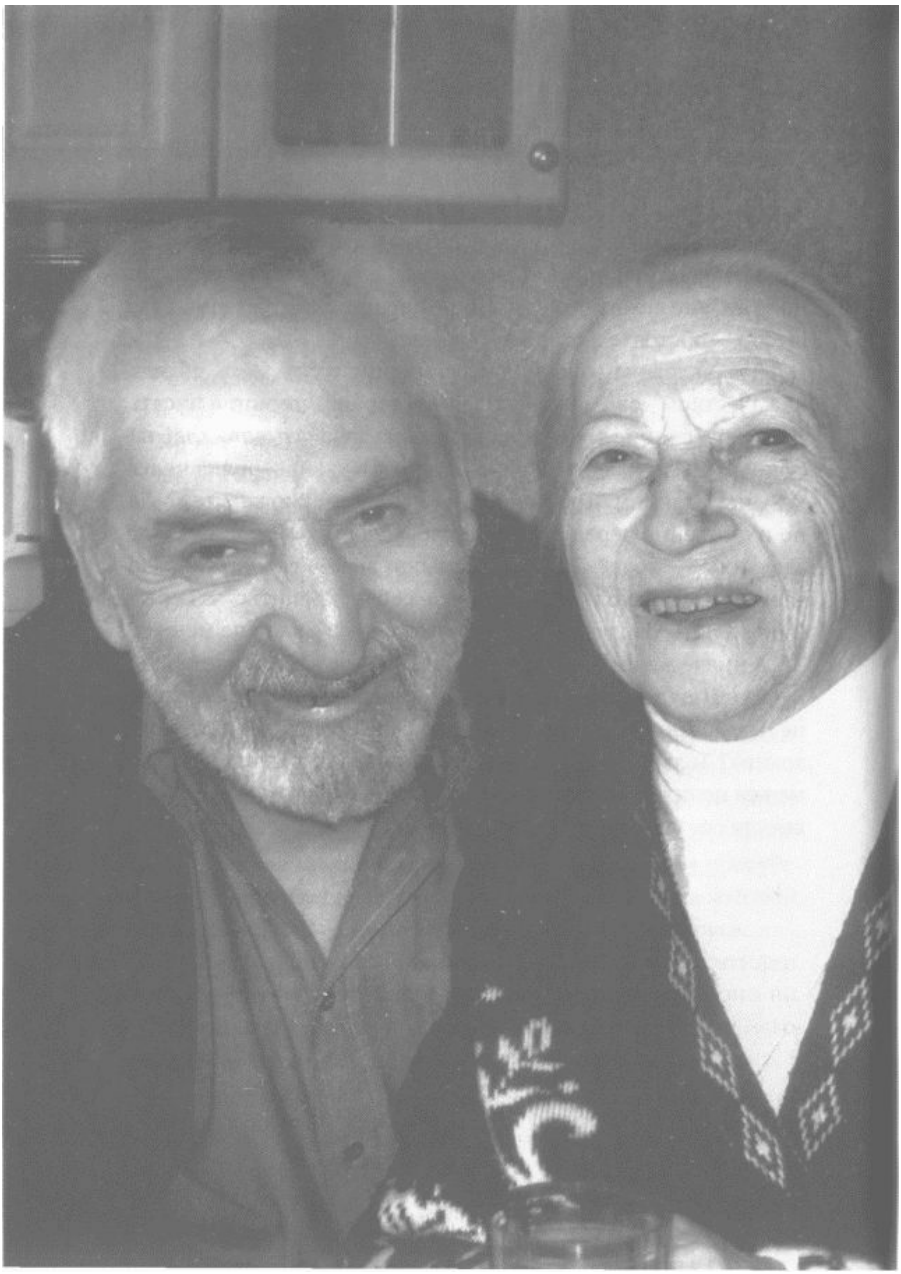
О первых пишутся книги, им ставят и сносят памятники, о них спорят, их хулят и прославляют, и, какими бы они ни были, они всегда козырные карты в политической или исторической игре.

О вторых история забывает, дело их жизни растворяется в тех, кто окружал их, кто дышал их воздухом, в ком хранится память о них. Разделение это, конечно же, условно. Конечно же, между черным и белым существует целая палитра полутонов, и все-таки оно есть, и в основе его, в самой первозданной глубине лежит не судьба — не внешние обстоятельства, а выбор — обстоятельства внутренние.

Для человека, окончившего Литинститут, мать обладала качеством довольно редким: она терпеть не могла писать. Даже внутренние рецензии, коими она зарабатывала хлеб насущный, были для нее если не мукой, то уж наверняка нелегким испытанием. Трезвая оценка своих возможностей? Да, но и смирение перед любимой словесностью. Раз и навсегда сделанный выбор? Да, но и гордыня, вера в свое предназначение: помогать таланту осознать себя, укрепиться в вере в свои силы и созидать в отпущенную меру и никак не меньше.

А иначе зачем было хранить все то, о чем здесь идет речь? В чем смысл такого — ни к кому не обращенного, специально не осмысленного и тем не менее хранимого и умножаемого, архива? Только ли в том, что каждая из составляющих его бумажек ценна авторским именем, или еще и в том, что все они вместе составляют душевный портрет хранящего?

Эпитафия



Мы с моей столетней тетей — Фаиной Самойловной. Снято давно, когда ей было всего 97 лет, 2006 г.

Есть старая китайская притча о человеке, которого одолела жажда путешествий. В один прекрасный день он оставил жену,

детей, дом, покинул свою деревню и отправился в путь. Шел он три дня и три ночи, а когда свалился усталый спать, перевернулся во сне и утром, не ведая того, пошел в обратном направлении. Он шел три дня и три ночи и подошел к деревеньке, похожей на его родную деревню, из очень знакомого дома вышла женщина с очень знакомым лицом, а за ее юбку держались трое чумазых ребятишек — точь-в-точь, как его собственные. И он вошел в этот дом, стал жить с этой женщиной и кормить этих детей. И был бы совсем счастлив… но всю жизнь его мучила тоска по Родине.

С этой, похожей на китайскую, ностальгией живут сегодня тысячи москвичей: тоскуют по своей арбатской, ямской или замоскворецкой Родине, проживая в Бутове, Дегунине, Отрадном и прочих замечательных жилмассивах с хорошим климатом и благоприятной окружающей средой. Разница только в том, что вовсе не их мучила жажда путешествий. Охотой к перемене мест страдали, скорее, их состоятельные земляки, оккупировавшие ныне старинные переулки исторического центра столицы нашей Родины.

«Знаешь, я очень скучаю по Москве», — сказала мне на днях моя столетняя тетушка, когда я уже в который раз навещал ее на новом месте жительства. До переезда, она почти семьдесят лет жила на Сивцевом Вражке. Из окна квартиры на втором этаже не видно было ни Староконюшенного — прямо, ни Арбата — в ста метрах вправо, только кусочек Малого Власьевского можно было углядеть из задних окон. Задними они считались потому, что когда-то под ними располагались роскошные помойки, на которые мы в детстве сигали с крыш стоявших там сараев. Дом, когда в него поселялись, был новый, потом привычный, потом старый. А жизнь все эти семьдесят лет была как у всех: кто-то уезжал в ссылку, кто-то в лагерь, кто-то на войну, кто-то возвращался, кто-то нет, но все эти семьдесят лет маленькая квартирка на Сивцевом была коллективной семейной варежкой, где все друг другу грели руки и грелись душой. В скрипах старого дома, в гуле газовой колонки, в детских возгласах за окнами жило ушедшее время и память о людях, из которых это время составлено.

Потом дом порешили ломать. Подъезды пустели, по двору и по лестницам сновали энергичные молодые люди из строительной фирмы, откупившей это пространство под новомодную застройку. Мэр Москвы сказал когда-то очень гуманные слова: дескать, не будем мы лишать старых москвичей их среды обитания. Жаль, что гуманизм и правда не совсем близнецы. Надо было бы добавить: не лишим тех, кого не сможем

лишить, кто сумеет выстоять, кому хватит терпения и дурного характера отстоять свои права в союзе с гуманным, но далеким и малодоступным мэром.

Те, кому характера не хватило, — вот они-то и поехали в Отрадное Бутово, те, кто покрепче остались в пределах Центрального административного округа, а самые мужественные и склочные — те действительно сохранили среду обитания — переехали в один из соседних уже перестроенных или отремонтированных домов. Зато их новые немощи — результат борьбы со строителями будущего — лечат по-прежнему старые, привычные врачи. Тетушка живет в прекрасной новой квартире с двумя лоджиями на обе стороны. Неподалеку от Большой и Малой Коммунистической. Там светло, тепло и … непривычно. Выходить из квартиры ей незачем: ни одного знакомого лица, даже у домов. Сын ее отлежал в госпитале все последствия переезда и уже вышел на работу.

Когда-то, когда я еще был кинорежиссером, довелось мне снимать документальную картину «Прощай, старый цирк» о последних днях никулинского цирка на Цветном бульваре. В день последнего представления я взял интервью у Сергея Юрского. «Новое здание будет, наверное, замечательным,— сказал он тогда, — но должны пройти десятилетия, пока стены его впитают тот объем искусства, которое живет в этих старых стенах».

Нет уже тех стен, где жил мой детский крик, и запах бабкиных пирогов, и посапывание деда, и звуки ежевоскресного семейного обеда. Но у меня-то еще много ли, мало ли, но время впереди есть. А у тетушки в ее новом и оглушительно чужом мире? Вот и сидит она, и перебирает старые фотографии, и жалеет, мучается, что никому никогда не пришло в голову сфотографировать наш старый дом, вид из окна, обшарпанную дверь третьего подъезда и хотя бы маленький кусочек старого, окуджавского, Арбата. А ей так хочется увидеть Сивцев Вражек, Родину.

ЧАСТЬ II
Круги по воде

Школа № 1

Урок истории в 8-м «Б» той самой школы № 1

Моя первая школа была не первая, а пятьдесят девятая, а вот вторая — была первой и по номеру, и по месту в моей памяти, а как следствие — в моей биографии.

Есть люди искренне убежденные, что первична биография, а память — это то, что они из собственных биографий помнят. Я же отношусь к разряду их непримиримых оппонентов: первично то, что существенно в моей жизни, что повлияло на то, как она складывалась и сложилась. Это и есть память, а биография — только жалкое производное от того запаса памяти, который мне отпущен. На основе одной памяти можно написать сколько хочешь биографий. И все они будут правдивыми, но утлыми — для одноразового плавания, т.е. использования.

Но если быть исторически точным, то и школа № 1 была не первой, а второй — специализированная, с усиленным изучением английского языка, первой была такая же французская, открытая в Москве годом раньше. А в пятьдесят девятой — бывшей Медведковской гимназии, помещавшейся в Староконюшенном переулке аккурат напротив Канадского посольства, — я проучился только три года и кроме имени учительницы (Варвара Дмитриевна) и двух-трех анекдотов для биографии моей от этой школы остались только «усы», как у садовой клубники при вегетативном размножении.

Нас набрали в младшие классы, с первого по шестой, брали, как было объявлено, только отличников и брали поначалу со всей Москвы. Способности у человека выявляются по-разному, и отличник-второклашка, скорее, усидчив, чем талантлив, но принцип был именно такой, и, надо сказать, он к концу десятого класса дал неплохой результат. Из одного моего класса вышло не то двенадцать, не то четырнадцать докторов самых разных наук и даже один академик — Кира Замараев. Еще брали блатных, т.е. детей высокопоставленных родителей, но на атмосфере школы это почему-то не сказалось, хотя, может быть, это казалось только мне, поскольку я и был отчасти блатной. Классом старше меня учились братья Маленковы, сын писателя Вершигоры, сын певицы Ирины Масленниковой — Митька Одиноков, сын кинорежиссера Донского — Сашка, ну и я. Я проходил по всем параметрам. И Симонов, и отличник за 3-й класс, и, что тоже приветствовалось, с английским, полученным на частных уроках у англичанок. Англичанки были самые настоящие, одна из Англии, а другая из Америки, начал я заниматься лет в 5, и, к большому моему счастью, они успели привить мне «чувство языка», когда ты понимаешь контекст, даже если знаешь не все слова. Но об этом как-нибудь потом, а пока — о первом школьном конфликте.

■

Уж не знаю из каких соображений, но перевод из школы в

школу придал значительности моей юной персоне. Вполне допускаю, что хвастовство своей причастностью к известной фамилии компенсировало мои переделкинские комплексы, и в школе я носился с ней, как с писаной торбой. Что думали по этому поводу мои соученики — не знаю, но к началу третьей четверти, а это, если помните, зима, январь месяц, они решили меня отлупить, или, по тогдашней терминологии «устроить мне темную». Руководил операцией Славка Пирогов, человек решительный, сугубо пролетарского происхождения, впоследствии учившийся со мной в ИВЯ и ставший полковником госбезопасности, нашим резидентом в Японии. Что они меня собираются бить, меня предупредили, а вот за что — надо было догадаться самому, ничего определенного сказано не было. Ясно было и то, что делать это они будут после уроков, когда впереди долгий путь домой и времени — вагон. А кроме всех иных осложнений, Славка еще был моим соседом, то есть путь домой становился рискованным от школы до собственной парадной на Зубовской площади, куда я переселился к маме вскоре после перехода в 1-ю школу.

Два дня я от них прятался, ходил задворками, перелезал через заборы и одновременно мучительно пытался понять: «За что?». Сначала понял: за то, что Симонов. Потом вдруг дошло: не за то, что Симонов, а за то, что этим хвастаюсь, бравирую, выпячиваю свою фамильную причастность к элите. Видимо, это не слишком глубоко во мне сидело. Я вздохнул с облегчением, вышел к своим преследователям и уж не помню, в каких выражениях, но сказал: «Бейте, виноват». Такой поворот сильно снизил пафос их ко мне ненависти, для проформы меня пару раз ткнули носом в сугроб и отпустили.

С того времени я носил свою фамилию, стараясь не наносить ущерба достоинству окружающих. Бывал, по обстоятельствам, и «сыном великого отца», но всегда этого отчасти стеснялся и никогда не бывал им по собственной инициативе.

■

Параллельных классов было у нас всего по два, «А» и «Б», но для занятий английским, а они стояли в расписании практически каждый день, класс из 27–30 учеников делился еще на 3 группы, и в каждой с 9–10 учениками ежедневно занимался отдельный учитель. После такой школы любой наш заядлый троечник, поступая в ВУЗ, на экзамене по английскому чувствовал себя корифеем и свои «пять» в экзаменационный листок получал, можно сказать, автоматом.

Директором этого образовательного эксперимента был назначен, как теперь бы сказали, выдающийся менеджер, преподаватель вроде бы физики, но занимавшийся только проблемами школы. Причем назначен он был на какой-то ограниченный срок, скорее всего, на 5 лет — до первого выпуска, потому что в 54-м он от нас ушел и, к нашей всеобщей гордости, занял пост замгенсекмежфедуча — заместителя генерального секретаря Международной федерации учителей. В сокращенном нами виде аббревиатура этого названия нравилась нам намного больше. Даже фамилия у него была основательная — Таптыков, Дмитрий Николаевич. Не помню, как ее писали, но то, что произносили через «а» — это точно. Какие общественно-политические задачи перед организатором школы были поставлены — не ведаю, а практические (организовать школу, набрать учителей, построить спортзал, наладить учебный процесс) он выполнил с блеском и, я бы сказал с некоторым даже вызовом, если принять во внимание факты, ставшие понятными мне много позже. Он, например, в 1950 году взял на работу учителя истории, выкинутого с его предыдущего рабочего места в разгар борьбы с космополитами. Да еще с фамилией Левин. Было у него какое-то идеологическое прикрытие, пересиживал ли он в этой должности непонятные нам, но чем-то стреножившие его времена, — не могу знать. Знаю, что нам, школе, с первым директором повезло очень, тем более было с чем потом сравнить. Климат, который он в школе создал, держался долго, почти все мои семь лет, климат доброжелательной состязательности — художественной, спортивной и даже, что самое непростое, учебной. У нас отличниками гордились, им в общем даже не завидовали, и никому, кроме редких отъявленных хмырей, не приходило в голову к ним ревновать или радоваться их случайным неудачам.

Располагалась наша школа в Сокольниках. Из метро прямо, через Русаковскую улицу, и по диагонали — мимо до сих пор стоящей пожарной каланчи — территория школы — вплоть до забора стадиона «Спартак» (тогда еще не крытого) со ступеньками трибун, куда мы в старших классах бегали курить. Вокруг стандартного, в 4 этажа, здания школы — что-то вроде сада, где позднее проходили наши маршировочные занятия по военному делу и где через два года вырос и наш, редкий по тем временам, настоящий спортивный зал, где мы, постепенно поднимаясь в сокольническом общественном мнении, играли сперва за школу, а со временем и за Сокольнический район. Поначалу-то нас ненавидели ровесники из окрестных школ оптом и в розницу, но постепенно местническая вражда преодолевалась проявлениями

районного патриотизма, и поскольку школа была спортивная, и в сборные школьников района брали многих наших — приходилось, болея за своих, болеть и за нас. И уже классе в восьмом или девятом, могучий Юдзон, еврей-хулиган, главный оторва соседней школы — уже хватал каток — железный патрубок, на которых вывозили и ввозили из подсобки брусья и другие снаряды, — и лез бить этим катком несправедливо судивших нас судей или нанесших нам травму соперников из другого, несокольнического, района. Так что в районе мы приживались недолго. Летом за нас болели в баскетбол, волейбол и по легкой атлетике, зимой — за наших лыжников и целый год за гимнастов и стрелков.

И все-таки, даже становясь объектом боления, уважения и даже восхищения, мы оставались «чужими». В нормальных условиях жизнь школы по окончании уроков перетекает в жизнь двора, соседней улицы, тесно завязывается на дворовые приоритеты и дворовые авторитеты, создавая некий симбиоз, который и называют средой обитания. У нас этого не было. Мы после школы шли в метро и разъезжались по Москве, так что в отличие от детей улицы мы представляли некую странную общность, именуемую «дети метрополитена». Линия его, воспетая в знаменитой «Песне извозчика» Леонидом Утесовым, была моей линией жизни: «От Сокольников до Парка на метро» — это был мой ежедневный маршрут, проделываемый дважды в день, а в старших классах иногда и четырежды. И не важно, что, становясь взрослее, мы иногда проделывали этот метромаршрут пешком, поверху — нам не на что было переключиться, мы несли в себе школьные заботы, школьные мысли, школьные приоритеты, не переключаясь. В наших компаниях редко появлялись ребята не из нашей школы, жили мы по всей Москве, и окончание школы оказалось для нас куда более радикальной разлукой, чем для остальных, и связи поддерживались в основном по телефону и терялись много проще и легче.

Я, честно, не знаю, хорошо это или плохо, но было именно так: что-то важное в детстве и ранней юности мы недополучили, что-то, видимо, приобрели. Мы, например, были более светскими, что ли, мы не робели перед величиной города в котором жили, мы не боялись «чужих» районов, у нас не было разделения на «нашу» и «не нашу» территорию. Мы чувствовали себя в метро как рыбы в воде и даже некоторые закономерности общежития познавали раньше своих ровесников: я, например, с детства по собственному опыту знал, что двигаться вперед тебе мешают в первую очередь те, кто идет с тобой в одном направлении, а чтобы все-таки уметь их обгонять, надо смотреть и предугадывать

движения окружающих, а не сосредотачиваться на собственной скорости — так получается намного быстрее. Забавно, что через много лет давний приятель, почти родственник нашего семейства, Генрих Шур, который тогда был тренером по спортивному ориентированию, рассказал, что учиться читать карту на бегу очень удобно именно в метро — он это неоднократно применял в своей тренерской практике. Так что в определенном смысле мы были взрослее своих сверстников. И еще — помните, я говорил о состязательности как о важной составляющей школьной атмосферы. Так вот, даже сегодня, на исходе седьмого десятка, я, если самочувствие позволяет, с удовольствием обойду на метрополитеновской дистанции любого молодого лоха, не владеющего этой техникой: в какой из пролетов надо сунуться, как обойти толпу, движущуюся поперек, как не попасть в ситуацию, когда ты вправо и он — вправо, ты влево, а он об тебя — шмяк, как различать возраст впередиидущего, потому что самые непредсказуемые в метро люди — это старики. Глазомер редко меня подводит, так что вполне в духе Максима Горького могу о себе сказать: всем лучшим в себе я обязан… метро и Александру Александровичу Гугину — нашему школьному учителю физкультуры.

Не знаю, был ли он в молодости выдающимся спортсменом, хотя слухи такие среди нас ходили, но энтузиаст физической культуры и спорта он был выдающийся, как сегодня сказали бы — фанат. Лет ему было под сорок — его сын Валька учился со мной в одном классе. Сам Сан Саныч был сухой, поджарый, всегда элегантный и в спортивном, и в цивильном обличьи, с узким, хорошо вылепленным аскетическим лицом и редко появлявшейся, но совершенно ослепительной, белозубой и нежной улыбкой. При этом — фотограф и изобретатель. Мне довелось принимать участие в демонстрации изобретенного им тренировочного снаряда под названием «параллельные бревна» на конференции учителей физкультуры. Такого снаряда я больше никогда и нигде не видел и допускаю, что снаряд не прижился, как, впрочем, не прижились и другие изобретения Гугина по части методики вовлечения юного поколения в активные занятия спортом. Но мне довелось не только демонстрировать этот его снаряд, но и заразиться идеей Сан Саныча, что спорт составляет важную, неотъемлемую часть жизни любого молодого человека, а если ему повезет, то может и остаться с ним на всю остальную куда более продолжительную его жизнь.

Но главным открытием и каждодневной заботой Александра Александровича была последовательно, из года в год создаваемая та самая атмосфера состязательности: каждое школьное

соревнование, каждый рекорд отражались на огромном стенде спортивных успехов школы. Там были все рекордсмены пятых, шестых, а впоследствии и девятых-десятых классов: фотография, дата, достигнутый результат. И победившие команды, и чемпионы года, чего там только не было. Мне довелось раза три или четыре видеть себя на этом стенде, и я гордился этими фотографиями не меньше, чем впоследствии гордился своей фамилией на памятной доске серебряных медалистов 1956-го — моего выпускного года. И результаты обновлялись после каждого соревнования: рекордсмен школы среди 6-х классов по прыжкам в высоту, победитель 1954 года по прыжкам в длину, по бегу на 100 и 1000 метров, по толканию ядра и метанию гранаты. Первое, второе, третье места, да я по сей день помню, что рекордсменом школы на 1000 метров был мой одноклассник Володя Хаботин, а в метании гранаты — рыжий Генка Бекетов из параллельного. Когда наша лыжная команда 8-го класса «Б» на общешкольных соревнованиях «сделала» обе команды десятиклассников и «А», и «Б», мы гордились этим как своим личным достижением. Помню и другое: однажды на каких-то очередных лыжных состязаниях команде нашего класса для полного зачета не хватило одного участника: в команде — четверо, зачет по троим лучшим, так они втянули в эту пятикилометровую муку меня. И я, далеко не корифей в лыжах, дополз эту дистанцию под веселые понукания уже закончивших ее моих товарищей по команде: Влада Владимирова, Юрия Шабулина, третьего не помню, скорее всего, Гугин-младший. Я дополз, и они восхваляли меня, как будто без этого они бы не победили. Или на районных играх по легкой атлетике Александр Александрович неисповедимым тренерским чутьем угадал и в эстафете 4 х 100 поставил на последний этап Вадика Николаева, а тот, неожиданно даже для нас, приняв эстафету третьим, странной иноходью, задрав голову куда-то вверх и вбок, обошел впереди идущих и рванул финишную ленточку — как мы были счастливы за школу и как был счастлив за нас бледный от напряжения Гугин.

И отдельно на гугинском стенде: наши ребята — чемпионы Сокольнического района, второй призер по толканию ядра (это был я!). Словом, Гугин этим сбивал нас в какое-то школьно-партриотическое, классно-патриотическое братство. И в командных видах — то же самое. Первая пятерка десятого «Б» по баскету была одновременно первой пятеркой всего района, а лучший наш баскетболист Борька Прозоров — первым парнем во всей сокольнической деревне. И никто ему не завидовал, разве что чуть-чуть, когда он, резко меняя направление дриблинга, шел в проход на кольцо, тому как у него это получалось и как он

классно тащил к победе всю команду.

Всех помню наизусть: наш историк С. Е. Левин и Сашка Шнитников — стоят. Сидят в левом ряду: Рыков — Шабулин, Давыдов, Симонов — Адамов, Базаров, Каганович — Грачев. В среднем ряду: Котрелев, Барабанов — Румнев, Симбирцев — Михальцов, Николаев Вадик — Денисов, Самойлов — Антоновский. В правом ряду: Хаботин — Ермишкин, Прозоров, Стуклов, Владимиров — Жуковский. Четырех одноклассников на фотографии нет

Спорт, между прочим, очень отчетливо выявлял еще и характеры — мы многое друг про друга узнали. Проигрывать никто не боялся, а вот побеждать некоторые могли только в тепличных условиях. Где-то в конце 60-х в Англию собкором «Литгазеты» был назначен Володя Симонов — мой одноклассник. Его корреспонденции иногда напоминали бондиану: уходя от преследующей его машины Интеллидженс сервис, он на своем автомобиле нырял в лондонские переулки, секретными дворами шел на встречу со своим информатором, словом, «на войне — как на войне». И только мне, да еще нескольким ребятам, игравшим с ним в баскетбол в одной пятерке, известно было Володино слабое место: если в игре ему пару раз грубо давали по рукам, он переставал играть, а только изображал игру, и его надо было срочно менять, потому что тактика игры «на столба» — а в нашем малорослом поколении Вова со своими 185 сантиметрами, мягкими руками и хорошим прыжком был, безусловно, «столбом» — больше не срабатывала. И читая о его доблестных сражениях с английской разведкой, я хорошо понимал, что либо это все — художественная литература, либо ему еще не дали по рукам.

Совсем иным и по-иному запомнился наш историк Самуил Евсеевич Левин. Он был крупный и круглый и, в отличие от всегда тщательно выбритого Гугина, носил большие вислые усы,

круглая огромная голова, круглые очки и печальные (теперь я понимаю — еврейские) за ними — круглые — глаза. Прозвище Сэм он получил сразу, если не в первый день, то только потому, что при первой встрече сильно нас поразил. Класс был, наверное, пятый. Входит-вплывает этот сом, кладет на кафедру школьный журнал и заявляет: «У нас будет разделение труда: я буду учить вас истории, а вы будете следить за дисциплиной. Предмет у меня непростой, и на глупости у меня нет времени».

И так и учил, причем конспекты его уроков по истории, особенно XX века, пригодились мне при подготовке в ВУЗ спустя 5 лет, уже после XX съезда и речи Хрущева. Не верите? Никто не верит. Потому что правда.

Само писание конспектов было для нашего поколения школьников — нечто новое. И конспекты эти не были перечислением событий и дат — Сэм учил нас запечатлевать логику своих (а точнее — его) рассуждений, приводившую к выводу об осмысленности той последовательности событий, о которых вещал учебник.

Сам того не замечая, а может, с учетом мудрости его и лукавства, сознательно, подрывал Сэм основы учебного процесса: он учил нас спорить с учителем. Причем если по-началу это напоминало игру котенка с бумажкой, где котятами были мы, а он подбрасывал нам бумажки трудноразрешимых вопросов, то к середине десятого игра шла серьезная: ты сидел на теме, как медведь на дереве, перед кажущейся истиной, как перед дуплом с пчелиным медом, а Сэмова аргументация лупила тебя со всех сторон, как подвешенное бревно, тем сильнее, чем сильнее ты его отталкивал. Это сравнение имеет только один недостаток: из него незаметно, какое удовольствие, получали при этом действе и медведь, и бревно. Сэм так увлекался, что именно тут обнаружилась его главная слабость: вместо опросов или повторения пройденного его легко было втянуть в спор и заставить забыть об остальном. Те, кто не очень любил историю или забыл выучить урок, часто обращались к нам с этой просьбой. И мы их редко подводили.

Много лет спустя я попытался понять и сформулировать, чем отличается знающий от недознающего. Недознающий предпочитает аксиомы, а при необходимости что-то доказывать пользуется языком туманной недосказанности, создавая из него дымовую завесу своему профессиональному недознанию. Знающий может ясно и недвусмысленно сформулировать даже то, чего еще не знает, ибо не боится своего незнания, рассчитывая на себя, а не на туман науки, в которой заблудился сам и пытается заблудить своих слушателей.

Сэм был из знающих. Он легко ставил приличные отметки тем, кто учил, но не интересовался. Зато тем, кто лез с ним спорить, охотно раздавал по ходу четверти тройки, которые в итоге четверти надежно складывались в пятерку. Как я потом узнал, выгнали его в 49-м или 50-м из какого-то гуманитарного техникума, и учебный принцип ВУЗа — даю больше, чем ты можешь взять, но уж и ты постарайся: возьми хоть чуть-чуть больше, чем тебе положено, — выполнялся им неукоснительно. Отношения с ним у моих двух классов (а я успел поучиться и в «А», и в «Б») складывались серьезные и уважительные. Мы были в девятом, когда по школе пронесся слух, что в шестом классе сорвали урок истории, карательным отрядом понеслись мы в этот шестой класс, и там состоялся разбор полетов с демонстрацией кулаков и обещанием намять бока по-серьезному. Помогло. Кстати, внешкольными делами Левин не занимался вообще, не организовывал кружков, не брал классного руководства и вообще со школой имел только одну и единственную связь: учил оболтусов думать с помощью исторических знаний. Но место в нашей школьной жизни занимал очень заметное.

С точки зрения появления лидеров школа — это многоборье, во всяком случае у нас было именно так. Сюда входили и гуманитарные успехи, и математика с химией, и спортивные достижения, и участие в самодеятельности, и английский язык, и пионерско-комсомольская работа, и даже околошкольные достижения — победы в смотрах, олимпиадах, спортивных школах, конкурсах самодеятельности за школьными пределами. А вот физика, например, не входила. За все годы школе так и не удалось найти для нас приличного физика. Преподавали физику какие-то недоучки на фоне остальной нашей гвардии. И как это вышло, что из наших будущих докторов наук больше всего оказалось физико-математиков, — это я вам объяснить не берусь, но догадка одна у меня есть и, хотя лично для меня эта догадка исторически имеет печальный оттенок, я ею рискну поделиться.

Все дело в нелюбимом мною нашем математике, хоть убей, фамилию не помню[16]. Звали его Михаил Арсентьевич, и был он из всех классических математических сухарей самый сухой. Длинный, мосластый, с сипловатым, легко срывающимся на фальцет скрипучим голосом, он обладал изрядным чувством юмора, но юмора въедливого, раздражающего, пригодного, скорее, как отмычка или нож для вскрывания устриц, словом его юмор был как песок в моторе — скрипуче-тревожный. При внешне ровном, редко выходящем за определенные для себя рамки, отношении к ученикам он и не думал скрывать, что «математика в его лице» — это он так выражался, благосклонна к тем, кто

может, равнодушна к тем, кому это не дано, и непримиримо презрительна к тем, кто мог бы, но не хочет.

Все у нас начиналось хорошо, до седьмого класса Михаил Арсентьевич относился ко мне благосклонно, хотя я и тогда звезд с неба не хватал, и в первую пятерку математиков класса не входил. Но тянулся. А потом в восьмом — забуксовал: то ли влюбился, то ли надоело стоять на цыпочках, то ли подростковый кризис у меня наступил, то ли все это и еще что-то вместе, но тянуться я перестал и немедленно стал получать тройки, и скрипучее острие Михарсентьевского юмора обратилось против меня. Не хотел он, чтобы я перешел в категорию тех, кому не дано. Две четверти он честно ставил мне три балла, надеясь меня вразумить. Я не вразумлялся, и Михаил Арсентьевич сказал мне фразу, которую в силу буквального ее выполнения в дальнейшем, я хорошо запомнил:

— Симонов, — сказал математик, а он всегда и всех называл по фамилии, — запомни, математика в моем лице тебе за это отомстит!

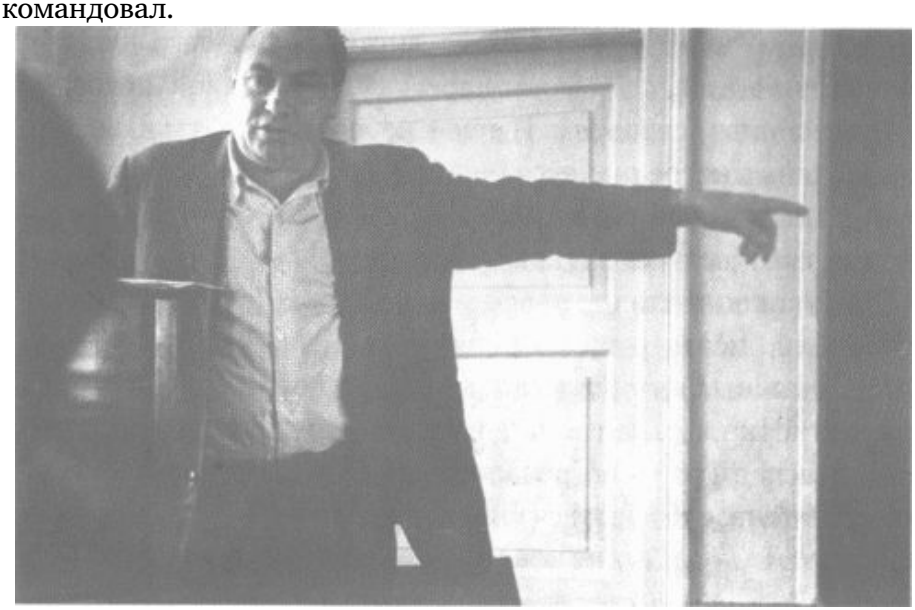
Девятый класс я пахал как проклятый. И не из-за Михаила Арсентьевича, а просто стало неприятно хромать на математическую ногу, получалось, что этот — важный для школьного многоборья вид — у меня заметно отстает. Два раза за всю мою школьную жизнь учеба была для меня работой. И это был один из них. Математик все видел, к усилиям моим относился с иронией, но отметки ставил за сделанное, так что к концу девятого класса я вернулся на свой уровень: конкурсных и вузовских задачек, как какой-нибудь Замараев или мой приятель Сашка Шнитников, не щелкал, но по школьной программе уже порхал бабочкой на грани «четыре-пять». Однако математика, как и предупреждал меня Михаил Арсентьевич, мне отомстила: когда пришла пора выводить выпускные отметки, единственный предмет остававшийся на усмотрение учителя, был тригонометрия. По алгебре и геометрии сдавались экзамены, там для волюнтаризма поле было сужено, а по тригонометрии в двух четвертях у меня было 5, в двух — 4, Михаил Арсентьевич недрогнувшей рукой вывел мне итоговую четверку, оказалась эта четверка единственной, и вместо золотой получил я серебряную медаль.

А может, и не в этом дело. При первых двух выпусках нашей школы золотых медалей каждый год оказывалось по три — это, видимо, был отпущенный нам лимит, и, рассуждая, кого же отделить от будущих благ в наш год, педсовет решил эту проблему не в мою и не в тригонометрии пользу.

Но если честно: я горжусь, что в родной школе вишу на

стенке, а уж в каком качестве — мне как-то все равно. И тогда было все равно, а уж потом — тем более. Но Михаила Арсентьевича я запомнил на всю жизнь.

У каждого многоборца есть свои сильные, ударные виды. У меня их было два: школьная самодеятельность и английский язык. И обе связаны с одним и тем же учителем. Звали его от Таптыкова наоборот: не Дмитрий Николаевич, а Николай Дмитриевич, зато фамилия его через десяток лет после окончания нами школы стала неприлично знаменитой, хотя мы этого, слава богу, не застали, а потому фамилия Чубурашкин не казалась нам чем-то особенно смешной. Ну Чебурашкин и Чебурашкин, ни у кого не вызывавший желания спросить, как здоровье крокодила Гены. Ему и без этого досталось: был он стремителен, но хром, причем тяжело, заметно; изощрен, но не изыскан: английский знал прекрасно, но говорил на нем с русским прононсом; ставил с нами отрывки из классики, но когда дело дошло до самостоятельного творчества, не нашел ничего лучше, как перевести на английский сцены из книги партизана Федорова «Подпольный обком действует», и весь наш школьный партизанский отряд, и даже поганые немцы зачем-то заговорили по-английски. Видимо, фамилия ему настолько не шла, что даже прозвища ему школа не придумала. Человек был истовый, если что ему втемяшилось в голову — все, не вырубишь топором, и потому воевали мы постоянно, на обоих фронтах, которыми он командовал.



Николай Дмитриевич Чебурашкин, в мои годы он был моложе

Войну со мной за меня на уроках английского Чебурашкин

начал не сразу. Я к нему в группу попал после того, как меня за то, что не участвую в строительстве коммунизма (о чем я уже рассказывал), перевели из класса «А» в седьмой «Б». Первый год он ко мне присматривался, а на второй взялся за исправление замеченных недостатков.

Все мы любим делать то, что у нас лучше получается. И я в этом смысле не был исключением. У меня было приличное произношение, как потом оказалось, скорее, американское, чем английское, я легко и непринужденно читал и так же легко пересказывал прочитанное или заданное. Но, пользуясь тем самым «чувством языка» от англичанок моего детства, я счастливо избегал в своем пересказе новых слов, обходясь уже освоенным словарем. И еще я не любил писать: в английском очень многое пишется не так, как читается, и этих мучений с дифтонгами и другими изысканными буквенными сочетаниями я всячески старался избегать.

Чебурашкин стал вызывать меня только отвечать новые слова или писать — все, остальное его не заботило. И я вместо привычных пятерок стал получать внешне вполне законные четверки и даже тройки. Не то что я гнушался этих отметок, но всякий раз, а встречались мы, если вы помните, почти каждый день, оказываться упрямым бараном — это было мне западло. Но я уже привык не заниматься английским дома, у меня и без того хватало дома дел, а тут… Пришлось отвыкать. Как я его ненавидел, понимал, что это он меня так учит, а все равно ненавидел, от этого даже сильнее. И надо отдать ему должное: победа осталась за ним, а приличный английский со мной. Оценить это я смог довольно скоро.

В начале десятого класса — как раз приподнялся железный советский занавес — к нам зачастили иностранцы. Приятно показывать заезжим гостям товар лицом, лукаво опуская подробности, что товар у нас особый и по-английски наши ребята говорят, ну, скажем, совсем чуть-чуть лучше, чем в любой соседней школе, не имеющей языковой специализации.

А теперь похвастаюсь. Имею право, тем более что значительной частью обретенной славы был обязан тяжелому характеру Чебурашкина. Итак, октябрь пятьдесят пятого, я уже в десятом, я секретарь школьного комсомола и вообще. Иду по школьному коридору, а навстречу мне наш директор, новый, в смысле следующий после Таптыкова, о нем еще будет речь в этом повествовании. А директора окружают стайкой нарядные иностранцы, может, кто помнит, как долго в московской толпе легко было узнать иностранца, он им через переводчика: это наш комсомольский секретарь, он … — тут я его не очень вежливо, но

нежно перебиваю и говорю по-английски, обращаясь через переводчика: дескать, Николай Игнатьевич, позвольте мы сами себя представим, а если нет, то не дозволите ли вы, чтобы мы ваши слова сами и перевели. Тут иностранцы теряют к директору всякий интерес и устраивают мне пресс-конференцию часа на полтора (это я, конечно, загнул, но ведь со следующего урока меня пришлось из-за этого отпустить, так что полтора не полтора, а уж около часу они со мной беседовали). Иностранцы оказались группой учителей английского языка из Шотландии и Англии, и в венчающем эту историю апофеозе — статье «Глазами англичан» в газете «Московская правда», где перечислялись наиболее сильные впечатления этих великобританцев от пребывания в Советском Союзе, третья подглавка называлась «Алеша Симонов беседует с гостями». Между прочим, там говорилось, что эти школьные учителя из Англии, по их собственным словам, случись сдавать экзамен по-английскому, не все набрали бы столько баллов, сколько этот молодой человек. Вот такую победу одержал надо мной дурной характер Чебурашкина.

С самодеятельностью же получилось… ну, не совсем наоборот, но все же. Когда кто-то в старших классах усердствует в художественном чтении или играет в отрывках, про него говорят: «Пойдет в артисты». И вся школа потом трепетно следит за его судьбой. Нас таких было в школе трое: Женя Жуков, двумя годами меня старше, мой ровесник Валера Безручко и я. К Жукову Чебурашкин никакого отношения не имел, тот развивался свободно, бесподобно смешно читал басни, окончил Щукинское, работал в Театре миниатюр у Владимира Полякова, потом что-то не сложилось, и последние годы мы с ним виделись в Театре Гоголя, где в то время работала моя жена. Больших ролей он там не играл, но был настоящий Актер Актерыч. Зато с Валерой и со мной Чебурашкин работал с той же заядлостью, с какой заставлял меня учить новые слова. Валера был мальчик высокий, стройный, несколько позирующий, что, впрочем, могло оказаться и результатом представлений Чебурашкина об амплуа. Валера в его глазах был будущий герой-любовник. Кем в его представлении был я, судите сами: в сцене из «Бориса Годунова» он — Отрепьев, я — Пимен, в «Горе от ума» он Чацкий, я — Фамусов. В «Ревизоре»… догадайтесь с трех раз. Даже в «Мертвых душах» он изображал Чичикова, а я Ноздрева. А мне так хотелось самому сыграть Чацкого, но Чебурашкин давил на коллективную сознательность: кто же у нас может Фамусова-то сыграть? И только в «Подпольном обкоме», который действовал по-английски, роли для героя-любовника не нашлось, и я играл командира партизанского отряда, а Валера — фашистского

офицера. Я никогда, даже после прослушивания у Фаины Георгиевны Раневской, всерьез об актерской карьере не задумывался. Но вот ведь парадокс: Валера Безручко был единственным в школе человеком, которому я завидовал не белой завистью, а по-черному, настолько, что желал ему зла. Не знаю, как сложилась его актерская судьба. Я знаю только, что он окончил студию МХАТа, его взяли в театр — на этом мои сведения обрываются, на сцене я его не видел, единожды встретил его фамилию в театральной программке, там где «крестьяне, восставшие, посетители трактира».

«Подпольный обком действует» на английском языке. Второй слева — с немецким трофейным кортиком, подаренным мне отцом, — Валера Безручко

А мне эта упертость Чебурашкина, твердо верившего в предначертанность актерского будущего моего соперника, не принесла ничего кроме пользы: я до сих пор набит цитатами из русской классики, помню наизусть половину «Горя от ума», со школьных лет избавился от чувства страха перед зрительским залом и вообще: «Спасибо, Николай Дмитриевич, низкий вам от меня неактерский поклон!»

А нет, забыл. Среди того, что я благодаря Чебурашкину выучил, есть еще Гимн Советского Союза на английском языке. Все в том же «Подпольном обкоме», который действовал по-английски, была сцена, где партизаны ворвались в село на плечах

убегающего врага, и над трупами казненных товарищей им надо что-то спеть. По сценарию это был Интернационал, но то ли недосуг было Чебурашкину искать текст его по-английски, то ли мой недоразвитый слух решительно сопротивлялся воспроизведению не самой по тем временам знакомой мелодии, но спеть решили гимн, а научить меня это делать поручили училке-англичанке из младших классов по прозвищу Морковка — такие у нее были морковные щечки. Два дня она долбила со мной эту вроде бы знакомую мелодию и добилась того, что слова по-английски я выучил все, а спеть смог только первый куплет. «Славься, Отчество» — этого я уже не вытягивал — так это и вошло в наш бессмертный спектакль.

> Unbreakable Union of freeborn Republics
> Great Russia has welded forever to stand
> Да здравствует созданный волей народа…
> Наш гимн, что для нас сочинил Михалков.

Это, как вы понимаете, был гимн еще в первом, не перелицованном, варианте, ну а после гимна сам бог велел — об идеологии, об основах воспитания, так сказать, граждан в этом своеобразном лицее середины XX века. Почему мне так врезался в память разговор на педсовете, предшествовавший моему переводу в другой класс в качестве примерного наказания? Да потому, что других таких проработок я не помню. Меня потом и из школы исключали, и выговоры давали, но ни разу — с таким идеологическим звоном. И я начинаю думать, что дело не во мне, а во времени: учебный год 1952/53. Сталин еще жив, и именно об этом времени потом будут спорить: готовились ли вагоны и новые лагеря под евреев или это легенда. А учительница — Элга Абрамовна — могла бы со страху не удержаться и наговорить такого, чего потом ни за какие коврижки вспоминать не захочется. С другой стороны, я на память не жалуюсь, но иных подробностей пионерской жизни не помню ну просто совсем, словно их не было. А ведь по биографии я — член совета отряда, председатель совета дружины, и вот на тебе — не помню и все. Вот как стояли в почетном карауле у бюста Сталина 5 марта 1953 года помню, как нам показалось, что Володя Симонов улыбается, и мы его повели в гардероб — бить. Но он как-то оправдался, то ли зуб у него болел, то ли у бабушки был инсульт и ее перекосило, а он про это вспомнил, словом, бить мы его не стали, но этот позыв патриотизма помню. «Артек» помню годом раньше, но тоже с позиций, скорее, полового, чем идеологического воспитания: я из мужского монастыря попал в единственный в тот

год в «Артеке» смешанный лагерь, хотя бы в пределах разных отрядов, но смешанный — мальчики и девочки вместе. Даже некоторых ребят, у которых был вожатым помню, встречался потом в жизни, а чтоб что-то я им идеологическое толкал — не помню, хоть убейте.

Приходится сделать вывод, что, существуя сами в пределах идеологических шор, на нас эти шоры учителя без надобности не надевали. А ведь может быть — и я тоже такое допускаю, — что я в каких-то обстоятельствах вел себя как Элга Абрамовна на педсовете, но из памяти это как-то само собой улетучилось, стерлось, вытравилось за ненадобностью. Но едва ли — помню, как резануло меня тогда письмо отца 1952 года, как он едет мимо строящегося университета и как ему приятно сознавать, что и университет будет построен, и сознательная молодежь будет в нем учиться, и среди этих сознательных буду и я — его сын. Уж что меня резануло: откровенное резонерство, казенное безразличие к адресату или идеологическая выдержанность этого послания — этого не скажу, но резануло. И не потом, когда после смерти отца в 80-м я писал о нем воспоминания для книги, а именно тогда, иначе при работе над «Тремя днями в июне» — так они назывались — я бы об этом не вспомнил. Откровенного антисемитизма в школе тоже не было, хотя он был в воздухе, но шел сверху, и до нас — тогда маленьких — доходил редко.

Нелепость некоторых ритуалов бросалась в глаза, но как-то не вызывала протеста — принимали как должное. Ну, скажем, дежурство пионеров на избирательных участках, где нам вменялось следить, чтоб вместе с избирательным бюллетенем бабушки не опускали в урну свои паспорта. Мы уже слегка выпивали, не столько по потребности, сколько для укрепления собственной независимости, и помню реплику кого-то из одноклассников после учительской проверки постов: «А я все уклоняюсь, чтоб на него портвейном не дыхнуть». А всего ярче идиотизм этот выявлялся не на избирательных участках, а на агитпунктах. Если кто помнит, это были два разных этапа избирательных компаний. Наш, подшефный школе, агитпункт помещался в сумасшедшем доме на Матросской Тишине, где для того, чтобы попасть в зал (это, видимо, был зал их медицинских летучек), нужно было пройти через палату выздоравливающих алкоголиков. В агитпункте обычно собирались те, кому кроме наших агитконцертов податься было совсем некуда: бабушки, внуки, амбулаторные больные. А я незадолго до выборов победил на каком-то конкурсе самодеятельности с мелодекламацией «Песни о Буревестнике». Музыкальное сопровождение — у рояля старшая сестра моего одноклассника, хотя он был по фамилии

Колесников, а она по национальности армянка. Как там у них в семье сраслось я уже и забыл, если даже и знал. Сцена в зале была такая маленькая, что инструмент на ней не умещался, он стоял внизу, а над ним буревестником реял я. Сестра была уже пожилая — лет за двадцать, и когда сидела за роялем выглядела очень миловидно. Вообще, помню, ее портили кривые ноги, но сейчас они были запрятаны под рояль, а ко мне обращено лицо восточной красавицы, окутанное темным каскадом волос. За время репетиций и в ходе смотра взаимодействие стихов и музыки было отработано, и каких-то накладок не предвиделось. Ну, начали…

я: Над седой равниной моря ветер тучи собирает…

она: Та-та-та-там! Та-та-та-тамм! — гудит эхо педалей.

я: То крылом волны касаясь, то стрелой взлетая к тучам…

она: Та-да-да-да! Там-тара-рам! — на лице ее появляется налет легкой нервозности.

я: В этом крике жажда бури…

Соответствующее та-та-тамм — звучит как-то неуверенно, а на лице — вид сверху — единственном, что доступно моему взгляду, — помесь смущения и паники, словно ей срочно нужно пи-пи, но она стесняется в этом признаться.

я: И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно…

Тут она с визгом вскакивает со своего крутящегося стула и лезет под рояль. А оттуда восходит расплывающаяся счастьем рожа пациента психиатрической больницы, который, оказывается, со всей доступной ему нежностью, ласкал ее для кого-то кривоватые, а для него — дар небесный — конечности.

Немузыкальная пауза. Буревестник недолетел.

Так мы агитировали на выборах в Верховный Совет.

Мои идеологические расхождения со школой начались уже в комсомоле, — это, считай, 55-й-56-й, девятый и десятый классы. Я перетек в комсомол из пионерии так плавно, что даже не помню ни кто меня рекомендовал, ни когда это было. Помню только первый визит в райком, помещавшийся на Красносельской между двумя станциями метро, ближе к Сокольникам. Помню странное сочетание внутренней напряженности и внешней, ритуальной скуки происходящего.

Школьный комсомол был неотъемлемой частью учебного процесса. А мне с позиций вполне ортодоксального юношеского максимализма казалось, что комсомол — это способ и средство

преобразовать мир. Не может школьный принцип, пусть даже от святых слов Ленина идущий, «Учиться, учиться и учиться» определять нравственное содержание, даже учебы. Тогда я, наверное, формулировал это иначе, но начались мои шатания ровно с этого места. Вот как это было.

В кабинете биологии, 5-й «А» — в класс «Б» меня еще не перевели.

Когда Таптыков набирал учителей, а делал он это, как вы помните, очень толково, одним из критериев был и такой: если у учителя дети соответствовали по возрасту и полу, он брал их в школу семьями. Это, очевидно, был еще один дополнительный способ заманить в новую школу хорошего учителя. Так завучем нашим с первого же года стал Николай Игнатьевич Ермишкин. Двое его сыновей — Роман и Егор — учились один в моем классе, другой — годом старше. Так же, как Валя Гугин, как сын нашей первой училки по русскому и литературе Завадской. И ее фамилия в наших школьных святцах повторялась и в графе учитель, и в графе ученик.

Завучем Николай Игнатьевич был замечательным: при всей внешней строгости он был душа-человек, он не спешил в конфликтах стать на сторону учителя, помогал ученику разобраться в своих чувствах, амбициях и даже фобиях, и о чем вообще говорить — вел себя как отец твоих ровесников: мудро,

доброжелательно, а главное, вовлеченно, не отгораживаясь от тебя разницей в опыте и возрасте. За все годы его работы завучем не припомню случая, чтобы кто-то вышел из его кабинета непонятым или униженным. Словом, классный был мужик. Что он преподавал, вот этого, убей бог, вспомнить не могу, видимо, не это было его сильной стороной. А может быть, он нам и ничего не преподавал — младших учил — так тоже может быть.

И вот уходит Таптыков, и директором школы и по логике, и по справедливости назначают Ермишкина. И появляется совершенно другой человек, на бывшего завуча похожий только внешне. Перемена была такая разительная, что не заметить ее могли только школьные воробьи — они кормились все теми же крошками из школьного буфета. Никогда до этого, да и потом в такой чистой, законченной форме не видел я закон некомпетентности Паркинсона. Сменились приоритеты: до — он ощущал ответственность за учеников перед директором, после — за школу перед высшим неведомым нам начальством. Покосился центр тяжести, как если бы вздыбленного фальконетовского коня уронили на четыре рабочие ноги — все стало не так, коряво, нелепо, неудобно. Его человеческое достоинство перестало охранять его, а стало абстрактным достоинством представляемой им власти. Там, где были уверенность в себе и в своих суждениях, возникла оглядка на идеологически верное, абстрактное понимание «правильного и неправильного». Вместо душевности — сухость. И — самое для меня непереносимое в том возрасте: «Вам этого не понять в ваши юные годы». Не прошло и полгода, как мы схлестнулись. Повод был на вид смешной и нелепый, но в нравственных координатах «наших юных годов», пожалуй, страшноватый.

Сашка Донской не был близким другом, скорее, школьным приятелем. Я был знаком и с Марком Семенович, его звездным, киношным папой, и с мамой — Ириной Борисовной — замечательно свойской теткой, умевшей сдерживать протуберанцы своих бушующих мужчин. Донские — мужчины — были людьми нервными на грани срыва, непредсказуемыми, с романтическими представлениями о бытии. И вот Сашка дозрел до комсомола, и это было для него и поступком, и событием. Рекомендацию ему, как водилось, дал директор школы, член партии, и, придя на заседание комитета комсомола, проходившее в директорском кабинете, Сашка, как ему и положено, волновался, но в будущее смотрел с оптимизмом, не ожидая от него удара или подвоха. И вдруг, прямо на заседании комитета, Николай Игнатьевич заявляет, что не далее как позавчера Донской получил по какому-то предмету тройку, и в этих

условиях он, директор, отзывает свою рекомендацию. Обсуждать, как вы понимаете, стало нечего, и, отпустив совершенно опущенного Донского, комитет перешел к следующему вопросу. В этой ситуации было что-то беспомощно-оскорбительное, что, я понять сразу не мог и, весь в мрачных раздумьях о причинах собственного бессилия, отправился домой.

Ближе к вечеру позвонила тетя Ира: Саша пришел домой оскорбленный и опозоренный. Он бушевал: орал, что больше никогда не пойдет в школу, где его теперь никто не уважает, где его будут дразнить и вытирать об него ноги, где все предатели, пытался заколоться обеденной вилкой и наконец под влиянием материнских уговоров и успокаивающих лекарств забылся сном в полном раздрае чувств. Тетя Ира просила меня приехать, чтобы помочь хоть как-то вывести его из этого ступора, когда он проснется. И я поехал.

Пока я добирался со своей Зубовской площади до Кутузовского, где они жили, у меня в мозгах наступило некоторое просветление: почему, думал я, на заседаниях школьного комитета комсомола должен непременно присутствовать директор, почему вообще эти заседания проходят в его кабинете и что это за непререкаемые директорские рекомендации, которые можно дать и забрать обратно с оскорбительной легкостью в зависимости от малосущественного мотива, каким является успеваемость. Словом, Донского-младшего мы кое-как утешили, в том числе и с помощью моего клятвенного обещания дать ему свою рекомендацию и на одном из ближайших заседаний комитета принять в ряды.

Рекомендацию я ему дал, заседания мы стали проводить в кабинете химии, где командовала наша классная руководительница Капитолина Никаноровна и где ее правой рукой, имевшей свои ключи от ее кабинета, был мой одноклассник, будущий доктор химических наук, Мишка Грачев. А с Игнатьичем у нас с той поры началась нешуточная война за самостоятельность комсомола, особо обострившаяся после того, как он схлопотал крупный выговор за притупление бдительности.

В качестве очередных гостей к нам в школу приехали корреспонденты американского журнала «Лук», пишущий и снимающий. Причем в соответствии с ходившей потом по школе шпионской версией — пишущий был на самом деле редактором этого журнала, Но, маскируясь, выдавал себя за простого корреспондента.

Выбирать учителей, как это умел делать незабвенный замгенсекмежфедуч Таптыков, у Ермишкина, видимо, не получалось, и военное дело вел у нас туповатый майор в

отставке, молодцеватый солдафон, обожавший водить нас строем. Вспомним, что это год примерно пятьдесят пятый, в школе повсеместно введена военизированная мышиная форма с высоким стоячим воротничком и без карманов, что мы, как ни верти военное поколение, и эти занятия в принципе нас, скорее, развлекают, чем злят и, наконец, карабинов у школы полный комплект, и, рассверленные, они снаружи имеют вполне воинственный вид. Майор раз в неделю гонял нас по системе «К но-ге! На-пле-чо! Шагом марш!», и в тот злополучный день у нас как раз были строевые занятия. Пока мы это делали в школьном саду, никакие тревожные мысли нас не посещали, но когда он вознамерился строем вести нас в школу, в наших, еще не строевых, мозгах что-то забрезжило, и мы довольно мирно попытались объяснить ему, что в школе… в общем… гости. При слове «гости» майор втянул живот, выпятил грудь и заорал: «Стройся!» Мы построились в колонну по одному, взяли карабины «На-пле-чо!» и радующим глаз майора маршем, стараясь печатать шаг, вышли из-за школы прямо в объектив луковского фотокора. Камера его работала с непривычным нашим фотоаппаратам стрекочуще длинным звуком, словно пулемет. Звук этот помню до сих пор. Не вру. Видимо, и потому, что спустя какое-то время в журнале «Лук» была напечатана статья о нашей школе с фотографией нашего класса «Б», где особенно отчетливо был виден правофланговый, мой однофамилец — Вова Симонов с карабином на плече, а подпись под этим художеством гласила: «Вот, что скрывается за улыбками советских руководителей и за их изъявлением дружеских чувств к американскому народу». Жертвами холодной войны были назначены майор — он с тех пор в нашей школе не появлялся — и директор, как ответственный за все.

Может быть, я к Николаю Игнатьевичу несправедлив, и перемены в его характере объясняются еще и тем, что у него наверху не было той крыши, которая охраняла его предшественника, а это заметно меняет отношение к делу, особенно если ты этим делом дорожишь.

Ведь и я лет двадцать спустя испытал отвратительно сладкое чувство отмщенности, когда прочел, что журнал «Лук» прекратил свое существование, съеденный другими акулами пера на рынке иллюстрированных журналов.

Потом наступил период, когда Ермишкин в беседах со мной с глазу на глаз стал приводить мне в пример нашего школьного родственника, Георгия Максимилиановича Маленкова, который, не справившись с обязанностями Председателя Совета Министров, осознал это и сам подал в отставку. Ну, на это я,

будучи типично советским юношей, пошел в райком партии и не помню уже кому из инструкторов всерьез пожаловался, что директор пытается заставить меня отказаться от комсомольского секретарства с помощью странных, и уж никак мне не доступных по масштабу идеологических примеров. В общем я тоже был — не сахар. Однако воевание мое с директором мне авторитета набавляло, а ему ну совсем было не в масть. И решил Николай Игнатьевич опрокинуть мои бастионы одним административным ударом.

Как-то на утренней линейке, было это в самом начале выпускного уже класса, встал Николай Игнатьевич в грозную позу и гневно-осуждающе объявил, что этот наш комсомольский вождь, который с таким жаром отстаивает самостоятельность и независимость комсомола, как ему, Ермишкину стало известно только вчера, оказывается… курит. И он, директор, так этим возмущен, что требует его (т.е. моего) наказания, которое пусть уж классное собрание определит, а он его (т.е. меня) пока что из школы исключает.

Курили в школе многие. Я к тому времени курил уже года два, из которых полгода — дома, при матери. Маме надоело выгребать табак из форменных моих брюк, да и сама она курила всю жизнь, и сказала мне мама мудро и просто: «Если куришь — кури дома, нечего по углам прятаться». И серовато-розовые пачки «Дуката» с дымящейся голубой сигаретой на обложке перестали быть неловким секретом, а стали привычным удовольствием. Я, кстати, и по сей день курю. Правда, не «Дукат» — его уже лет сорок пять как не выпускают, но курю, а первую любовь — по десять штук в пачке за семь копеек — вспоминаю с нежностью.

Уходил я с линейки с демонстративно поникшими плечами, дескать, принял как должное, под завистливые взгляды таких же грешников, как я. Вышел из школы, расправил плечи, солнышко грело, хорошо! — и пошел… в кино. Через неделю такой лафы в школу меня вернули — ну нельзя же допустить, чтобы идущий на медаль ученик столько времени без дела дурью маялся. Указание о наказании поступило, видимо, сверху, а собрание было — замечательное надо сказать собрание, доказывающее, что в команду нас учителя все-таки сбили, соединили, хотя команды у нас с ними в итоге оказались разные. Ребята-одноклассники, даже те, кто и вида сигареты гнушался, все как один каялись, что и он раз попробовал, а он летом в деревне с деревенскими, а я у папы папиросы воровал, а я … ну и так поголовно, сделав из судилища посмешище. И все бы хорошо, и вспомнить приятно, но сам я себе на том собрании не понравился: со лживым смирением повторял, что больше никогда… и порвал пачку «Дуката», вынутую из

форменных штанов. В форменной тужурке, как я уже говорил, карманов не было, а за театральный жест стыдно по сию пору, да и пачку «Дуката» жалко, тем более что, выйдя на улицу, не сразу нашел у кого бы стрельнуть закурить.

Ну что, пора бы и закрыть за собой двери школы, но забыл чуть ли не самое главное: школа-то до 55 года была мужская, а когда школы стали сливать с женскими, у нас в 9-м классе (*я тогда перешел в 10-й. — А. С.*) появилась первая девочка, и все ходили смотреть на нее как на чудо. Для восьмых классов девочек уже нашли не то три, не то четыре, а потом — после моего выпуска — это стало привычным. Эта важная тема остается незатронутой, а она существовала, да еще в классической упаковке «мужской» школы, и обозначим мы ее возвышенно: «О воспитании чувств».

В седьмом классе у нас начались уроки танцев, и поскольку время однополых школ уходило, танцевать нас учили не «шерочка с машерочкой», а пригласив для этого ближайшую «женскую» школу. И учил нас танцам настоящий стиляга, в брюках дудочках, с коком, в светло-желтом пиджаке в серую клетку на набивных плечах. Было этому чуду лет от силы двадцать два, двадцать три, звали чудо Лев Николаевич, как Толстого, а фамилия у него была Литвак. Я потом много лет прожил с этим солистом характерных танцев из балета Театра Станиславского и Немировича-Данченко теоретически в соседних, а практически в одном доме — мой адрес: Аэропортовская, 4, его — 4 а. Дом стоял вдоль улицы уступом, и это были первые два кооператива во впоследствии разросшемся в районе Аэропорта кооперативном поселке. Первый — писательский, второй — их театра. Ростика он был незначительного и в соответствии с обликом носил туфли на толстой белой подошве, по тогдашнему — на манной каше.

Сейчас одно название танцев, которым нас тогда учили, вызывает смех: па-де-грасс, па-де-патенер, па д'эспань, и вспомнить, чем один из них отличался от другого, боюсь, даже Литвак бы не смог.

Стайка барышень, составленная из двух параллельных классов — все в школьной коричневой форме с белыми передниками, — оживленной, но слегка пугливой нахальностью напоминавших синичек, заполняла наш актовый зал, в котором стулья по этому случаю были расставлены вдоль стен. Привели их, как водится, две дуэньи, пожилые и мрачно озирающиеся училки. Видимо, легенды о пороках, царящих в нашей элитной школе, девочек, скорее, привлекали, а их училок сильно напрягали.

Со стуком приставляя ножку и зажато подергивая головой, что означало поклон, мы стали разбиваться на пары. Трепета не помню, но руки были отчего-то влажные.

Уже уроков через несколько мы стали с танцевальных поскакалок этих выходить не строем, а разбиваясь на группы. В нашей компании оказались три девочки, наши ровесницы: Мила, обладательница двух толстых кос, прелестная Соня, словно прорисованная штрихами туши на алебастрово-белой бумаге, застенчивая от скрываемой близорукости, и Оля — самая незажатая, курносая, очаровательный лидер и очень хорошо танцевавшая. От общей заорганизованности быстро возникли постоянные пары. А у нас — в этой микрокомпании — появилась минимальная свобода выбора. Но все испортил Литвак. Он быстро сориентировался и показывать очередное па брал всегда Ольгу, танцевавшую лучше остальных. Пока учили бальные танцы, где контакт между партнерами сведен к минимуму, это еще можно было стерпеть, хотя, согласитесь, нет большего позора, чем остаться в публичном одиночестве, когда вся вселенная разбита на пары. А ты не просто одинок: с твоей парой отплясывает этот козел. Но уж когда стали осваивать вальс, а его «раз-два-три» с рукой, лежащей у партнерши на талии, заставляли деревенеть не только меня, я с неприятной регулярностью оказывался у стенки, пока Литвак кружился с «моей» Олей.

Наши девочки — партнерши по танцам. Слева в верхнем ряду: вторая — Мила, третья — Соня, а пятая — та самая Оля

Надо было срочно освоить вальс, требовалась свобода и непосредственность, которые, как тогда казалось, приходят от регулярного повторения. И я стал репетировать дома.

В нашей с мамой комнате на Зубовской в эти годы регулярно жили или останавливались на время солагерницы моей тетки, начавшие постепенно освобождаться из Воркуты с «Кирпичного завода». В описываемый момент — а это не то осень пятьдесят четвертого, не то ранняя весна пятьдесят пятого, в гостевом

отсеке нашей, разделенной занавесками, но все-таки просторной, комнаты временно жила Света Корытная. Эксплуатировал я ее нещадно. Сразу после подъема, накинув халат, Света крутила со мной эти «раз-два-три» охотно и неутомимо, пока мама варила нам кашу на завтрак. Я уже рассказал в своих заметках об этих удивительных женщинах, время от времени населявших нашу квартиру, и о Свете — отдельно, ее судьба стала частью судьбы нашей семьи, так что вернусь в школу.

Хоть я и крутил вальс только по часовой стрелке, но делал это вполне прилично, и когда проклятый Литвак в очередной раз оккупировал мою партнершу, я пошел в разгул от ревности и бессилия: стал приглашать всех свободных дам одну за другой.

На мое разнузданное поведение мегеры сопровождения отреагировали быстро и неприязненно: девочки донесли, что одна из них пыталась запретить своим барышням принимать мое приглашение: «Вы там смотрите, это ж Симонов. У него папа — писатель. В их кругах так водится — богема, свободная любовь и так далее». Именно ревность вызвала во мне тайное, но плохо умещающееся в организме, чувство собственности, и я начал выяснять с Олей отношения через Милу и Соню. Это не мешало нам всем вместе встречаться, гулять по Сокольникам, провожать девочек домой, словом, дружить — так это называлось, да так оно и было до конца десятого класса. А где-то в его середине я написал свое первое стихотворение, оно, конечно, было посвящено Оле, хотя именовалась она там ангелом. Мама моя, с которой я и тогда, и потом делился самым сокровенным, пришла от моей поэзии в ужас, но не подала вида и стала по вечерам закидывать в мою потрясающую тогда память на стихи совсем другого качества поэзию.

А первый роман был у меня в то же самое время, но совсем с другой девочкой, к школе никакого отношения не имевшей, с ней я первый раз и поцеловался, и пообжимался, и больше ничего не было. Все остальное было после, после школы, после «броска» на полюс холода, после того, как я по крайней мере в собственных глазах стал взрослым.

И даже то, что на выпускном сочинении я гладил бедро нашей школьной медсестры Тони, у которой в кармане халата теоретически помещались необходимые в этот момент шпаргалки,— было просто предвестьем. Шпаргалки мне были не нужны, а вот залезть в карман и пошарить — это нравилось Тоне, нравилось мне, но это было уже предчувствие другого времени.

Мама, папа и дядька Луговской

Луговской и Симонов — пока еще Кирилл, 1936 г.

«Итак, начинается песня о ветре» — острый мыс шевелюры над мохнатой чайкой бровей, словно их обладатель долго шел

навстречу ветру, сразу встает перед глазами, и песня эта — о нем.

Я не могу помнить его довоенного — слишком мал, но он считался моим крестным: есть семейное предание о родильном доме, бродящем под его окнами Луговском и Будде, помогающем при родах, коего он совал матери в окно.

Я не бывал у него дома. Точнее, в его доме я бывал часто, но после, потом, когда его присутствие было уже не реальностью, а тщательно оберегаемым ритуалом. И помню его в его доме только как заметное, подчеркнутое отсутствие, с 6 июня 1958 года — первой и с той поры ежегодно отмечаемой годовщины его смерти, культивируемое его вдовой Майей, — шумное, трогающее, а в чем-то неловкое, неразборчивое в приглашениях.

Самое живое из личных воспоминаний — довольно рискованное и требует некоторой архитектурной преамбулы.

С той поры как я пошел в 1-ю школу, мы жили с мамой, на Зубовской площади, во дворе, в двухэтажном флигеле, который ныне исчез и на этом месте красуется имперский утюг, построенный вроде бы для МЕНАТЕПа, а потом заселенный Счетной палатой — его видно прямо с порога моей нынешней работы. Флигель этот, по семейным хроникам, был выстроен на скорую руку из материалов, уворованных со строящегося рядом шестиэтажного здания, и в период НЭПа продан поквартирно тем, кто в то время мог себе позволить купить жилье. Одним из этих — тех — был мой дед, который купил эту квартиру то ли для дочек, то ли для себя, но пожить в ней не успел, ибо НЭП кончился, а нэпманов полагалось уплотнять и ссылать. И то, и другое с дедом было проделано, и в результате в сорок девятом году, когда я уже себя хорошо помню, нам с мамой в этой квартире принадлежала одна комната из трех.

Построенный наспех, дом имел одну поразительную особенность: несущая конструкция в нем просела, но ни одна паркетина при этом не вылетела. И очень элегантная, в два света, угловая, чуть не тридцатиметровая наша комната имела разницу уровней сантиметров в пятьдесят. За дверью, над самой просевшей балкой находились прихожая и кухня, а в противоположную сторону — к ванной и уборной опять шел подъем, да крутой, круче, чем в комнате: к сортиру на вершине надо было взбираться на семидесятисантиметровую высоту.

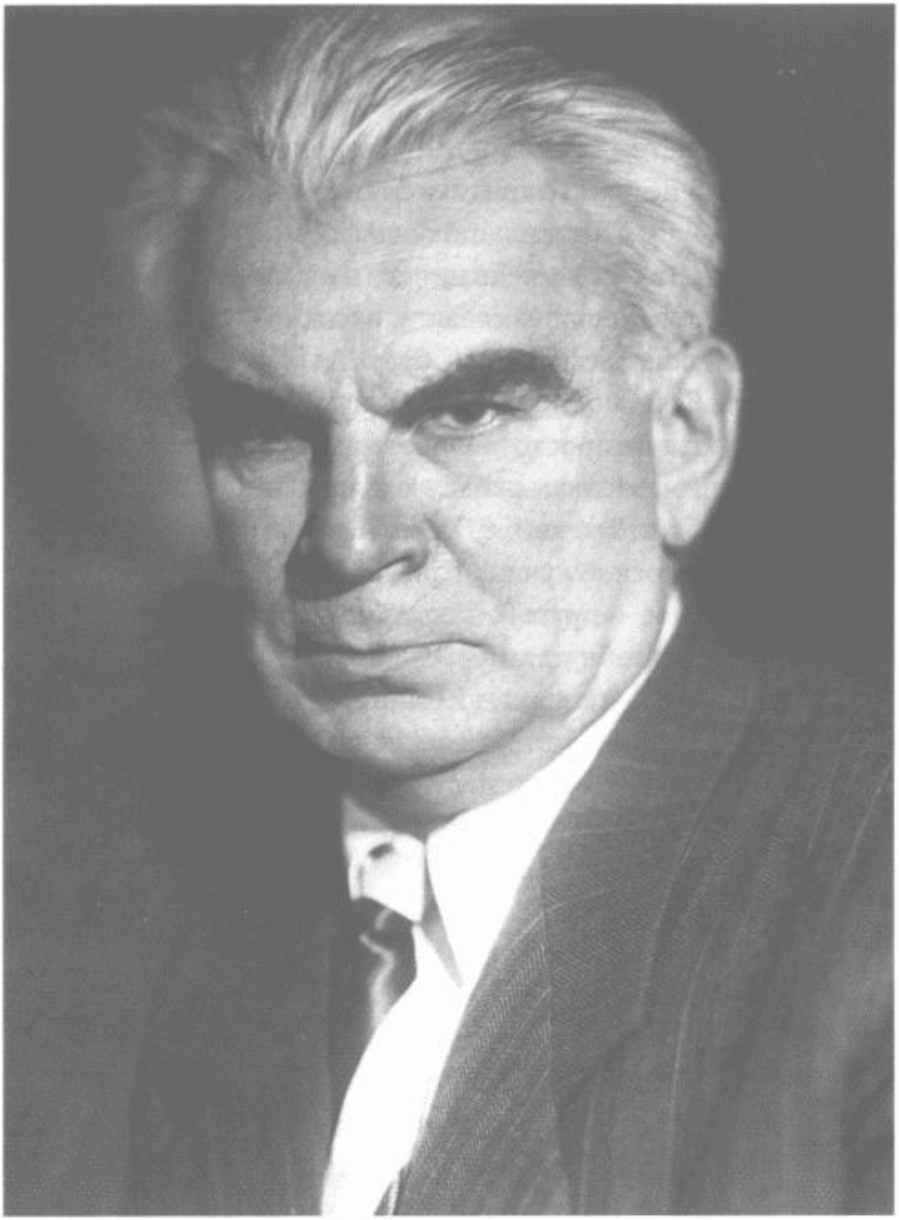
В этой комнате с кривым полом, разделенной на три части шкафом, двумя книжными полками и соединявшими их алюминиевыми трубками, где на толстых кольцах легко передвигались тяжелые грязно-вишевые гардины, я и помню Луговского.

Мать посылала меня сопровождать дядьку — так в нашем

семейном обиходе звался Луговской — когда он, а бывало это с ним нередко, приходил в гости и принимал лишнего. С беспомощной свирепостью, опираясь на мое плечо, он одолевал подъем к сортиру, предусмотрительно превратив это в игру: — Ну, Алексей, пошли на штурм, — говорил дядька, и я пер его в эту гору, ощущая себя деятельным и полезным членом общества. Помнится, на спуске, отказавшись от моей поддержки, он как-то раз ссыпался к нашей двери.

Был ли у них с мамой роман? Скорее всего, был, хотя доподлинно я этого не знаю, мать в отношении своих личных дел была и в старости неболтлива. Дядькина вдова — Майя тоже считала, что был, но затруднялась определить, когда. А я, глядя назад с взрослых мужских вершин, должен сказать, что у Луговского должен был быть роман со всякой женщиной, на которую он обращал внимание, потому что самым красивым из всех, кого я видел и слышал, был именно Луговской. Сочетание мощи и нежности, которую в нем я и тогда ощущал, было такое, что ни одна женщина, как мне кажется, устоять перед ним не могла. Я ведь не случайно говорю «слышал» — в каждом стихе Луговского я и по сей час выделяю его могучие бархатные модуляции, иногда неожиданно высокие, но исполненные звуком, как волна наполнена грозной, мощной силой воды. Все сонорные, взрывные, резонирующие, эхообразующие были его: «слагая стихи по следам Улагая, по-чешски чешет, по-польски плачет, казачьим свистом по степи скачет» — все это летело, скакало, свистело и в обычной, прозаически приглушенной его речи.

Словом, если попытаться определить чем для нашего дома много лет был Луговской, я бы рискнул сказать, что он был как старинный замок на холме, видимый воочию из окна московской городской квартиры. Абсолютно нереально и столь же, до невозможности вещественно.



Дядька Луговской, каким я его помню, 1955 г.

Когда-то в материнском архиве я обнаружил два письма к ней Луговского и два письма ему. Чтобы не повторять эту историю, приведу ее такой, как записал в 92-м, вскоре после смерти мамы.

Первое письменное подтверждение дружбы с Луговским, обнаруженное в архиве, тоже относится к войне. Вот оно — лежит в маленьком самодельном конверте с печатью военной цензуры. И если б там были не два письма вместе, которые я сейчас приведу, то каждое в отдельности я наверняка счел бы за любовное.

Письмо матери от 28.08.1943 из Москвы в Ташкент (видимо, отправлено сразу после возвращения семьи из эвакуации, во время одной из командировок в Москву из Челябинска, где мать тогда служила в Наркомтяжпроме):

> «Мой милый, хороший, большой старый кот! Желание написать тебе преследует меня вот уже два года. Когда я уезжала из Москвы, я взяла с собой только одну фотографию: твоя голова на фоне горы. Любопытным знакомым я объяснила, что куда бы я ни попала, пусть будет только стенка, на которую можно повесить это фото, и все вокруг станет красивым. А когда красиво, тогда все легче. Снова я в Москве, и уже на московской стенке твоя фотография, только другая. Ты стоишь, прислонившись к дому, сложив руки.
>
> Ой, как хочется тебя видеть! Володенька, ни одного человека мне не хочется видеть так, как тебя. Я бы усадила тебя на диван, обложила подушками и душу бы всю тебе выложила. На бумагу ведь ничего не выложишь. Важно не то, что все сможешь рассказать, а важно твое лицо видеть в то время, как рассказывать буду. Ты обязательно должен приехать. Если люди так бывают нужны — они всегда приезжают. А тут не просто люди: это же твои друзья, друзьям нельзя ни в чем отказывать. Не знаю, какие соображения держат тебя в Ташкенте, но как бы ни было там хорошо, ведь в Москве лучше. Приезжай, Володя, в Москве — слово-то какое — другого такого не придумаешь.
>
> Может быть, тебе для переезда сюда что-нибудь нужно здесь сделать — ты напиши. Напиши вообще, как только получишь это письмо. Или телеграмму отправь, что, мол, ждите, приеду, люблю, целую, а мы в ответ: ждем, приезжай, любим, целуем. Ну смотри, обязательно приезжай, очень люблю и очень целую,
>
> *Женя Ласкина».*

Из второго письма, чтоб не повторяться — только отрывок. Написано оно средней из сестер Ласкиных — Сонечкой:

> «…Я боюсь, что вся эта страничка так наполнится чувствами, что никакой почтовый вагон не довезет ее к Вам, но, рискуя всем на свете, продолжаю повторять — милый, хороший дядя Володя, мохнатобровый, седой, даже, может быть, немножко крашеный, приезжайте в Москву, к нам. Что хотите — все будет, даже можем

> выйти за Вас замуж и создать семейный очаг, уют, комфорт, свой огород и литерное питание (что еще можно требовать?). Хочу, чтоб рассказали мне про серого зайца (помните… Ну-у?..), чтобы взобраться с ногами на диван, тянуть хоть какое-нибудь вино и говорить, говорить, и чтобы ночь напролет, и чтобы гениальный Ваш бред, и чтобы „тегуан-тепек“…»[17]

Что они обе, сбрендили, что ли? Два года человеку не писали, и тут — на тебе. И ни слова про себя и ни слова про войну… Отгадка лежит в совсем другом месте. В повести отца «Двадцать дней без войны», написанной много лет спустя — под именем Вячеслава изображен ташкентский Луговской — трагический и беспомощный, бессильный преодолеть ужас первых дней войны и первой разбомбленной поездки на фронт — таким отец его увидел в войну. И узнавшие о его бедах сестрички Ласкины, только что появившиеся в Москве из эвакуации, живущие в маленькой квартире ввосьмером, — выдают старому другу скорую помощь, выдают как понимают, как умеют: любовью, памятью, готовностью подставить плечо под чужую беду.

Это свойство матери — не колеблясь брать на себя чужую боль, вплоть до потери страха, чувства самосохранения,— оно бестрепетно до неловкости.

Как мужчина подтверждаю: если женщина так тебя понимает, невольно подумаешь, что у вас роман.

Каким образом в архиве оказались их письма дядьке — сказать затрудняюсь, но, скорее всего, их обнаружила и передала маме Майя. Не знаю, в дружбе Елены Леонидовны Быковой, она же Майя Луговская, с моей мамой было что-то от строчки Маяковского «любящие Маяковского — да это ж династия». Быть нежно любимым такими фантастически разными женщинами, свести их, подружить и не стать после смерти артиллерийским полигоном для испытания этой дружбы на разрыв — это, согласитесь, высокий класс и для мужчины, и тем более для поэта. Мне доводилось видеть как дружат между собой нынешние и бывшие жены поэтов. Но вдова у поэта всегда одна и обычно жестко охраняет эту свою печальную единственность.

Так вот мама у Майи была настолько вне подозрений, что если б Майе тогда вдруг пришло бы в голову писать завещание — вдовой Луговского она с удовольствием назначила бы мать.

Помимо всего прочего, незадолго до смерти Луговской, буквально как бульдозер-тяжеловес, проторил для мамы дорожку назад, в литературную жизнь. Уволенная из Радиокомитета по

пятому пункту в 1950-м, мать шесть лет перебивалась более или менее случайными литературными заработками. И вот, когда в 56-м возник журнал «Москва», свое членство в редколлегии Луговской обусловил одним: взять мать заведовать отделом поэзии. И ее взяли, и этот протекционизм явно пошел на благо поэзии: до самого 68-го, когда с приходом в журнал главного редактора Михаила Алексеева матери сперва скрутили руки, а потом и шею.

Отношение матери к Луговскому было как к заповедному принцу из полузабытой сказки: трепетно восторженное, и не менялось никогда. А вот отношение к нему отца менялось и кардинально, и драматически, а, главное — никогда, кроме, наверное, недоступной моей памяти юности родителей, не было однозначным. Но об этом он сам написал и в воспоминаниях, и в «20 днях без войны».

В юности отец был в Луговского влюблен, что меня не удивляет; есть много воспоминаний соучеников отца по Литинституту: Алигер, Долматовского, Матусовского, об этом свидетельствующих. Он для них был похож на свои стихи, он был старше их поколением, хотя совсем не намного — возрастом. Зато эти годы впитали в себя ветер Гражданской, пыльные бури войны с басмачами, подкреплялись безмерным обаянием учителя и большой коллекцией холодного оружия в его квартире в Лаврушенском переулке, аккурат наискосок от Третьяковской галереи. В довоенных, но войне посвященных стихах отца звучат интонации Луговского.

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда,
Завяжут наше поколенье
В железный узел. Навсегда.

В. А. Луговской и тот же Симонов, но уже Костя, 1939 г.

Так они думали. Так писали. И после этого, в сорок первом, вдруг узнать, что сорокалетний Луговской не на фронте, где его ровесники Сурков, Славин и другие, а в Ташкенте, в глубоком тылу. Это было не просто разочарование. Если б не ежедневная война, это могло быть и должно было быть воспринято как жизненная катастрофа. Но воспринималось как частная драма, о причинах которой каждый судил по мере своей былой увлеченности, по глубине своего нынешнего разочарования и по

возможностям отпущенного на эти переживания времени. У отца ведь уже и после войны писано: «И все же разделим порой друзей на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой». И это, безусловно, и о Луговском. Трудно было поверить, что написанные в июне 41-го стихи «Из дневника»: «Да, война не такая, какой мы писали ее,— / Это горькая штука», могут быть не просто констатацией факта истории, а переменой жизненных ориентиров, не только твоей драмой, но и чьей-то необоримой трагедией. Понять это было в войну трудно, принять невозможно. И долго потом он не мог, не принимал эту «измену» Луговского: сначала — юности, потом — ученикам, потом — самому себе. В 1961 году написал замечательные воспоминания о Луговском-учителе. И ни слова в них о Великой Отечественной. Ни единого слова.

И надо было пройти еще десятилетию, чтобы, одолев свое личное разочарование, личную обиду, отец смог прийти к объективному, писательскому, пониманию происшедшей с Луговским драмы. Как уже было сказано в «Двадцати днях без войны» под именем Вячеслав, написан Луговской 1943 года. Я не стану пересказывать эту прекрасную прозу, ставшую к тому же основой для замечательного фильма Алексея Германа, в котором эту роль играет превосходный актер Николай Гринько, я только о том, что, как только повесть была написана, отцу потребовалось проверить: не соврал ли он в этом измененном мудростью и временем, новом взгляде на Луговского, все ли понял, так ли объяснил. И он пригласил к себе Майю Луговскую, женщину, сделавшую для посмертной славы Луговского неправдоподобно много. И дал ей рукопись.

И вот диспозиция: Майя читает в детской (девочки, сестры мои, где-то на выезде), отец меряет шагами кабинет, небывало нервничает. Я в это время по-соседски захожу в квартиру, где обитатели непривычно ходят на цыпочках, и отец как-то растерянно кивает на закрытую дверь детской:

— Читает,

— Кто? — спрашиваю я,

— Вдова Луговского.

Я понимаю, что лишний, и быстренько откланиваюсь.

Вот, что читала тем временем Майя:

> «Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И все издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем внешнем правдоподобии

были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, чего хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.

Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в Гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам, и считался старым другом пограничников, и <…> выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война, — уж кто-кто, а он на нее — первым!

И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте.

Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони. Но другим как-то забыли это, спустили — кому раньше, кому позже. А ему — нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло…»

А потом, часа через два зашла к нам с мамой Майя, рассказала, что позвонил вчера Симонов, просил приехать, что, «прежде чем напечатать, хочу узнать Ваше мнение», что вышла она из комнаты зареванная, сказала только: «Спасибо, Костя, все — правда» — и пришла к матери, перевести дух.

— Она все поняла, — сказал о Майином визите отец, — а мне на это понадобилось четверть века.

Памяти Бориса Горбатова

Борис Горбатов. Здесь ему 17 лет

Борис Горбатов был хорошим советским писателем, о чем почти забыли, и очень хорошим человеком, о чем помнят все,

кому так или иначе довелось прикоснуться к жизни этого человека и его семьи. В своей работе Горбатов был, скорее, журналистом, чем писателем; писательскую умелость он в себе… так и хочется сказать «выгорбатывал», и главы из романа «Донбасс», который он не успел окончить, надорвав сердце к 45 годам, главы эти без всякой натяжки принадлежат к лучшим страницам советской прозы.

Тут — и применительно к Горбатову это важно — надо бы разобраться, а что такое «советская проза»? Написанная в годы советской власти? Направленная на укрепление советской идеологии? Занятая проблемами человека в эпоху советской власти? Занятая особенностями власти в условиях советского времени? Сошлюсь на мнение человека несуетного, бестрепетно жесткого к сделанному и написанному им самим — Виктора Петровича Астафьева. От него я услышал это, поразившее меня определение.

— До перестройки, — сказал Виктор Петрович, — я был литератор, и только с приходом ее стал писателем.

— ?

— Потому что до — я писал, как литератор, оглядываясь, можно ли это напечатать. И только теперь пишу, как писатель — как бог на душу положит.

Помимо того, что Горбатов, весь, как писатель целиком, жил «до перестройки», он еще и безусловно был советским писателем, эта советскость — верность идеологическим постулатам времени — окружала им написанное как романтическая дымка.

Мне довелось с этой особенностью горбатовского письма столкнуться в работе над едва ли не лучшей его книгой, сборником рассказов «Обыкновенная Арктика», написанных в самом конце 30-х, по которому я в середине 70-х делал фильм для телевидения. Экранизация — это, вообще говоря, способ последовательного отделения слов от поступков. Из слов сюжет не складывается, на словах не держится. И вот, отделяя, я обнаружил, что поступки в «Обыкновенной Арктике» написаны жестким журналистским пером, с хорошим пониманием их внутренних пружин, а слова пытаются, скорее, укрыть сюжет за занавесом романтических иллюзий. И сценарий, и фильм получились жесткими, и перед тем, как он лег на полку, от одного весьма высокопоставленного и, может быть, поэтому начитанного редактора я услышал надгробную эпитафию: «Где в вашем фильме прозрачный романтизм горбатовской прозы?» Диагноз считался неотменимым почти четырнадцать лет, несмотря на то, что автором сценария в титрах числился Константин Симонов, и он же перед картиной наговорил, и мы

это сняли, специальную преамбулу, где вполне сознательно затушевывал разрыв между жесткими фактами и красивыми словами. Но ведь именно костяк фактов и создавал ощущение подлинности в этой горбатовской книжке, тем более что рассказы в ней перемежались очерками, а вся книга основана на опыте многократных полетов в Арктику и почти годичной зимовки на Диксоне.

Горбатов очень рано начал. Его первый рассказ был опубликован в газете «Всероссийская кочегарка», когда ему не было еще четырнадцати. До 16 учился в школе и одновременно работал в газете. Из Бахмута (Артемовска) переехал в Краматорскую, поступил учиться на строгальщика, одновременно начал писать стихи. Как стихи своего, рабочего парня, шахтерской косточки, их охотно печатали, невзирая на малое их совершенство. Потом работа по комсомольской путевке в редакции «Молодого шахтера», где, как застенчиво упоминается в одной из его советских биографий, он печатал свой первый газетный роман «Шахта № 8»: «…бесхитростный рассказ о комсомольцах, которые вывели на чистую воду засланных в Советский Союз шпионов».

В том же 1925 году уже напечатавший свои стихи в центральной печати, семнадцатилетний Горбатов избран делегатом от объединения писателей Донбасса на первый Всероссийский съезд пролетарских писателей, там избран в правление ВАПП[18] и в качестве одного из ее секретарей переезжает в Москву.

Горбатов — комсомольский вождь

Недолго было и закружиться юной пролетарской голове. Но то ли потому, что и голова не была вполне пролетарской, то ли охранная грамота материнского воспитания, когда оценка идет не по сказанному, а по сделанному, то ли трезвящий диагноз Маяковского, данный стихам юного поэта: «Одна строчка понравилась: „Я — рабочий“», то ли это вообще черта отныне и навсегда присущая Горбатову (никогда не преувеличивать тобой сделанного), но только всего годом позже Горбатов возвращается в Донбасс и навсегда бросает писать стихи. В своей автобиографии он напишет: «Это были, ей богу, мудрые решения. По-моему, они мне спасли мою творческую жизнь».

А она только начиналась. Дома, в Донбассе, Горбатов приступает к работе над повестью «Ячейка». И здесь, прямо с первых шагов, возникает то незримое, но и непреодолимое противоречие, которое будет затем постоянным спутником его творческой работы.

«Меня трогают, волнуют, печалят и радуют, — пишет Горбатов в одном из писем 1927 года, — просто человеческие чувства печали и радости. И мне хочется в своих произведениях рассказать о маленьком городе, в котором живут маленькой жизнью маленькие люди. И этих маленьких людей увлечь большим порывом. Указать им, что, делая свое маленькое дело, они являются частицами большого механизма…»

Вот в этом противоречии между маленьким человеком и обязанностью встроить его маленькие дела в необъятную и трудно понимаемую, а порой совершенно дезориентирующую самого автора, работу большого механизма укрепляющейся повсеместно советской власти и пролегала в дальнейшем его писательская дорога. Эту невозможность понять и совместить в написанном безумную и жестокую всеобщность официоза, его лозунгов, его бесчеловечной сущности и построенную на постоянных внутренних компромиссах судьбу отдельного работника этого вселенского колхоза каждый из его современников-писателей преодолевал по-своему. Для одних это кончалось стенкой и пулей, для других, как для Платонова, писанием в стол, а для большинства — безусловной деградацией их писательского мастерства.

«Ячейка» — яркая и задорная — написанная на хорошо знакомом материале комсомольской жизни 20-х годов, была с симпатией встречена и критикой, и читателями. Но при этом оказалась «молодой кометой», не вошедшей в число «расчисленных светил».

Судьба следующей повести «Нашгород» оказалась куда менее счастливой. Потускнели идеалы героев «Ячейки», распад и разложение настигло шахтерский комсомол — и этот процесс жестко и недвусмысленно отразился в «Нашгороде». За что и получил Горбатов полной мерой и от критики, и от партийного руководства. Больше «Нашгород» не издавался, в собрание сочинений не входил. До оргвыводов дело не дошло, но что делать со своим чересчур хорошим знанием среды и обстоятельств, Горбатов понял и запомнил.

К 1930 году он снова в Москве. Он становится корреспондентом «Правды» и все 30-е годы неутомимо и плодотворно утюжит российские просторы от Урала до Дальнего Востока и Крайнего Севера. У него хорошая репутация партийного журналиста, охотно откликающегося на героические вызовы времени. Днепрогэс, Магнитка, Арктика, а между тем и параллельно — проза, писать которую тем труднее, чем лучше ты понимаешь и чувствуешь то, что происходит в стране.

«Обыкновенную Арктику» Горбатов писал, ожидая ареста,

исключения из партии, словом, под угрозой расправы. Связано это было с судьбой его среднего брата — одного из руководителей донбасского комсомола, арестованного и расстрелянного в 37-м за связь с троцкистами. Кому как не старшему брату было ясно, что все эти обвинения беспочвенны и лживы, но… До «разрыва сердца» было еще далеко, но надорвал он его именно тогда, когда личное, маленькое, вошло в неотменимое противоречие с большим и всеобщим.

Здесь рождалась «Обыкновенная Арктика».Горбатов с одним из первых Героев Советского Союза — летчиком Василием Молоковым, 1935–1936 гг.

А потом началась война, надолго законсервировавшая все неразрешимые противоречия 30-х. Маленькие герои из маленьких городов стали солдатами, и нужды не было встраивать их в эту огромную войну, которую, что бы ни говорили и о чем бы ни молчали или умалчивали до нее, вела Родина за самое право быть, жить своим порядком на сначала отданной на треть, а потом обратно отвоеванной своей земле.

Горбатов — корреспондент «Правды», на фронте с первых дней войны до дня подписания капитуляции в Карлсхорсте. За почти четыре года войны он написал помимо сотен статей и репортажей две книги, которыми был вправе гордиться и как писатель, и как гражданин воюющей родины. Это «Письма к товарищу» и повесть «Непокоренные». В них знание войны, ее кровь и пот. И то и другое печаталось в «Правде» по частям и, может быть, больше, чем все остальное, написанное Борисом Леонтьевичем до и после войны, запомнилось людям его поколения.

«Письма к товарищу, — пишет К. Симонов в предисловии к собранию сочинений уже умершего друга, — искренни до предела… Именно поэтому такой силой дышат эти бесстрашные, нежные, добрые страницы, написанные человеком тоже нежным, тоже добрым, тоже бесстрашным перед лицом испытания войной».

Там же, на войне, они сошлись с моим отцом. Первое упоминание о Борисе Горбатове встречается в отцовских военных дневниках сорок первого года. Пути их пересекались на фронте и в Москве до самого подписания безоговорочной капитуляции, до дня, когда по команде Жукова Кейтель шел ставить свою подпись от столика для немецких генералов к центральному столу, за которым сидело командование союзных армий.

Вместе были зимой 45–46 года в Японии. Именно там, в Японии, где они пробыли несколько месяцев вместе, окрепли те удивительные отношения, каких я у отца ни с кем не видел. Горбатов был его самым близким, самым личным, самым по-юношески горячим другом. Борис Леонтьевич был на семь лет старше отца, но в этой братской дружбе старшим братом был отец. И как меньшего брата отец его опекал и заботился о его здоровье, о его работе. Сохранилось письмо Горбатова 1951 года из Гульрипши, где он гостил у Симонова, в котором описывается железный порядок работы и отдыха, заведенный хозяином и подвигающий его, Горбатова, работать в симоновском режиме: «Костя сочинил распорядок дня. Муза его отпечатала, и он введен как воинский устав. Подъем в 8 утра — кофе, простокваша, сухари — все! Затем все за письменные столы. В час дня завтрак…»

Горбатов тогда работал над второй частью своего главного романа «Донбасс» и жил уже, как выражаются в медицинских диагнозах, «с сильной сердечной недостаточностью». А были они оба в эти годы крупными литературными чиновниками, что, особенно в условиях доклада Жданова об Ахматовой и Зощенко и антикосмополитического шабаша, мало способствовало спокойной совести и нормальной работе сердца. Именно с этого 1951 года и я помню Горбатова — крупного, тяжелого и наголо бритого, в каких-то «учительских» очках, помню по причине совершеннейшей его детскости: он, конечно же, болел футболом и, конечно же, за свой «Шахтер» (Сталино), и вытаскивал на футбол даже моего лишенного футбольного азарта отца. Так мы все трое оказались на трибуне стадиона «Динамо», где происходил матч «Шахтер» — ЦДКА. И поскольку расшевелить Симонова-старшего до степени горячечного азарта Горбатову не удалось, он вступил в жаркий спор со мной, двенадцатилетним,

болевшим, естественно, за ЦДКА. В результате «Шахтер» проиграл, а Горбатов, обиженно и чуть не плача, отдал мне свой перочинный ножик, на который мы и спорили. Хороший был ножик, с двумя в разные стороны открывающимися лезвиями.

Горбатов и Симонов на даче в Гульрипши, 1951 г.

С этого куда-то потом запропастившегося ножичка и началось мое знакомство с Борисом Леонтьевичем и его семьей. Семья Горбатова, к тому времени, как я с ними подружился, состояла из мамы — Елены Борисовны, молодой его жены, несравненной Нитуш вахтанговской сцены, Нины Николаевны Архиповой, с которой потом почти 50 лет продружила моя мама, из приемной дочери — Наташи большой, с которой дружил и водил романы я, и дочери Нины Николаевны от первого брака — Наташи маленькой. В 1953 году в доме появились новые «горбатики», близнецы Миша и Лена — самые старшие из детей моих друзей и самые младшие из моих собственных друзей. В 1954 году, в день смерти Бориса Леонтьевича, Миша с Леной сделали свои первые самостоятельные шаги.

Нину Николаевну Борис Леонтьевич буквально завоевал своей неспособностью жить без нее. Он без нее просто умирал, а кроме того, по его словам, она была единственная, кто пришелся по душе двум главным авторитетам его жизни — маме Елене Борисовне и Косте Симонову. Маме — тем, что Нина не любила возиться на кухне и не мешала ей там властвовать. Косте — удивительным, шампанским обаянием и легкостью отношения к жизненным передрягам. И ведь угадал Борис Леонтьевич. Оба раза угадал. Елена Борисовна взяла его жену под свое суровое покровительство, всю оставшуюся жизнь — почти четверть века —

оберегала и пестовала и ее, и ее многочисленных детей, и ее нового мужа, когда через несколько лет после горбатовской смерти Нина Николаевна вышла замуж за ведущего актера театра Сатиры Георгия Павловича Менглета. А Костя Симонов взял на себя раз и навсегда большую часть забот о литературном наследии Горбатова, составлял и писал предисловия к полному собранию сочинений, следил за изданием «Донбасса» с дополнительными главами, и даже подкинул собственному отпрыску идею сделать фильм по горбатовской прозе, а потом прикрывал собственным словом и телом образовавшиеся при перенесении на экран идеологические дырки, рубцы и перекосы. И, что было для меня не в последнюю очередь важным, приняв фильм, бестрепетно принял и полочную его судьбу, не считая для себя возможным бороться за успешное прохождение фильма, сделанного собственным наследником.

Елена Борисовна Горбатова, потерявшая всех своих сыновей, среднего — в чуму 37 года, младшего — в ополчении 41-го, а старшего, не дожившего до 45, в уже мирной Москве, казалось, имела право к своим 60 с небольшим годам предъявить миру безмерность своего горя и устроить из оставшейся жизни спектакль материнской ревности, а она жила тем, что давала эта жизнь: названной дочерью, множеством внуков, бесчисленностью гостей, а главное — огромной нежностью к Менглету, для всех своих, включая малых детей, — Жорику, обнаружив в нем сродственную ей любовь к людям. Тем более что ни Нина Николаевна, ни ее дети, ни ее муж в забвении горбатовской памяти не повинны.

Во все времена это был самый гостеприимный, многолюдный и веселый дом, где роль центральной опорной балки принадлежала Елене Борисовне-старшей, как сейчас принадлежит Елене Борисовне-младшей, ее внучке. Все тяготы устройства праздников они брали и берут на себя, оставляя остальным возможность остроумно и щедро на этих праздниках блистать. А Нина Николаевна на кухню, как и обещала, ни ногой.

Я бываю там, в этой квартире № 100 на Беговой, в доме, на фасаде которого висит мемориальная доска, где Г и В в фамилии Горбатов давно и безнадежно стерлись. Так «орбато» сложились и его литературная судьба, и память о ней.

Был в пятидесятые и шестидесятые сухогруз-работяга по имени «Борис Горбатов». В 70-м отец встретился с ним во Вьетнаме. Стихи о встрече с пароходом, написанные в 71-м, обращены к матери Бориса. Нина Николаевна вспоминает, что в середине 80-х на одесском рейде она видела рядом два судна: белое — «Константин Симонов» и черное — «Борис Горбатов».

Теперь уже и лайнеров нет, и названий таких никто не помнит. Есть памятник Горбатову в Донецке и музей, или, вернее, мемориальная комната, в Первомайском, где он родился. И есть три стихотворения памяти Горбатова в собрании симоновских сочинений, написанные в год его смерти в 54-м и вошедшие в его поэтическую книжку «Стихи 54 года». Так случилось, что мы, когда возились с «Обыкновенной Арктикой», заговорили и об этих стихах.

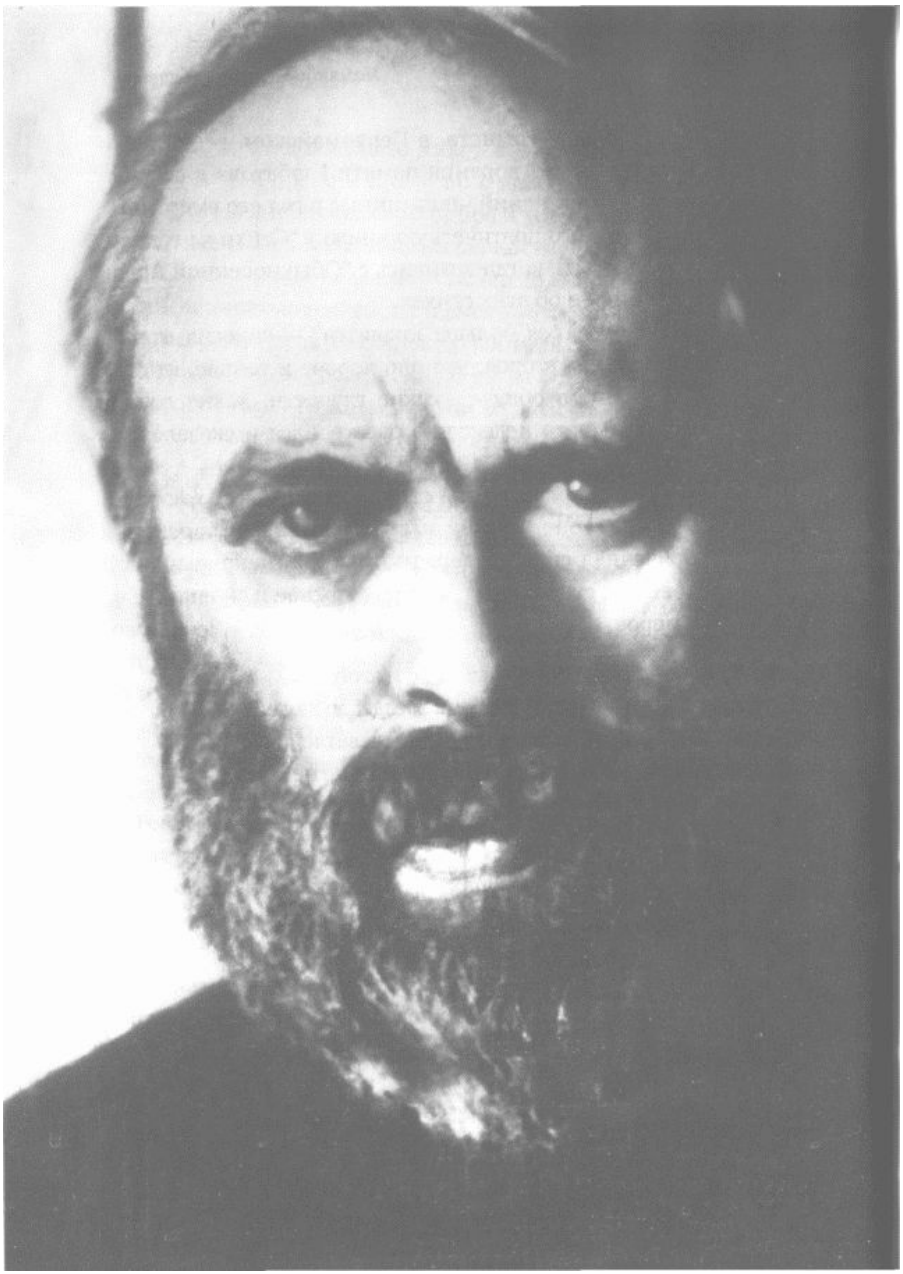
— Тебе какое из трех больше нравится? — спросил отец. И когда я сказал, что второе, что оно короче и точнее, что в нем есть образ, ну, в общем, всякие глупости, какие говорят о стихах, он как-то недежурно расстроился и сказал: «А мне — первое»

Только теперь, перечитав эти стихи, я понимаю, что прав был отец, что на фоне «друзей и врагов» в стихотворении была та горячечная сила неудержимого горя, непривычная для послевоенных стихов отца, которая важнее и сильнее образов и размеров.

Свет погасшей звезды еще тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был ее, и теплей, и светлей,
Да и срок невелик — тыщу лет мне не жить…

Свет далекой горбатовской звезды светил Симонову до конца его жизни, светит и сегодня и детям Горбатова, и его внукам, светит тем, кому интересны шахтерский Донбасс и лишенная былой героики Арктика, светит зрителям его фильмов и читателям его книг, которые стали частью нашей культуры и частицей нашей памяти. И в год его столетия хочется добром вспомнить этого очень хорошего человека, неуютно чувствовавшего себя в ежовых рукавицах своего времени.

Мятеж совести (Владимир Корнилов)



Володя Корнилов — поэт совести нашей

Уникальная для меня ситуация: помню точный день и место, когда и где мы с Володей познакомились. Это было 8 августа 1946 года, в подмосковном Быкове, где дачу снимали по

тогдашнему обычаю — гамузом, чтобы все были в куче. Нашу и соседние снимали покомнатно, а то и поверандно близкие мамины приятели тех лет, обремененные детьми школьного или предшкольного возраста, и на мое семилетие был назначен грандиозный детский праздник. Как и почему на нем оказался совершенно неподходящий по возрасту не то девятнадцатилетний, не то восемнадцатилетний Корнилов, сейчас можно только догадываться, зато с той поры присутствие в нашей с мамой жизни этого губастого парня никогда больше не требовало никаких объяснений: это был поэт Корнилов, который на семилетний юбилей подарил мне лисенка, который с перепугу меня цапнул за палец, за что был сослан в зоопарк, в ссылку его сопровождал даритель, единственный раз на моей памяти осквернивший собственную биографию причастностью к чужой (лисенка) несвободе. Спасибо еще, что не заставили меня делать 30 уколов в живот, а то недоразумение с лисенком выросло бы в масштабе многократно. Возможно, этот визит имел какое-то касательство к ситуации, описанной позднее в одной из корниловских поэм:

Лет девятнадцать мне было когда-то,
Вышибли из института меня.
Но, не смущаясь, я шел по Арбату
И повторял, никого не кляня:
— Вышибли? Стало быть, стоящий парень
Перед собою благоговей,
Что институт? Чхал на Англию Байрон,
А на Америку — Хемингуэй.

Что-то брезжит мне, что именно эти два события как-то связаны, тем более что институт был Литературный и мать его перед самой войной оканчивала, а значит, в нем оставалось немало друзей и дружб — у матери, как правило, бывало именно там.

■

Корнилов в материной табели о рангах стоял высоко, очень высоко, потому что для нее то, что «поэзия — это производное от совести», имело первостепенное значение, а у Володи это было органическое качество, часть его дара. Он и в письмах всегда искренен, хотя и не всегда уклюж. Вот из уже цитированного письма его к моей матери от июля 1961 года:

«…Вы — замечательный человек — и два Ваших качества явно отсутствуют у всех моих знакомых (писателей и нет): *ненытье* и радость чужим успехам. Время, что ли, у всех у них это вытравило. Поэтому так к Вам тянуться люди. Для меня очень хорошо, что Вы есть…»

А еще через 4 года, когда мы готовили капустник на пленке к материному пятидесятилетию Володя был одним из поэтов, написавших по этому случаю специальные стихи. Я хорошо помню, как он их читал, упираясь своими губищами в глухие и звонкие согласные перед ударной гласной, словно с трамплина всякий раз прыгал:

И в сплошной современщине душной,
Где слиняли и ангел и черт,
Я и счастлив и горд Вашей дружбой,
Убеждениями Вашими тверд.

Так что традиции взаимного восторга между Володей и нашим семейством заложены давно, и я их принял, не успев усомниться, а потом и нужды не было.

■

Все шестидесятые годы я довольно плотно занимался переводами: стихи с индонезийского, африканцев с подстрочника, прозу и драматургию с английского, словом, какое-то имя себе сделал. В 1969 году в издательстве «Молодая гвардия» даже вышла книжка американских рассказов в моих переводах — «Солнечные берега реки Леты». Жестким и, я бы даже сказал, неуютно строгим редактором этой книжки показалась мне Володина новая жена, Лара Беспалова. Прочитав написанное мною предисловие, Лара поморщилась и тоном Надежды Константиновны Крупской спросила меня: «Вы что хотите, Алексей, предисловие написать или книжку напечатать?» — дав тем самым понять, что текущий момент требует упаковывать рассказы в маскировочную сетку сравнительной беспристрастности, а не выставлять наружу все достоинства и недостатки переведенных текстов. В общем, предисловие заказали специалисту по предисловиям, а я долго еще считал, что у Володи слишком строгая жена. А тут Володина жизнь стала поворачивать на отчетливое противостояние: происходившее вокруг он не мог не только оправдать, но и обругать привычным

для времени способом громко, но про себя. Володя обособился от окружающей действительности, жизнь обособилась от Корнилова по-государственному грубо и недвусмысленно. Володю перестали печатать. Володе перестали давать переводы. Володе стало нечего есть, и даже работа грузчиком в булочной носила нерегулярный характер.

Ну и, как водится в России, возник неформальный комитет поиска работы для Корнилова. Самыми активными его членами были Николай Давыдович Оттен и, естественно, моя мама. Нет, для приличия меня спросили, готов ли я подписывать Володины переводы, если в том будет нужда. И я буднично согласился. Как-то это все естественно было, без малейшего пафоса, лишь бы переводы были. Кстати, таких «псевдонимов» вроде меня у Володи оказалось не то три, не то четыре. Так что имя, которое я завоевал, прежде чем уйти в кино, пригодилось. В середине 70-х звонит Оттен, а, надо сказать, что семья Оттен-Голышева была как бы литературным гнездом, где, в частности, в начале «оттепели» вылупилось яичко «Тарусских страниц», в которых впервые было напечатано много хорошего и неожиданного, в том числе и корниловская поэма «Шофер».

Так вот, звонит Оттен с привычной, не терпящей возражений агрессией и объявляет, что ему удалось взять на себя составление сборника пьес литовского классика Грушаса, и там есть пьеса в стихах «Барбора Радвилайте», и эту пьесу надо бы «перевести» мне или «под моей фамилией», не помню уже уровня конспирации. Я в это время по уши погрузился в новую свою киношную профессию и ответственности не чувствовал: Грушас так Грушас, словом, формальность была соблюдена, согласие получено, и сел Корнилов перелагать литовские стихотворные тексты, а я отправился снимать фильм про Арктику.

Проходят годы, являя миру незыблемость ржавеющих, ветшающих, но все еще крепких запретов на имена, причастные к инакомыслию. Уже Оттен помер, уже Грушас, кажется, отошел в мир иной, а кинематографическая судьба приводит меня в Вильнюс, где после трехлетней борьбы меня запускают наконец со сценарием фильма «Отряд». Живу в «Неринге», завтракаю в прекрасном буфете, ужинаю в нижнем кафе, до съемок еще далеко — осваиваюсь с основами литовского, чтобы работать с литовской группой не на пальцах и без обязательного втягивания их в общение на не самом любимом ими русском языке, и вдруг звонок.

— Господин Симонов?! Какое счастье! Мы собираемся искать вас в Москве и вдруг из газеты узнаем, что вы в Вильнюсе. Надолго ли? Какая неожиданная радость!

— Простите, кто это?

— Заведующий литературной частью Вильнюсского русского драматического театра, — мужчина называет абсолютно ничего мне не говорящую фамилию.

— Чем могу быть полезен?

— Вы в «Неринге»? Это в двух шагах от театра. Нам необходимо срочно повидаться, мы надеемся вас уговорить, конечно, возникает проблема авторского права, но есть два перевода, а мы хотим их объединить, вам знаком перевод Григория Кановича? В общем самое время спросить их «При чем тут я?», но вставить слово не могу, и слава богу. Как говорит у Богомолова в его бессмертном романе «В августе 44-го» любимый разведчик Таманцев «качаю на косвенных», т.е. пытаюсь вывести его на суть дела, не задавая прямых вопросов, и постепенно вырисовывается картина, что у великого Грушаса была классная пьеса, которую на русский переводили двое, и один из этих двоих — я. А у меня полная атрофия памяти, и я никак не могу в толк взять, чего они ко мне-то привязались. Но что-то удерживает меня решительно отказаться от авторства перевода, хотя никакая мысль о Корнилове и его литературных заработках в голову все еще не приходит.

Тут он наконец произносит «Барбора Радвилайте», это название, явно не из моего лексикона или культурного опыта, как отмычка, вскрывает потайную кладовую памяти. И я немедленно становлюсь не возмущенно-недоумевающим автором, а на все согласным Сахаром Медовичем, ибо представляю себе, как они обсуждают со мной детали перевода ни разу нечитаной, в глаза не виденной литовской пьесы. Уговорил их, что какое-то время они самостоятельно делают своего кентавра, а я по нехватке времени позднее, тра-ля-ля, тра-ля-ля.

Я даже взял однотомник Грушаса в городской библиотеке и приготовился к следующему общению, прочитав Володин перевод, и с укором собственной лени увидел под ним мою фамилию. Но они больше не звонили: изначально проявленного мною упорного идиотизма оказалось достаточно, чтобы им от этого намерения отказаться надолго. Не знаю, был ли на премьере мой новый соавтор Канович, я — не был. И, что уж совсем обидно, договор они со мной как-то не подписали. И я со страху лишил Володю законного заработка, побоявшись об этом напомнить. Когда я пытался потом посмеяться над этой историей вместе с Корниловым, у меня ничего не получилось: вся его реакция сводилась к извинениям за навязанные мне заботы. Скучная была реакция, как комариный зуд.

■

С начала 60-х мы ко всему прочему стали с Володей еще и соседями. Его писательская 9-этажка последней встроилась в нашу аэропортовскую кооперативную деревню. Ее составили два кооператива: наш с мамой дом — «Московский писатель» и четыре дома — «Советский писатель». Здесь все про всех знали, как и положено в деревне, потому что и те, кто писал, и те, кто редактировал и печатал, жили рядом, а заодно и те, кого прорабатывали и исключали, и те, кто это делал. История Володиного исключения из Союза писателей хотя и происходила на Поварской, в то время — улице Воровского, где размещался Союз писателей, но отзывалась на нашем пятачке. Лучше всего это, конечно, описано в знаменитой «Иванкиаде» Войновича. Роман Корнилова о том, как его исключали из СП, куда менее известен. Что неудивительно, учитывая, что все диссидентство Войновича было шумным и публичным, а бестрепетная война Корнилова за достоинство литератора не вызывала никакого ажиотажа. И все-таки такие когда-то приличные люди вроде Якова Козловского и других противников Володиной позиции стали, по сути, нерукопожатны в наших аэропортовских дворах.

После исключения Володя не то чтобы замкнулся, он просто до минимума свел свои контакты с внешним миром. К счастью, мы с мамой входили в этот оставшийся минимум. Володя в это время практически не писал стихов или писал очень редко. Его потянула к себе проза, и мне, тогда кинорежиссеру, было ужасно обидно, что первая повесть Корнилова «Девочки и дамочки» не могла быть поставлена в кино, хотя именно она была самой киногеничной из всего Володей написанного. И сам Корнилов в это время как-то увлекся кинематографом — то ли времени смотреть кино стало больше, то ли по какой-то другой причине, только я помню Володю этих лет, постоянно обсуждающего со мной все им увиденные киноновинки. Меня он в этих разговорах числил профессионалом, а себя — дилетантом, и хотя взгляды его на кинематограф не отличались изысканностью вкуса, было в них что-то тревожаще-требовательное, словно внутренне он сравнивал увиденное с каким-то неведомым мне эталоном, которого он не знал и сам. Впрочем, и к своей прозе Володя относился совсем иначе, чем к стихам, не чувствовал уверенности, с которой мог говорить о чужих стихах, — к своим он всегда относился критически, принимал многие замечания, хотя вовсе не обязательно с ними соглашался. Прозу свою обсуждал свободнее, легче, что ли, хотя корпел над ней немало.

Но вот наступила перестройка, и Корнилова снова потянуло

на стихи. И стихи пошли, пошли валом, оправдывая давно о Володе сказанное в стихотворении Жени Евтушенко, ему посвященном еще в конце шестидесятых:

Предощущение стиха у настоящего поэта
Есть ощущение греха, что совершен когда-то, где-то.
Пусть совершен тот грех не им,
Себя считает он повинным,
Поскольку с племенем земным
Он связан чувством пуповинным.

На первом после огромного перерыва вечере Корнилова в ЦДЛ народу в зале было — не пробиться. По Володиному предложению участвовал в этом вечере и я. Среди выступавших я оказался последним и начал свою недлинную речь с того, что когда создатели стихов поют осанну коллеге, то читателя стихов оставляют на закуску. А я его читатель с далекой юности. И тут я без всякой задней мысли допустил неловкость: прочел стихи Володи из ранних, начинающиеся номером телефона его первой жены.

Телефон: Арбат — один — сорок — восемь семь… — идеальный, между прочим, способ запомнить телефоны, найдя в них мелодию или стихотворный размер… Позднее на банкете ко мне подошла Лара Беспалова, Володина жена и мой бывший редактор, с юмором, но как-то не то обижено, не то наставительно сказала: «Алеша, мне бы очень хотелось, чтобы вы запомнили на будущее и мой телефон.»

Я так и сделал: попробуйте сами, на мотив «Варяга»: один — пять — один — тридцать два — восемь два.

Потом у Володи выходили книжки, потом Володя долго и мучительно болел, а я то навещал его, то по телефону справлялся о здоровье и все больше и чаще открывал для себя ту роль, которую в Володиной жизни играла Лара. Литературный пуританин во всем, что касается Володиных стихов и Володиных взглядов, Лара — главная опора последних десятилетий Володиной жизни. Я и сейчас, как вы понимаете, звоню по этому телефону, бываю в этом доме, выступаю на вечерах Володиной памяти. И хотя стихи его читаю разные, но смысл того, что понял из многолетнего общения с Корниловым и что пытаюсь всякий раз изложить, так или иначе сводится к двум страничкам некролога, который я написал в день его смерти.

■

Владимир Корнилов умер, как жил — трудно и негромко, словно стесняясь обременять собою общественное внимание. Он, наверное, в русской поэзии один из немногих поэтов, у которых дистанция от стиха до поступка минимальна. Зато обратная дистанция — от поступка до стиха — была у Володи огромная: в его творчестве всего два-три стиха, посвященных, скажем, его многолетнему диссидентству, отверженности, посвященных тому, как ему приходилось работать уборщиком снега или тайком переводить стихи и печатать их под чужими фамилиями.

Володя был высокого накала, высокого каления русский интеллигент — с постоянными сомнениями в своей нужности, талантливости, правильности совершенного. При этом я не знаю случая, когда Владимир Николаевич Корнилов изменил бы себе. Когда «оттепель» сходила на нет и все мы мучались, разрабатывая каждый для себя спасительные идеологемы собственной веры, позволяющие жить нестыдно, примиряясь с происходящим вокруг, в это самое время в поэме «Заполночь» Володя сформулировал свой отказ участвовать во всех этих играх так:

Вера — как в карты пас,
коль рисковать не хочется.
Вера — это боязнь
полного одиночества.
Думают, вера — стяг,
вскинутый откровенно.
А на поверку — страх —
вот что такое вера.

И в самый последней, при жизни вышедшей книжке он снова пишет о том, что все-таки предпочтительнее жить и думать не в стаде, жить и думать одному, самому совершать поступки и самому за них отвечать и мучиться несовершенством жизнеустройства. Может быть, именно поэтому большинство поступков, совершенных Корниловым, были поступками свободного человека.

Первые две его книжки, начиная с книжки «Пристань», были событиями в то далеко не бедное хорошими поэтами время. Он припоздал выходя, однако был замечен и был обласкан, но в его стихах уже тогда был этот корявый, самоедский, очень русский Володин характер и какая-то особенная пронзительная честность, иногда даже казалось — в ущерб звуку, в ущерб красоте слова…

Володю любили поэты, Володю ценили читатели, а когда пришлось выбирать между стезей соглашательства и отверженностью, Володя выбрал отверженность. Я помню звонок

по телефону и необычно застенчивый Володин голос: «Вот я тут один стишок перевел… Я могу?» Я говорю: «Конечно, ты можешь!» Володю не только не печатали, но и само имя его не должно было появляться в печати, и поэтому были несколько человек, под фамилиями которых Владимир Николаевич Корнилов мог печатать свои переводы. Время, которое ныне вызывает кое у кого слюнявую ностальгию, властно командовало: «Писатели — в стойло! Писания — в стол!»

По счастью, это был период, когда Корнилов на довольно длительное время ушел от стихов и писал прозу, потому что, конечно же, если можно скрыть авторство переводов, то столь сильная, ни на кого не похожая муза Корнилова, появившись под чужой фамилией, очень быстро потеряла бы свое инкогнито, и весь наш дружеский заговор, дававший Володе лишние два десятка рублей в месяц, развалился бы.

У Владимира Николаевича Корнилова до последних дней сохранилось удивительное качество: он все время ощущал себя болевой точкой этой страны и этого времени. Наверное, это хоть и несправедливо, но естественно, что болевая точка выросла за последнее десятилетие до размеров раковой опухоли.

Одно из стихотворений, написанных им за последние два года, кажется мне диагнозом, поставленным времени, диагнозом, поставленным не благополучным доктором, умывающим руки после осмотра больного, — это диагноз, который само время через Корнилова поставило себе.

Считали: все дело в строе,
И переменили строй,
И стали беднее втрое,
И злее, само собой.

Считали: все дело в цели,
И хоть изменили цель,
Она, как была доселе,
За тридевятые земель.

Считали: все дело в средствах,
Когда же дошли до средств,
Прибавилось повсеместно
Мошенничества и зверств.

Меняли шило на мыло

И собственность на права,
А необходимо было
Себя поменять сперва.

И нет таких лекарств, которые могли бы как-то облегчить, затянуть рану, образующуюся в жизни и в литературе после смерти таких поэтов, как Владимир Корнилов.

Я — разный (Е. Евтушенко)

И если я умру на этом свете,
То я умру от счастья, что живу.

Е. А. Евтушенко

Русский писатель.
Раздавлен
Русскими танками в Праге.

Е. А. Евтушенко

Женя Евтушенко с сыном Петей — ровесником моего сына Женьки

За пятьдесят пять лет знакомства я так и не смог определиться в простейших понятиях: кто я ему, кто он мне, как писать о нем — чинно, с именем и отчеством, или коротко, на ты, как звал его всю жизнь, что в наших совместных историях публично, а что интимно, поскольку и сам он этого не знает, а

читая его автобиографическую прозу наталкиваешься на такие интимные подробности, что диву даешься, тем более что многие из них — плод поэтической фантазии — не более того. Самую точную характеристику он дал себе сам на заре его поэтической славы. Он и в самом деле «разный, натруженный и праздный, он целе- и нецелесообразный, он весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый» — и так далее… во все тяжкие… Тогда казалось, что это — гимн поколения, со временем стало ясно, что это выдающаяся по точности автохарактеристика. Буквально к каждому из этих и продолжающих стихотворение метафор и эпитетов я могу привести примеры, свидетелем или участником которых я был, подтверждающие его неизбывную противоречивость. Даже размышляя над названием этой главки, я вдруг понял, что и здесь существует та же неопределенность, как ее назвать:

«Женя» — никак нельзя, так зовут и мою мать, и моего сына;

«Евгений Александрович» — во-первых, я его так называл, только когда стремился его обличить или подчеркнуть дистанцию, да и мало ли Евгениев Александровичей — хоть тот же энтэвэшный Киселев;

Заочное мы его называли кто Евтух, а кто Евтух — тут вам и хорей, и ямб, и стальной зрачок петушиного, стремительно-блудливого глаза, но — фамильярно.

Так что, хоть заметки и сугубо личные, и не претендуют быть ни критическим эссе, ни памятником, назову его по фамилии, как в энциклопедии — «Евтушенко», а уж там, как получится.

■

…Я так хочу, чтоб все перемежалось…

Когда-то мы с Евтушенко довольно тесно дружили, а познакомились в середине пятидесятых, когда он зачем-то выбрал в наперсники юного, влюбленного в стихи школьника из интеллигентной семьи. Имело ли тогда для него значение, что я — Симонов? Думаю, имело, но не определяющее. У него тогда только что вышла вторая книжка «Третий март». Осенью 55-го он впервые повел меня в главный вертеп тогдашнего разврата — в коктейль-холл на улице Горького. Я все его будущие стихи про Беллу Ахмадуллину слышал еще в романтических вздохах прозы: «Первокурсница! Яблоко! Челка! Чудо!!!»

Правда, продолжалось это недолго. В 56-м в августе, когда я уехал в Якутию, в экспедицию, еще ощущение сердечности

сохранялось, получал там, в районе ледника Суантар-Хаята, Женины ненапечатанные стихи, верстку поэмы «Зима», получил через маму несколько писем поддержки, а когда вернулся в 58-м, Евтушенко был уже знаменитым поэтом. За это время вышла его третья книжка «Шоссе Энтузиастов», с которой и началась его вселенская слава. В нем стало намного больше Евтушенко публичного и намного реже проглядывал сквозь облака успеха лик Жени частного, которого я знал раньше. А записаться на новенького в бешено растущий круг его друзей-поклонников мне уже не позволяла гордость прошлой дружбы без поклонения. Потом чего только не было. Я был знаком с его женами, с одной дружу и по сию пору, мы были молодыми отцами, обмениваясь бытовыми подробностями роста наших тесно общавшихся тогда, в детстве, ровесников-сыновей. Он дружил с моей мамой и даже создал легенду об их несостоявшемся романе, о чем и написал стихи, но мы никогда не входили в ближний круг друг друга, хотя крути эти регулярно пересекались и в них фигурировали одни и те же имена. Иногда он был мне близок до дрожи, но — через стихи, а не через личные встречи. В общем, он был для меня чем-то вроде беспутного непредсказуемого старшего родича, чья верность идеалам юности совершенно не сопровождается признаками взросления.

■

…Мне нравится в лицо врагам смеяться.

Недавно в «ЕГ» — еврейской еженедельной газете увидел большую публикацию Евтушенко о том, как написан и прочитан впервые был «Бабий Яр». Насчет чтения спорить не буду, скорее всего, так и было: прочел с пылу с жару, не дав отлежаться, там же в Киеве, где оно и родилось, и написалось. У меня, правда, есть фотография, на обороте которой надпись: «Е. А. впервые читает „Бабий Яр“ в Политехническом». Многофигурная фотография: Женя на кафедре, видна значительная часть зрительного зала, в котором можно различить Берни Котена, мою маму, меня, в другом углу и ряду — Васю Аксенова — хорошая фотография, особенно для органов: все свидетели легко различимы. Но я готов согласиться: допускаю, что первое чтение было в Киеве, а первое чтение в Москве было здесь, в Политехническом. Зато что касается написания, то уж тут — извини Женя — заполнять банальностями лагуны в собственной памяти, ей богу не стоило.

Та самая фотография — Евтушенко читает «Бабий яр» в Политехническом. 1962 год. Среди зрителей — моя мама, Бернард Котен, я и Василий Аксенов

В июле 62 года мы с мамой впервые поехали в Киев, в гости к Владимиру Леонтьевичу Киселеву — нашему другу, писменнику, собкору «Литгазеты» — не наспех, как я годом раньше, когда меня занесла туда нелетная погода, а не торопясь, с Лаврой, булгаковским домом, Андреевским спуском, варениками Зои Ефимовны — жены Киселева, и прочими достопримечательностями.

В Бабий Яр мы поехали в будний день, ближе к вечеру вчетвером, с Володей и Виктором Платоновичем Некрасовым. Причем поехали на машине — вроде как на экскурсию в уже намоленное местной интеллигенцией место, куда они по возможности привозили каждого приехавшего. Место это — на дальнем берегу оврага, не на том, где происходили расстрелы, а на противоположном, высоком и обрывистом, где еще с довоенных времен сохранилось еврейское кладбище. Здесь в войну размещалась немецкая зенитная батарея, для подходов к которой были методично снесены два ряда памятников, слева и справа от центральной аллеи, ведущей от входа к самому обрыву.

Это подтверждается первой же строфой его стиха:

Над Бабьим Яром памятников нет

Крутой обрыв, как грубое надгробье…

Только отсюда, глядя с этой, доминирующей над местностью, стороны и никак иначе. А все дальнейшее возникло не в связи с почти идиллической картинкой с этого обрыва открывающейся, а с тем невыносимым чувством позора, которое громоздилось за твоими плечами, обращенными к кладбищу. Я соврал, когда употребил слово «сохранилось». На этом погосте не было ни одного целого памятника. Ни одного. Ни одной целой фарфоровой фотографии, ни одной неиспохабленной эпитафии, матерные визги, неспешно выбитые подручным инструментом на теле лежащих памятников. «Бей жидов» — на стенах склепов и усыпальниц. И самое страшное и подлое в своей беспомощности — сброшенные навзничь еврейские памятники-деревья с обрубленными бетонными сучьями, под которые, чтобы хоть место сохранить, подведены родственниками цементные подушки. Только испытав шок от этого шабаша, можно воскликнуть: «Для всех антисемитов я — еврей!» — потому что, глядя перед собой, сказалось бы: «Для всех фашистов, для их приспешников». Словом каким-то образом, отделяясь от современности и отзываясь на память, а тут — никакой памяти — прямое ощущение ужаса, позора и ненависти. И желание что-то сделать. Вот он и сделал: написал «Бабий Яр».

Да, инстинкт в Евтушенко мудрее разума и эмоциональный отзыв точнее последующих рассуждений.

Мы уходили с кладбища, когда начало темнеть, и почти неразличимый уже в сумерках сторож посоветовал нам поторопиться — здесь в ночи неспокойно. Вот тогда-то я и услышал, что недавним нашим предшественником в путешествии по этому антисемитскому заповеднику был Женя Евтушенко. Кажется, возил его Анатолий Кузнецов.

■

И, черкая пером, не спать ночей…

Большинство его стихотворений, как мне представляется, пишется так: на эмоциональном посыле возникают сразу первая-вторая и заключительные строфы или строфа. Потом этот посыл поступает на фабрику стиха, где содержание неудержимо разрастается за счет всех и всяческих логических объяснений этого, уже совершившегося на самом деле факта стихо-творения.

Многие его стихи в результате похожи на шампур, где мясо — это первый и последний нанизанный кусок. Остальное — овощи, лук и другие сопутствующие продукты. Можно, конечно, считать, что это шашлык по-армянски, но почему русское стихотворение должно формироваться по принципу армянского шашлыка, даже если ты воинственно интернационален, как его автор. Мне кажется, что Евтушенко своего таланта не слышит, отказывается его слушать или не доверяет ему. А мыслительные способности читателя не принимает во внимание.

Дело было в один из благостных периодов наших отношений, где-то в середине шестидесятых, когда вера его в свою популярность позволяла без негодования относиться к попыткам усовершенствовать его стиль. Убей бог, не помню, что это было за стихотворение, но изготовлено оно было абсолютно точно по вышеприведенному рецепту. Стихотворение уже бралась печатать «Комсомолка», но оно еще туда не было передано. И мы с мамой долго и занудно уговаривали Евтушенко сократить в этом полотне по крайней мере шесть из восемнадцати или двадцати строф, т.е. примерно треть. В этом виде, как нам обоим казалось, стихотворение немало выигрывало. Все это на фоне нашего искреннего восторга, который вызывал у нас обоих талант автора. И Евтушенко дрогнул.

— Ну, сделайте, как вы считаете правильным, — он выслушал наши резоны по каждой вымарываемой строфе, скорбно сморщился и понес укороченный вариант в газету.

Два дня спустя нас разбудил трагический, до корней волос обиженный голос Жени по телефону:

— Ну вот оно — передо мной, это ваше сокращенное… Его даже не хватило на полосную колонку! Оно же одно, его нечем подкрепить. Ему не хватает содержания!

Больше он нас не слушал. Никогда. Даже высоко ценя мамин вкус, демонстрируя свое рыцарское, восторженное к ней отношение, он регулярно пропускал мимо ушей мои намеки, что неплохо бы доверить матери составить хоть одно его небольшое избранное. И было это именно в те годы, когда «Смеялись люди за стеной…» он посвятил матери, и мне предложил выбрать для посвящения любое из недавно написанных стихов. Это, как мне кажется, был период, когда он почти выписался в большого поэта, период коротких стихов, где продолжительность стихотворения диктовалась силой эмоции, не поступая в обработку на его изобретательную, но излишне технологичную поэтическую фабрику. Выбрал я, кстати, стихотворение «Осень», очень мною любимое до сих пор:

Внутри меня осенняя пора,
Внутри меня прозрачно и прохладно,
И мне печально, но не безотрадно.
И полон я смиренья и добра.

■

Я в самом разном сам собой увиден.
Мне близки и Есенин, и Уитмен.

Евтушенко часто невыносим в отношении к своим стихам и столь же часто свят в отношении чужих. Ему всегда кажется, что лучшее — это то, последнее, что он написал вчера. Такое изредка случается, но часто так не бывает, да и не может быть. Ему настолько не важно, чтобы оно отстоялось, что он, если просят читать, читает свеженькое, невзирая на масштаб аудитории, характер ее, уровень знакомства с его стихами. Как-то был он у меня на дне рождения. Не то чтобы он его помнил, в этом отношении мы два сапога пара, редко помним чужие даты. Но вдруг узнал — мог — пришел. Попал он в компанию людей поэтически сведущих, с разными вкусами, среди них поклонников его стихов было немало, но это были требовательные поклонники, поклонники лучшего в его поэзии. Его появление никто не воспринял как событие чрезвычайное — вроде падения метеорита, Евтушенко расстроился и, какое-то время проскромничав, напросился читать стихи. Наступившая пауза свидетельствовала об уважении к поэту, но, уже со второго свеженаписанного стихотворения начиная, народ за столом, не впечатленный услышанным, стал терять к его чтению интерес. Кто-то продолжил разговор, кто-то готов был перебить его очередным тостом. Евтушенко сник. За столом его друзей его новые стихи не проходили. Я, интуитивно уловив, в чем тут дело, сказал: «Женя, ты не то читаешь. Слушайте, мужики!» И прочел его длинную, но подходящую к случаю, да и вообще прекрасную «Балладу о выпивке», в которой лишние, на мой взгляд, всего две-три строфы. Народ оттаял, возликовал и искренне аплодировал автору. И мы все с облегченным сердцем за него выпили, ибо это получился гвоздь вечера: он писал про то, что мы сейчас делали, но прочувствовал это раньше, талантливее и лучше нас, и мы с ходу и разом это оценили. Евтушенко вообще-то читает свои стихи замечательно. И хорошие, и, к сожалению, плохие. На

одной аудитории такая подмена проходит незаметно, а то и на ура, а на другой не проходит совсем, ни под каким видом. А он — мудрый в своих хороших стихах и девственно-наивный, когда не может их отличить от заурядных или просто плохих, начисто не улавливал эту особенность обстановки. Мне не раз приходилось сталкиваться с таким его непопаданием в аудиторию.

В другой раз и снова у нас с мамой дома, на Аэропортовской, еще не переименованной в улицу Черняховского, куда — тогда наш сосед — Евтушенко иногда заходил просто на огонек, он услышал стихотворение Самойлова, нигде еще не напечатанное, запомненное мною, как многие самойловские стихи, с голоса, с двух-трех прочтений:

> В районном ресторане оркестрик небольшой,
> Играют только двое, но складно и с душой.
> Один — сибирский парень, мрачнейший из людей,
> Его гармошке вторит на скрипке иудей…

Женя растревожился, попросил прочесть еще раз, потом посмотрел на нас восторженно-растерянными глазами и выдохнул: «Гениально! Евгения Самойловна, у вас есть телефон Дэзика? Я должен, должен…» Он уже набирал подсунутый матерью номер телефона. Дэзик, по счастью, оказался дома. «Дэзик! — заорал Женя. — В районном ресторане… только что у Евгении Самойловны… это потрясающе, это так гениально… что… ну не знаю,., я так не умею!»

Из этого его умения восхититься чужим словом возникли все сделанные им в последующие годы антологии. И что бы кто ни говорил, создание их — это культуртрегерский подвиг перед лицом русской поэзии. Стих этот самойловский он в свои «Строфы века» не вставил, забыл, наверное. У этого подвига есть и оборотная сторона. Публикуя свои антологии в розницу, он заодно использует выбранные им стихи поэта как источник собственного вдохновения, непременно присоединяя к приличествующему случаю комментарию в прозе (даты жизни, основные публикации, перекрестки судьбы) две-три собственных строфы. Они всегда уступают по качеству публикуемым стихам поэта, но ведь, как я уже сказал: он в чужих стихах понимает много лучше, чем в собственных, в чем этим способом каждый раз расписывается.

■

…Я доверху завален,
Как сеном молодым машина грузовая.

Поэт — существо со смещенным относительно нормального человека центром тяжести, поэтому никогда нельзя заранее сказать, где он сорвется, что послужит причиной его неадекватного поведения или реакции. Скажем, у Евтушенко есть поразительное свойство: он может писать стихи по вдохновению, а может — на заказ, и никогда нельзя знать заранее, что получится лучше.

К 50-летию моей мамы мы с Борисом Ласкиным и Александром Галичем делали, как теперь бы сказали, аудиокапустник, попросту говоря, у нас был привезенный мной из Индонезии переносной магнитофон, и мы записывали на него как изобретенные и разыгранные сценки, так и специально или неспециально написанные по этому поводу ее друзьями-поэтами стихи. Евтушенко я записывал почему-то в Гослите. «Почему-то» — это потому, что я-то там в то время (1964, декабрь) работал, а как он оказался там — не помню. Сидел он в соседней с нашей, пустой в это время, комнате минут около сорока, вышел измочаленный с листком, на котором не только строчки — буквы разбегались в разные стороны, сказал как-то отстраненно: «Весело не получается», и прочел в квадратик микрофона:

Живу я неустроенно, заморенно,
Наивно и бесплодно гомоня.

Я уже приводил это стихотворение в главе о маме, так что второй раз не буду.

Даже при том, что в этом капустнике прозвучала самойловская «Память», с той поры посвященная матери, что там читал специально написанные стихи Володя Корнилов, это стихотворение, а ведь написано-то на заказ, но какое насквозь искреннее, пронзительно-грустное и влюблено-почтительное, остается по сию пору самым дорогим моему сердцу. Евтушенко потом, много лет спустя переписал его у меня после одной моей публикации, но так, кажется, нигде и не напечатал. То ли постеснялся, то ли показалось оно ему слишком коротким, а дописывать смысла не было. Впрочем, вот уже лет двадцать, как я перестал следить за выходящими его книжками, с той поры временного помешательства, когда он стал политиком. Я даже на полное собрание сочинений не подписан. Так что, кто знает, может, он их где-нибудь и напечатал.

На 50-летии Евгении Самойловны Евтушенко был представлен этим стихотворением, а мы с мамой на его пятидесятилетии — совсем другим, спустя многие годы, правда, наше «стихотворение» там, скорее всего, не прозвучало.

Незадолго до торжественной даты Евгений Александрович оскоромились, внезапно воспылав ненавистью к бытовому блату, без которого в те годы, по крайней мере в Москве, просто выжить было невозможно: все что-нибудь через кого-нибудь доставали. Эта «блатная» сеть хоть как-то сдерживала народную ненависть к сети закрытых распределителей и магазинов «Березка», где можно было получить любой дефицит. Я, помнится, в те годы выработал теорию социального равенства, основанную на том, что в каждой советской семье должен быть хоть один работник сферы обслуживания: продавец, парикмахер, слесарь-водопроводчик и так далее, для справедливого перераспределения товаров и услуг. И добро бы еще он обрушился на эту систему с позиции жертв всеобщего дефицита, так нет он избрал этакую белую башню стороннего наблюдателя, поэтической бабочкой, не ведающей, что творит, присев на плечо социально надежной неудачницы конкурса поступающих в театральное училище, темпераментной дылды Зины Пряхиной из Кокчетава, которой, конечно же, не хватило блатных связей для поступления, ибо в остальном она, со своим бешеным темпераментом и ботинками 41-го размера, обязательно бы туда попала.

Все, как я себе представляю, началось на этот раз не с эмоционального посыла, а с удачной и свежей рифмы «Кокчетава — читала», которая поступила на евтуховскую поэтическую фабрику, где и было разработано это вполне подлое стихотворение. Там добавились шедевры вроде «народного народа», «тягостного лома» и прочих обличительных метафор, с флажком мамы — путевой обходчицы, похожим на наше знамя над Рейхстагом, в апофеозе. Короче, «Остапа понесло». И написано это было поэтом, чей быт и возможности были хорошо нам известны, и для кого поход в «Березку» в те годы был нормальным актом подготовки к дружескому ужину.

Был 1982-й или 1983-й (дни рождения Евтушенко имеют свойство двоиться). Я дня три ходил с этим стихотворением, как с зубной болью, и в конце концов написал на него пародию. Она называлась «Баллада о черном ходе» и начиналась эпически:

Я — разный, я Пряхина Зина,
А также известный поэт…

Дело в том, что не выдержавшая экзамена абитуриентка

Пряхина, нанялась на тяжелую работу дворника гастронома, с чьего черного хода подлые интеллигенты растаскивали дефицит:

Хоккеисты и гомеопаты
В нашем флаге прогрызли дыру.
Ты их, Зина, метлою проклятых,
Я кошелки пока соберу.

Далее поэт отправляется в «Березку»:

Тихий вход в переулке нелюдном,
И горжусь я, что мимо идет
Непричастный к горячке валютной
Мой родной и народный народ.

Здесь ревнителя дружбы с народом
Средь икры и заморских чудес
Охраняют от черного хода
КГБ и ОБХСС.

Пародия заканчивалась вполне в духе стихотворения:

Я стою средь дерьма волноломом,
Пред собою не вижу ни зги.
О, как хочется тягостным ломом
Прочистить поэту мозги.

Мать хладнокровно, с не свойственным ей бессердечием, перепечатала это на машинке. Мы приклеили стих к телеграфному бланку и послали Евтушенко в качестве поздравления, подписав его полным составом нашего семейства, всеми тремя именами: маминым, моим и Женьки-младшего, моего старшего сына, он уже имел право голоса.

Пауза в отношениях длилась больше года. Мы были далеки и как бы незнакомы. Потом, в один прекрасный день у матери раздался звонок: «Я на вас смертельно обижен, — сказал Евтушенко, — но если вы придете сниматься в моей картине „Детский сад“ в эпизоде „Эвакуация“, где есть замечательная роль, в которой я вижу только вас и никого больше…» И мать пошла. Но что-то там в этот день не сплелось, как это бывает в кино, и второй раз даже Евтушенко, который, если ему нужно,

становился приставуч, как банный лист, не смог ее на это уговорить.

Потом и мне дано было окончательное прощение. И тоже через кино. Снимая следующую свою картину «Похороны Сталина», Евтушенко пригласил помочь на съемке столпотворения на Трубной нескольких знакомых режиссеров. Я был одним из них. К стихотворению и пародии мы больше не возвращались. Никогда.

■

Я знаю, вы мне скажете: «Где цельность?
О, в этом всем огромная есть ценность!»

В 1967 году я принял решение переменить участь. Ушел из издательства «Художественная литература», понимая, что, если я сейчас не сделаю этого шага, то все мои мечты о кинематографе надо будет похоронить, и даже без оркестра. И эта перемена как-то неожиданно жарко отозвалась в моих многочисленных родственниках и еще более многочисленных друзьях. Отец даже письмо написал, что если я оставляю ниву литературы из-за того, что не хочу на ней быть Симоновым номер два, то это глупости, что он находит во мне некоторые многообещающие литературные задатки и что, подумаешь, Симонов-фис, Симонов-пэр — говна пирога в этих наследственных репутациях. Моя жена, Оля Бган, уже беременная нашим первенцем, тревожилась, чтобы режиссерско-актерская среда «мне не наделала б вреда», даже мама, всегда поддерживающая во мне «охоту к перемене мест», была в сомнениях. И вот, чтобы в них укрепиться или оставить их и поверить в мою новую судьбу и участь, она позвонила Евтушенко, который, гордый своей судьбоносной миссией, пришел, чтобы разъяснить мне сущность цельности и веры в свое предначертание. Было это в большей из двух комнат все той же квартиры на Черняховского, 4. Женя был строг и объективен. Он пообещал, что в соответствии с процедурой римского суда, описанной у Апулея, он дает мне как ответчику в три раза больше воды, а сам обойдется в три раза меньшим ее количеством. Так я, кстати, впервые узнал, откуда взялись в литературе понятия «лить воду», «отжимать лишнюю воду», «подсушить написанное» и прочие «мокрые» аллюзии. Впрочем, и в этот раз теория Евтушенко разошлась с последующей практикой. Он битый час, т.е. минут двадцать, держал речь о смысле цельности, о том, что вредно разбрасываться, что опасно достигнутые цели разменивать

на потакание амбициозным мечтам, что стезя моя — литература, что как у переводчика у меня уже есть репутация, и ее нельзя трепать по кустам, как волк жилетку, и что на вопрос «кем быть?» к тридцати годам пора уже отвечать недвусмысленно и определенно. И хотя по римскому праву мне теперь полагалось чуть не ведро воды — на целый час, я дискуссию засушил. Я сказал, что раз уж сложилось так, что я не могу быть тем, кем хочу, то, что бы я ни делал — это всего лишь замена, а значит, что литература, что кино — не предел мечты, а лишь дань невозможности эту мечту осуществить.

— Кем бы ты хотел быть? — спросил Евтушенко.

— Секретарем райкома, — ответил я, — но стать им не вступив в партию, т.е не совершив подлости, не могу.

Это октябрь 67-го, мне двадцать восемь, Евтушенко — тридцать пять. И я эту глупость всерьез высказываю, а он — и тоже серьезно — ее выслушивает и принимает на веру, как диагноз мой и времени.

Суд закончился. У меня впереди курсы, потом первые работы на TV, ну и далее по биографии. Но у Евтушенко-то — вот ведь парадокс — впереди пробы на Сирано де Бержерака в несостоявшейся картине Рязанова, роль Циолковского в картине Кулиша, свои две картины, которые он снимет и в которых снимется, потом многолетние поиски продюсера на фильм «Двадцать лет спустя», где у него готовы были сниматься мировые звезды, а сам он — сыграть постаревшего д'Артаньяна, — целая кинематографическая биография. И еще другая биография — модного фотографа с альбомами и выставками. Так что вопросы цельности, видимо, не связаны с вопросами профессии, как нам тогда, в молодости, казалось. В разбросанности, как это и сказано у Евтушенко, есть свои ценности.

■

Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
Со всеми говорить хотя б на ломаном

Талантливые люди, они неудобны в общежитии — никогда не знаешь, чего от них ждать. Но именно они — пружины твоего времени, и чем больше в твоем обиходе таких пружин, тем быстрее и интереснее течет твоя собственная жизнь. Ну, скажем, сегодня почти невозможно представить, что нынешний профессор российской словесности американского университета мистер Евтушенко почти до сорока годков не разговаривал ни по-

английски, ни по-испански, т.е. на тех языках, на которых он теперь пишет стихи.

Во всяком случае в августе 68-го Евтушенко не знал по-английски ни бе, ни ме. И в самый разгар нашей взаимной ненависти с властью, только что задавившей Пражскую весну, я был им вызван для непубличной, полусекретной встречи с Фрэнком Харди — австралийским писателем, хорошо известным в СССР своими демократическими (т.е. просоветскими) взглядами.

— Надо поговорить с Фрэнком по душам, — сказал мне Евтушенко, — не приглашать же на такую беседу Ф. или В., — и он назвал двух переводчиков из Иностранной комиссии СП СССР, известных своим пристрастием к стуку. Секретная встреча и Евтушенко — это было нечто — человека менее приспособленного для того, чтобы раствориться в толпе, в мире не существует. Он ухитрялся выделяться даже голый: в Сандуновских банях, куда мы с ним время от времени заходили, он шел в парную, демонстративно не снимая с запястья крупных американских часов, отвечая на все оклики, терпеливо, но гордо: «Да, знаю, но они waterproof — не бояться влаги». А уж одежда его — это вообще что-то вроде праздничной упаковки, в которую он заворачивает подарок собственного присутствия.

В большом и совершенно пустом на тот момент зале ресторана «Бега», заполняемого, вероятно, только во время скачек или рысистых испытаний, наша троица выглядела более чем подозрительно, во всяком случае этот наш номер на троих на арене Центрального дома литераторов смотрелся бы куда более уместно и неприметно.

Диспозиция: Евтушенко несколько дней назад уже совершил акт гражданского самосожжения — послал возмущенную телеграмму-протест в правительство и ЦК, он — крайняя точка протестного спектра — мы ведь еще ничего не знаем про выход на Красную площадь восьмерых диссидентов.

Фрэнк Харди — средней руки австралийский писатель из тех, кого долго подкармливали выходящими в СССР переводами книжек. А раз его у нас переводят — это значит, что он пользуется официальным доверием.

И я — толмач, представленный как надежный младший товарищ, приглашенный для разговора «не для чужих ушей».

В этих исходных данных есть одно «но», о котором мы с Женей не осведомлены. В эту свою поездку Харди представляет не далекую Австралию, не себя, а три английские буржуазные газеты, которые и наняли его для этой поездки с целью рассказать на своих страницах, что творится в умах советских

интеллектуалов после катастрофы августа 68-го. Этот новейший поворот своей биографии Харди держит при себе, побуждая нас к откровенности без всякой оглядки на последствия.

И я строфу за строфой перевожу своим кондовым, не очень приспособленным для стихов, английским:

Танки идут по Праге
в кровавой заре рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.
Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
которые сидят в этих танках.

Евтух читает наизусть, по более позднему свидетельству его жены Гали, он уже сжег оригинал этих стихов: написал и сам испугался написанного, но взорвавшееся в нем — оно сидит в памяти как гвоздь. Я недавно нашел и перечитал эти стихи. Все как всегда: первая и две последних строфы настоящее мясо, между ними — семь или восемь — опять помидоры. Но тогда я их слышал впервые, и Женя читал их здорово, каждую строчку — отдельно и тихо, насколько это было возможно в пустоте «Бегов».

Наш единственный слушатель был в восторге. Но был ли это восторг единомыслия, или счастье редкой удачи сменившего хозяина корреспондента? Он потом побывал у самых разных людей, в том числе у Софронова и Кочетова. Потом все это появилось в газетах в Лондоне. Скандал был громкий, Женю тягали в партком и в правление СП СССР. Единственным, у кого не было неприятностей, оказался я — Харди показалась не важной моя роль, и он в своем изложении меня не упомянул. Вот, скажите, как сегодня расценивать этот, по сути подлый, его поступок — он ведь нам ни слова не сказал о редакционном задании, а с другой стороны, а если б сказал? Мы что — повели бы себя иначе? Иначе отнеслись к его вопросам? Иные слова нашли для той государственной подлости, о которой шла речь? Скорее, нет, чем да. Но это был бы наш собственный выбор. Так почему же я по сей день числю его в подлецах? Нет, надо родится советским человеком, чтобы понять разницу между тем, что ты думал по этому поводу и что готов был сказать иностранному корреспонденту.

Прошло сорок лет. Не знаю, как с испанским, на котором Евтушенко, по непроверенным сведениям, даже пишет стихи, а с английским у него полный порядок. Он страдает только

характерным недостатком, свойственным всем, кто начал учить язык в зрелом возрасте: у него отвратительное произношение, но это мучает уже далеких американских студентов из города Талса в штате Оклахома.

■

Пою и пью,
Не думая о смерти…

Я мог бы низать и низать эти бусинки подробностей нашей жизни, но лучше я напишу, что я думаю на тему Евтушенко и шестидесятничества, тем более что тема, скорее, загажена, чем исчерпана.

Шестидесятничество — это, скорее, явление, чем процесс и является оно до шестидесятых, совпадая с XX съездом партии, и ликвидируется, не дожив до 70-го, в 68-м с падением иллюзий относительно возможности изменить звериный лик партии и правительства. Шестидесятники — странные люди, без стыда, негодования или иронии называвшие себя советскими. О шестидесятниках судят по лидерам. Евтушенко — один из них, чтоб не сказать первый из них, самый убедительно непоследовательный. И по наивности, и по убедительности усилий, утверждавших это его шестидесятничество и верность ему.

Вообще-то шестидесятники — это все-таки не совсем поколение. Они — самое яркое, что было в шестидесятых, как народники в 80-х XIX века или декабристы в первой его четверти. Они не само время, а вывеска этого времени. Как говорится: это не так, это так называется. Просто шестидесятничество в силу объективных исторических причин было явлением более массовым, чем народники или декабристы, или — страшно сказать — большевики, ну хотя бы потому, что образованных стало больше и в города переехала значительная часть деревни. Но все равно — вывеска. Как говорит мой друг Аполлон Давидсон — замечательный историк,— «советская история совершенно не заметила процесса развития русского капитализма, потому что следила лишь за развитием революционного движения». Такой же куншт юк случился бы и с декабристами, если бы не Пушкин, предъявивший миру иной вариант жизненного пути у людей со сходными взглядами.

Вообще, наверное, шестидесятники больше всего и похожи на декабристов. Бесстрашие речей и нерешительность, даже

мелкость того, что считалось поступком. Расхождение с властью не в идеях, а в идеологических технологиях и, безусловно, во вкусах: оттого, что мне не нравится на троне старая, обрюзгшая баба, я же не перестаю быть монархистом, хотя и готов, как мне кажется, стать заговорщиком, чтобы ее на троне кем-то заменить. Помните, у Самойлова:

> Сказал себе: он — тоже заговорщик,
> И некуда податься, кроме них.

Никогда не обращали внимания, что Владимир Буковский очень похож на Пестеля, а Евгений Евтушенко — на Сергея Трубецкого? Кто-нибудь еще помнит, кто это — Трубецкой? Избранный заговорщиками будущий диктатор, не пришедший на Сенатскую площадь. Феномен Трубецкого объяснил мне когда-то А. Лебедев в одной из лучших в 60-е годы книге «Чаадаев», вышедшей в ЖЗЛ. Именно там я вычитал, и всю остальную часть жизни убеждался в правильности объяснения этого феномена: не тогда изменил Декабристскому восстанию Трубецкой, когда остался дома 25 декабря, а раньше, на заре заговора, когда соблазнился чрезмерной для себя радикальностью взглядов своих единоверцев и позволил втянуть себя в то, к чему не созрела душа. Вот этот-то «синдром Трубецкого» очень силен в шестидесятниках. Мы, попросту говоря, на словах непримиримее и радикальнее самих себя. Ведь сколько лет мы, изнывая от восторга, требовали вместе с Вознесенским: «Уберите Ленина с денег!» Проходили вместе с Евтушенко «казанские университеты» и вместе с Булатом Шалвовичем пускали, да что говорить, и сейчас можем пустить слезу, глядя в лица склонившихся над нами «комиссаров в пыльных шлемах». А недовольны мы были тем, что чистоту наших помыслов понимают превратно, что видят в нас чуть ли не врагов, хотя мы искренние и настоящие, как друг, который честно укажет тебе на твои недостатки и ошибки.

И еще одна характерная черта шестидесятничества — сотворение кумиров. По этому делу Евтушенко был, конечно, рекордсмен. Однажды сказав, что «людей неинтересных в мире нет», он, которого как никого другого в поколении превозносили и втаптывали в грязь одновременно, творил кумиров из Степана Разина и бетонщицы, из Че Гевары и Изи Крамера, из России, Ленина, декабристов, народовольцев оптом и в розницу, из «правильных» большевиков и Братской ГЭС, словом из любого подручного материала. Он, как летучий эльф, на какую бы высоту ни вознес очередного избранника, всегда оказывался рядом, трепетно похлопывая кумира крылышками слов по

монументальному плечу. Но ведь, черт возьми, как искренне он это делал! Его сиюминутная искренность была его главным даром, не изменявшим ему почти никогда. И ведь при такой всеядности мог бы попытаться сотворить кумира из действующего начальства, ну что ему стоило? Но ведь не сделал. Ни разу.

Несентиментальные заметки

Длинный, он же Эмка (Эмиль Левин), на яхте «Халоймэс», 1964 г.

Я пишу о друге. Честно говоря, никогда не задавался вопросом, как он ко мне относится. Наверное, хорошо, раз

продружили мы с ним четверть века до самой его смерти. Но этот вопрос не стоял ни разу за двадцать пять лет. И вовсе не потому, что дружба эта была какая-то особо аскетическая, мужская и прочая, а просто даже самые серьезные вещи мы говорили друг другу шутя. И не потому, что стеснялись громких слов, не потому, что не были сентиментальны, а потому, что серьезные вещи другу и надо говорить шутя, давая ему возможность выбора: принять и не принять, затратить в эту минуту силы души на немедленный душевный отзыв или нет. А если не следовало давать ему возможность выбора, а дружба наша позволяла и такое, следовало просто сказать: приезжай или уйди, дай я сам или подставь плечо или какой-нибудь другой глагол поставить в повелительное наклонение — вот и все. А иначе это — обременительная душевная распущенность. Поэтому и назван этот опус «Несентиментальные заметки».

■

Если бабы не любят нас,
То и мы их не любим тоже —
Это просто, как ананас,
Потому что не очень сложно.
Пусть они говорят: «Чудак!»
У любой про запас другой есть.
У меня ж за плечом рюкзак,
Остальное: «А писте халоймэс!»

Эту песню мы сочинили с Юликом Лурье в поезде Москва — Дубна, когда все трое — он, я и Длинный — ехали в самое долгое наше яхтенное путешествие Дубна — Плес — Дубна, а запретили себе петь и больше никогда не пели с дня похорон Длинного, в мае 1984 год; спели на поминках и все, завязали. Потому что — так получилось — это Эмкина песня. Длинного. Эмиля Абрамовича Левина — одного из двух самых дорогих моих друзей.

А началось это пятью годами раньше в «Современнике», где Эмка был актером вспомсостава, одновременно — студентом вечернего отделения актерского факультета Щукинского училища и параллельно зарабатывал деньги проверкой и наладкой газовых приборов, или, иначе говоря: «Кто там?» — «Мосгаз».

Про «Современник» надо рассказывать отдельно, так что на этот раз только о том, что имело прямое отношение к Эмке и ко мне. Я туда попал «пятым»: «Современник» взялся ставить

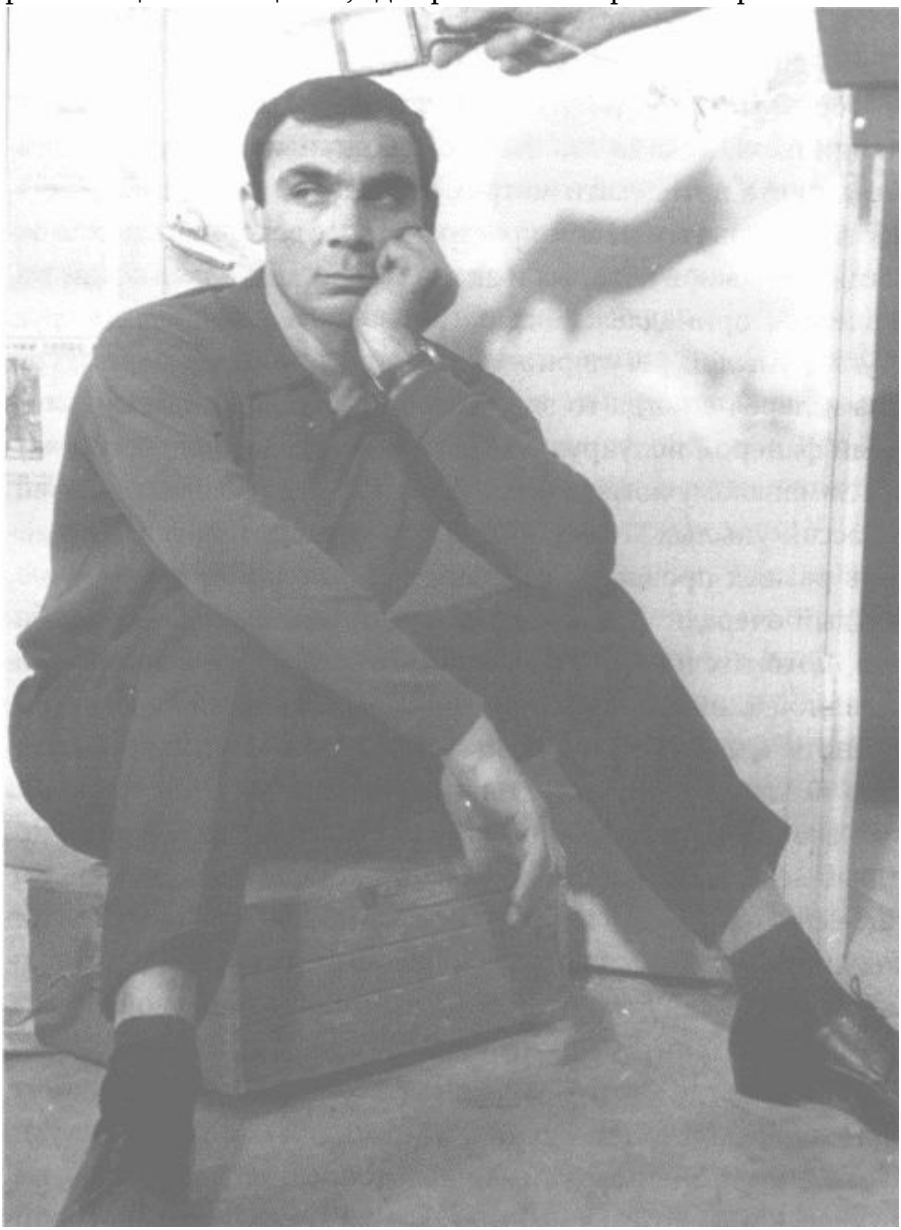
последнюю пьесу Симонова-старшего «Четвертый», я — поклонник современниковских спектаклей, да к тому же будущий кинорежиссер, готов был к любой форме причастности к этому замечательному священнодействию, в том числе — быть при отцовской пьесе «пятым», а тут еще главным администратором этого театра стал Саша Шерель — мой университетский приятель, словом, я стал вхож, да не просто так, а через служебный вход, что не обеспечивало мест в вечно забитом зрителями театральном зале, но проникновение в него гарантировало. А уж сидеть в ту счастливую пору, когда нам всем было по двадцать с небольшим, было совершенно необязательно, тем более что, отстояв спектакль, как и днем, после репетиции, ты мог свободно проникнуть за кулисы и приобщаться к внутренней жизни театра без сколько-нибудь заметных ограничений. У служебного входа в «Современник» не стояло еще ни одного персонального автомобиля, и если ты что-нибудь понимал в театре, т.е. готов был отстаивать принципы «Современника» с пеной у рта, — то никакого барьера между тобой и ведущими его актерами просто не возникало. И с тех пор на всю жизнь я остался на ты и со всеми отцами-основателями, и с драматургами этого театра, и с его билетершами, и с рабочими сцены — все варились в одном котле всеобщего равенства. И на всю ту же жизнь остался на восторженное вы с первыми современниковскими спектаклями, в которых мне довелось видеть Длинного: «Голый король», «Два цвета».

Но равенство в театре, просуществовавшем даже три-четыре года, вещь все-таки химерическая, непременно кто-то равнее других, и если ты свой, но при этом не расплылся от восторга собственной допущенности, ты это чувствуешь, даже если тебе позволено обращаться к Ефремову на ты.

В «Современнике» уже в 1960–1961 годах образовались (или исторически сложились) группа отцов-основателей, где кроме Ефремова были Евстигнеев, Кваша, Сергачев, Волчек, Толмачева, Дорошина, примкнувший к ним чуть более молодой Табаков и команда актеров на вторые роли, принятых в эту труппу чуть позднее: Заманский, Паулус, Никулин, Тульчинский, Миллиотти, Фролов, Крылова. Команды ничем не отличались друг от друга, но обязанность выходить на сцену у них была разная и в разном. Такая поразительная ситуация: каждый из отцов-основателей отдельно не был элитой, а вместе — были. Не случайно в театре не удержались надолго такие яркие и резкие индивидуальности, как Володя Высоцкий или Олег Даль.

Духовным лидером второй группы, нет, не лидером, а, скорее, духовным наставником, к чувству справедливости и

способности мудрого суждения которого нередко апеллировала вся труппа, был Влад Заманский. Эмка со своим безошибочным чутьем на «по совести» и «не по совести» выбрал Влада в друзья. Влад нас и познакомил. Контакт возник сразу, потому что — по делу. Как раз в это время театр, не имея возможности обеспечить своих актеров жильем, дал разрешение сначала одному иногороднему — Боре Гусеву с женой, а в описываемый момент и второму — харьковчанину Заманскому, устроить себе временное пристанище в помещении, где хранился театральный реквизит.



Владимир Заманский (Влад), середина 60-х

Сейчас невозможно даже вообразить, что представляли собой торговые ряды, занимавшие квадрат между Ильинкой и Варваркой (тогда улица Разина) и ограниченные двумя перпендикулярными им переулками. Теперь это называется «Гостиный двор» и Михалков устраивает там съезды своих опричников, а тогда это были безнадежные задворки социализма в ста пятидесяти метрах от Красной площади. Огромное под открытым небом пространство, с вековыми двухэтажными стенами, в которых и за которыми прятались сотни помещений, принадлежащих организациям, сменявшим друг друга с унылой регулярностью. По внутреннему периметру шла галерея с когда-то элегантными, большей частью забитыми фанерой полукруглыми окнами. В отведенных под жилье Заманскому помещениях, бывших когда-то бухгалтерией и кассой унылых «Рогов и Копыт», имелось параллельно восемь разных проводок: каждый выезжающий обрезал свою, каждый очередной въезжающий проводил новую. Одних белых, похожих на эмалированные грибы, изоляторов из разделенной хлипкой перегородкой с вырезанным окном кассы комнаты мы выкинули около сотни. А весь внутренний двор, куда вход вел через единственное парадное с угла Ильинки, был скопищем учрежденческого и строительного хлама, который лень было вывозить, благо места для него хватило бы еще не на один въезд и выезд. Реквизиторские помещения находились в самом дальнем от парадного углу и представляли собой две, рискну сказать, комнаты с окнами на двор-свалку и целый лабиринт темных, лишенных даже признаков жилья помещений, где хаотично грудились какие-то ящики. Может быть, и с реквизитом. В одной из комнат с единственным целым окном и, видимо, более приспособленной для жилья, уже ютился, как было сказано выше, артист Боря Гусев, во второй, во что трудно и даже невозможно было поверить, предстояло жить Заманскому. Но в то, во что нельзя было поверить поодиночке, мы храбро и лживо поверили вместе, ибо рядом был Влад, которому изначально эта затея казалась безумием и аферой. Кто из нас был в этот момент большим Томом Сойером, красящим забор, не знаю, но мы довольно быстро содрали одну за другой все имеющиеся сети проводок и освободили подходы к перегораживающей жилище перегородке.

Так оно началось и продолжалось месяца три. Я приходил после, а иногда и вместо занятий в Университете, благо от Моховой это было рукой подать, Эмка освобождался со своих мосгазовских дежурств, и мы с ним вкалывали, осваивая одну за

другой строительно-ремонтные профессии. У меня был опыт стройки, хотя отсутствовали какие-либо навыки ремонта, а у Эмки вообще были золотые руки — он все умел, или по крайней мере мне так казалось. В один из дней, придя на «работу», я обнаружил, что развалившаяся полукруглая рама, с забитыми двумя пролетами и треснувшим стеклом в третьем заменена новенькой, или, точнее, целенькой, о которой Эмка сказал с максимально возможной беспечностью: «Свистнул у неизвестных соседей». Рама — это было то, что надо; теперь, защищенные от ветра, мы могли браться за шпаклевку и побелку. Мы уже были не одни — вдохновленные нашим трудовым энтузиазмом, к нам присоединились мой приятель Дима — художник из семьи Соколовых-Скаля и неведомо откуда взявшийся Зорик Хухим — будущий кинорежиссер, оказавшийся по совместительству электриком. Каждый делал то, что умел, но основную тягловую силу представляли все-таки мы с Эмкой. Время от времени после репетиций и перед спектаклем появлялся Влад, пытался «внести трудовой вклад», но не обнаружив ни здоровья, ни сноровки, болтался под ногами, только отвлекая нас от работы. Помню как-то — мы уже стали циклевать пол, пришел Заманский, взял у меня циклю и стал усердно и виновато шкрябать ею по загаженному не одним поколением арендаторов полу. Минут через пятнадцать скептического наблюдения за его успехами мы отобрали у него инструменты и Влад, вздохнув со скрытым облегчением, со словами «я тогда сбегаю» отправился за очередной поллитровкой, что и было единодушно одобрено. Выпивали мы, как истинные работяги, отработав очередной день, довольные сделанным и незаметно ни для себя, ни для окружающих, довольные друг другом.

Комната получилась на загляденье: белая келья монастырского толка, с полукруглым окном и с семью сводами, переходящими в небольшой потолок. Сводов было точно семь, потому что в самом конце, изобразив на каждом из них черный без теней контур обнаженной женщины, наш Соколов-Скаля вписал свой вклад в овеществленный таким образом лозунг «Восемь девок — один Влад». Можно было справлять новоселье.

■

Так мы с Длинным стали «мы», и во всю мою с тех пор почти пятидесятилетнюю жизнь у меня больше не было такого напарника, который не только не считал, а просто не обращал внимания, сколько и чего ты сделал, а приходил, видел, где находится свободная лямка, и впрягался, по возможности

взваливая на себя любое дело с комля, т.е. с более тяжелого, толстого конца бревна. Это было органическое Эмкино свойство, много раз потом в самых разных обстоятельствах проверенное и ни разу не давшее сбоя.

Для переезда у Заманского не было ничего. Буквально — одна подушка, одно одеяло и две пары постельного белья. И тогда мы решили обеспечить его хотя бы частью необходимого непосредственно на новоселье. Современниковская труппа только начинала свое победное шествие по экранам отечественного кино, зарплаты в театре были, мягко говоря, невелики, и поэтому мы раздали всей команде специальные приглашения следующего содержания: Дорогой имярек! Приглашаем тебя на новоселье Володи Заманского. Чтобы ты не ломал себе голову, какой подарок ты преподнесешь своему коллеге на навоселье, сообщаем, что пропуском на это мероприятие тебе послужат:

1) стакан или чашка (у всех),

2) штопор (у всех),

3)…вот эта часть у каждого была разная: от двух глубоких тарелок до кухонного ножа, от разводящего и шумовки до средней величины кастрюли, ну и так далее вплоть до стульчака для унитаза, который мы вписали в приглашение «фюреру», т.е. Олегу Николаевичу Ефремову.

Забегая вперед, скажу, что после новоселья Влад стал обладателем восемнадцати стаканов и двенадцати штопоров, а также значительного количества разномастной домашней утвари. Только стульчак ему потом пришлось покупать самому, потому что, к нашему с Эмкой глубокому огорчению, Олег Николаевич не счел нашу шутку удачной и принес какую-то хозяйственную фигню, испортив нам весь демократический замысел. С тех пор, причем иногда вполне серьезно, я утверждаю, что будущий раздрай в «Современнике» начался именно с этого места, с ложно понятого авторитета его вождем-основателем, художественным руководителем и режиссером-постановщиком.

Описываемое веселье я лично включаю в историческую хронику «Современника» как «Новоселье Заманского», и было оно последним, неизбирательным и ненатужным проявлением единства, праздником, устроенным для себя, а не для демонстрации врагам или вообще внешнему миру. В самой большой из глухих (без окон) комнат при тусклом свете двух лампочек под бумажными временными абажурами вдоль стен были постелены газеты, чтобы сидеть, и квадрат из газет в центре комнаты в качестве импровизированного стола. На этом «столе» все стояло ведрами: ведро вареной картошки, ведро кислой капусты, ведро соленых огурцов и ведро маринованных

помидоров, ну и остальное по мелочи — грибы, селедка, колбаса. На фоне этого непритязательного застолья совершеннейшей экзотикой выглядели принесенные Леликом Табаковым красные шейки каких-то ненаших, сверхкрупных лангустов. По контрасту запомнилось. А совсем недавно, встретившись на чьем-то дне рождении, я спросил у Олега:

— Помнишь?

— А то как же! Помню.

— Ну и откуда они тогда взялись?

— А гонорарий, Алексис, прямо с концерта и на новоселье.

Полного благополучия будущему дому Заманского мы не обеспечили, но позабавились от души.

■

Вскоре после этого появившаяся в жизни Влада любимая женщина, только что принятая в труппу того же «Современника» актриса Наташа Климова, первым делом не пожелала быть восьмой, и все семь красоток со сводов Владовой светелки были смыты или закрашены — уже не помню технологии — не мы делали. Кстати, мы с Эмкой были свидетелями на их свадьбе, и эту претензию Наташи на единственность вынуждены были, скрепя сердце, признать справедливой — такой неземной красоты была эта выпускница мхатовской школы-студии. Представляете себе Снежную королеву? Вот она и была Снежная королева и играла ее потом в фильме под тем же названием. С Владом мы продолжали дружить, хотя в нашей опеке он уже не нуждался. И ближайший Новый год после его женитьбы мы решили, разнообразия ради, встретить на Красной площади. Елки для Эмки, как и для многих актеров, были средством активного пополнения материального ресурса. Где в тот год работал Эмиль Дедом Морозом, я уже не помню, но полный наряд Деда Мороза у него с собой был. И в без четверти 12, с шампанским за пазухой, мы оказались на соседней с домом Заманского Красной площади. Было не холодно, в нишах под ГУМом толпились человеческие одиночества в количестве человек ста пятидесяти, в основном забытые гидами и переводчиками иностранцы и случайные командировочные, и появление на площади Деда Мороза было ими воспринято как вполне естественное, даже если некоторые звали его иностранным именем Санта-Клаус. С боем кремлевских курантов мы хлопнули по стакану шампанского, а в десять минут первого наш Дед Мороз уже водил по площади все пополняющийся хоровод. Эмка ведь не зря носил прозвище Длинный. Он возвышался над толпой, составляя естественный

центр нарастающего веселья. Влада с Наташей мы временно потеряли, тем более что Снегурочки из нее все равно бы не получилось. На исполнение роли массовиков-затейников мы себе отвели пятнадцать минут, намереваясь дальше двинутся вверх по улице Горького в гости, туда, где в Козицком переулке нас ждали в доме Игоря Кваши на посленовогоднее застолье.

Однако уйти оказалось не так просто. Хоровод уже включал человек пятьсот или шестьсот и, как оказалось, среди празднующих немедленно обнаружились и проверяющие.

— Направление комитета по культуре у вас есть? — доверительно поинтересовался вцепившейся в Эмкин левый локоть и широко улыбающийся субъект.

Дед Мороз величественно развернулся и громко, привлекая максимум внимания, сообщил: «Бумаги в порядке. Здесь смотреть будете или отойти — показать?» Субъекта смыло. Но с толпой было хуже, она зарядилась энергией новогоднего веселья и вовсе не намерена была нас отпускать. Сколько тогда шампанского принял Эмиль, он и сам потом сообразить не мог. Но много.

Не без труда удалось направить эту неожиданную демонстрацию в нужном нам направлении — вверх по улице Горького. Но вели нас под руки и нерушимо. Нам навстречу побежала маленькая группка освободителей: Влад, Наташа, кто-то еще из нежданно оказавшихся тут знакомых. Но попытки освободить Деда Мороза от его подвыпивших внуков и внучек, которые истово приветствовали нашу выходку, выдаваемую за нестандартную инициативу московского правительства, им не удалось. Деда Мороза держали крепко. И я у его правого локтя мучительно соображал, как нам улизнуть. Шуба тогда у меня была из искусственного волка, серая и просторная, и я решил этим воспользоваться.

— Длинный, снимай по одной дедморозовские одежки. Шапку последней!

Так постепенно растворились в толпе варежки, кушак, борода, халат, исчезая у меня за пазухой. И наконец рывок — и исчезла дедморозовская шапка. Толпа потеряв на мгновение свой главный ориентир, ослабила хватку. Воспользовавшись возникшим замешательством, мы рванули в переулок. Через 5 минут мы уже звонили в дверь Кваши.

— С Новым годом!

Это была, если память меня не подводит, новогодняя ночь 1963-го.

■

Мне, наверное, стоило бы Эмку представить, ибо среди моих личных знакомых он занимает самое известное место, а вот среди моих известных знакомых его лично надо как-то выделить. 186 или 187 сантиметров в длину делали его весьма высоким в нашем неакселерированном поколении, так что прозвище Длинный было просто констатацией его превосходства в росте, не более того. При этом биография Эмки была удивительно компактной — в ней все с чем-нибудь совпадало. Родился в день Сталинской конституции, 5 декабря, в один день с другим нашим ближайшим другом Виктором Сановичем, только один в 38-м, а второй — в 39-м. Такие совпадения преследовали его всю жизнь: мама — Галина Исаковна — родилась в один день с женой Флорочкой. Флорина мама появилась на свет одновременно с кем-то из Эмкиных ближайших родственников, и только брат его Игорь родился сам по себе, зато, будучи на год моложе Эмки, составлял с ним фантастический тандем: их путали даже довольно близкие люди. И были они у бабы Гали — так мы все звали их маму — как «два огромных крокодила, как их Галя уродила». Совпадений было еще, поверьте, больше, просто я не все уже помню. Да, и самое необычное совпадение: Длинный был женат дважды, но оба раза на одной и той же женщине, и свидетелями его были соответственно оба раза Санович и я.

Почти всю жизнь он прожил в одной и той же квартире на улице Подбельского, с мамой, тетей и братом, а отца помнил мало, хоть и умер тот уже после войны. Мама работала инженером, и достаток в доме был соответствующий: смолоду зарабатывал на себя сам. Однажды, так как подарить было нечего, он принес невесте в подарок праздничный флаг с улицы. И Флора сшила из него испанскую юбку для какого-то щукинского спектакля — она, конечно же, была вахтанговской студенткой. С той поры у поддатого Эмки появилась какая-то роковая тяга к похищению флагов. Мы, в одно из Седьмых ноября, вышли с застолья у нашей общей подруги, из дома на Рязанском проспекте, и пошли прогуляться по засыпанной глубоким снегом Москве. И Длинного в очередной раз понесло: он достал из гнезда красный флаг и пошел во главе нашей небольшой демонстрации, а мы с пением революционных песен — за ним. Впереди какой-то круглый сквер, и через него узенькая протоптанная тропинка на противоположную сторону. Вынужденно выстроившись в колону по одному, мы не успели сделать и десяти шагов, как на периметре сквера появился милицейский мотоцикл. Он объехал полсквера сбоку и остановился на противоположном конце нашей тропки. Свернуть было некуда, и мы, особо усердно распевая «Вихри враждебные», шли в руки милиции как бараны, ни

свернуть, ни убежать. А Длинный то ли машинально, то ли стыдливо сворачивал полотнище вокруг древка. И как-то мне это его поведение не показалось. Отговорившись общими усилиями от милиционеров «А если хочется что-то революционное спеть?!» и клятвенно пообещав вернуть флаг на место, я его спрашиваю:

— Ты чего знамя революции свернул в одночасье?

Длинный вздохнул и произнес не для всех, а так, чтобы по возможности только я слышал:

— Ну я бы убежал, у меня ноги позволяют, а вы тут что бы делали?

Флаг мы честно воткнули на место и пошли допивать, но уже без революционного энтузиазма..

Скромность наших достатков мы компенсировали изобретательностью. Во все яхтенные походы, например, мы брали с собой десятилитровую канистру с перцовкой, из которой с помощью чеснока, перца и набора трав и листьев я делал божественный (для выпивания на свежем воздухе) напиток под названием «Чумчара-Чайра». Откуда название — не скажу, придумалось как-то сразу и так и привилось. Перцовка, если кто помнит, стоила 2 руб. 12 коп. бутылка. Мы приезжали в магазин, где в этот день она точно была, брали ящик — 20 бутылок, девятнадцать тут же выливали в канистру; двадцатую, тоже тут же, распивали на троих (а то и на двоих), а бутылки сдавали продавщице, на что и покупали минимум немудрящей закуски. «Чумчара-Чайра» за те две или три недели, что мы ее на яхте возили, постепенно, с одной стороны, пустела, а с другой — крепчала, и последние капли ее на прощальном обеде или ужине вышибали слезу из самых серьезных питоков.

■

Когда мы с Эмкой познакомились, его молодой брат, Игорь отдавал гражданский долг. Эмиль так и остался должником, потому что был законченный белобилетник. Знаете, что такое порок митрального клапана? Я тоже не знал, пока однажды не улегся спать в тесном кокпите яхты рядом с Эмиль Абрамычем. Это было странное ощущение: у тебя как будто было два сердца: одно спокойно отсчитывало положенные ему удары, а второе крупно и неприятно стучало тебе в бок. Это было непривычно и тревожно, казалось, что второе сердце норовит выскочить наружу и срочно надо что-то сделать, как-то его надо сдержать.

Длинный не любил об этом говорить, он не любил об этом помнить, по крайней мере внешне. Он носил это в себе и жил так, как будто ничего этого не было. И так почти до сорока, когда

врачи сказали: «Надо, пора». И Эмка решился на одну из первой сотни операций по вшиванию искусственного клапана.

— Они говорят, что делать это надо, пока ты молод и здоров, — похохатывал он. Мы с мамой увезли его сына Аркашу в Эстонию, Флора безвылазно находилась при нем, в больнице. А пять лет спустя он умер от эмболии, оторвавшийся сгусток забил кровеносный сосуд и Эмки не стало. Это было на сцене, где он вел репетицию со студентами отделения музкомедии Школы имени Гнесиных. Умер счастливо — во-первых, на сцене, как и положено артисту, во-вторых, сразу, как от пули. Меня не было в Москве, пока я ждал поезда из Вильнюса, я впервые в жизни почувствовал, что настоящее одиночество — это когда разделить горе не с кем. И особенно горькой была дурацкая мысль, что если б я вызвал его сниматься в «Отряде», все могло вдруг да сложиться иначе.

Эмка в спектакле «Действо». Постановка Игоря Васильева, начало 70-х

Ведь Эмка снимался у меня, начиная с курсовой работы «Паруса и стены», снимался даже в документальных фильмах. Да-да, в первой моей самостоятельной работе, документальной картине о Л. О. Утесове для Эмки был придуман специальный эпизод, как на перекрестке одесских улиц человек спрашивает: «Где здесь живет Утесов?» И одни указывают ему направо, другие налево, а Дюк Решилье показывает верный путь, и мы попадаем в Треугольный переулок (ныне улица Утесова). Поскольку эпизод снимался скрытой камерой, собеседника себе выбирал сам Эмка, от точности его глаза зависело: получится эпизод или попадет в корзину. Так Длинный нашел такого колоритного Одессит Одесситыча, что тот увел его с площадки, и мы минут двадцать в полном неведении ждали. Вернулся он хохочущий и запыхавшийся. Уже не помню географических деталей, но, скажем, на углу Дерибасовской Длинный спросил избранную жертву: «Как пройти на Пушкинскую?». Тот по одесской традиции показал рукой (и тем выполнил задачу), но этим не ограничился, а, взяв Эмку за локоть, повел за собой в указанном направлении. И то, чего мы не могли слышать, с хохотом излагал вернувшийся к нам Эмиль:

— Это здесь, за углом, я, кстати, тоже иду в ту сторону. Так пойдемте вместе, и я попытаюсь по дороге угадать, зачем вам это нужно, — и увел артиста, совершенно не подозревая, что срывает нам съемочный день.

Мы с Эмкой на съемках моей курсовой «Паруса и стены». Третий слева — оператор Коля Васильков. Дубна, 1969 г.

Можно было это снять без Эмки? Разумеется. Но нам с Эмкой

хотелось вместе провести несколько дней в легендарном городе, все координаты достопримечательностей которого диктовал нам в Москве наш общий друг, коренной одессит, Марианн Николаевич Ткачев. Было это в семьдесят первом году.

В первой моей игровой полнометражной картине «Обыкновенная Арктика» Длинный играл пьяницу-радиста с фактории «Три креста» вместе с еще один моим дружбаном — артистом БДТ Мишей Даниловым, и с ним же играл и в следующей, уже не телевизионной работе, которая в девичестве называлась «Резервисты», а перед выходом на экран, волею политуправления армии, небезызвестным ПУРом, была переименована в «Вернемся осенью». Ну, а третьей по счету игровой моей картиной должен был стать «Отряд». Ведь мог же я вызвать Длинного и на «Отряд»? Ну не было для него роли, так сыграл бы какого-нибудь немца. И, может быть, жил дольше.

■

А яхта была, как теперь выражаются, вторым нашим совместным проектом, а по сути — выплеском нашей молодой энергии и, как ни странно, еще одним свидетельством наших более чем скромных материальных возможностей. Возникла она почти случайно: летом 62-го мы с Длинным решили вывезти на летний месяц еще неженатого Заманского и, не помню уже его матримониальных данных, другого современниковского артиста Витю Сергачева. Эмка утверждал, что взять лодку напрокат можно на Московском море запросто. Из этого и исходили. Приехали, выгрузились, взяли напрокат лодку, загрузились так, что с четверыми пассажирами села она почти по самые борта. И пока мы все это исполняли, на море поднялся, ну не шторм, конечно, но солидный ветерок, так что стало понятно, что на остров Б. — к цели нашего путешествия — мы на этом транспортном средстве точно не попадем, а затонем бесследно минут через двадцать, так никуда и не доплыв. А поодаль, под резкими порывами ветра, косо рассекали солнцем продутое пространство три паруса. Рано или поздно должны они были нас заметить, тем более что мы, энергично размахивая руками, их к этому понуждали. Так оно и случилось. Подошли. «Дракон» и две «Эмки». Ребята оказались местные, с завода, для них «Современник» был не реальность, а туманная московская легенда. Но вещи наши перегрузили в кокпиты яхт, лодку, заигравшую, зарыскавшую от облегчения, прицепили кончиком к корме, и так мы минут через сорок оказались на острове Б. В эти сорок минут и решилась наша судьба на долгие годы. «Эмкой», на

которой оказались мы с Длинным, т.е. парусной лодкой класса «М», командовал небольшого роста с кольцевым шрамом вокруг левого предплечья мужичок, нашего примерно возраста. Похож он был на два сейфа: средний и маленький, поставленный на него сверху на попа. Знакомясь, он протянул руку, похожую на крупногабаритный гаечный ключ, и сказал: «Валентин».

Так в нашей жизни появился капитан, Валентин Антонович Ерофеев, слесарь дубнинского завода, человек, навсегда излечивший нас от показного, демонстративного мужества и ставший для нас обоих средоточием черт, входящих в понятие «настоящий мужик».

Валентин Ерофеев (Антоныч) — капитан яхты «Халоймэс», 1964 г.

Чтобы надолго не отвлекаться от рассказа о Длинном, перескажу историю о том, как я одиннадцать лет спустя, уже пройдя с Антонычем все мыслимые и немыслимые приключения, решил снять его в одной из главных ролей в первой своей полнометражной игровой картине, в той же, где в эпизоде снимался и Эмка, в «Обыкновенной Арктике». Историю эту я

подробно описал когда-то в «Болшевских байках», напечатанных в журнале «Советский экран». Перескажу ее вкратце.

Среди девяти героев, полсценария запертых пургой в одном помещении, был охотник Воронов — «мужик немногословный, железного характера и выдержки». И вот на эту роль я Антоныча и пригласил. Валя — из тех людей, кто не собой быть не умеет. И почти вся роль с его индивидуальностью совпадала тютелька в тютельку. Внутренняя интеллигентность в Вале была, и артистизм, гармоничность внутреннего и внешнего были, но способности хоть на миг не быть самим собой или просто — разнообразия внешних реакций — у него начисто не было. Но я решил рискнуть.

На пробе (а пробовался Валя с Сергеем Юрским) мне нужно было вытащить из него взгляд, которым он не раз на моих глазах осаживал горлопанов, лезущих без очереди за водкой. И я, грешен, сказал Вале примерно следующее:

— Антоныч, он с тобой мягко стелет, а мне целый тарарам устроил, что я его, такого знаменитого, заставляю пробоваться с каким-то непрофессионалом.

Валя понял. Начали пробу. Сережа говорит текст. Валя смотрит в пол. Сережа еще говорит. Тут Валя поднимает глаза и вперяется в него взглядом, от которого Юрский вскакивает, как обжегшись, и забывает текст.

— Ты где такого взял? — сказал Сережа позже. — Какая игра, когда от одного его взгляда мурашки бегают.

Юрского мне на худсовете не утвердили.

А играл эту роль в картине Ролан Быков.

Долго, почти до самого конца откладывал я съемку, где Вале надо заплакать. Он сроду не плакал, а без этого нет роли, нет второй краски, объема. И вся его благородная и сдержанная мужественность, которая уже есть в материале, останется картонной декорацией.

В павильоне выстроена крохотная больничка. По ходу сцены Воронов в очередной раз заходит к доктору, которого играл Быков, чтобы услышать, что проклятый попутчик, навязавшийся ему в дороге, сам едва не погибший и едва не погубивший его, Воронова, своей беспечностью, слабостью, жадностью, лежит в отключке. И вдруг Воронов слышит, что Харченко этот очухался, будет жить. И Воронов молча, с каменным лицом выходит в тамбур, плотно закрыв дверь.

Доктора удивляет отсутствие радости у человека, который сам, едва встав на ноги, каждый день как заведенный ходит в больничку справляться о больном.

Доктор выглядывает в тамбур, а там плачет Воронов, плачет

и говорит: «Я его, гада, ненавижу, я теперь, когда он жить будет, своими бы руками задушил».

Ночь мы с Антонычем почти не спали, шарили по всей его и нашей общей биографии в поисках потрясений, которые могли бы ввергнуть его крепкоплечую психику в расслабление и сантимент.

Так мы и явились наутро на киностудию «Ленфильм». Перед съемкой подхожу к Ролану: «Как быть? Как мне выжать слезу из моего железного друга?» На что Ролан без колебаний отвечает:

— А никак. Разведи мизансцену, проверяй текст, а про это забудь. Это я беру на себя.

Посмотрел я на него, ну… на один дубль мне пленки не жалко.

— Мотор!..

…Доктор собирается в дорогу. Входит Воронов, спрашивает, как там Харченко, получает неожиданный ответ и, не дрогнув ни единым мускулом, кивает и закрывает за собой дверь в тамбур.

— Батенька, вы не поняли! — кричит доктор, бросается к двери, дергает ее на себя, и… моим глазам предстает рыдающий Антоныч. Слезы текут ручьями, и он, с трудом справляясь с голосом, выдавливает сквозь рыдания положенный текст.

— Стоп!

— Еще дубль?! — говорю я Ролану. И тут впервые вижу на его лице тень некоторого сомнения.

— Я-то — пожалуйста, — говорит Ролан. — Вот как насчет Вали?

Направляюсь к Антонычу. Он уже не плачет, но глаза красные и как-то старается держаться от меня подальше.

— Валя, а еще раз? Понимаешь, пленка ненадежная…

Второй дубль мы сняли. И тоже успешно. И только обняв после этого Валю, я почувствовал запах нашатырного спирта…

А дело было так.

— Ты своего друга любишь? — спросил его Ролан. — Ты хочешь, чтобы у него все получилось? — Валя кивнул положительно.— Ты когда-нибудь нашатырь нюхал? — Валя мотнул отрицательно (он вообще воздерживался от лишних слов и жестов). — Вот тут будет лежать вата с нашатырем. Закроешь дверь, прижмешь вату к носу и вдохнешь в себя столько, сколько сможешь. А потом, как дверь откроется, — говори. Только вату спрячь и текст не забудь!

■

Если слова «пустые мечтания» попытаться выразить пантомимически, а пантомиме этой придать еврейский акцент,

т.е. достав из-за прорези жилета большой палец, пренебрежительно соединить его с указательным и брезгливо отодвинуть образовавшуюся фигуру с главного направления на периферию, при этом, забыв про пантомиму, добавить пренебрежительное «А!» — это будет точное изображение смысла выражения «А писте халоймэс». Само по себе «халоймэс» в переводе с идиш означает «сны — мечты», оно значилось на борту нашей коллективной «Эмки» все два лета, пока зимой неуклюжий бульдозер, чистивший призаводской двор, не раздавил наш «Халоймэс» в щепки. От яхты осталась запись в регистрационном журнале, гласившая, что «Халоймэс — это греческий бог войны», и песня с припевом «А писте халоймэс», с которой я начал свои записи про Эмку, и тот огромный пласт жизни, который у меня с ним связан.

Отношение к яхте как к особой форме существования у нас с Длинным было сходное, но тем не менее разное. Длинный, всегда стремившийся к совершенству, считал себя обязанным освоить навыки управления яхтой и когда-нибудь совершить путешествие в качестве яхтенного капитана. Я же воспринимал яхту как школу смирения: я готов был выполнить любой приказ капитана, совершенно не имея в виду когда бы то ни было им стать. Поэтому в нашей судовой роли (если выражаться высоким штилем), а попросту в яхтенной жизни — Эмка был первым помощником или матросом первой статьи, а я — коком и замполитом, безо всяких посягательств управлять парусами и стихиями. Словом, у нас с Длинным была почти, а впрочем, почему «почти» — просто идеальная совместимость. Мы любили одно и то же, но разные его части: ну, к примеру, в вобле я любил хребет, а Эмиль — обгладывать ребрышки, я ставить — Длинный играть, я готовить — Длинный мыть посуду, и поверьте — это было счастье, когда быть кухонным мужиком наступала очередь Эмки — вся посуда, включая костровые ведра и котелки, блестела как новенькая. У Эмки не было стремления быть первым, ему больше нравилось быть лучшим, а это совсем не одно и то же.

Я так привык ощущать Эмкино плечо, что это довело меня до членовредительства: я сломал ему ногу. Случилось это в сезон, когда «Халоймэс» был только что раздавлен без шансов на восстановление, а мы яхтенным экипажем были приглашены опробовать только что построенную яхту «Адам». Построил ее наш знакомый — поэт Николай Панченко, строил во дворе писательского дома в Лаврушенском переулке, наращивая борта шестивесельного шлюпа, устраивая в этой надстройке большую каюту, подгоняя под вооружение нашей «Эмки», т.е. под ее мачту и ванты, которые, по счастью, не были уничтожены «могучим

ураганом» пьяного бульдозериста. Строил ее Коля с помощью своего четырнадцатилетнего пасынка Никиты — внука Виктора Борисовича Шкловского, на маме которого Коля был благополучно женат в результате эпопеи с выпуском «Тарусских страниц». Редактором сборника по линии калужского издательства, его выпускавшего, и был молодой поэт Панченко. После разразившегося скандала Колю из издательства выперли, зато он обрел на долгие годы замечательную жену, Варю Шкловскую и ее романтического отпрыска, знавшего в свои 14 уже чуть не всю запрещенную или забытую русскую поэзию. Этот его талант отзовется в нашей истории несколько позже.

Строительство лодки было для Панченко опытом новым, а об управлении лодкой он знал больше теоретически, поэтому уж во второй-то части мы твердо надеялись на Валю, который, чувствуя себя виноватым, что не уберег «Халоймэс», был готов к любым жизненным подвигам, но ограничен во времени, ибо жена Антоныча ждала первенца, и пойти с нами в поход он никак не мог. Еще не поставив парусного вооружения, мы перегнали «Адама» из Москвы в Дубну. По дороге эта самоделка продемонстрировала упрямо-угрюмый норов, ибо остойчивость ее была снижена из-за высоты наращенных бортов. Но мы рассчитывали на Валькин высокий класс управления и относились к недостаткам устройства более чем соглашательски.

Поставив «Адама» возле заводского пирса в акватории Московского моря, мы приступили к установлению мачты и другой оснастки. Вооруженный «Адам» напоминал першерона, от которого требовали ахалтекинского галопа, а он этому сопротивлялся. Учитывая, что вес «Адама» превосходил обычный вес «Эмки» тонны на полторы — толстые, из досок борта, восемьсот килограммов свинцовых чушек вместо килевой балки, — мы сразу же приспособили к нему небольшой моторчик, чего никогда не позволяли себе по отношению к настоящим яхтам. Третьим, кроме Эмки и меня, в этот раз шел с нами Игоряша Левин — Эмкин братец. Возились с вооружением долго, все было неуклюже и непривычно, но в конце концов справились, и «Адам» с Колей-капитаном впервые вышел в августовское плавание по островам Московского моря — нашему привычному маршруту. Мотор оказался для такого мастодонта маломощным и время от времени глох, то ли от излишнего напряжения, то ли оттого, что посажен был слишком низко, и любая волна забрызгивала ему свечи, и их надо было вывинчивать и сушить. На подходе к острову Б. у яхты полетела еще и краспица — это такая поперечина наверху мачты, через которую протянуты крепящие ванты. Надо было срубить мачту, чтобы восстановить краспицу. А

заодно кое-что понимавший в этом Игорь собирался перебрать мотор — для надежности. Да тут еще дождик пошел. Словом, презрели мы появившиеся за последний год на причале острова Б. предупреждения типа «Чужим не приставать» и пришвартовались к небольшому местному причалу.

Сидим, пережидаем дождик, мачта срублена, мотор разобран, возможность для самостоятельного движения — ноль целых хрен десятых. А сидит «Адам» глубоко, глубже дракона, хотя дракон — килевая яхта, но «Адам» и тяжелее его раза в полтора и, если сядет на мель… сталкивать его — мало не покажется. Сидим в каюте, задраен люк, ничего не видим, только слышим, как два холуйских голоса науськивают друг друга отвязать нашего «Адама», чтобы где не надо не швартовались, чтобы глаза разули, что на причале написано, чтобы наглость свою московскую в другом месте демонстрировали. А поскольку им из закрытой лодки никто не отвечает, то они, заводясь все больше, того и гляди перейдут к действиям. Я сижу ближе всех к люку. Отодвигаю его и вижу, как один из этих самозаводящихся шестерок отвязывает наш конец, а второй намеревается ногой оттолкнуть беспомощную, неуправляемую яхту.

Чувствуя Длинного за плечом, я одним прыжком выскакиваю из люка на палубу, а с палубы на пирс и… вместо того чтобы подтянуть к пирсу уже начавшую отодвигаться лодку, прыгаю на одного из этих негодяев и аккуратно «роняю» его на пирс. Говорю аккуратно, потому что мог его уронить на чугунный кнехт, но кладу рядом …И вдруг вместе с визгом «Неси ружье, они хулиганы!» не слышу ни шума второго падающего тела, ни какого-либо другого звука. Оборачиваюсь через плечо и вижу, как Эмкино лицо меняет цвет, и из загорелого становится мучнисто-белым. Он сидит на краю пирса, вторая нога в воде и не может больше двигаться. Словом, я оттолкнул прыжком лодку, а Длинный в результате не рассчитал усилия и одной ногой вскочил на пирс, а второй со всей силы об этот пирс ударился, и стопа его торчит перпендикулярно лодыжке. Шестерок-охранников смыло. Лодку я подтянул, и Коля на наших глазах решительно поставил Эмкину стопу на место. Как при этом Эмка не заорал и даже не выматерился остается только предполагать. Плюсна, как в дальнейшем обнаружилось, была сломана в двух местах.

Мы быстренько починили краспицу, приладили мотор, и задача у нас оставалась одна: немедленно доставить Эмиля в больницу. Тем временем на Московском море начинается шторм местного значения, но от этого никак не менее опасный для нашего груза — Эмки, который со своей болящей ногой

перелетает с одного борта лодки на другой. Вот тут уже начались нервы: Коля ошибается в командах, мы с Игоряшкой периодически оказываемся за бортом: я привык без критических тормозов исполнять каждую команду капитана Антоныча, сказано с левого борта — я встаю, а лодка между тем именно на левый борт и накренилась, просто Коля от напряжения спутал лево и право. А шторм на мелком Московском водохранилище опасен тем, что волны на нем, быстро отражаясь от берегов, теряют ритм «своих волнений»[19] и не позволяют приспособиться к их последовательности. Всю ночь мы пытались подойти к пирсу. Наконец совершенно вымотанные, мы бросили якорь, чтобы дождаться утра. За два часа, что мы спали как убитые, шторм стих, ветер переменился, и проснулись мы от того, что «Адам» било бортом о прибрежные камни в двухстах метрах от желанного причала.

Прежде чем мы подняли Антоныча и вызвали «скорую», извлеченный на берег абсолютно зеленый и не спавший ни минуты Эмиль успел сообщить нам, что Никита Шкловский проявил неземную эрудицию, читая Эмке стихи всю эту безумную и бессонную ночь. Когда лодка без всякой заметной логики в очередной раз валилась на противоположный борт, он, увлеченный чтением, забывал о безопасности и всем своим наполненным стихами организмом рушился на больную ногу потерпевшего. От чего приходил в ужас, плакал, но стихи читать не переставал.

— Очень эрудированный парень,— констатировал увозимый на «скорой» Эмиль Абрамыч, а мы остались на пирсе, возле которого телепался затонувший по верхнюю палубу «Адам».

Спустя два дня Эмка уже прыгал по пирсу на самодельном костыле, помогая нам латать прохудившийся борт «Адама». Там же мы отпраздновали рождение ерофеевского первенца Пашки. Кстати, по субординации вторым явился на свет год спустя мой Женька, а еще годом позже уже у Эмиля и Флоры родился Аркадий. Что же до ноги, то через месяц в Москве ее пришлось заново ломать, потому что в дубнинской больнице ее сложили неправильно.

■

Рассказывая о Длинном, я невольно рассказываю и о себе — так сильно и надежно переплелись любимые куски наших с ним биографий, что почти во всем, что с нами случалось, он в моей жизни присутствует больше, чем кто-то еще. В результате нашего первого совместного путешествия в Плес, мы перестали друг

друга проверять, и все, что предлагала жизнь в качестве испытаний, мы одолевали вместе: он знал, что буду делать я, я — что будет делать он, и это было нерушимо, и потому так трудно вычленить отдельную, его личную, реакцию.

Потом Длинный ушел из «Современника», ушел оскобленный до глубины души, но этот выбор — уйти, был его собственный, таков был характер. В любимом нашем театре в очередной раз взыграли студийные мотивы: труппу разделили на членов и кандидатов и в конце года проводили опрос всех членов относительно удачного или неудачного сезона кандидатов: кто как себя показал. Договоренность была джентльменская: проголосовали против — уходишь сам. Уволить-то права не было, так что делали это под честное слово. Кто-то из голосующих бывал объективен, кто-то вообще относился ко всей этой процедуре как к сомнительной: надо же оценить, как за сезон складывался репертуар, было ли кандидату, в чем себя показать, что считать состоявшимся, а что временной неудачей — словом, возможностей для «усмотрения» было более чем достаточно.

В тот год не прошедших голосование кандидатов было не то четверо, не то пятеро. И один из них был Эмиль Левин. Все, кто не прошел, остались в театре на испытательный срок, и только Эмиль забрал из театра свою трудовую книжку, искренне считая, что честное слово — вещь сугубо материальная. Ровно через год от этой идеи отказались как от излишне революционной, потеряв заодно и никакому голосованию уже не подвергавшегося Влада Заманского, который ушел, потому что эта история его оскорбила своей несправедливостью. Там было не только это, но это было главным. Я тоже тогда «отпал» от «Современника», хотя с каждым из современниковцев сохранил дружеские отношения, из чего следует, что не только «сумма нулей — это очень грозная цифра», как учил философ нашей юности Станислав Ежи Лец, но и сложение положительных величин может дать отрицательную сумму. Бывает и так.

Вы меня спросите: «А какой актер был Длинный?» А я вам отвечу: «Надежный». Понимаю, что применительно к актерскому делу это не лучший комплимент, но ведь актер — это судьба, и складывается она из таланта и ролей, в которых этому таланту удается реализоваться.

Это, знаете, как в футболе: победа команды выше личного успеха — для Эмки это было законом жизни. Это было и в спектаклях Театра в комнате, где они разрабатывали новые принципы актерского существования вместе с Игорем Васильевым, актером «Современника» и МХАТа, тоже ныне ушедшим. И в спектаклях Московского областного театра драмы,

где он был, как принято выражаться, «актером первого плана». И в кино, у других режиссеров, очень Эмку любивших, отдававших ему должное, но всегда приглашавших на маленькие роли. Может, и поэтому его всегда тянуло в педагогику.

Однажды, на станции метро «Площадь Маяковского», не помню уже зачем, мы пристали к Эмке с просьбой: «Изобрази иностранца». И Длинный вдруг преобразился весь, походка, пластика, взгляд, изменился даже центр внимания: с вечно мучающего его расслабленного животика перенесся на тяжелый квадрат челюсти. Перед нами стоял величественный американец, и если б он заговорил по-английски, мы нисколько б не удивились, — так это было зримо и убедительно. Так что какой он был актер — только богу известно. А реализовался он в преподавании: учил других тому, чего не смог осуществить сам. И любителей — в клубе им. Русакова, и профессионалов — в Гнесинке, и даже меня, хотя я не артист, научил выискивать этот самый «центр внимания» — ту точку, сосредоточенность на которой невольно определяет всю пластику персонажа. Согласитесь, пластика человека, который постоянно помнит про свой нос, совершенно не похожа на пластику человека, которого мучает экзема на кисти правой руки. Это было его открытие, сделанное во время репетиций Сирано де Бержерака еще в «Современнике».

А вы как-нибудь проверьте это сами. Это очень просто: выйдите на улицу с длинным тростеобразным зонтом в хорошую погоду — вы сразу почувствуете, как изменился центр вашего внимания.

■

Встань, товарищ, лицом на юг,
Пусть к лопаткам прижмется Север.
Люди только тогда поют,
когда счет не ведут потерям.

За плечами печалей груз,
И, нимало не беспокоясь,
Каждый день мы выходим в путь
Остальное — а писте халоймэс.

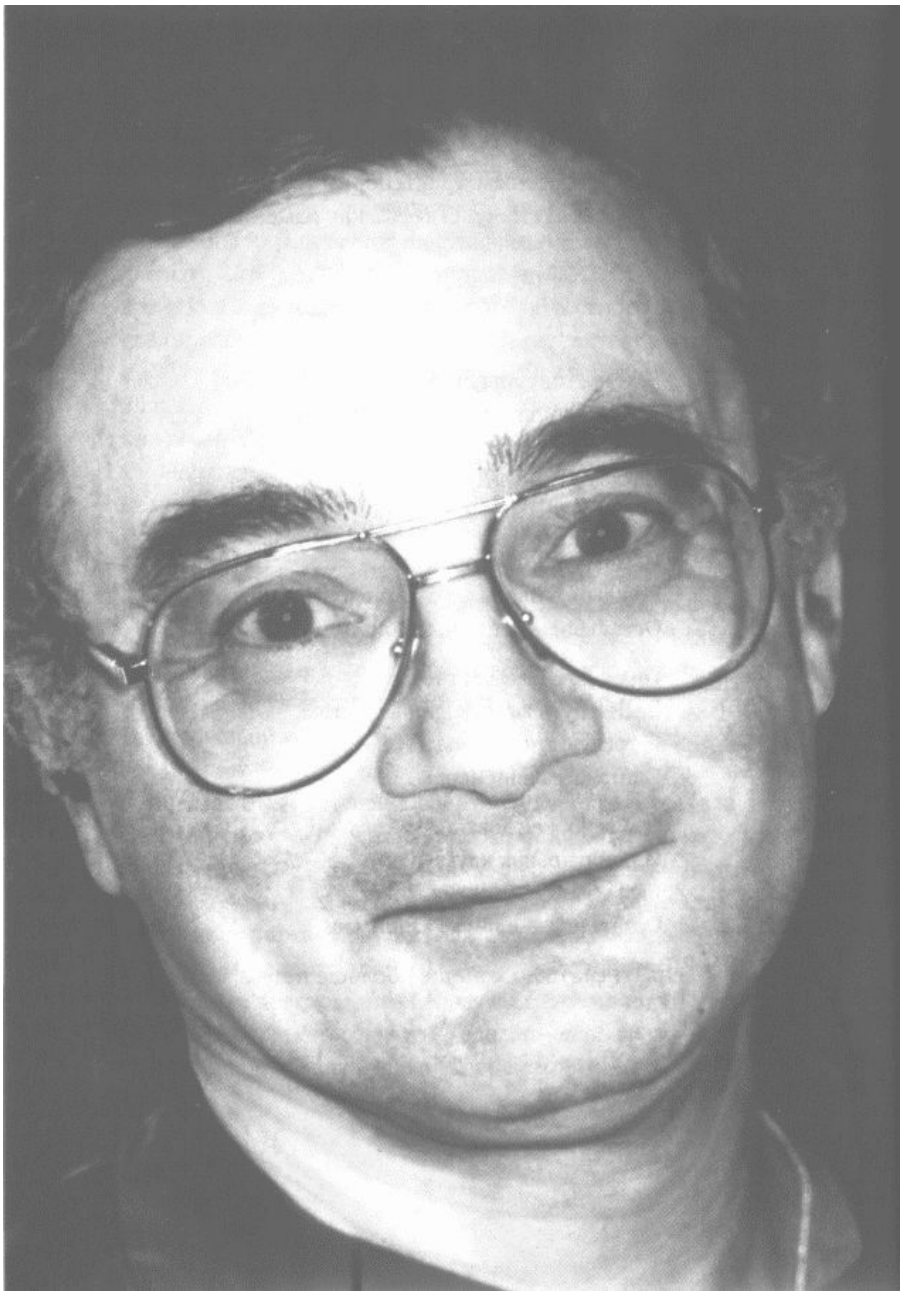
Горек пот, и земля тверда,
Если в путь ты выходишь первым.

И тоскуют по проводам
Одинокие наши нервы.

Это ясно, как дважды два,
И понятно, как круглый глобус —
Была бы только мама жива.
Остальное — а писте халоймэс.

Вот и вся песня. И спета до конца. И больше нет ее. Такая история.

О Симоне Маркише



Это лучшая фотография Маркиша, какую я знаю. А вот датировать ее не могу

Мы были почти однофамильцы: он Симон, я — Симонов, мы

были почти ровесники: ему было бы 75 — и его уже нет, мне 70 — и я еще есть. Мы были почти соседи: я жил на Зубовской площади, а Симон — на Девичке, за клубом «Каучук». Когда познакомились, были, без всякого «почти», коллеги, только я был коллега начинающий как редактор и переводчик, а Симон в этом деле всегда был мэтр, тут уж вообще никакого «почти» — только почтенье.

При этом он был безудержно живой, лишенный величавости мэтра, похожий на бойцового петушка, с закинутой кверху остроносой головой и хохолком волос над большим круглым лбом. И жесты его походили на мах куриных крыльев — резкие и короткие, словно бы не законченные.

Многознание жило в Симоне легко, необременительно для окружающих, может быть, еще и потому, что время, выделяемое для общения с друзьями, было специально отведенным, набивалось этим общением до отказа, и это и были главным образом моменты, когда мы виделись. Среди его друзей тех лет, а это была середина шестидесятых, помню Саню Каждана — массивного плотного историка в потертой коричневой кожанке, блистательного забияку, и известного зануду Марлена Коралова — критика и бывшего зэка, и всегда присутствовавшего, увы, не на наших посиделках, а в своем Ленинграде, но постоянно ощущаемого рядом Сережу Юрского — главного сердечного друга всей Симиной жизни. Был еще кто-то, но то ли не с таким постоянством, как вышеназванные, то ли память моя дает сбой. И вот Симина четверка, объединившись с нашей тройкой, устраивала пивные балы.

Наша тройка — это Виктор Санович — блистательный японист и эрудит, мой товарищ по восточному факультету МГУ, который пришел работать в Гослит «еще при Маркише» и который нас собственно и познакомил, и Эмиль Левин — в то время актер «Современника».

А пивной бал — это большая батарея бутылок светлого пива (темным мы пренебрегали, и это, у меня по крайней мере, так по сию пору), то есть «Жигулевского», «Московского», а иногда, если кому удавалось достать, только что появившегося «Двойного Золотого» в витых коричневых бутылках, а также и пивные закуски, где каждый в меру своих кулинарных способностей и временных обстоятельств, изощрялся по-своему.

Женщины на пивные балы приглашались в порядке поощрения, и было их одна-две в поле зрения, и то редко. Они, как правило, молчаливо украшали наше разливанное гулянство, ибо беседы на балах велись в основном о всемирном — истории или литературе, но с размахом и веселым подначиванием друг

друга на предмет глубины погруженности в обсуждаемую тему. Отсутствие остроумия приравнивалось к малому знанию, зато подчас, особенно когда речь заходила о нас с Эмкой Левиным, остроумие могло заменить знание большое, что не осуждалось и, пожалуй, даже не обсуждалось. Умение красиво сказать в этом общем трепе ценилось и награждалось правом выпить лишнюю кружку, что среди моря пива не было серьезным призом.

Происходили эти балы главным образом у Симы в его маленькой квартирке, где он жил с бабушкой, нежно и преданно любимой за то, что в отличие от жившей где-то возле Белорусского вокзала мамы совершенно не вмешивалась в дела и развлечения внука. И это высоко ценилось и им, и всеми нами, его пивными гостями. Симон, кстати, любил бабушку отнюдь не только за это. Огромная и нескрываемая к ней нежность его буквально распирала, и «бабуля», и «бабуленька» в глаза и заглазно звучали в его устах постоянно. Решение уехать из страны Симон принял сразу после бабкиной смерти, закрыл дом, и до самого его отъезда мы уже не устраивали пивных праздников. Как-то очень сильно радость жизни была завязана на это чувство и, оборвавшись, сильно и навсегда его переменила.

Еще помню, что сына своего Маркушу воспринимал Маркиш с веселым недоумением: ишь какой вымахал! Или — надо же, какие успехи! Или — откуда что берется, не иначе фамильные качества проявляются… Ибо сын с ранних ногтей был приходящий, в доме жены оставленный и там же воспитуемый, близкий, но чужой. Не случайно, наверное, любя и уважая друг друга, один пришел к иудаизму, а второй стал христианским священником.

Вообще одинокость была Симону присуща как качество характера, а не как обстоятельство жизни, так что пивные вечера были, скорее, исключениями из общего порядка времяпровождения, и нам, мне в частности, невероятно повезло, словно довелось общаться с Шостаковичем не на концерте или консерватории, а на любимом им футболе.

Симон был человеком сердечным, но не душевным, во всяком случае в нашем обиходе, то есть его отношения с людьми проходили через сердце и были сильными и искренними, но не имели заметных внешних проявлений. Из-за этого единственный Симин роман, который мне довелось наблюдать, окончился ничем, принеся ему много сердечной муки. Они, с этой молодой и очаровательной женщиной никак не могли дождаться друг от друга каких-то важных каждому слов, через которые могли бы почувствовать истинное отношение друг к другу. Роман угас по недоговоренности, по недовысказанности, внешне выглядевшими как недостаточное взаимопонимание. Видимо, каждый таил в

себе обиду на холодность своего избранника или избранницы. Так из этого ничего путного не вышло.

В 66-м мы с Симой чуть не стали соавторами. Возникла идея опубликовать в Восточной редакции Гослита, всемирно известный к тому времени, роман Кацетника «Дом кукол». Был такой странный либеральный момент перед Семидневной войной, и его надо было ловить. Книга у нас имелась только в английском переводе. Надо было получить разрешение автора на перевод с перевода, и эту миссию удалось возложить на моего отца, ездившего именно в 66-м в Израиль. Тогда с контактами было строго. Но согласие мы получили. Совет держали с Симой и Витей Сановичем, и Симон сказал: «Как только найдем автора для предисловия, делим книжку натрое и переводим: Витя Хинкис, я и ты. Чтобы в полгода она вышла». Так вот, чтобы было понятно: пусть завышенная, пусть авансом, но это была самая высокая оценка моих переводческих способностей, какую я слышал за всю свою жизнь. Но сперва не нашлось серьезного автора для предисловия, а нужен был, как тогда говорил «паровоз», а теперь говорят «человек-крыша», потом началась Семидневная война, и вопрос о переводе отпал. И если по жизни самая высокая моя оценка — «лучший пекарь Сунтар Хаяты» (работая мальчишкой в экспедиции, я классно научился печь хлеб), то в переводе — я чуть не стал соавтором Маркиша и Хинкиса. Если кто не помнит Хинкиса — это и Фолкнер, и Джойс, и многое другое столь же сложное и высокое.

Уехал Симон и просто, и сложно. Так совпало: жена — венгерка, физик по образованию, и переезд Симы в Венгрию. Жену я знал шапочно и думаю, не мне одному показалось, что кроме иных привтекающих обстоятельств, это был еще способ без скандала тихо слинять. По Симиным взглядам непременно оказался бы он в диссидентском котле, а окружение из будущих диссидентов и так у него было. Словом, Симон уехал, там выучил венгерский, потом перебрался в Швейцарию, и вся эта его очень нестандартная венгерско-швейцарская эмиграция уже проходила далеко от нас с редко доносящимися отголосками, тем более что и после его отъезда еще больше десятка лет визит за границу был либо льготой, либо экзотикой, либо, конечно же, службой, но это к Симиным друзьям отношения не имеет. Общались редко: то Юрский привезет записочку, то коротко и ненадежно по телефону. Но одно я знал твердо: в одном из разговоров, уже из Швейцарии, сказал мне Маркиш, что если я когда-нибудь окажусь на географически приемлемом расстоянии от Женевы, он приедет повидаться.

Лишившись возможности переводить на русский классиков,

Симон сначала стал о них писать, и его книжку об Эразме Роттердамском я прочел, но дальше наши вкусы сильно разошлись: Симона интересовало еврейство в русских писателях, в то время как меня оно мало занимало, и я, может быть, по невежеству, ставил его штудии этого рода в один ряд с литературными опусами Аркадия Львова о еврейском в Мандельштаме и Пастернаке. Мне все это казалось специфическим и не очень правильным сужением фронта исследований, хотя повторяю, здесь мой голос мало что значит: отвергнуть то, что не до конца понимаю, я не решаюсь. Ну, словом, как интеллектуальный эталон я Симона отчасти отверг, тем более что продолжать знакомство на бумаге — для человека, с которым ты по-братски пил пиво и закусывал чесночными сухарями, — все-таки не в коня корм.

И вот наступили перемены. В 85-м меня после более чем двадцатилетней паузы выпустили за рубеж, но все невпопад: Польша, Венгрия, Югославия, Штаты. Наконец в 92-м я оказался в Брюсселе, и расписание на ближайшие два дня у меня получилось совсем свободное. Жили мы в гостинице, такой невообразимо крохотной, что глаголы «выйти» и «помыться» были пространственно несовместимы. Победив вечно сопротивляющийся мне европейский телефон, я дозвонился до Женевы:

— Брюссель? Далеко. Дай подумать, — сказал Симон после недолгого обмена восторженными вздохами и ахами. — Карту посмотрю и перезвоню.

Минут через пятнадцать он перезвонил, и мы договорились встретиться на полпути. В итоге через два дня один приехал из Женевы, второй из Брюсселя, мы встретились на вокзале в Люксембурге, потом пошли в индийский ресторан, где наш русский язык вызвал веселое недоумение у польской официантки, и два часа два еврея проговорили наконец о России и о том, что там происходило. Так мы увиделись через 20 лет. Воистину встреча эта имела «международное» звучание.

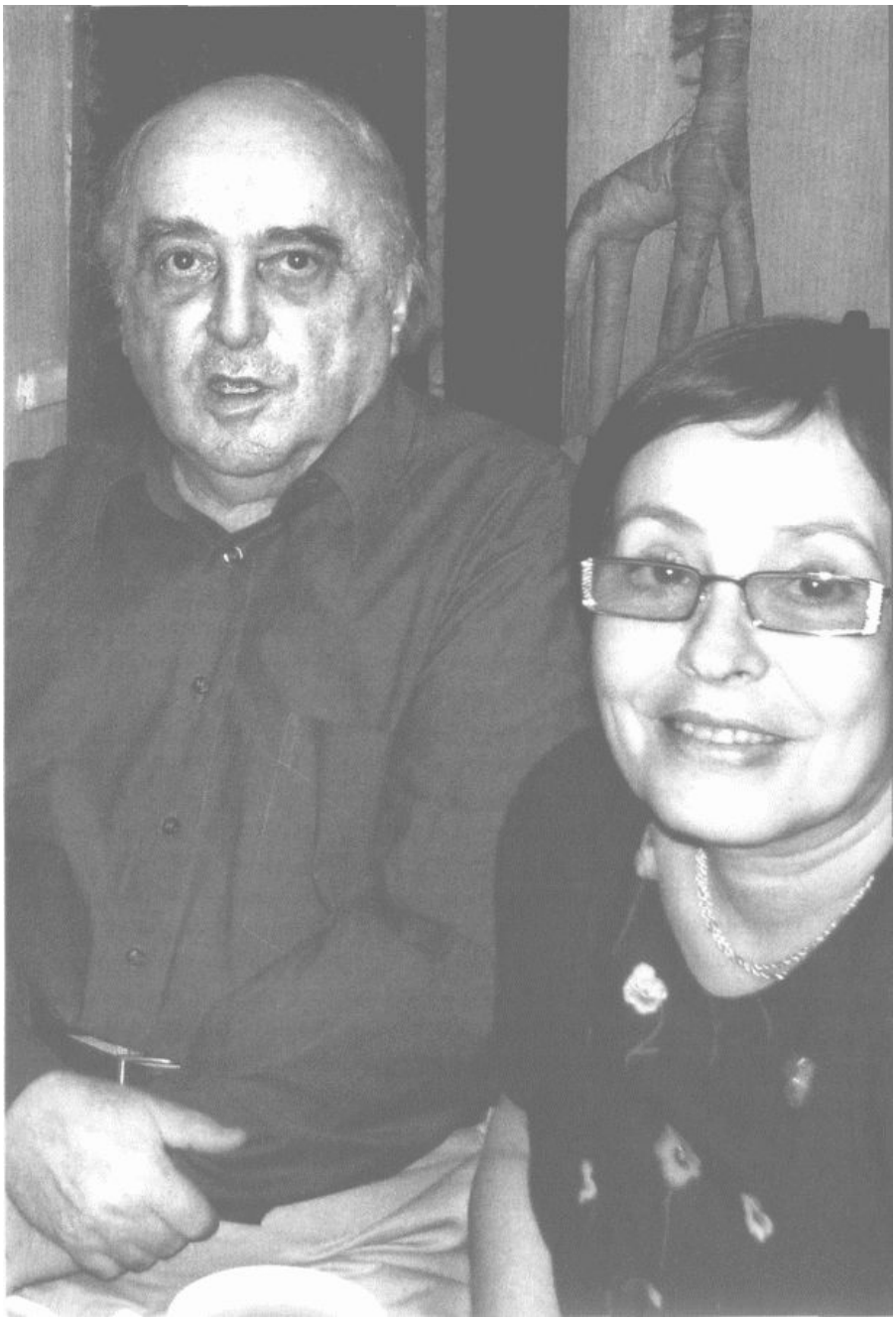
С таким мы с ним встретились в Люксембурге в 1992 году

Последний раз я видел Симона в Будапеште, за два года до его смерти, был у него в квартире, где он жил с другой уже женой, но тоже венгеркой, где он поил меня за эти годы лишившимся привкуса экзотики шотландским виски, а закусывали мы вкусной венгерской салями. На следующий день прошлись с ним по старым кварталам Будапешта, где жили когда-то и теперь еще продолжали жить евреи, и Сима рассказывал в подробностях и деталях о разных сохранившихся жилых домах, гимназиях, хедерах и синагогах. И это было очень интересно, но по непривязанности к моей повседневности, к проблемам Фонда защиты гласности совсем не осталось в памяти. Я же не знал, что вижу его в последний раз. Если б знал, я, наверное, запомнил бы больше из его рассказов. По ходу дела он с кем-то здоровался, кого-то о чем-то спрашивал по-венгерски и вообще производил впечатление вполне обустроенного, но все-таки гостя. И одно ощущение бередит мне память: Маркиш — в недавнем прошлом блестящий женевский профессор, всемирного значения писатель

и переводчик, значительный и своеобычный филолог, словно бы сжался до масштаба Швейцарии или Венгрии, и я, всю жизнь смотревший на него снизу вверх, как-то утерял эту способность.

Попытавшись не только понять, но и разъяснить это ощущение, я рискую влезть в такие дебри, что это короткое воспоминание разрастется до культурологического трактата. Поэтому ограничусь тем, что написал.

Одессит, у которого был вьетнамский бог



Марик Ткачев и его жена Инна у меня в гостях, 2006 г.

Я знаком был с Марианном почти полвека, дружил — больше

сорока лет, я один из немногих, с кем он за все эти годы ни разу не поссорился, а может, и единственный, если не считать Эмки, ушедшего из нашей компании первым — больше двадцати лет назад. Так вот, самое трудное, начиная писать о Марике, это найти дистанцию. Это вообще самая главная загадка, когда пишешь о близких: понять, где ты сам, откуда ты глядишь на ваше общее прошлое, примитивно говоря, сверху вниз или снизу вверх, мешает ли тебе Есенин со своим «лицом к лицу — лица не увидать» или не имеет здесь и тени голоса. Как размещены в поле памяти другие фигуры вашей общей жизни, отчего зависит их масштаб и влияние на все с вами произошедшее. И если жизнь и отношения в этой жизни тянутся почти полвека, скорее всего, одной, избранной для мемории, дистанции просто нет, если писать что-то вроде воспоминаний, а не литературное эссе.

Ну, скажем, 17 мая 1984 года умер наш общий друг Эмка — Эмиль Абрамович Левин — артист «Современника», лучшего, студийного, его периода, когда еще не было синклита звезд, а звездой — несравненной, с острыми, постоянно цепляющими сознание лучами, был весь театр — от Ефремова до последней билетерши. Так вот, Марианн не только каждое 17-е бывал на Ваганьковском, он ходил туда один или с братом Эмиля, Игорем, когда душа подсказывала, ходил с метелкой и лопатой, с обязательной рюмкой и поминальными палочками.

А я на могилу Марика не приду, потому что Эмка умер, когда мы все были, а Марик ушел, когда уже никого не стало и везти его пепел в Одессу было не к кому. Похоронить в Москве не успели, потому что через полгода после его смерти погибла Инна, его вдова, и в конце концов Иннин сын Миша, приехавший из Америки, увез прах мамы и отчима к маминым родичам в Астрахань и захоронил там, и ходить к ней и к нему будет кто-то другой, если будет, а я туда уже не попаду в этой жизни.

Значит ли это, что Марик любил Эмиля больше, чем я Марика? Да нет, просто на человеческую жизнь не хватает одной таблицы измерений, а если подумать, то и трех, и четырех — все равно недостаточно.

Первый раз я увидел Ткачева в Институте восточных языков при МГУ в 1958 году, он там преподавал, а я учился, хотя разница в возрасте была не так уж и велика. На этой почве учения мы с ним не пересекались, но с близким его приятелем, Дегой Витальевичем Деопиком, мы столкнулись лбами на первой же его лекции на моем первом курсе, с тех пор и запомнили друг друга. Не заметить рядом с ним Ткачева было невозможно, ибо Марианн Николаевич в те годы был фигурой экзотической. Начать с того, что ходил он всегда в костюме-тройке, рубахи носил однотонные,

преимущественно темно-малиновые и галстух (сознательно употреблю старомодную орфографию) бабочкой. Во внешности его было нечто восточное, чуть сладковатое, что было обманчивым впечатлением, усугублявшимся совершенно фантастической прической. Дело в том, что Марик рано начал лысеть, и это было его тайной душевной занозой, и должно было пройти лет 30, пока он окончательно сдался и смирился с этой особенностью своего облика. А в то время он с этим пороком боролся, отращивая с одной стороны большой лысины длинную, сантиметров в двадцать, гриву и прикрывал ею, причудливо уложенной, центральную проплешину.

Я совершенно не помню, как мы с Ткачевым сошлись и на почве чего, хотя и имею некоторые подозрения, как это могло случиться. Но первое впечатление от этой экзотической фигуры помню дословно, ибо походил он на голубого, что было глубочайшей несправедливостью и не имело под собой никакого основания, но узнать это мне довелось чуть позже.

Из уроков ботаники я помню, что есть такой процесс перекрестного опыления, так вот в облике Ткачева перекрестно опыляли друг друга два понятия: английский джентльмен и одесский босяк. Правда, босяк не натуральный, а, скорее, бабелевский, не лишенный изысканности. В результате получался одесский джентльмен, каковым и был Ткачев, сохраняя в своей внешности родовые признаки изначальных понятий. Подозреваю, хотя и не помню, тем более в подробностях, что первые прочные контакты с Ткачевым у нас возникли весной 1963 года, когда я пришел на практику в восточную редакцию Гослитиздата, располагавшегося на Новой Басманной против сада Баумана.

В этом четырехэтажном здании на четвертом этаже размещалась редакция восточных литератур, которую возглавляла Тамара Прокофьевна Редько, умнейшая женщина, вся из кругов и овалов, без единого угла или прямой линии, Ткачев был молодым, но желанным автором, а я врио младшего редактора. Именно там он напечатал (если память не изменяет, в «Восточном альманахе») повесть То Хоая «О кузнечике Мене», с которой и началась его переводческая слава. Тогда это было лучшее издательство во всем СССР, туда ходили — пешком — Андроников и Шолохов, молодой Бродский и старый Светлов, Пастернак и Заболоцкий, там работали такие корифеи, как Симон Маркиш, и печатались такие гении как Витя Хинкис. Лифт там возил только снизу вверх, поэтому когда на четвертом этаже я увидел величественную даму, безуспешно пытавшуюся открыть дверь лифта, то, не узнав и ничего еще не сообразив, ринулся вниз. И только поднимаясь в кабине на этот четвертый этаж, где-

то между вторым и третьим понял, что я, как портье при гостинице, доставляю карету лифта Анне Андреевне Ахматовой.

Гослит был советским учреждением, но как почти все советское, связанное с литературой и тем более с классикой, у этой советскости был отчетливо гуманитарный оттенок, допуск, прибавка вечного к кондовым принципам современности. Это был все-таки заповедник, и Ткачев, и я, никак не связанные с редакцией советской литературы, где, несмотря на симпатичность и человеческую приятность редакторов, все-таки процветал дух литературы секретарской, были почти вольные, и это нас сблизило, сравняло в возрасте, дало возможность оценить друг в друге выношенные по отдельности независимость в суждениях и непредвзятость оценок в том, что каждый по отдельности делал.

В Гослите Марик напечатал все лучшие свои переводы. Для Гослита он написал самые интересные свои предисловия и статьи. Там мне случилось быть его редактором. В редакционном плане стояло переиздание книга Нгуен Хонга. Переводил ее Ткачев, а предисловие мы решили заказать человеку, который был не только душевным другом Марика, но его культурным ориентиром, литературным эталоном, образцом недостижимым по чувству достоинства, юмора и вкуса, одним словом, должен был приехать Нгуен Туан, которого — единственного — Марианн звал «Старик» и которого до самой своей смерти поминал в каждом сколько-нибудь продолжительном разговоре, кстати и некстати, но с неизбежной тоской, как мать вспоминает о рано умершем ребенке, представляя его живым и шаловливым.

Жили мы тогда по-соседству. Ткачев с первой своей женой Ирой снимал комнату в одном из писательских домов-кооперативов на Красноармейской, соседнем с тем, где жил и я. Так что за процессом работы над романом Хонга «Воровка» я наблюдал с близкой дистанции и постоянно торопил не укладывавшегося в оговоренные сроки переводчика. Ткачев тоже поспешал, ибо по предыдущему опыту уже хорошо знал, что с приездом Нгуен Туана всю свою работу ему придется оставить — на нее попросту не будет времени. А Туан приезжал на довольно долгий срок, чуть не на месяц, так что план был такой: Ткачев заканчивает переделки, из приехавшего Туана мы выжимаем небольшое предисловие, Марик его успевает перевести, а Туану мы успеваем заплатить несколько дополнительных рублей, которые лишними у этого выдающегося гуляки точно не окажутся.

Такова была, пользуясь любимым выражением Ткачева, стратагема.

Да, забыл сказать, что «окучивание» приезжающих

вьетнамских писателей входило в те годы в прямые обязанности Ткачева, служившего в Союзе писателей, в Иностранной его комиссии, консультантом по Вьетнаму. Всякий консультант, даже тот, кто служил в комиссии не только по этому делу, являл по отношению к приехавшим писателям один из ликов божества. Но только Ткачев и только Нгуен Туана оберегал, как вьетнамского бога, баловал его, как отец, благоговел перед ним, как сын, и блюл его интересы, как дух святой, — такие были между ними отношения.

Надо отметить и еще одну — типичнейшую — черту в отношениях между консультантом и приезжими писателями-гостями. Часть программы согласовывалась и официальные визиты к секретарям Союза или писателям — членам соответствующих обществ дружбы — оговаривались в расписании заранее, а все остальное время писатель, тем более не говоривший не только по-русски, но и не сильно подкованный в одном из европейских языков, оказывался, в сущности, в вежливой, но кабальной зависимости от своего консультанта-переводчика.

Так и вижу в Дубовом зале цэдээловского ресторана уединенные группки иностранцев за отдельными столиками, где любой проходящий писатель — желанный объект, где его представят, нальют рюмку, расскажут, с кем он тут сидит, какие удивительные писатели оказались его не то гостями, не то хозяевами.

С ткачевскими вьетнамцами такое случалось крайне редко, потому что были две причины тому, что за его столом случайных людей почти не было. Первое: за время работы в Инокомиссии Ткачев выезжал во Вьетнам больше пятнадцати раз и всякий раз вывозил туда отборных людей: во Вьетнаме перманентно воевали и случайно оказаться на этой войне или хотя бы возле нее у праздных писателей-туристов не хватало ни духу, ни меркантильного интереса. И, во-вторых, у Ткачева все его личные друзья были, если так можно выразиться, заточены под общение с вьетнамскими писателями, ибо переводами, рассказами, байками, воспоминаниями, восторженными и ироническими, он держал нас в курсе происходившего за тысячи верст от Москвы, потому что это — тоже — в московской повседневности было частью его каждодневной жизни. Друзья, приходившие к Марику домой, погружались в рассматривание интереснейших коллекций древних ритуальных предметов вьетнамского быта и уникальной коллекции храмовых игрушек, фигурок, которые Ткачев собрал за годы своих постоянных поездок во Вьетнам. Поэтому рядом с То Хоаем или Нгуен Динь Тхи, с Хонгом или Туаном оказывались

люди, так или иначе причастившиеся вьетнамской культуры, вьетнамской кухни, ткачевского обаяния и живого, сочувственного интереса к писателям воюющего народа. Кого вывозил Ткачев? Михаила Луконина и Константина Симонова, Евгения Евтушенко и Аркадия Арканова, Аркадия Стругацкого, Георгия Садовникова. Словом, то, что Марик умел душевно заинтересовать Вьетнамом крупных советских писателей, сделало вьетнамское направление в деятельности Инокомиссии СП одним их ведущих.

И еще одно, сугубо профессиональное, качество Марианна, которое здесь необходимо упомянуть. В комиссии вообще работали энтузиасты своих литератур и первоклассные знатоки иностранных языков. И все-таки на общем, очень высоком, языковом уровне искусство Ткачева как толмача было несравненно. С ним мог состязаться в этом только наш общий приятель Влад Чесноков, блистательный толмач с французского. Кстати, поскольку приезжавшие вьетнамцы в большинстве своем неплохо владели французским, Влад также был частым нашим собутыльником. Я употребляю слово толмач для обозначения важнейшей из ипостасей переводческой профессии — устного перевода. Перетолковывание одной речи на язык другой — это искусство не всегда доступное тем, кто уверенно себя чувствует в письменном переводе, и заметно отличается по технологии от перевода синхронного, требующего отдельных и специальных приспособлений психофизики. Так вот Ткачев был несравненным Толмачом, пишу это слово с большой буквы, потому что за любым столом, где мы беседовали с вьетнамцами, всегда царили веселье, непосредственность, дух единения и возникала иллюзия взаимопонимания за пределом языкового барьера. Птичий клекот вьетнамской речи, со всеми подъемами и спусками, в устах Марианна звучал просто, изыскано и естественно. И самое главное, что я знаю не с чужих слов, ибо мне самому не раз приходилось выполнять подобную работу, Марианн умел переводить юмор, а по большому счету это и есть высший переводческий пилотаж.

Ткачев переводит отцу с вьетнамского на встрече в Радиокомитете. Ханой, 1971 г.

Но это я забежал вперед. А мы с Ткачевым еще работаем над книжкой Нгуен Хонга и ждем, первого на моей памяти, приезда Туана. Этот человек так много значил в жизни Ткачева, что стал потом отдельной величиной в семьях его друзей, отдельной памятью, отдельной улыбкой, а иногда и отдельной заботой, поэтому не могу удержаться и не попытаться изобразить нашу с ним первую встречу у Марианна, в снимаемой им комнате, где спят на прикрытом вьетнамской тканью матрасе, а едят на маленьком журнальном столике, и мы с Ткачевым еще не совсем друзья, но пристально присматриваемся друг к другу. И от того, как мы с Туаном встретимся, зависят наши будущие отношения с Ткачевым. А комнату эту Ткачев, как уже сказано, снимает в соседнем с моим доме, и приглашен я туда отчасти как сосед, больше как редактор, ну и с еще не совсем определившейся перспективой приятельства.

Если у вьетнамцев есть свой бог, он должен быть похож на Туана. Ну не бог, так — божок, по причине малого тууановского размера. Но божок не для домашнего, а для храмового употребления, все и всех понимающий, с бесконечной терпимостью и сопровождающей ее иронией относящийся к слабостям своей паствы, удивительно соразмерный, как будто вырубленный гениальным скульптором по классическим канонам соразмерности из теплого камня. Вы спросите, как это: камень… и теплый? Но в этом и была одна из неразрешенных загадок этого замечательного вьетнамского художника: актера, графика, и писателя, абсолютно штучного, ни на кого, из тех с кем мне за жизнь довелось общаться, не похожего. Мы пили привезенный им

вьетнамский рисовый самогон из крохотных, столетних железных вьетнамских рюмочек, которые на этот случай хранились где-то у Марика в хозяйстве. И хотя водка намного вкуснее и так сказать спитобнее, никому не пришло в голову нарушать когда-то установившийся ритуал. Вообще в отношениях Ткачева и Туана было много ритуального, культового, как и положено во всякой религии, и можно было это принимать или не принимать, но покусится что-то изменить — извините! Мы быстро и между делом договорились о предисловии, его содержании и объеме, но от разговора о сроках Туан величественно отмахнулся. Ощущение от вечера было такое, словно я познакомился с очень большим человеком, но он ни разу не дал мне этого почувствовать.

Двумя днями позже Нгуен Туана принимал на даче, в Пахре, мой отец. Так совпало, что к этому моменту на даче закончилась очередная перестройка, и в столовой появился настоящий бар, со стойкой и тремя вертящимися блюдцами-седалищами. По случаю открытия бара отец закупил в тогдашней «Березке» большое количество экзотических напитков, но гвоздем сезона, королевой бала была огромная трехлитровая бутыль, набитая доверху красной рябиной и залитая водкой. Напиток этот впоследствии именовался «Симоновкой», имел нежно-розовый цвет и потрясающий, ни с чем не сравнимый вкус свежести, лишенной каких-либо сивушных привкусов. Ему и отдана была честь быть главным напитком вечера, и я так нарябинился, что, пока не уснул за обеденным столом, не давал никому толком слова сказать, а требовал, чтобы Ткачев перевьетнамил мои длинные и, как мне, видимо, казалось, очень остроумные восточно-цветистые тосты. Туан, как свидетельствуют очевидцы, был со мной снисходительно нежен, закрывал меня принесенным для этого пледом и приговаривал: «Симонов-фис, ах, Симонов-фис», — что по-французски означает сын Симонова.

Проснулся я на той же даче в огромном отцовском кабинете без всяких признаков алкогольного синдрома, но с неприятным ощущением, что я что-то делал, а что — решительно не помню. Было раннее утро, и я, ничтоже сумняшеся, вылез из окна кабинета, благо он на первом этаже, и почесал по грунтовке километра два до самого шоссе, а потом проголосовал какому-то грузовику и уже в 7 утра был на Красноармейской, но почему-то не в своей квартире, а у дверей квартиры, где снимало комнату семейство Ткачевых. Более никогда я не видел Ткачева таким растерянным. Со сна, в кое-как натянутом халате он, бледный, выпучил на меня свои прекрасные еврейские глаза и, запинаясь, сказал фразу, которую мы потом обыгрывали всю оставшуюся жизнь: «Алеша, но я же все сдал еще позавчера…» Изумление его

было столь велико, что никакое иное объяснение моему раннему визиту в нем просто не родилось. Так в дальнейшем и распределялись жизненные роли: я — зверь-редактор, Ткачев — жертва несправедливости. И хотя всего через несколько лет я ушел в кино, какой-то оттенок этих ролей присутствовал в нашей с ним жизни до конца..

Из этой истории Марик потом выточил устный рассказ, или байку, где отчасти правдой, а отчасти изысканно вытканной словесной тканью в единое повествование были слиты Туан, Симонов-пэр, т.е. отец, Симонов-фис, т.е. я, присутствовавшая при сем наша общая подруга из Иностранной комиссии Мира Солганик и сам бытописатель Ткачев.

Тут я прерву незамысловатый сюжет о том, как напечатана была повесть Нгуен Хонга «Воровка», и сделаю лирическое отступление о ткачевских байках.

Пересказывать их, все равно что оказаться в положении генерала из анекдота, силящегося пересказать шутку своего денщика на неуклюжем армейском вместо рифмованного простонародного. Байки, безусловно, восходили к фольклору: у них было несколько постоянных героев и куча эпизодических, они огрубевали на бумаге, и потому я не рискну сделать то, чего не смог сделать и Ткачев, хотя мы не раз и не два его об этом просили, — записать их неуклюжими бумажными словами. Они были одесские, тем более что все постоянные герои были лошадками из одесской конюшни — друзьями ткачевской юности, противоречивыми участниками долгой совместной, или по крайней мере рядом текущей жизни. Нигде так ярко не сверкало это качество Ткачева — одесское джентльменство — как при рассказывании этих баек. Они всегда были пряными, но — на грани приличия, а если и за этой гранью, то они были такими смешными, что даже в голову не приходило ему за это пенять, пусть и при дамах.

Четыре главные героя ткачевского фольклора: доктор Табак — великий врач, Боря Бирбраир — великий физик, Калина — великий изобретатель и крохотный Леня Спекторов по прозвищу Дантон. В различных комбинациях к ним присоединялись одесские и кишиневские родственники, болельщики «Черноморца», москвичи-приезжие, одесские писатели разных лет и поколений, любимая Марикова тетя Люся, в чьей комнате в одесской коммуналке происходило многое из рассказанного, и другие персонажи.

Тешу себя надежной, что я и сам — человек не лишенный чувства юмора, но поставить меня на голову от хохота удавалось только Марику, причем не раз и не два. По крайней мере две

трети нитей в ткани ткачевских сюжетов были правдой, но правда никогда не была гранью между подлинным и выдуманным — она причудливо пересекала эти истории наперекосяк. Ткачев выступал эдаким конферансье, выводившим персонажей на арену, именно ироничным конферансье, а не громогласным шпрехшталмейстером. Он никогда не терял маски отстраненности, хотя интонационно изображал своих героев настолько точно, что я, когда мне наконец довелось познакомиться с ними лично, поразился: их интонации и лексику я, оказывается, уже знал наизусть.

И все-таки не удержусь и рискну рассказать одну маленькую историю из ткачевского репертуара.

Одесса, конец шестидесятых. Уже все бывшие одесситы определились и оперились. Марик — в Инокомиссии Союза писателей, Боря Бирбраир, с которым они знакомы с горшкового возраста, — уже доктор физики, работает в Гатчине, Саша Калина — кандидат, консультант Госплана, и все летом съезжаются в Одессу, где корни, друзья детства и счастливая атмосфера восторга по поводу их успехов. С утра купили на Привозе бычков, и любимая всеми Марикова тетя Люся жарит их на своей коммунальной кухне. Чтобы ей не было скучно на кухню отрядили Бирбраира.

И вот бычки шипят на сковородке, а тетя Люся — женщина любознательная и по-одесски острая на язык — допрашивает Бирбраира, чем же он в этой физике занимается. В этот момент в кухню входит Калина и видит, как основательный и нестерпимый зануда Бирбраир берет блокнот и начинает писать в нем бесконечно длинную физическую формулу, давая по ходу дела необходимые пояснения. Итак, Одесса, коммунальная кухня, аппетитно коричневеющие бычки, блокнот и формула, о которой потом великий Дирак скажет, что это большой шаг в познании физики твердого тела. И тетя Люся, которая согласно кивает, не понимая ни одного слова кроме предлогов «и» и «но». Калина начинает ржать. Бирбраир делает паузу, вновь просматривает свои исчисления и говорит, обращаясь к тете Люсе: «Тетя Лю-у-уся, почему этот дурхак смеется? Здесь же все совехшенно пхавильно!»

Одессу Ткачев любил нежно и преданно, горевал, когда чувствовал, что город его детства сдает позиции, теряет лицо.

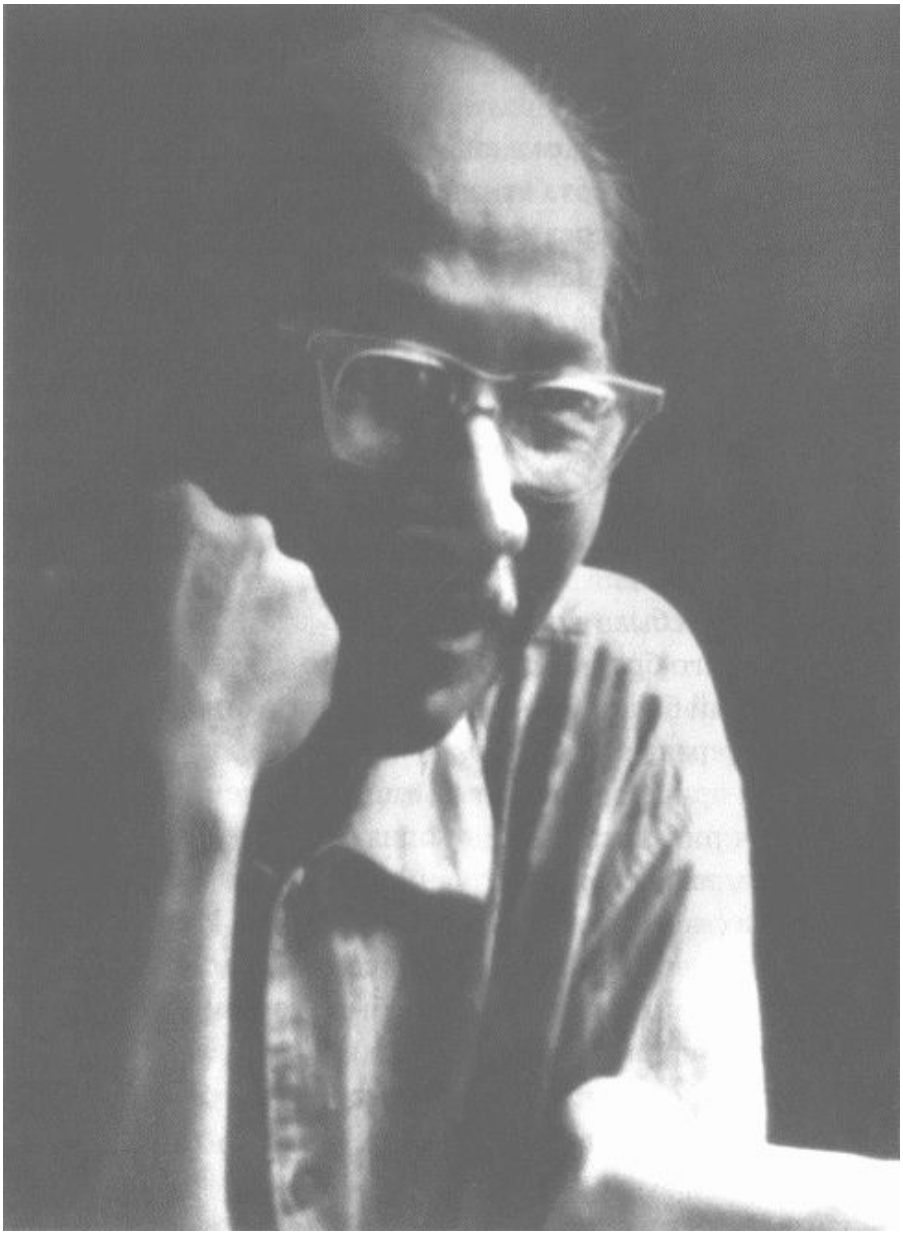
Когда в семьдесят первом году я должен был впервые поехать в Одессу — снимать фильм об Утесове, Марик, открыв записную книжку, подробно продиктовал мне все адреса достопримечательностей, сохранившихся в одесских дворах, которые что-то говорили бы об утесовской Одессе: колодцы,

ворота, балконы, старые деревья, решетки — причем, когда мы с Эмилем Левиным — тем самым — прибыли в Одессу, эти исторические раритеты оказались намеренно продиктованы в такой последовательности, что мы, не знающие Одессы, раз восемь проехали от одного к другому через центр города и уже начали в нем отчасти ориентироваться.

Но пора вернуться к роману Хонга и предисловию Туана. Лукавый бог все время ускользал. На встрече в журнале «Юность», где он почему-то оказался без Ткачева, мы объяснялись с ним знаками и рисунками. Потом долго приходила от Туана мне адресованная бутылка самогона с иероглифами, с изображавшим меня повешенным бородатым чуваком, от руки нарисованным на этикетке. Однажды я вынужден был изгнать из номера Туана в гостинице Пекин друга нашего Эмиля Абрамовича, поскольку никак нельзя писать предисловие, выпивая и взаимодействуя на уровне улыбок и касаний, а те сто слов, которые Эмиль знал по-французски, будучи выпускником Щукинского училища при Вахтанговском театре, помогали ему, скорее, как аксессуары, а не как обозначения смыслов. Словом, над Туаном надо было учинить насилие, но Ткачев решительно отказывался в этом помогать. Понимал, что нужно, более того, заинтересован был как переводчик романа, но… не мог, это выходило за рамки их взаимных ритуалов.

Только сейчас пришло понимание, что в иных ситуациях я со всей этой окололитературной жизнью становился еще одной лошадкой из конюшни мариковых баек, и хотя во мне не хватало одесского лоска, но Ткачев как-то справился. Я ведь часто смеялся и над его рассказами… обо мне самом. Так вот, воспроизвожу это моими жалкими словами и усилиями памяти.

ЦДЛ. Прощальный обед (или ужин), который мой отец устраивает в честь Туана. Заняты два столика, но не сдвинуты, а так, на расстоянии. За одним сидят отец, Ткачев, Арканов, еще кто-то из вьетнамцев, а за другим, с блокнотом и ручкой Нгуен Туан — он заканчивает предисловие. Туан кипятится и в виде пара пускает со своего столика всякие замечания вроде того, что он издавался в Париже, что его уважали в издательстве «Галлимар», но нигде с ним не обращались, как с литературным рабом. Тем не менее сидит он отдельно и… дописывает, не делая попыток выйти из-за стола и присоединиться к гуляющей под ткачевский перевод компании.



Это и есть Нгуен Туан — мудрый, ироничный вьетнамский бог Ткачева

Ткачев слегка шокирован таким демонстративным насилием над классиком, но в то же время необычность ситуации его тайно радует, и он между делом переводит еще и реплики, которыми по ходу дела мы перебрасываемся с Туаном. А все его демонстративные потуги прервать этот процесс я пресекаю, нахально, но резонно обвиняя его в попустительстве, результатом

коего и служит сложившаяся ситуация. Так продолжается минут сорок, Туан кончает предисловие и торжественно перемещается за наш стол. Он демонстративно разгневан, но горд собой и доволен тем, что закончил наконец эту статью.

Последний раз живым я видел Марианна за несколько часов до смерти. Из живота откачали жидкость, он был в сознании, и мы около часа разговаривали. Так вот — чуть не половину времени темой нашего последнего разговора был Нгуен Туан, и мы оба (притворно по отношению друг к другу и искренне в отношении несбывшейся нашей мечты) безумно жалели, что когда наконец мы вместе поедем во Вьетнам, без этого человека он окажется вполовину пуст.

■

Должно же ему было когда-нибудь повезти! И наконец третий по счету его брак оказался не просто удачей. Инна была его счастливый билет. Она как лиана обвила ствол его жизни, укрепляя и украшая эту жизнь, а в конце и продлив ее на несколько лет, причем эти нежные, лишенные демонстративности объятия питались своими корнями, не посягая, а заботливо подталкивая его литературные труды и заработки.

Ткачев в семье должен был доминировать. И если первая жена не могла его по-настоящему оценить, а вторая — не хотела с этим мириться, то Инне это было совсем не в тягость. Она была женщина пластичная, и при этом прочно стояла на своих ногах, а потому легко приспособилась к манере Марианна словесно прессинговать близких по всему полю, практически этот прессинг пропуская мимо ушей. Она была ему ровня, и ее совсем не угнетало, что для окружающих (в их домашнем театре) она была персонажем второго плана, оттенявшим фигуру главного семейного героя — с его байками, специфической манерой общаться, постоянством занятий и друзей. За много-много семейных праздников я буквально раз или два видел в их двух домах ее друзей, ее родственников, хотя она с ними общалась и Марик был к ним снисходителен и не агрессивен.

С каждой из его трех жен связано было отдельное жизненное пространство. На долю первой — медсестры по роду занятий — неуют съемных комнат. Когда Ткачев определился, когда ему наконец дали квартиру в писательском доме на Малой Грузинской, Ира как-то сразу исчезла из его жизни, по-моему, не оставив по себе сколько-нибудь сильных воспоминаний. Она была подруга типа парижских белошвеек или модисток, верная в бедности и исчезающая при выходе героя из тени. Никакой связи

с делом ткачевской жизни, с литературой ни тамошней, ни тутошней она не имела, да и не рвалась иметь. Я ее больше никогда не видел, но слышал от Марика, что она вышла замуж и уехала куда-то в Венгрию.

Вторая жена появилась именно в этой, тогда еще новой, крохотной двухкомнатной, квартире и довольно быстро заполнила все ее жизненное пространство. Была она очень молодая, дебелая, с восточным разрезом глаз и в той своей молодости ослепительно красивая. Она была очарована блеском окружившего ее мира — именами Мариковых друзей, шикарным уютом цэдээловского ресторана, приезжавшими иностранными писателями, и ей, естественно, показалось, что это и есть ее новая жизнь. А оказалось, что за этим блеском — Мариковы ежедневные часы за рабочим столом, изнурительные командировки, что ЦДЛ — это не только шик дубовых панелей, но и место работы и т.д. Оказалось, что Ткачев никак не жаждет превратиться в оправу для обретенного им бриллианта, тем более что, кроме молодости и прелестности, других блестящих граней у нее было не так много. Кроме того, у нее оказалась мама, которая точно знала, кто, как и что должен делать для пущей прелести ее чада. Словом, семейная жизнь не складывалась, начались конфликты, перераставшие в скандалы, а в Ткачеве (если помните, я определил его как странную смесь бабелевского босяка и английского джентльмена) в этих разборках иногда сквозь сдержанность джентльмена проступала далекая от рафинированности ярость босяка, особенно когда речь шла о теще. Аппетиты семейства были Ткачеву не по нраву, не по карману, не по душе и не по образу жизни. При этом переживал Марик жутко, долго пытался всю вину перекладывать на вмешательство тещи, и даже рождение долгожданного сына — Сашки уже не могло склеить растрескивающийся кувшин семейной жизни.

Через много лет на свадьбе Ткачева-младшего я увидел величественную гранд-даму, его мать, в которую перевоплотилась эта очаровательная когда-то барышня.

Потом был развод, Ткачев ушел с Малой Грузинской, ушел, по сути, в никуда, но его в этом доме так никогда и не простили. Ни его бывшая жена, ни — что куда сильнее его ранило — его горячо любимый сын. В отношении к нему Саши всегда присутствовала какая-то тень недоданного. Тем не менее как-то эти отношения наладились. Ткачев следил за успехами сына, старался им способствовать, выводил и вывозил его в свет, дружил его со своими друзьями, возил к Калине в Америку, устраивал на телевидение, словом, не просто исполнял отцовский долг, а вкладывал в сына то, что мог, но шрам так и не

зарубцевался. На похороны Марика Саша не пришел. И у меня есть отвратительная догадка, что это случилось не столько по причине прошлых ткачевский прегрешений, реальных или надуманных — не важно, а по причине очевидной бесперспективности: папа ушел и сделать для сына уже ничего не сможет.

Инна — третья ткачевская жена — была не ангел, но ангелом-хранителем Ткачева стала безусловно и однозначно. Их дом был ее домом, но царствовал в нем Марианн Николаевич. Инна была известным в Москве акушером-гинекологом, принимала всех наших детей и даже внуков, к ней обращались многие знаменитости от Березовского до Борового, и она «рожала» им их ненаглядных чад. И так же естественно принимала любовь и благодарность бесчисленных ее клиентов, ибо голова у нее была светлая, руки — замечательные, а ее участие в решении демографических проблем Родины было главным делом жизни: в любую минуту она готова была мчаться в свою клинику спасать, помогать, утешать, а главное — способствовать появлению на свет здоровых и желанных детей. И эту святую сферу ее деятельности она охраняла, ради нее могла многим пожертвовать, и Марианн уважал и втайне восхищался этой стороной ее жизни, хотя жертвовать ей зачастую приходилось и его интересами, и его удобствами. В этой «стороне» была недоступная всем нам, простым смертным, волшебная тайна рождения новой жизни, и эту тайну мы могли и постичь, и оценить только через ее рассказы: новомодные штуки вроде присутствия отцов при родах Инна не одобряла и чужих туда, где она совершала свое таинство, не допускала. В согласии с профессией, Инна была женщина практичная, но прятала эту практичность в некую наружную беспомощность и недотепистость, тем самым давая Марику еще и дополнительную возможность играть по отношению к ней роль покровительственную и слегка насмешливую.

Вытащив Ткачева с того света, она не просто поддерживала в нем оптимизм, она подарила ему три года жизни, в которой он чувствовал себя полноценным и достаточным, хотя вместо желудка, вырезанного вместе с раком, хирурги сшили ему заменитель из подсобного материала кишок. Он и ел, и пил, что хотел и сколько хотел. Мог выходить в свет и принимать друзей дома, мог даже ездить в недальние путешествия. Единственное, чего он уже не мог, — это получать от этого то же удовольствие, что и раньше. Марик потух, и тут Инна была бессильна: лечить бессмертную душу в отличие от бренного тела — не врачебное это занятие. Для этого наша маленькая докторша старалась

привести к нему других лекарей — из числа старых друзей. Но с этим было тоже непросто.

К тому времени, как Марианн умер, давно уже отошел и второй его кумир, не такой далекий, как Туан, и потому менее бесспорный. Этим кумиром был старший из братьев Стругацких — Аркадий Натанович. И если Туана Марик всегда называл Стариком, то для Стругацкого у него было не менее уважительное прозвище — Классик. Несогласия в оценках деяний Классика — что литературных, что житейских, что питейских — Марик не терпел, мог поссориться с другом, если тот не выказывал в своих оценках должного, по мнению Ткачева, почтения, и надо было семь раз подумать, прежде чем высказать при Ткачеве какое-то крамольное соображение по поводу Классика, даже если оно касалось незначительного, не имеющего принципиального значения произведения или поступка. Он был одарен дружбой своего кумира и полным его доверием настолько, что ему случалось бывать и наперсником, и посредником в непростых семейных обстоятельствах жизни Стругацкого, за что был нелюбим его женой и очень этим бывал расстроен, огорчен, обижен. Его верность Классику была безмерна. Но и Классик иногда бегал по манежу ткачевских баек в качестве дрессированной лошадки. Байки были, как правило, беззлобные и — всегда — смешные. В этом альянсе Ткачев — Стругацкий-старший отражалось некое соотношение сути каждого из них. Ткачев был образованнее и, рискну сказать, умнее, тоньше, но в Стругацком при всей его разбросанности и даже разгильдяйстве был такой напор созидательного начала, который у интеллигентного интерпретатора Ткачева вызывал тайный восторг и явное поклонение этому, ему не свойственному, качеству.

Ткачев был великий переводчик с вьетнамского.

Ткачев был фантастически образованный человек.

Ткачев любил музыкальную классику и разбирался в ней на уровне профессионала, хотя никогда, кроме раннего детства, не брал уроков музыки.

Ткачев был человеком с ярко выраженной индивидуальностью, заразительной, легко принимаемой его окружением, т.е. то, что называется лидер по жизни.

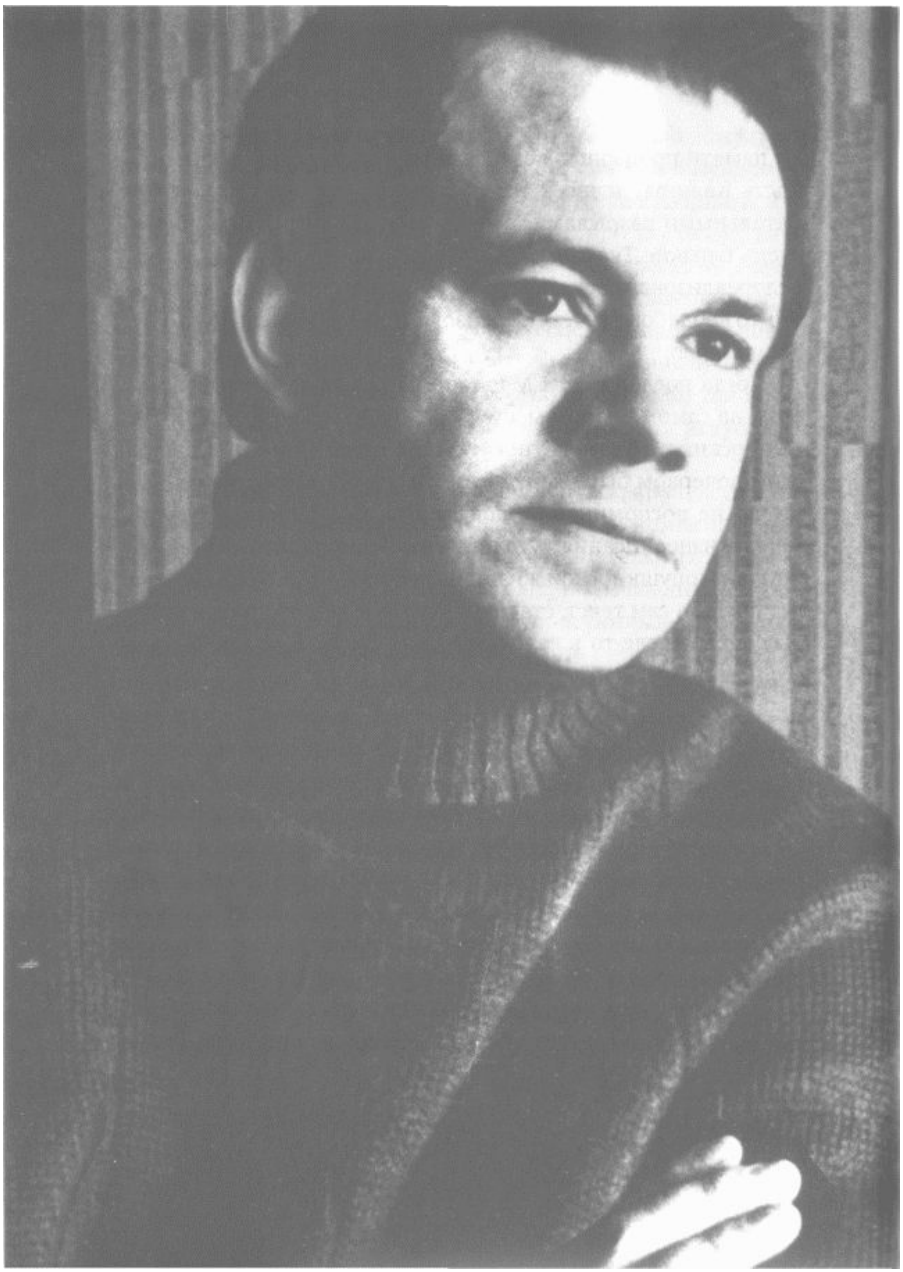
Но писателем так и не стал, оставаясь и в собственных оценках, и в глазах окружающих выдающимся литератором — не меньше. Но и не больше. И, видимо, очень много об этом думал и жестоко был этим уязвлен. Что послужило тому причиной — сказать не берусь, но судьба его повести о Пушкине в Одессе, над которой он работал последние лет двадцать, кумиры, которых он

себе выбрал в России и во Вьетнаме, как мне кажется, свидетельствуют, что по гамбургскому счету писательство было для Марианна чем-то столь высоким, что оказалось недостижимым по его же собственным завышенным критериям. И дерзкий, талантливый и успешный в решении задач, рассматриваемых им как локальные, он так и не смог избавиться от недостижимости критериев в искусстве вечном.

Был в Ткачеве какой-то внутренний рубеж, край, дойдя до которого ты, сам того не подозревая или по легкомыслию, переступал… и наталкивался на взрыв отрицательных эмоций, судорожно, т.е. плохо артикулируемых, но ставящих резкую грань между тобою и Мариком. Он как истинный революционер, т.е. человек, не способный понимать резоны и нюансы, начинал строить между собой и «бывшим» уже другом баррикаду, в которую тащил все — и остовы троллейбусов и придорожную мелочь. Такой баррикадой он отгородился от друга детства Бори Бирбраира, от приятеля всей своей московской жизни Володи Брагина, от вдовы Эмки Левина — Флоры, на каком-то этапе за такой баррикадой едва не потерялся в своей Америке Шурик Калина. Только время и нерастраченная нежность ранних воспоминаний могли побудить Ткачева со временем проделать проходы в этом искусственно выстроенном эмоциональном нагромождении истинных грехов и ничтожных событий. На моей памяти он дважды насмерть ссорился с Бирбраиром, причем второй раз — навсегда. На моей же памяти произошло возвращение в ткачевскую повседневность Калины, давно к тому времени уехавшего. За этими фатальными разрывами, а жертвами их могли стать только очень близкие Ткачеву люди, угадывался какой-то комплекс недореализованности, который Марианн скрывал от всех, но что-то вроде «он так и не реализовал авансы своей юности» за этим стояло.

Когда после смерти Марианна я сел за его письменный стол, на самом видном месте лежало несколько больших бухгалтерских книг, где витиеватым, но легко читаемым ткачевским почерком были переписаны и осмыслены сотни ссылок на чужие воспоминания, документы, исторические анекдоты и жизнеописания, уточняющие неподъемно огромный круг околопушкинской жизни на десятки лет до и на десятки лет после, а сам текст, ставший для меня чем-то сродни мифу, был спрятан где-то в дальнем ящике стола. А может быть — его и не было…

Мой любимый сценарист



Женя Григорьев времен Высших режиссерских курсов. 1969–1970 гг.

Сценарий фильма «Отряд» предназначался другому режиссеру, который по дружбе дал мне его прочесть.

— Я стою за тобой в затылок. Шаг влево, шаг вправо — стреляю без предупреждения. — Это я ему. — А серьезно: если ты усомнишься или сойдешь с дистанции (*а сценарий явно был не из самых проходимых в те годы. — А. С.*), я прошу тебя и заклинаю: после тебя я — первый!

Через год я стал первым, а потом четыре года подряд — как на работу: «Ленфильм» — Госкино — отказ, «Мосфильм» — Госкино — отказ, Госкино — отказ, «Экран ЦТ» — отказ, пока чудом каким-то не образовалась дырка в тематическом плане Литовской киностудии, а сценарий, как на грех, был, о советских солдатах, оказавшихся в военных лагерях на литовской границе в июне 1941 года.

Это потом всем казалось таким естественным, что сценарий про Литву снимался на Литовской киностудии, а тогда это было чудом, тем большим, что отношение литовского населения к советским «оккупантам» прописано было в «Отряде» достаточно жестко. Может быть, поэтому, Витас Жалакявичус, тогда — худрук Литовской киностудии — и взял меня с этим сценарием в Вильнюс.

Чудо «Отряда» сотворил мой друг Женя Григорьев.

Игровых картин у меня пять. И сценаристы все как на подбор: Симонов, Трунин (который — «Белорусский вокзал»), Горин и Хайт, Гребнев («Июльский дождь», «Прохиндиада»), а чудо — одно-единственное, поэтому никому не в обиду написанное и называется «Мой любимый сценарист».

Кадр из нашего с ним фильма «Отряд», 1985 г.

Степень влияния киносценариста на качество фильма — вещь спорная. До сих пор достаточной ясности в этот вопрос не внесли теоретики. Предлагаю рабочую формулу: чем лучше сценарист и чем хуже у него характер, тем большее влияние оказывает он на фильм. Я бы даже рискнул построить график этих закономерностей: от средних способностей сценариста с очень дурным характером, чье присутствие в фильме очевидно с первого до последнего кадра, до сценариста замечательного с

характером замечательным, о чьем участии в картине свидетельствуют только титры. Но эти величины — их же надо обозначить именами, а я не самоубийца. Поэтому на кривой воображаемого графика я отыскиваю лишь место своего героя. Опущенные перпендикуляры указывают на талант большой, один из самых больших в нашем кино, и на характер достаточно трудный, чтобы в итоге найти несомненную печать его личности на каждом фильме, сделанном по его сценариям.

Основная отличительная черта Григорьева как художника — его наивность. Все мы вокруг понимали, почему то, что он придумал или уже написал, трудно или вовсе непроходимо, а он не понимал. И, что самое главное, ему это невозможно было объяснить. Потому что сценарий, который он придумывал и писал, являл всегда выношенный плод его гражданских размышлений о самом для него главном, главном в истории, главном в сегодняшнем и завтрашнем дне. Потому что он был человек идейный и его идея — не что-то носящееся в воздухе, взятое из газеты, журнала или рассказа очевидца,— она в нем проросла, выношенная его опытом, умом, совестью, и он приходил с идеей сценария, как приходят с идеей реорганизации завода, перестройки технологического процесса или создания нового, необходимого дела. Эта весомость, существенность были настолько очевидны и соблазнительны в григорьевских заявках, что чуть ли не все они были приняты студиями, которым он их предлагал. И почти с той же неизбежностью сценарии, написанные по этим заявкам, трудно и далеко не всегда пробивались в производство, хотя качество их уж никак качеству заявок не уступало.

Наш брат — кинематографист — большой мастак произносить слова про самое важное из искусств и про то, как оно участвует в жизни общества: помогает, укрепляет и разъясняет. При этом говорящий может ни разу в своем собственном творчестве не прикоснуться к болевым точкам своего времени, оставляя эту задачу своим критикам. Они за него «привязывают» его полотна к проблемам современности. И — надо сказать — набили на этом руку. Григорьев всякий раз был остросовременен, брался ли он за сюжет военный, мирный, или писал экранизацию классики. Поэтому гладкой жизни у его сценариев не было, да и быть не могло.

■

Сценарий «Отряда» начался с рассказа человека, прошедшего весь ад первых недель войны. Фамилия его была Доронин. Так и в

фильме зовут одного из главных героев. Потом Григорьев сочинил роман. Григорьев вообще сначала сочинял романы. Эти романы он подробно и неоднократно рассказывал друзьям, знакомым и просто тем, кто готов был слушать. Кстати, мне кажется, он с удовольствием брался за экранизации именно потому, что там «роман» уже был написан, оставалось только по-микеланджеловски отсечь лишнее. Со своими «романами» у Григорьева по-микеланджеловски не всегда получалось, и его сценарий непременно нес в себе какие-то следы романной первоосновы. С одной стороны, это жутко раздражало своей принципиальной невоплотимостью, с другой — заставляло режиссера напрячься, «максимально насытить» то, что поддается воплощению. Например, в сценарии «Отряда», объем которого в слегка сокращенном виде почти в два раза превышал средний сценарий, от «романа» сохранились биографии каждого из героев. И биографии эти, хотя бы отчасти, реализовать на экране можно было только через уплотнение социальной достоверности персонажей, через увеличение нагрузки на актерскую игру.

Кстати, на детективы, на красивые картинки из ближней и дальней истории у нас находили возможным давать большую кинематографическую форму, а к вещам, посвященным самым острым проблемам нашей жизни — а Григорьев, как я уже говорил, просто не умел писать иначе, — относились с бюрократическим формализмом. Ну почему никому не пришло в голову пересмотреть григорьевские сценарии и перевести его в разряд тех, кому большая форма по плечу? Хотя в конечном счете так и произошло. Фильмы, поставленные в перестроечные годы по вытащенным из-под спуда григорьевским сценариям, сплошь оказались двухсерийными. Ну, это так, запоздалый крик души: фильм по сценарию «Отряд» необходимо было уложить в прокрустово ложе полутора часов. Самое интересное что, когда мы толкались в разные инстанции с этой проблемой, нам никто не сказал: вот выкиньте это и то. Нам просто сказали: одна серия и баста, а как — это уже ваше дело. И, когда, скрепя сердце, я выкидывал из сценария какой-нибудь эпизод, рядом со мной плакал от огорчения редактор. Парадокс?

■

Впрочем, если уж быть абсолютно откровенным, то от некоторых эпизодов я отказался по принципу: не по Сеньке шапка. И виной тому другая особенность григорьевского письма… Режиссеру с нормальной температурой 36,6 браться за григорьевский сценарий было бессмысленно. Нормальная

температура григорьевского сценария может подниматься и опускаться, но его исходная норма — это то, что в просторечии именуется «жар». У его сценария всегда высокая температура конфликта, гражданского темперамента автора и героев. Обратите внимание: ни с одним режиссером Григорьев не работал дважды, даже с теми, с кем достиг в совместной работе признанно высокого результата. Режиссеру с нормальной температурой многие вещи в даже очень нравящемся ему сценарии Григорьева казались чрезмерными, написанными с перехлестом, с перебором по части темперамента и пафоса.

И здесь, видимо, нелишне сказать о природе григорьевского пафоса. Я уже говорил о наивности. Так вот, григорьевская наивность и григорьевский пафос — это неразрывные части целого — его художнической сути. И потому его сценарии требовали от режиссера не только профессионального умения, но и душевного созвучия, единства взглядов, прежде всего не на кино, а на жизнь или по меньшей мере на тот ее участок, где сосредоточено действие данного сценария.

Сценарий его никогда не бывал черновым материалом, подспорьем, он — та перспектива, к которой должен быть направлен весь процесс работы над фильмом, та конечная цель, к которой стремились все лучшие фильмы, сделанные по его сценариям и которой ни один из них не достиг.

Пример из собственной практики. В сценарии «Отряд» есть эпизод, где старая женщина, у которой фашисты повесили дочь, находит остановившийся на отдых отряд и посылает двух бойцов на железнодорожную станцию, забитую немцами, чтобы убив немцев, много, сколько успеют, они своей смертью оповестили всех, что народ жив. Я боялся этого эпизода. Я пригласил на роль старухи замечательную актрису Стефанию Михайловну Станюту, я бесновался на съемке, стараясь добиться правды от исполнителей. Я снял этот эпизод так же, как абсолютное большинство других, точно по сценарию. Когда я его увидел в материале, я понял, что эпизод провален. В горячке я еще не знал почему, но то, что эпизод не получился, было очевидно. У меня было время его переснять. Но что-то подсказывало мне, что делать этого не нужно, бесполезно. Я, как это свойственно любому режиссеру, свалил неудачу на автора, сказал себе, что тут явно какой-то просчет в драматургии и придумал более или менее достойный выход из положения за счет монтажа и переозвучания, а главное, за счет изменения мотивировок поведения героев. Эпизод стал более забытовленным, проходным и в таком качестве приемлемым. Но это для зрителя, а для себя я обязан был понять, в чем дело. И я понял, только много позже:

если бы Григорьев был этой старухой (а он был ею, когда писал сценарий), он мог бы послать этих людей на смерть. Если бы я был ею, (а я тоже был ею, когда придумывал, как снимать, и снимал), я бы этого сделать не смог. Его жар достигал здесь состояния горячки, и это оправдывало чудовищность поступка героини. Моя температура с трудом поднялась до жара. У него в сценарии — это была правда, у меня в материале это стало фальшью. Мне этот эпизод оказался не по темпераменту.

■

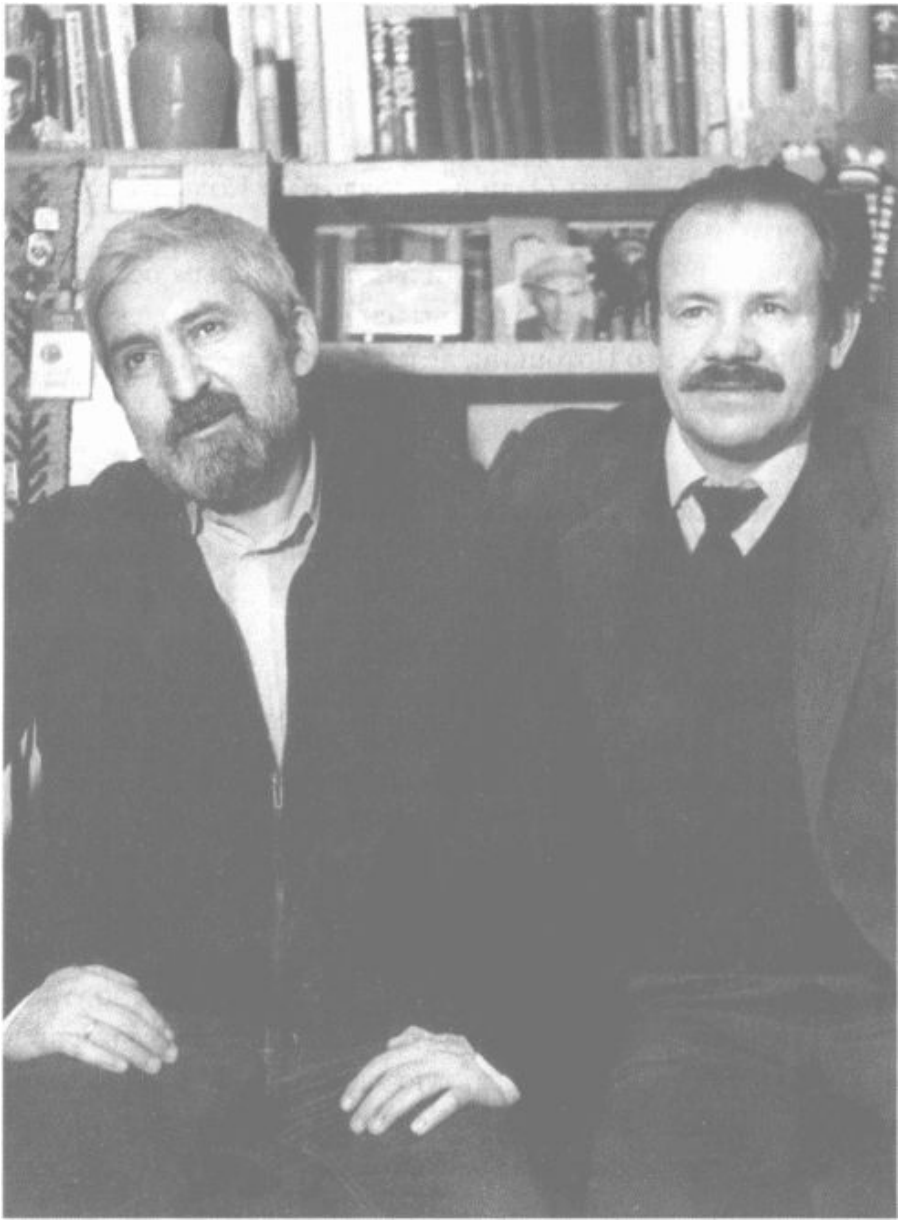
С позиций этого своего опыта я рискну высказать одно соображение, касаемо самого шумного из григорьевских фильмов — «Романса о влюбленных», по поводу которого было сломано наибольшее количество критических копий. Мне кажется, что там, где режиссер Андрон Кончаловский нашел в себе самом градус пафоса простых истин, свойственный григорьевскому сценарию, там фильм прекрасен, а там, где он попытался подменить его профессиональным мастерством, спрятать нехватку темперамента за масштабом изображения и выдумкой, там фильм стоит «на цыпочках» — в том самом положении, в каком неопытные тенора, стараясь взять недостижимо высокую ноту, дают петуха.

Но нельзя не отдать должное режиссерскому мужеству взяться за сценарий, который и тем, кому он нравился, представлялся невоплотимым, а иным — казался вычурным, претенциозным, искусственным. Он вообще для понимания творчества Григорьева принципиально важен. Это та крайность, которая, как ничто другое, высвечивает закономерность. Григорьев опирался в этом сценарии на свои главные темы, те же, что и во всех остальных: долг, достоинство, совесть, верность, но попытался очистить их от шелухи времени, взять, так сказать, в чистом виде, а в этом сценарии к ним еще добавилась любовь — и Григорьев, совсем потеряв и без того не всегда явственное в его сценариях чувство юмора, запел белым стихом.

Была ли фальшь в самом григорьевском пении? Мне кажется, что нет. Эти темы, разогретые григорьевским жаром до белого каления, светились чистым светом, но сценарий замкнулся в себе, и не знаю, нашлось бы кино, которое сумело бы подобрать адекватный этой литературе ключ. Во всяком случае это — эксперимент душевный, а не формальный. И в основе его не изыск мастерства, а черный хлеб простых истин, все та же григорьевская наивность — не случайно первый сценарий, который сделал имя Григорьева известным, сначала назывался

«Простые парни» («Три дни Виктора Чернышова»). Так можно было бы назвать и сценарий «Романса», и сценарий «Нашего дома», а сценарий «Отряда» и без того имел первоначальный подзаголовок «Люди настоящие и другие».

Это главное. Но хотя бы скороговоркой помяну и такие важные черты Григорьева-сценариста, как отсутствие проходных или служебных эпизодов, как многослойная значимость диалогов, настолько своеобразных, что мне, человеку, в общем, пишущему, в тех случаях, когда натура или обстановка навязывали незначительные изменения, приходилось вызывать Григорьева делать поправки, потому что мои собственные слова казались мне в ткани сценария чужеродными. Вы скажете, что в моей интерпретации григорьевского творчества чувствуется личная заинтересованность и даже влюбленность. И я не стану этого отрицать. Но именно поэтому я расскажу, как с Григорьевым было трудно работать, чтобы никто не подумал, что даже любящему его режиссеру работать с ним — легкий хлеб.



Мы с Григорьевым позируем фотографу из журнала «Советский экран», 1986 г.

Во-первых, с самого начала работы он не только сценарий, но и фильм считал своим. Он так и выражался: наша картина, наш оператор, наши актеры, наш монтажер. При этом на сами съемки он не выезжал никогда, последовательно и принципиально (тут, видимо, не лишне вспомнить, что познакомились мы с ним на Высших режиссерских курсах, где вместе учились в конце шестидесятых годов, и определенный комплекс не реализованной

режиссерской потенции в Григорьеве существовал, то есть, попросту говоря, режиссера он в себе побаивался).

Во-вторых, он трудно привыкал к актерам, зато потом преданно в них влюблялся и старался тащить их за собой в следующие свои фильмы, которые, как уже говорилось, он делал с другими режиссерами. Не могу забыть совершенно потерянного его лица после первого просмотра кинопроб «Отряда». Его, честное слово, даже было жалко. Его словами, его мысли излагали совершенно чужие люди, не те, с кем он прожил пять лет, пока писался, а потом пробивался и переделывался сценарий, а незнакомые, неудобные и непривычные. Мы посмотрели пробы трижды, прежде чем он пришел в себя, Зато в следующем фильме по сценарию Григорьева на пробы была вызвана чуть не половина моей команды.

В-третьих, Григорьев знал свой сценарий наизусть, причем он особенно хорошо помнил первый, писательский, дорежиссерский вариант и не уставал тосковать по нему, даже когда картина была закончена и сдана.. Его герои умирали в нем долго, болезненно долго, и это иногда мешало следующему сценарию прорастать в нем, хотя идеями сценарными он был напичкан до отказа, и я так и не сподобился узнать, как они в нем зарождаются.

В-четвертых, сценарий, на какой бы стадии работы фильм ни находился, никогда ему не надоедал, он всегда готов был о нем говорить, его трактовать, толковать, втолковывать и расшифровывать, кроме тех случаев, когда надо было что-то сокращать или менять — тут Григорьев скучнел, становился тускл, быстро уставал, и мне иногда казалось, что ему легче написать новый сценарий, чем переделывать уже законченный, настолько он вдруг становился мучительно ленив и рассеян.

Неслучайно каждый новый сценарий Григорьев писал медленно, с нарушением сроков и необъяснимыми паузами. Я ведь не зря говорю, что сценарии в нем «прорастали». Не может человек заранее и наверняка сказать, что это дерево станет плодоносить в четверг после обеда. Так и у Григорьева со сценариями. Но должен признаться, что это его достоинство было чрезвычайно мучительно для людей, которые так или иначе планируют свою жизнь. Кстати, пока он сочинял свой роман-исходное, он бывал чрезвычайно словоохотлив, а вот когда садился писать — загадочно туманен, и никогда нельзя было поручиться, что конечный результат не будет решительно отличаться от известного тебе исходного. Дело в том, что полуфабрикат он просто не показывал, поэтому для него проблема первого, второго и третьего варианта была звук пустой. Сценарий или получился (это бывало чаще), или не получился

(что, вероятно, случалось, хотя плохих его сценариев я не читал), а варианты — это, скорее, мучительный процесс втискивания большой вещи в прокрустово ложе метража.

У Григорьева был, наконец, непривычный «референтный круг». Нет, он, конечно, прислушивался к коллегам, радовался успеху у критиков, но «получилось — не получилось» определялось у него по реакции нескольких, никакого отношения к кино не имевших «парней», с которыми он вместе вырос в одном московском дворе. Этим «парням», применительно к «Отряду», как и Григорьеву, было лет по пятьдесят, они были инженеры, конструкторы, шоферы — и их неречистое одобрение было Григорьеву чрезвычайно важно.

■

Как справедливо сказал поэт, «слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье», так вот для Григорьева анкетный термин «пролетарское происхождение» — вопреки Маяковскому — был одним из существеннейших факторов его жизни и творчества. Ему, например, всегда казалось, что он недостаточно образован, и он постоянно восполнял этот пробел. Когда мы были с «Отрядом» в Польше, то, оказалось, что именно он лучше всех нас — гостей — знает историю и культуру наших хозяев, и мы с некоторым остолбенением слушали, как Григорьев, выясняя в музее у экскурсовода, который же это Потоцкий, лезет в такие дебри истории и географии, в которых даже экскурсовод чувствует себя не совсем уверенно. Зато он не стеснялся не знать, и незнание его было жадным, всегда готовым превратиться в знание.

■

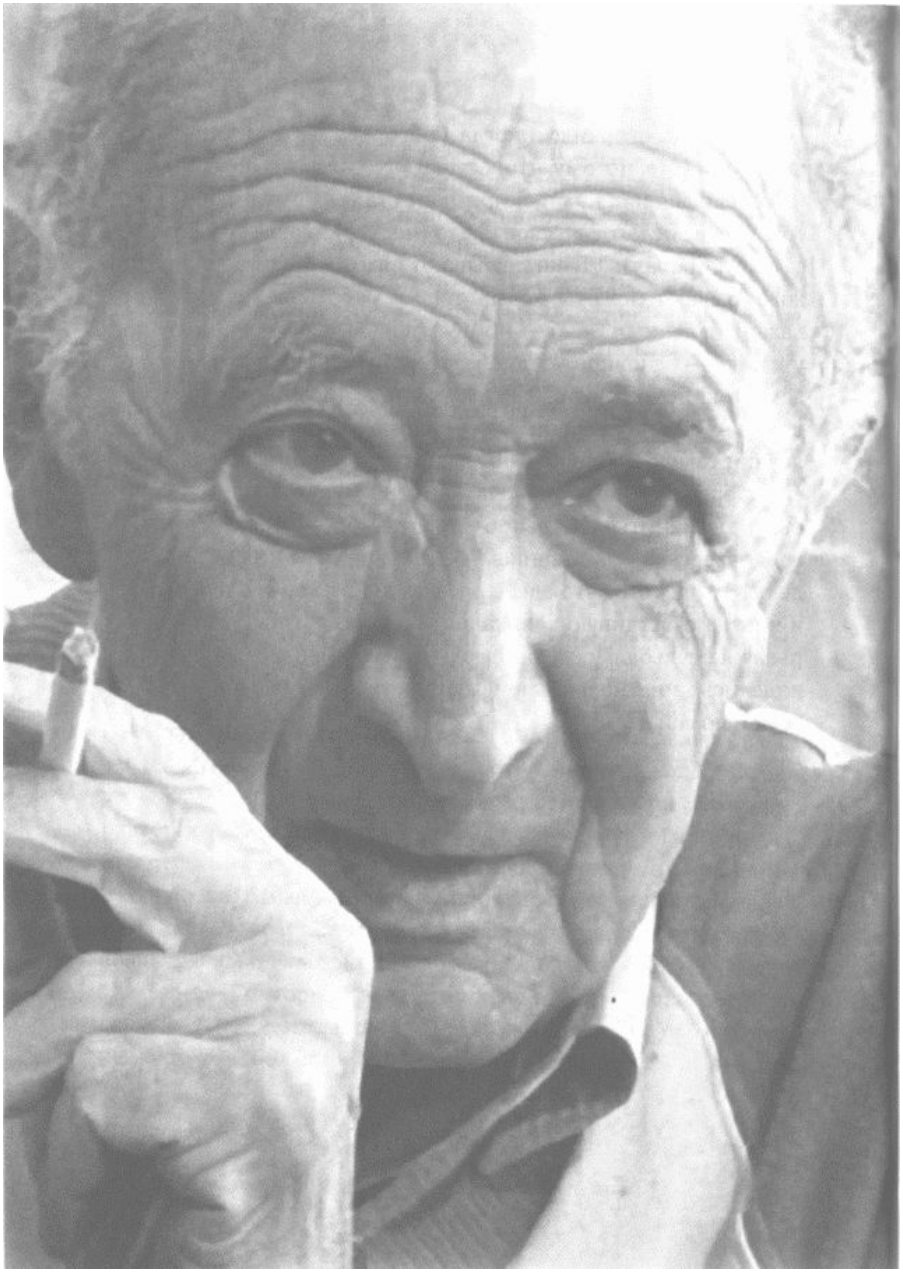
Ну вот, я стал говорить о сложностях григорьевского характера и все-таки скатился на славословие. Но раз уж это все равно произошло, то я в заключение этих заметок, которые и не претендуют на кристальную объективность, скажу о той черте григорьевского характера, которая привлекала к нему людей тем больше, чем лучше они его знали. Эта черта характера заставляла прощать ему раздражающую иногда сосредоточенность на своей внутренней жизни, его обременительную для близких людей неприютность, количество углов в его характере и неумение эти углы сглаживать. И даже проявляющуюся в нем иногда этакую застенчивую манию величия — а он, Григорьев, знал себе цену и не скрывал этого от друзей. Это удивительная его нежность к

людям. Он был нежный человек, большой, неуклюжий и нежный.

Я ужасно огорчился, когда Григорьев перестал преподавать во ВГИКе, потому, что, слушая его рассказы об учениках и размышляя над ними, я примерно так сформулировал григорьевское педагогическое кредо (подчеркиваю, это я его так сформулировал): «Души не бывают похожи друг на друга. Похожи бывают сюжеты, ходы, приемы работы над сценарием, даже жизненный опыт — но не души. Высвобождение души ученика — основное усилие мастера». Им, вероятно, трудно жить в кино — григорьевским ученикам. Но настоящим людям, чем бы они ни занимались, должно быть трудно, ибо они делают самую главную работу жизни: двигают жизнь вперед.

Впервые это было напечатано в 86-м, когда еще впереди были знаменитые «Отцы-66» и «Отцы-68» — постановки по григорьевским «загашникам» — сценариям «с полки», но, надеюсь, и из того, что здесь рассказано, ясно, что вписаться в новую, счастливую капиталистическую жизнь была Григорьеву не судьба. Последние годы до его смерти мы почти не виделись, но душевная привязанность к нему во мне не слабеет и по сей день.

Я строю на песке…



Сева — Всеволод Михайлович Вильчек

Первое знакомство с Вильчеком было довольно странное: подошел человек — было это в Доме кино — незнакомый, роста небольшого, с неестественно прямой спиной — я тогда не знал,

что у него были проблемы с позвоночником — интеллигентно так подошел:

— Вы, — не то спрашивает, не то утверждает, — Симонов?!

— Да, — говорю, — я вам зачем-то нужен?

— Ну, как вам сказать… хотел бы уточнить одну деталь вашей биографии.

Сейчас это выглядит странно, что мы познакомились только в 82-м или 83-м году. Опорные точки наших биографий совпадали если не во времени, то в пространстве. Жизненный опыт включал «Севера», Восток, журналистику, телевидение, да и основополагающие персонажи этих биографий были одни и те же. Поэтому из памятных разговор с Севой этот, единственный, на вы, и происходить он мог только после 81-го, когда уже вышел однотомник воспоминаний о моем отце, потому что «уточнение детали» касалось моего текста, помещенного именно в этой книге.

Незадолго до своей смерти Сева дал мне большое интервью для фильма об отце, и там подробное изложение этого эпизода как бы замыкает рамки нашего с ним знакомства, так и хотелось написать «дружбы», но нет, знакомства, с дружескими, доверительными отношениями. Дружба от знакомства отличается тем, что у дружбы нет ни расписания, ни графика, так что все-таки знакомства, с совместными работами, с серьезными спорами, с согласием — чаще и с разногласиями — тоже нередко.

Итак, подошел человек с усмешкой, как оказалось впоследствии, редко покидавшей его лицо и адресованной, скорее, себе, что располагало к нему собеседника. Сева словно говорил этой усмешкой: «Я вам скажу вещь умную, но вам она, возможно, покажется глупостью. Не стесняйтесь, я к этому готов, видите, я уже заранее ухмыльнулся».

А история выглядит так:

«Познакомился я с вашим папой в Ташкенте на защите диссертации Вулиса, с которым потом они „Мастера и Маргариту“ печатали. Мой декан подвел меня к Симонову и говорит: „Вот, Константин Михайлович, это очень способный студент, он будет писать диплом по вашим стихам“. Так я узнал тему своей дипломной работы, а декан, между прочим, был жуткий подонок и впоследствии этой работой моей вовсе не интересовался. Но контакт с Симоновым установился. Отсюда и история. Звонит как-то Симонов: „Сева, вы получили новый номер „Юности“?“ Я говорю: „Да“. „Прочитали?“ — „Нет еще“ — „Обязательно прочтите, вечером встретимся“.

Ну, я начинаю читать, наталкиваюсь: очерк Алексея Симонова об экспедиции геологической. Понимаю — вот оно что. Ну, после

его выступления, вечером, ходим с ним по улице Навои, и он все спрашивает: „Ну, как вам очерк?“ Раз десять спросил. А мне поговорить хочется про свои стихи, которые у Симонова лежали, но он ни в какую: все про своего сына и его первую заметную литературную работу.

Потом вышла книжка воспоминаний о Константине Михайловиче, и там была ваша статья о нем. (*Тут Сева продемонстрировал чудеса собственной памяти, процитировав последнюю фразу в этом моем сочинении. Причем почти дословно. — А. С.*) В Союзе кинематографистов я вижу человека, на кого-то очень похожего. Соображаю, что это — вы. Подхожу, мы не знакомы еще, и говорю: „Знаете, вы прекрасно написали о своем отце, но неправду. Там написано, что Симонов не интересовался творчеством своих детей, что он к ним относился так же, как ко всем другим детям. А я вам расскажу, что это абсолютная неправда“».

И Сева рассказал эту самую историю.

Так была восстановлена между нами связь времен и давнее заочное знакомство превратилось в реальное и очное.

Тогда же, в конце 50-х, в Ташкенте, состоялось его первое знакомство с советским телевидением, его особыми нравами, и традициями. А связано это было опять же с Симоновым-старшим, на показ которого по ташкентскому телевидению был начальством наложен негласный запрет. Почему отец впал в относительную немилость, я знаю не от Севы, а вот о Севином участии в этой истории — непосредственно от него.

Сева в интервью 2005 года рассказывал про отца, но, только взявшись за этот материал сейчас, я понимаю, сколько важного он рассказал о себе. О приоритете гордости, об отсутствии у Севы навыка чинопочитания и о том, как он готов был порушить только-только формирующуюся биографию ради принципа. Вот как выглядит этот рассказ Севы в расшифровке.

«Ташкент шумел: в Ташкенте Симонов. А я в 59 году начал работать на ташкентском телевидении. И с удивлением обнаружил, что живущий в Ташкенте Симонов ни разу не выступал по ташкентскому телевидению. Что-то такое невероятное.

Я по-нахальному звоню Константину Михайловичу: „…Для вас это, наверное, не интересно, но Ташкенту очень интересно. Может, согласитесь выступить у нас по ТВ?“

Он сказал: „Вы приезжайте, мы это обсудим“.

Я приехал.

Он говорит: „Меня уже однажды приглашали, но расписание изменилось и передача выпала. Я не хочу, чтобы снова была такая

неприятная ситуация. Вы все-таки согласуйте, чтобы такого больше не было… и мне позвоните“.

Я сказал: „Да, да“. Приезжаю на студию, иду к старшему редактору. Он не мычит, не телится. Иду к завредакцией: не мычит, не телится, посылает к главному редактору. Главный говорит: „Нет, Симонова у нас не будет“. Как? Почему?

— Не мой вопрос. Это решается на уровне секретаря по идеологии, — это он совершил преступление против законов жизни партии: на устные распоряжения ссылаться было нельзя. Нужно было брать все на себя.

Но для меня — молодого графомана, который уже пригласил Симонова, сказать ему, мол, нет, вы не будете у нас выступать, — лучше покончить с собой. Не вру, такое было состояние. Через каких-то знакомых я пробрался в ЦК к секретарю Рахимбабаевой, ну не к ней, к помощнику, и сказал: покончу с собой прямо здесь, в приемной, если не дадут разрешения Симонову выступать. А там разговоры-разговоры и объявляют: „Какую глупость вам сказали, езжайте к своему главному. Что вы сюда пришли? Это решает студия“. А главному уже успели дать втык. Он говорит: „Нет-нет, Симонов, конечно, выступать будет, но учти… скажет хоть что-то не то — уволим тебя с работы“.

Хорошо.

Еду к Константину Михайловичу: „Нужен хоть набросок, хоть план вашего выступления, что-то, что можно цензору отдать“. Он дал переводы из узбекских поэтов, написал несколько строчек, о чем будет говорить.

Хорошо.

День выступления. Везу его на студию и по дороге все-таки ему говорю: „Константин Михайлович, неудобно говорить, но, пожалуйста, держитесь своего плана…“

Он говорит: „Ну давайте, Сева, по-мужски (*он звал меня Сева и на вы*), рассказывайте, что там было“.

Я говорю: „Все ничего, но есть понятие „микрофонная папка“, на которой должны стоять подписи цензора, главного редактора, завредакцией и т.д. Так вот, подпись на этой папке стоит только одна — моя“.

Он все понял. Приезжаем, он берет меня под правую руку, чтобы не пожимать рук выстроившемуся у входа начальству, и мы с ним входим».

На ташкентском телевидении Сева проработал недолго. Уже в 60-м ему пришлось оттуда «делать ноги», потому что грехи за ним водились разные: то он сочинял длинную и цветистую поэму за незнакомого героя социалистического хлопкоробства, так что обманул даже высокий вкус моего папаши и едва не попал под

разборку, потому что, впечатленный поэмой, отец рвался поехать к автору вместе с «блестяще осведомленным» переводчиком, то писал телепьесу, из-за которой за него брались органы. И в это время как раз подоспело приглашение из Норильска — на тамошнее ТВ. Сева пришел советоваться к отцу, и отец сказал: «Вам здесь не жить, езжайте, делайте себе там биографию». И книжечку стихов подарил с надписью «Всеволоду Вильчек на память и на дорогу в Норильск. Константин Симонов». Так и написал, не склоняя фамилии.

Ну вот, а двадцатью с лишним годами позже познакомились мы с Севой. Уже за плечами его были и Норильск, и «Журналист», куда его пригласил Егор Яковлев. Уже Сева хромал, уже, как я говорил, и спину держал неестественно прямо, уже навыки боксера-легковеса сменились навыками опытного путешественника, уже прошло увлечение журналистикой, и главным стала социология, а журналистское прошлое сказывалось главным образом в нестандартной, острой подаче итогов социологических исследований, все-таки Севина социология была приемной дочкой его журналистики.

Эти двадцать с лишним лет мы ехали по жизни в одном поезде, но почти всегда в разных вагонах, и чем дальше, тем большим было между этими вагонами поездное пространство. Мы охотно ходили друг к другу в гости, но, как я уже сказал, заранее оговаривали время и место. Нам было интересно друг с другом, особенно мне с ним, потому что Сева был глубже и умнее меня — поэтому оказался менее защищен от соблазнов людей и обстоятельств. У него всегда была подспудная надежда, что кому-то он что-то до конца объяснит — и тот поймет, и… вот после этого «и» и начинались все Севины разочарования. Потому что какими бы многообещающими ни были тенденции отдельных ТВ-каналов, на которых работал Сева, и либеральность их руководителей, которых он поначалу водил за руку, а со временем оказывалось, что они водили его за нос, общая тенденции развития ТВ выстраивалась отвратительная, и обретенный (в том числе с помощью Севы), профессионализм не шел этим деятелям ТВ на пользу, а становился чем-то вроде отмычки, которой каждый из получивших ее стремился отомкнуть волшебную дверь успеха.

Сева всегда был шире одного канала и его творческих и финансовых интересов, и потому все его старания быть истинным патриотом первого, энтэвэшного, или последнего, грузинского, всегда были попытками втиснуть энциклопедию в краткий разговорник — мучительно и, увы, безнадежно.

В начале девяностых, когда всеобщая эйфория в России уже

начала скукоживаться и — наоборот — достигла высшего кипения на Западе, в Россию устремились десятки культуртрегеров от телевизионной журналистики. Они были переполнены благородной отвагой привить нашим набирающим силы профессионалам международные стандарты. Чтобы было понятно, о чем я говорю, а то уже забылась суть внутренней драмы того времени, приведу только один пример. В Мраморном зале Дома журналистов идет семинар по расследовательской журналистике. Ведут его двое, и оба через переводчика. Он — журналист — разгребатель грязи с Би-би-си, поджарый афроамериканец, и она — бывшая журналистка, ныне юрист одной из телекомпаний. Тема: «Участие юриста на ранних стадиях расследования». И говорит она такие слова, мол, я на ранних стадиях расследования стараюсь с журналистами не встречаться, чтобы потом, если дойдет до суда, никто не мог бы сказать, что он — журналист — был ознакомлен со всеми юридическими тонкостями процесса и если нарушил какие-то юридические каноны, сделал это осознанно. Переводчик переводит, аудитория сочувственно внимает. Я — как соведущий — останавливаю этот благостный ход переливания знаний из английского в российское и спрашиваю у нее: т.е. вы хотите сказать, что, если вам пришлось бы в дальнейшем давать показание в суде, вы хотели бы иметь возможность сказать с чистой совестью, что он предварительно не знал и не мог знать, по крайней мере от вас, юридическую подоплеку своих будущих действий?

Она смотрит, словно не понимая смысла вопроса, и говорит: «Ну разумеется».

Тогда, вовлекая в свой вопрос практический опыт аудитории, я спрашиваю: «А что могло вам помешать сказать это в любом случае, независимо от того, были или не были такие консультации?»

И аудитория уловила смысл вопроса, а дама возмущенно и резко говорит: «Мне бы пришлось давать показания в суде. У меня есть репутация и лицензия юриста, я не могу солгать, положивши руку на Библию».

Вот тут аудитория российских грязекопателей недоуменно загудела.

Все профессиональные примочки мы либо знаем, либо легко перенимаем, а вот то, что нельзя солгать, положивши руку на Библию, — с этим, знаете ли, надо родиться, как ни странно.

Поэтому мы так легко усвоили всю внешнюю канву так называемых западных стандартов и так легко ее отбросили, когда время потребовало снова врать, положив на Библию руку или что

другое, это уж по обстоятельствам.

Сева очень хорошо понимал эту разницу наших, с позволения сказать, «менталитетов», и поэтому в то романтическое время его контора на Сивцевом Вражке была одним из пунктов прививки российских реалий приехавшим зарубежным педагогам. Мы старались хотя бы дать им представление о том коэффициенте поправок, на который жизнь провинциального российского телевидения обречет их высокие профессиональные стандарты.

В 95–96-м мы с Вильчеком осуществили его на тот момент заветную мечту о «третейской» социологии. Социологических служб к тому времени завелось в стране немало, а выборы тех лет давали примеры заметного разброса итоговых цифр исследований и прогнозов. Причем вера в социологию (по крайней мере наружная, демонстративная) была велика, а навыков публикации социологических данных у СМИ было немного: считалось, что обстоятельства исследования не обязательны при публикации их результатов. Ну, скажем, кого интересует, сколько и по какому принципу отобрано респондентов для формирования того или иного прогноза. Вот все это Севе хотелось привести к общему разумному и грамотно сформулированному знаменателю. И надо отдать должное социологам: и иронично мудрый Левада, и острый, нервный, вечно забегающий вперед Бетанелли, и еще не ставший опорой кремлевских выкладок Ослон — все с интересом и сочувствием отнеслись к этой работе. Ежемесячно Сева публиковал средние цифры социологических опросов и делаемых на их основе прогнозов. Моя команда из Фонда защиты гласности отбирала для его публикаций наиболее безграмотные, доморощенные социологические экспертизы газет и телеканалов, например, прогноз «МК», после «проведенного в ВУЗах страны исследования политических предпочтений студентов», где за каждой итоговой цифрой оказывалось от 3,5 до 7,25 «участника исследования».

Перед финалом — выборами президента — Севу постигло глубокое разочарование: по его усредненным цифрам несколько политических организаций не имели ни малейших шансов не только на победу, но даже на то, чтобы попасть в реальный шорт-лист выборных удачников, и если бы их лидеры в оставшееся время отказались от участия в гонке и призвали бы своих, пусть немногочисленных, избирателей голосовать за организацию более удачливых коллег, это могло бы заметно увеличить шанс либеральных партий на итоговое приличное место. Все это Сева написал в статье, жесткой и острой, четкой по мысли, хотя и, чего уж скрывать, все-таки наивно-романтической, но тогдашний редактор «Известий», один из членов первого правления Фонда

защиты гласности Игорь Голембиовский отказался печатать статью, хотя по закону ее еще можно было выпускать в свет. Он сказал: «Там написано, что у Гайдара нет шансов. А я не хочу, чтобы Гайдар, мой друг, узнал это из нашей газеты. Это будет для него ударом». Сева так и не смог понять, как редактор газеты может нанести такой урон истине.

Вторым ударом для Севы была катастрофическая незаинтересованность газет и телеканалов в осмыслении происходящего. На конференцию по итогам первого полугодия нашего проекта пришли все социологи и всего двое из принимающих решения медийщиков, остальные прислали мальчиков и девочек — написать об этой конференции заметку. А на заключительный круглый стол уже не пришли и разочарованные в партнерах социологи. Вот после этих трех апперкотов Вильчек и завязал с попытками влиять на происходящее в целом — как на процесс и перешел в программирование.

Есть такая китайская легенда о человеке, которого снедала страсть к путешествиям. Я ее на этих страницах уже рассказывал. Смысл в том, что всю оставшуюся жизнь его — живущего дома — мучила тоска по родине.

Вот что-то подобное случилось и с Вильчеком. В этом одновременно привычном, но и новом для него городе ему стали платить непривычно приличные деньги. Круг обязанностей был обширен и непривычно безответственен: он был среди тех, кто принимал решения, но не руководил теми, кто их исполнял, более того, продукция его мысли перестала быть планом собственной жизни и зависеть от него, а стала проектом чужим, исполнение которого от Севы зависело мало. Словом, чтобы назвать вещи своими именами, надо признать, что при всей интеллектуальной интересности и материальной привлекательности, должность эта называется «умный еврей при генерал-губернаторе», и как бы Сева ни ерничал, как бы ни иронизировал по этому поводу, он-то сам это знал.

Потому что Сева устроен был крупнее, он относился к категории людей, получающих удовольствие от того, что соревнования организованы по справедливым и верным правилам, а не от того, что твоей команде удалось выиграть одну или две дистанции на этих соревнованиях. Или еще крупнее: Вильчек, прекрасно образованный человек, строил социализм в отдельно взятом телевизионном государстве, стараясь по возможности забыть об имеющемся историческом опыте. Как мало кому, Всеволоду Михайловичу Вильчеку подходят в это последнее десятилетие его жизни строки Слуцкого:

Я строю на песке. А тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой. Для всех скалой остался,
А для меня распался и потек. <…>
Но верен я строительной программе,
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами
На уходящем из-под ног песке.

Его последние, грузинские годы, и усилия, в сущности, при всей экзотичности атмосферы и отношений повторили уже вылепленную жизнью формулу: приходишь к романтическим любителям с огнем знаний, уходишь от прожженных этим огнем профессионалов. Интересно бы узнать: это всеобщее проклятие телевидения или только наше российское?

Так что продавать свои мозги на интеллектуальном рынке Сева научился, причем чем дальше, тем дороже они стоили, а душа билась об острые углы обретенной свободы, в железной клетке изречения Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Я думаю, что жизнь Вильчека — одна из неочевидных трагедий эпохи перемен: и то, как он умер, — частный случай общей драмы времени. Заложенная в нас с юности установка на успех страны разбилась о рифы успехов и неуспехов меньших и больших частных дел, проектов, организаций. Неслучайно главным для Севы делом в последние месяцы его жизни стало массовое издание его философской книги «Алгоритмы истории». Он издал ее за свой счет и хотел, чтобы экземпляр ее лежал бы в библиотеке каждого университета России. Вполне допускаю, что Вильчек был прав, но правоту эту оценить не в силах — у меня так и не хватило интеллекта дочитать эту книгу до конца.

Последний босс Гостелерадио

Л. П. Кравченко и редактор знаменитых перестроечных «Московских новостей» — Е. В. Яковлев

Речь пойдет о человеке, чья деятельность имела отношение к

становлению независимого телевидения, даже если деятельность эта становлению способствовала невольно, через противодействие.

Итак, Леонид Петрович Кравченко — последний босс Гостелерадио СССР.

Очень красивый человек, высокий, импозантный, с хорошей речью, производящий впечатление человека умного, и не только производящий, а действительно человек умный. Отличный полемист, что мне неоднократно довелось испытать на себе. Человек с хорошей реакцией. Человек в принципе по доперестроечным меркам, вполне демократических убеждений, более того, по тем временам, я бы сказал, совершеннейший либерал. И его назначение в свое время заместителем председателя Гостелерадио, еще в бытность председателем господина Лапина, было актом для нас тогда достаточно знаковым. Впрочем, лично мои отношения с ним начались с конфликта.

Работал я тогда в Гостелерадио в творческом объединении «Экран», а новый зам или уже председатель Гостелерадио — боюсь наврать — как Мороз-воевода дозором обходил владенья свои, встречался с коллективами редакций отдельных подразделений Гостелерадио и, в частности, должен был встретиться с творческим объединением «Экран». Нас раз собрали — напрасно. Кравченко не пришел. Нас два собрали — напрасно. Кравченко не пришел. Когда собрали в третий раз, то было естественно предположить, что он не придет снова, ибо бог любит троицу. Но не прошло и получаса ожиданий, как Леонид Петрович в сопровождении директора «Экрана» — Бориса Михайловича Хессина — появился. Было это в Останкино в основном здании. Собралось нас человек сто. Леонид Петрович был представлен, поздоровался, сказал тронную речь и спросил, есть ли вопросы. Первый вопрос был у меня: «На что нам рассчитывать — таков будет стиль руководства, ибо нас собирали уже дважды, и начальство, дважды не придя и опоздав в третий раз на полчаса, не считает нужным извиниться? Или это случайность, и нам принесут извинения?» Надо отдать ему должное, не моргнув глазом, он попросил считать это случайностью и извинился. Квалифицированным начальником был Леонид Петрович.

Один из законов Паркинсона гласит, что человек останавливается в служебном росте, когда он переступил порог своей некомпетентности. Беда в том, что каждый раз это случается уже за порогом. Мне в жизни пришлось с этим столкнуться. Один случай был еще в школе. В воспоминаниях это

описано подробно. Был замечательный завуч, душевный, толковый, знающий ребят, способный войти в положение, объяснить и объясниться. Потом в одночасье его назначают директором школы. И человека на глазах как подменили, он стал бюрократом, лишенным слуха к чужому мнению, навязывающим свои мысли, свои решения. А другой случай вспомнился, потому что рядом с Кравченко в момент, когда мы познакомились, стоял Б. М. Хессин — директор ТО «Экран». Когда его назначали в ТО «Экран», одна моя приятельница, работавшая вместе с ним до того в журнале «Кругозор», сказала: «Боже! Как вам повезло! Какого замечательного человека вам назначили, какого понимающего, какого тонкого, какого демократичного, какого прогрессивно мыслящего человека». И вот, назначенный из журнала «Кругозор» директором ТО «Экран», он наглядно продемонстрировал все издержки переступания порога некомпетентности. Куда что девалось? Ровно через два года эта самая моя подруга сказала: «Ты знаешь, какая-то странная вещь. Я недавно встретилась с Борей. Он очень сильно изменился». Т. е. этот шаг меняет не только отношение человека к окружающим, но и меняет его самого. Человек тайно ощущает, что это — не его уровень проблем, что он одного не знает, второго не понимает, а третьего не может, что ему непосильна эта ноша, он теряет себя и начинает ориентироваться не на свое мнение, а на воображаемое мнение вышестоящего, которое он автоматически числит истиной в последней инстанции, на оценки начальства и его предполагаемые решения. Он перестает быть самим собой, из него личность выходит, выветривается. Как у Евтушенко сказано: «Уходит любимая, словно воздух из легких уходит…» Вот примерно так, из человека уходит он «любимый». И остается внешняя оболочка, а содержание человеческое растворяется в необходимости чему-то соответствовать, казаться умнее и профессиональнее, чем ты есть на самом деле. Т.е. возникает ко всему прочему еще и недоверие к себе. Эти люди всегда ненадежны. Это люди неопределенных поступков, это люди, решения которых невозможно предугадать, потому что не знаешь, на чье мнение в эту минуту они пытаются себя запрограммировать. Принимая какую-нибудь картину у съемочной группы, Хессин представлял, как он ее сдает Лапину или кому-то из его замов — тому же Кравченко, к примеру, — поэтому дергался, как марионетка, и постоянно говорил чужим голосом. Вот это — порог некомпетентности.

Кравченко был абсолютно компетентен и в роли зама, и в роли председателя Гостелерадио. Он производил впечатление человека сохраняющего свой стиль жизни, поведения, мышления.

Потеря компетентности ведет к потере точки опоры, а у Л. П. Кравченко, по моему разумению, такая точка опоры была — верно, как ему казалось, понимаемая политика, диктуемая партией и правительством. Он считал, что его направили в Гостелерадио с целью определенной либерализации ситуации, он вполне этому соответствовал, и доказательств тому более чем достаточно: и рождение «Взгляда», и появление всевозможных передач молодежного канала — сагалаевской «Лестницы», например, и т.д. и т.п. Это все так или иначе проходило в эфир с одобрения Кравченко, и не могло выйти на экран вопреки ему. Так что у него было ощущение верно понимаемой политики партии и правительства, и дальше — в пределах этой верно понимаемой политики — он чувствовал себя уверенно. Я думаю, что именно здесь и лежат корни той беды, которая с ним случилась в августе 91-го года, последствий которой он так никогда и не преодолел.

Для того чтобы с этой бедой было понятнее, вернусь немного назад. Года с 86-го мы виделись с Леонидом Петровичем уже в основном не в коридорах телевидения, где я формально числился режиссером, а на пленумах Союза кинематографистов и на разных других мероприятиях. Кинематографисты в то время немного опережали власть в своих устремлениях. Леонид Петрович шел с этой властью в ногу. Однако могу с печалью констатировать, что большинство наших «опережающих идей» носило соглашательский характер. Например, на пленуме Союза кинематографистов 1988 года, посвященного ТВ, я выдвинул идею создания на двух общесоюзных каналах ТВ двух врозь работающих дирекций, чтобы создать между ними конкуренцию и распределять деньги тому или другому каналу по завоеванному рейтингу. Видно, социализм с человеческим лицом все еще маячил передо мной. До революции на ТВ оставалось каких-нибудь два-три года. Так что особой прозорливостью я не отличался. Зато, как сейчас, помню выступление Кравченко, который положительно сделал из моей идеи «котлету». Лично мне он всегда импонировал. Ему были присущи интеллигентность, доброжелательность, некоторая суховатость. Я бы сказал — качественный чиновник, совершенно не чуждый культуре. Несколько позже к его биографии добавился один штрих, который свидетельствует о том, что мы в принципе — люди одного поколения и, скорее всего, одного исходного воспитания. Когда «Современник» только создавался, существовало что-то вроде совета зрителей или клуба поддержки. Иногда эта команда даже собирала деньги на декорации для спектаклей театра. Казначеем в этой команде был молодой

журналист Леня Кравченко. А председателем совета — Александр Шерель, который мне это и рассказал. Если учесть, что я тоже с конца 50-х все свободное время проводил в «Современнике», мне этот штрих его биографии импонирует.

Но начиная где-то с года 90-го расхождение в скоростях демократического созревания между нами и властью становилось все очевиднее. А следом за властью и ТВ заметно отставало от событий. Михаил Сергеевич Горбачев стал совершать петли и закорюки, танцевать политическое танго — шаг вперед, два назад, шаг в сторону, два еще куда-то. И эти «два еще куда-то» ТВ должно было угадать и идти вместе с ним. После закрытия «Взгляда» ТВ уже стали именовать кравченковским ТВ, так уже говорили и даже кое-где писали. Прологом этого разлада и раздрая был Тбилиси, а потом Баку и Вильнюс, и ни слова правды не прорывалось на экран. Это слеза Тани Митковой сделала ее национальной героиней, а слова ее были написанными словами, которые она была вынуждена произносить. Но при всем моем неприятии кравченковского ТВ, внутреннего антагонизма по отношению к Кравченко лично у меня не было, я просто потерял к нему интерес. Мне он стал казаться человеком, отошедшим в прошлое.

Теперь, возвращаясь к вопросу о компетентности, могу сказать, что Леонид Петрович начал терять эту компетентность с того самого момента, когда перестал понимать ход мыслей власти, суть ее помыслов. Потому что при всех своих достоинствах, будучи человеком дисциплинированным и исполнительным, он привык двигаться по тем рельсам, которые были проложены партией, поставившей его на этот пост. Вдруг рельсы стали двоиться и троиться. Это и был роковой момент для Кравченко. Он перестал понимать, что ему надо делать. Т.е. он давал распоряжения, принимал решения, однако все они уже были продиктованы страхом *не* угадать, чего желает та самая власть, которая хочет быть демократичной, но с помощью танков сохранить Вильнюс, хочет открыться на Запад и одновременно посылает армию с саперными лопатками на Тифлисскую площадь. Он потерял точку опоры.

А потом был август 91-го: ГКЧП, танки и баррикады, незабываемое обилие лебедей по центральным каналам, трясущиеся руки Янаева, и вся эта пресс-конференция, и Горбачев, возвращающийся из Фороса. Когда прошло какое-то время, я сказал, и это было напечатано, что, с моей точки зрения, не вина, а беда Кравченко в том, как ТВ вело себя в эти августовские дни, что Кравченко — очень качественный «паровоз», и не его вина, что его поставили не на те «рельсы».

Прошло еще несколько лет. По слухам я знал, что Леонид Петрович работает в «Парламентской газете».

…Был Журналистский бал, он единственный раз проходил в Кремле, это я очень хорошо помню. Я вошел в почти пустой еще концертный зал, и ко мне с другого конца, раскинув руки, направился высокий элегантный блондин. И я с некоторым удивлением угадал в нем Кравченко, а потом обнаружил, что он меня обнимает. «Ты — единственный, кто понял, что со мной произошло», — сказал он мне. Ну, с одной стороны, мне это было приятно слышать. Но, с другой стороны, — обидно, потому что такое объяснение произошедшего очевидно. Кстати говоря, если задуматься о профессиональной стороне дела, то сегодня, с дистанции уже почти двадцатилетней, «Лебединое озеро» по всем каналам было не худшим решением телевизионного руководителя, каким бы безумием и идиотизмом оно ни казалось тогда. Особенно по сравнению с решением председателя ТРК «Останкино» Брагина два года спустя, когда, напуганный приближением макашевско-руцкой орды, он вырубил каналы совсем. Кравченко, с одной стороны, дал информацию стране о том, что в ней что-то произошло, с другой стороны, закрыл ту информацию, которую давать не мог. Когда он выпустил в эфир ГКЧП, то, видимо, не стоял в тот момент в аппаратной, как это бывает с начальниками телевидения по сию пору, потому что иначе представить себе, как режиссер трансляции — моя добрая знакомая Лена Поздняк — сумела выдать в эфир трясущиеся руки Янаева, — невозможно. Она это сделала, безусловно, без ведома Кравченко. Если бы он, как цепной пес, стоял в этот момент в аппаратной, он сумел бы это предотвратить. Во всяком случае, глядя на восемь мониторов, из которых выбирает следующую картинку телережиссер, всегда можно успеть сказать оператору, чтобы он быстренько сменил крупность и даже не смел приближаться на такую дистанцию к говорящему. Возможность такая была, и этой возможностью он не воспользовался, уж не знаю по какой причине. Предположить, что это не было жизненной ставкой, трудно, но факт остается фактом.

Леонид Петрович до сих пор никому этого не может объяснить, даже самому себе, потому что, видимо, драма умного человека в том, что он никак не может понять, как он — умница и профессионал — мог допустить подобную глупость. А настоящая драма заключается в том, что все-таки человек — не паровоз, и гордость быть «паровозом» — это, мягко говоря, гордость прошлого.

Беда, которая случилась с Л. П. Кравченко, позволила десяткам теле- и радиокомпаний, только-только выходившим в

свои первые эфиры, невероятно укрепиться в общественном мнении. Это произошло с «Эхом Москвы» в Москве, это произошло с «НТН-4» в Новосибирске, «Томск-2» — в Томске. Эти ребята разными путями — по телефону, самолетом, по радио — получали из Москвы материалы о том, что в ней реально происходит, и выпускали их в эфир. В тот момент для провинции этот внезапно появившийся информационный маячок поднял престиж молодых и еще в сущности технически слабых, мало профессиональных, но сразу получивших право гордо именовать себя независимыми источниками информации, компаний. Поэтому беда Л. П. Кравченко стала большим счастьем для делающего первые шаги независимого коммерческого ТВ во всей России.

Браво, Засурский!

Упорная, прямая натура нехороша, но нельзя не любоваться натурами, которые при законных и нужных уступках времени имеют в себе довольно сил и живучести, чтобы отстоять и спасти свою внутреннюю личность от требований и самовластительных притязаний того, что называется новыми порядками, или просто модой,

П. А. Вяземский. Из «Записных книжек»

Мы с Ясеном Николаевичем на очередной конференции, 2004 г.

Если б я точно не знал, что, несмотря на почтенный возраст, вечный декан журфака МГУ, не имел удовольствия быть лично знакомым с князем Петром Андреевичем, я с пеной у рта доказывал бы, что портрет, князем нарисованный, писан с Ясена Николаевича Засурского.

Надеюсь, нам уже удалось приучить читателя к мысли, что

выбор героев в этой книге никоим образом не претендует на объективную взвешенность. Пишу о тех, кого «Помню и люблю», или, точнее, о тех, кого люблю вспоминать.

В течение нескольких лет Ясен Николаевич был председателем 2-й лицензионной комиссии ФСТР, где я имел удовольствие (по некоторым причинам не могу назвать это честью) быть одним из двух его заместителей, дивиться деятельной мудрости его и огорчаться избирательностью ее применения.

Большинство ныне действующих журналистов прошло через школу Засурского. Удивительно другое: выпускники в 60-х и 70-х намного меньше ценили Засурского, чем сегодня, и такого безоговорочного авторитета, какой обрел он в последние полтора десятилетия, он никогда раньше не имел. «Законные и нужные уступки» времени господства коммунистической доктрины, особенно жестокого в такой сверхидеологизированной сфере, как подготовка журналистов, едва ли способствовали популярности Засурского у лучших — т.е. наименее зараженных этой доктриной — выпускников журфака. Это сейчас его полувековое деканство выглядит блистательной карьерой, когда-то оно казалось результатом отсутствия амбиций у человека в футляре. А ведь были, были амбиции и возможности реализовать их были, хотя бы через служение партийному делу в главной кузнице перспективных кадров — идеологическом отделе ЦК. Удержался и, оказалось, как мало кто из современников, сохранил себя для будущего. Диаматчики, истматчики, историки КПСС, марксистско-ленинские эстетики и партийные пастыри литературы и культуры, сколько их ринулось топтать и вытаптывать идеологическую ниву, еще недавно обеспечивавшую их хлебом насущным, каких рыжих и ряженых мы с вами за эти годы перевидали. А Засурский не менялся, он только перестал таить застенчивый скепсис, свойственный ему во все времена и ставший сегодня одной из выразительнейших черт его личности.

Наверное, ему есть о чем пожалеть, вспоминая, но не в чем каяться. В той школе он не был и не стремился быть первым учеником, если вспомнить шварцевского «Дракона». Что помогло ему «отстоять и спасти свою внутреннюю личность»? И какой отпечаток наложили на нее порядки и моды прошедшего времени? Всякий раз, встречаясь с ним, мысленно или воочию я задаюсь этими вопросами и — не будучи знаком с ним настолько коротко, чтобы спросить об этом его самого, — ищу свои ответы.

На вопрос «что помогло?» я, кажется, ответ знаю, по крайней мере часть ответа. Мой ответ — форточка. В закупоренной наглухо советской коммуналке жила и привилегированная группа

людей, которым по тем или иным обстоятельствам — чаще всего профессионального характера — разрешалось жить с открытой на Запад форточкой. Дипломатов и разведчиков отставим в сторону, останутся переводчики и критики западных порядков, к коим и Засурский принадлежал. Поскольку я и сам с начала шестидесятых занимался переводами с английского, я эту среду знал, и неплохо.

Проветривание мозгов, даже вне зависимости от их качества, делало взгляд на окружающую действительность у кого более трезвым, а у кого и более критичным. Одним из самых первых продуктов самиздата были не пошедшие в печать переводы западных авторов. Сейчас в это почти невозможно поверить, но хемингуэевский «По ком звонит колокол» в переводе Калашниковой — толстенный машинописный том, принадлежавший моей маме, несколько десятилетий передавался из рук в руки как полуподпольная реликвия. Из этой среды рекрутировалась значительная часть диссидентства. Переводами начинали и Копелев, и Лидия Корнеевна Чуковская, и Бродский. Я не говорю, что форточка их на это обрекала, но наличие ее предрасполагало к лучшему, более объемному восприятию и пониманию происходящего внутри коммуналки. Разумеется, и эта среда не была однородной. Рассмотрим лишь одну из ее составляющих, ту, к которой, по моему рассуждению, принадлежал и Ясен Николаевич.

Исследователи западного образа жизни, язв капитализма, буржуазной культуры, они иногда невольно, а часто и вполне осмысленно, по велению ума и сердца, в облаках ими же напущенного идеологического тумана незаметно приоткрывали занавес, пропуская на якобы охраняемую ими территорию свежий ветер иной культуры, иных реалий, иных ценностей. И вопрос не в том, хороши или плохи были эти реалии и как они их оценивали, — просто любой геодезист скажет вам, что если опорные точки измерения расположены на одной только плоскости, нельзя вычислить ни высоту Монблана, ни кремлевских холмов. Скажем, первое представление о драматургии Ионеско и Беккета мое поколение получило из книги Бояджиева, посвященной критике западного театра.

Я рискну предположить, что если абсолютное большинство сограждан напоминало в те годы всех трех обезьян, олицетворяющих восточную мудрость «не вижу, не слышу, молчу», Засурский уподоблялся только третьей из них, и накопленная энергия невысказанности многое объясняет в его дальнейшей эволюции.

Поразительна способность Ясена Николаевича участвовать,

не уподобляясь, присутствовать, но не ввязываться, состоять, но без проявлений активности, — едва ли она благоприобретенная и относится только к деятельности его в новейшие времена. Скорее, это напоминает отработанную до изощренности технологию жизненного поведения. Когда-то мне довелось услышать от Анатолия Эфроса: «Я не отказываюсь ни от одного творческого предложения, ненужные отпадут сами собой». На любом собрании (конференции, круглом столе и т.д., и т.п.), посвященном проблемам журналистики, положению СМИ, свободе слова, новейшим фиоритурам законодательства и прочая, вы всегда обнаружите неяркую, не привлекающую к себе особого внимания, подчеркнуто скромную фигуру Засурского. С такой же уверенностью можно утверждать, что он либо появится не сначала, либо пробудет не до конца, аккуратно и неярко, но по делу выскажется и через некоторое время исчезнет, редко доводя свое участие до подписания протестов, воззваний или резолюций — я уже, кажется, упоминал о застенчивом скепсисе его, он словно всегда на перепутье: не участвовать неловко, участвовать — смешно.

Поразительно, но с годами, особенно по мере того, как благоприятные перемены вновь стали оборачиваться пустыми надеждами, у Деда — таково одно из известных мне прозвищ Ясена Николаевича — все чаще обнаруживается мускулатура в выступлениях и готовность к подписанству, то ли возраст притупляет чувство самосохранения, то ли уже не хватает сил сдерживать много лет попираемый, но не потерянный совсем темперамент.

Лицензионную комиссию, в которой мы состояли, поставили чем-то вроде демократического забора, нашими лицами обращенного к общественному мнению, огораживающего от нескромных взглядов территорию ФСТР[20], где принимались за нашей спиной многие решения. Довершая портрет Ясена Николаевича, мне хочется рассказать историю, как мы с ним из этой комиссии решили выйти.

История с забором проявилась не сразу и не для всех. Внешне значительные заседания комиссии в зале заседаний коллегии бывшего Гостелерадио на Пятницкой могли долго поддерживать в ее членах, во всяком случае, в тех, кто лично не был заинтересован в принимаемых решениях, иллюзию осмысленности своего в ней участия. Но, как говорится, сколько веревочка ни вейся… наступил момент, когда участие грозило обернуться соучастием, а примирение с участью забора могло сказаться на собственной репутации. Было это примерно за год до ликвидации. Поговорили мы с Ясеном Николаевичем и решили,

что оставаться уже неприлично, особенно на этом настаивал я, но и у Засурского не было по этому поводу серьезных возражений. Ничто не мешало мне сделать это в одиночку, но моя отставка не дала бы нужного резонанса, важно же было не просто уйти, а уйти скандально, с публичным изложением причин, лишив комиссию самой возможности дальнейшего функционирования.

По договоренности с Засурским я написал проект совместного письма на имя тогдашнего председателя ФСТР Валентина Лазуткина, но не узко служебного, а отчетливо обращенного вовне, и передал его Засурскому, который взял несколько дней на размышление.

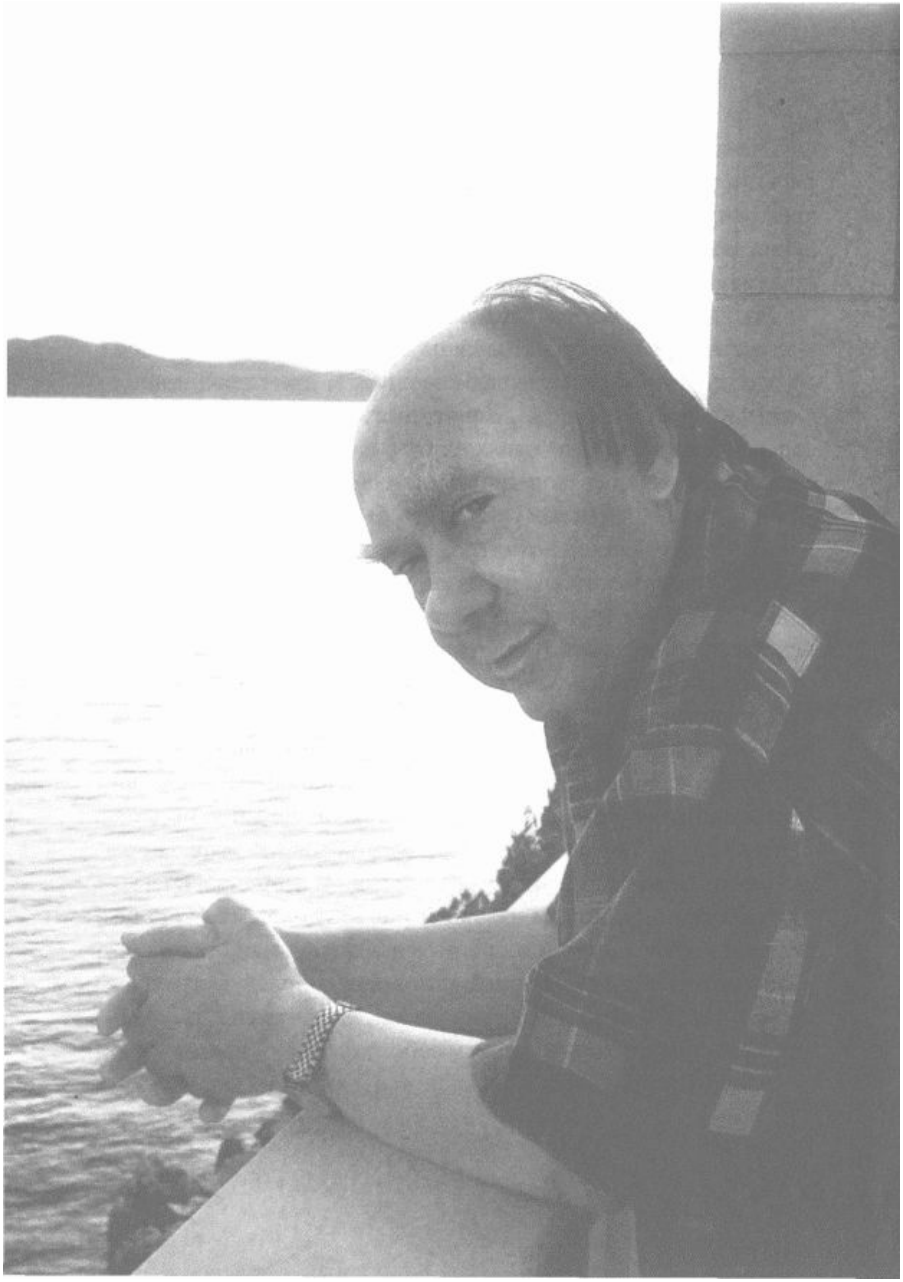
Ясен Николаевич сказал, что в письме все его устраивает, но, может быть, оно еще преждевременно. Потом по некоторым причинам ему не с руки было его подписывать, потом… словом, прошло несколько месяцев, я переписал письмо, заменив местоимения со множественного числа на единственное, и вышел из комиссии. Как я и предполагал, мое сольное выступление не привлекло должного внимания публики, а еще через полгода комиссия тихо скончалась в процессе очередной реорганизации органов управления отраслью. Ничьей репутации эта история не очернила, и конец ее, как, видимо, и предполагал Ясен Николаевич, никак не прозвучал, исторический колокол ни по ком не прозвонил.

Бедный-бедный Ясен Николаевич, как неуютно и неловко чувствовал он себя в те месяцы, когда я, пусть и без особого рвения, и тоже испытывая неловкость, приставал к нему с этим «нашим письмом». Каких-то сто восемьдесят лет назад в дни декабристского восстания родился так называемый синдром Трубецкого, хорошо известный, судя по цитируемой мной записи, Вяземскому. Суть его была в том, что, побуждаемый героическими чувствами, модными в преддекабрьскую пору, дружескими привязанностями и заемным радикализмом, князь Трубецкой соглашается возглавить штаб Декабрьского восстания, т.е. берет на себя обязательства или стремится совершить поступки в угоду «самовластительным притязаниям моды», попирая свою истинную сущность, а 14 декабря не выходит на Сенатскую площадь. В нашем случае бытовая заурядность не может скрыть очевидного сходства, мотивов и поступков. Громкое хлопанье дверьми — не в характере Ясена Николаевича. Придание своей персоне исторического значения, пусть даже в истории бюрократического учреждения, каковым и была ФСТР, — чуждо ему. И он, переступив временную неловкость, сделал так, как, наверное, делал всегда — не стал примерять наполеоновскую треуголку, — и ушел без скандала, тихо и не демонстративно,

огорчив меня, но оставшись верным себе.

Браво, Засурский!

Большевик-антикоммунист (А. Н. Яковлев)



Таким я его никогда не видел

В самую глухую пору застоя, когда понятие «интеллигенция» означало тонкую прослойку масла между хлебом крестьянства и

колбасой рабочего класса в бутерброде социального устройства, я придумал для себя формулу, о которой уже писал, сравнивая своего дедушку и дедушку Ленина. «Интеллигент — это человек, в котором гуманизм и терпимость шире, чем его собственные убеждения». После чего долго и с удовольствием, аккурат по этой формуле, вычеркивал из списка номинально принадлежащих к прослойке всех, кто был приписан к ней по убогому, но живучему определению этого понятия, даваемому советскими словарями, типа «лиц с высшим образованием» или «получивших соответствующее воспитание».

Александра Николаевича Яковлева в те годы я не знал, а если б и слышал его имя, то, скорее всего, отказал бы ему в праве называться интеллигентом. Политики, по моей формуле, в любимую мою прослойку не проходили, как библейский верблюд в игольное ушко.

Но наступило время перестройки. «Перемена участи» забрезжила перед всей страной и отдельными ее гражданами. Формула стала размываться и, что важнее, потеряла для меня актуальность. Те, кто раньше безусловно проходили по моей формуле в число избранных, теперь жгли свои партбилеты перед телекамерами. Главным стало не это. Время требовало иной системы измерений.

И тут мне помогла одна давно забытая история, услышанная когда-то от отца. В 1946 году он оказался в Голливуде, где встречался с самыми крутыми тогдашними звездами вроде Чарли Чаплина и Бэт Дэвис. Самой популярной в этих «высших кругах» была простейшая игра: писали на бумажке некий набор человеческих качеств, водящий выходил и ставил себе оценки по этому списку, остальные в его отсутствие ставили ему коллективные оценки по тем же пунктам. Потом водящий возвращался, и результаты оглашались. Оценки и самооценки совпадали далеко не всегда. Кто-то смеялся, кто-то обижался. Был даже случай, когда собравшиеся сговорились и шутки ради поставили Чаплину четверку за чувство юмора. Боже, как он обиделся, когда вернулся, отчасти подтвердив тем самым справедливость общественной четверки.

Вот эта возможность выявить разницу между общественной оценкой временем и самооценкой индивидуумом и натолкнула меня на идею новой игры — формулы, позволявшей определять объективную весомость биографий на изломе эпохи.

Берется две пары понятий: «состоявший — не состоявший», «состоявшийся — не состоявшийся» — и выбирается два понятия — по одному из каждой пары.

Какой, согласитесь, славный повод поразмыслить над

очередной загадкой русского языка, выращивающего смыслы в тени созвучий.

Скажем, «состоявшие, но не состоявшиеся» или «не состоявшие и не состоявшиеся» — ты про себя думаешь так, а судьба, выступающая в переходный период в роли то ли старого попугая, то ли морской свинки, вытаскивает из черного ящика конвертик с предопределенным сочетанием понятий. И оказывается, что жизнь прожита зря.

Вот напишешь такое, и тут же внутренний редактор тупо талдычит: соизволь объясниться, читающий может не постигнуть смысл твоей игры в устарелые понятия.

Объясняюсь: «состоявшие» — они же бывшие, принимавшие привилегированное участие, причастные и приобщенные, члены и примкнувшие, облеченные властью или имевшие облегченный к ней доступ.

Но стоит добавить какое-то «-ся», невзрачную, неприметную возвратную частицу моего грамматического детства, которую нынче высокомудрые филологи именуют постсуффиксом, и мы получаем нечто радикально иное. «Состоявшийся» — достигший, доказавший, сумевший и убедивший. Направленное вроде бы только на самого себя окончание вырывает понятие из унылого «как все»-ряда и отдает во власть общественных, профессиональных, исторических оценок.

В принципе эта игра в пары понятий возможна всегда, но только исторические катаклизмы, а перестройка, безусловно, была именно такова, делают эти совпадения или несовпадения явными, применительно почти к каждому персонажу культуры, науки, власти.

«Состоявший» — принимавший участие, «состоявшийся» — сумевший сохранить душу живую, реализовавший свое предназначение. Хотите пример? Извольте: до конца 80-х существовало понятие «секретарская литература». Это были многочисленные и многостраничные тома, написанные секретарями Союза писателей. Они состояли — и потому считались властителями дум и душ. Ну и кто сегодня вспомнит хотя бы фамилию Маркова или Сартакова? Не состоялись. Хоть плачь.

Я подозреваю, что одной из главных причин так называемого отката общественных настроений в постсоветской России от так называемых демократических ценностей послужила охватившая основную массу населения тайная тоска по времени, когда состоять было важнее, чем состояться, во всяком случае — легче, проще.

Особенно печальная картина возникает, когда этим

«постсуффиксом» проверяешь людей, причастных когда-то к власти.

Составы политбюро — все подряд — как гранитная доска возле братской могилы: имена не вызывают в памяти ничего, а ведь каждый из них потратил жизнь на то, чтобы «дойти до степеней известных». Для них, людей в русском языке не сильно искушенных, все эти нюансы насчет состоять — состояться даже в мыслях не возникали, состоять означало прятать индивидуальность, а вследствие этого постепенно и окончательно ее терять. Чтобы состояться, надо было быть на особицу, выбиться из ряда. Таких за 70 лет советской истории — единицы. И одна из этих редких единиц — Александр Николаевич Яковлев. И потому — о Яковлеве.

Добавлю только, чтобы быть до конца правильно понятым: я отдаю себе отчет, что состоявшийся может относиться и к злодею — «тому в истории мы тьму примеров слышим». Просто состоявшийся злодей непременно реализует себя на плечах и на костях множества состоявших, как Ленин, как Сталин, как Гитлер. Так что, по-моему: состоявшийся — это всегда оценка, но часто еще и диагноз.

Навязанную ему историей роль архитектора перестройки Александр Николаевич нес с достоинством, хотя роль-то в сущности крайне невыигрышная, скорее, из фарса, чем из высоких жанров. Посудите сами, Постник с Бармой, Баженов с Казаковым, Росси и Кваренги — это все архитекторы храмов, дворцов и прочих проспектов, а если кто эти шедевры перестраивал, так его имя история стирает в порошок — это в лучшем случае, а то и предает анафеме. Но ведь выбора не было — все пространство страны занимали дворцы социализма, памятники победы над природой и прочая не шибко пригодная для нормальной жизни архитектура — и жилая, и политическая.

Простоватость внешности и типичность биографии — крестьянская юность, фронтовая молодость, ранение, хромота — все располагало к доверию и карьерному росту. Неторопливая мудрость в сочетании со скорой, бойцовской реакцией оказались для него (и Яковлева, и его карьерного роста) прекрасным ферментом. Яковлев рано пошел вверх по разделу идеологии и по тем временам немало набил себе шишек на этом поприще. Впрочем, упоминание о шишках, набитых им другим, встречаются в документах и воспоминаниях и в области литературы и в области театра и кино. И когда отдельные его клиенты, как и он сам, не без некоторой аберрации памяти вспоминают только о добрых его поступках того времени, я не то что не верю, я воспринимаю это как художественное преувеличение,

свойственное талантливым рассказчикам. Вот, например, Александр Аскольдов в одном из недавних интервью рассказал, что единственная копия его фильма «Комиссар», преданного всеобщей идеологической анафеме, была спасена исключительно усилиями Суслова, словно анафеме она была предана кем-то другим. Версия «добрый Штирлиц в зверином логове врагов» выдерживает проверку только на уровне литературном, условно-приключенческом. О любую иную проверку такие версии разбиваются, как хрупкий фарфор о каменную статую.

Я не был в те времена знаком с Александром Николаевичем и не стал бы о том рассуждать, если бы не обстоятельство личного характера. Когда в 1991 году мне довелось впервые встретиться с ним лично, то едва ли не первое, что я услышал от Яковлева, — это была история их знакомства и дружбы с моим отцом, основанная, по словам Александра Николаевича, на сходстве взглядов и душевной тяге друг к другу. Тут уж, по аналогии, мне многое становится понятным — об отце, о перипетиях его судьбы я много думал и даже писал. Они современники и, хотя отец на девять лет старше, принадлежат к одному военному поколению. Оба — очень умные люди, способные раздвинуть рамки господствующей идеологической догмы и взглянуть и на время, и на свою роль в этом времени с иного ракурса, даже при том, что долгом их считалась обязанность эти рамки укреплять или украшать художественными виньетками. В отличие от многих современников исполнение своего партийного и общественного долга они не считали за индульгенцию, снимающую с человека ответственность за последствия своих поступков. Скорее, а точнее — с течением времени — долг для них стал чем-то вроде добровольно надетых вериг, стесняющих движение, рвущих тело и душу, но и по-своему сладостных, как наказание за грех сомнения, который каждому из них присущ был и, однажды родившись, рос в каждом, проклинаемый и лелеемый и опасающийся стать из тайного явным.

Для Яковлева эта ситуация была во много раз опаснее, чем для отца, ибо за пределами рангов и должностей отец уже был «тот самый» Симонов, написавший «Жди меня», а Яковлев оставался просто еще одним высокопоставленным функционером с фамилией на последнюю букву алфавита.

И еще одно, очень много определившее, различие. Все-таки суть человеческая не может быть изменена даже высшим качеством ума. Отец по своему дворянскому происхождению или просто от художественности природы был человек изначально толерантный, чего никак нельзя сказать об Александре Николаевиче, которому свойственно — и об этом я сужу уже на

основе личных впечатлений — воспринимать мир в черно-белых красках. Оказалось, что коммунизм как идеологию легче сменить, сбросить с себя, как змея сбрасывает кожу. А вот большевизм — свойство делить мир на друзей и врагов, на верных (наших) и неверных (чужих) — может оставаться с человеком как кальций в костях — пока он жив. Отец тоже отдал поэтический долг большевизму в себе: если кто помнит, первая послевоенная книжка его стихов так и называлась «Друзья и враги», там даже были отнюдь не делающие ему чести строки: «Мир не делим на черных, смуглых, желтых, а лишь на красных — нас и белых — их». После смерти Сталина он от этого дефекта зрения успешно лечился, что свидетельствовало о внешнем, наносном характере болезни. Процесс преобразования себя продолжался у обоих. Но отец ушел в 79-м. А Александр Николаевич, пережив его надолго, празднуя в 2003 году свое восьмидесятилетие, пришел к юбилею несгибаемым большевиком-антикоммунистом.

Из личных впечатлений, а я в более поздние годы имел честь неоднократно встречаться с А. Н., припомню два эпизода, имеющих, как мне представляется, прямое отношение к теме этих заметок.

Непосредственным поводом для первого было Открытое письмо, написанное и напечатанное мною в преддверии создания Федеральной службы РФ по телевидению и радиовещанию (ФСТР). ФСТР уже создана, но, как водится, существует лишь виртуально — ни штатов, ни финансирования, ни регламента деятельности — только фамилии начальников и пунктирно намеченная сфера ответственности. Чем эта перемена обернулась для индустрии — отдельная песня, тем более что главную опасность, которую создаваемая ФСТР несла в себе, я тогда не ощутил, не понял, но предвидел: новая власть, не умея обустроить страну по-новому, доставала из загашников старого опыта проверенные временем механизмы советского способа руководства и, назвав их по-новому к удовольствию значительной части публики, вечно сетующей на отсутствие порядка, расставляла в пространстве управления процессами, еще не зная, зачем, но предчувствуя, что они рано или поздно пригодятся.

Если перевести этот пассаж на язык управленческих реалий, ФСТР была тем саженцем, из которого предстояло вырасти новому Гостелерадио, незадолго до того под демократические фанфары ликвидированному.

Но вернемся к Яковлеву. Голос мой был услышан, я вызван для беседы, где и высказал вышеописанные и иные опасения, включая очевидную, заложенную в структуре опасность коррупции. Александр Николаевич выслушал меня очень

внимательно, не отвергая моих опасений, что структурное несовершенство и отсутствие ясно сформулированной задачи может быть чревато многочисленными неприятностями, уставил на меня отечески смягченный взгляд из-под своих похожих на густые кусты репейника бровей и сказал внушительно: «Согласен, поводов для тревоги немало. Но неужели ты думаешь, Алексей, учитывая, что мы оба это понимаем, что-то подобное может случиться, пока эту службу поручено возглавлять мне?»

Вот ругали мы, ругали социализм, пока не оказалось, что социализма-то как минимум два: шведский — удачный, и наш, доморощенный, так и не состоявшийся. Между тем суть разницы в том, что их социализм построен на процедурах, а наш на личностях. Так по крайней мере это выглядит на практике. И даже самые выдающиеся российские демократы, а А. Н. Яковлев, безусловно, один из них, не в силах эту пропасть преодолеть ни в себе, ни в жизненной практике. В общем, когда настало время ФСТР начинать свою деятельность, была быстренько осуществлена рокировка: начальником ФСТР назначили Валентина Валентиновича Лазуткина, а Яковлев остался директором телекомпании «Останкино», с чем связан уже другой запомнившийся мне эпизод.

Телекомпании «Останкино» долго не везло с директорами: назначали их и смещали исключительно по привходящим обстоятельствам, не связанным с профессионализмом ни снимаемого, ни вновь назначаемого. Так Егор Яковлев сменил Кравченко, Брагина назначили вместо Егора Яковлева, потом на время обратились к кандидатуре Александра Николаевича, имея в виду, что уйдет потом Яковлев на более спокойный пост, найдя себе замену.

Одно дело руководить телевидением с высоты идеологического отдела ЦК, другое — ежедневно рулить этим вселенским базаром, где торгуют всем, от коньяка «Хеннесси» до патриотических смазных сапог, где стабильно только количество разнонаправленных интересов и конфликтов. Я не могу сказать, что Яковлев не справлялся — слишком велик был разнообразный его опыт управления, но уставать от этой ежедневной вакханалии стал быстро. И принялся искать себе замену.

В один прекрасный день Александр Николаевич вызвал к себе вашего покорного слугу, и состоялся нижеследующий диалог, который воспроизвожу исключительно по памяти, но вы, надеюсь, поймете, почему он в мою память основательно врезался.

— Алексей, ты двадцать лет проработал на телевидении, у тебя есть опыт работы в лицензионной комиссии, ты неплохо подкован в правовых вопросах и, наконец, ты — человек,

которому можно доверять. Как бы ты отнесся к идее назначить тебя директором «Останкино»?

— Александр Николаевич, для меня большая честь уже то, что вы со мной завели подобный разговор. Я бы, может, и рискнул согласиться, но есть у меня одно глубокое предубеждение, и как только я вам о нем скажу, вы от своей идеи немедленно откажетесь.

— Алексей, не говори, пожалуйста, глупостей. Я знаю твои пламенные демократические заморочки насчет свободы СМИ, они меня не смущают. Жизнь тебя поправит.

— Александр Николаевич, я сейчас скажу вам, что я сделаю, когда в первый день и раз войду в свой рабочий кабинет, и вы от своей идеи немедленно откажетесь.

— Ты меня не пугай. Ну?

— Войду, вызову монтера и отключу все имеющиеся в кабинете «вертушки». Вырублю их насовсем.

Позвольте сделать небольшой экскурс в историю «вертушки». «Вертушка», а точнее — «Автоматическая телефонная связь (АТС) строго ограниченного доступа», укоренилась в практике тех, кто этой связью мог пользоваться, и сознании тех, кто об этом виде связи решался упоминать разве что шепотом, в начале 20-х. Первая АТС на 20 с чем-то номеров, соединяющая членов ЦК, ВЦИК и Совнаркома (да и то, кажется, не всех, а избранных), была абсолютно шпиононепроницаема. Правда, как утверждал в своих воспоминаниях сбежавший на Запад секретарь генсека Баженов, непроницаема она была для всех шпионов, кроме одного — самого Сталина, и этот несанкционированный доступ к информации впоследствии сыграл немалую роль в установлении самовластья. Но это уже детали.

Круг посвященных — сеть «вертушек» — постепенно расширялся, число помеченных властью, приобщенных к тайнам, недоступным врагам и простым смертным, росло. Появилась и здесь своеобразная иерархия, родственная табели о рангах или категориям списков в закрытых распределителях, возникли АТС-2 и АТС-3. В пользовании этими, в сущности, обыкновенными телефонами присутствовали ритуальность священнодействия и гордость причастности к высшим сферам власти. Наличие «вертушки» в твоем кабинете означало: тебе доверяют, с тобой говорят САМИ.

И, естественно, органы пропаганды и агитации были оснащены этим знаком причастности, а фамилии редакторов с указанием только ФИО без всяких должностных реквизитов — еще один знак причастности к элите — входили в маленькие красные справочники, попадание в которые было актом

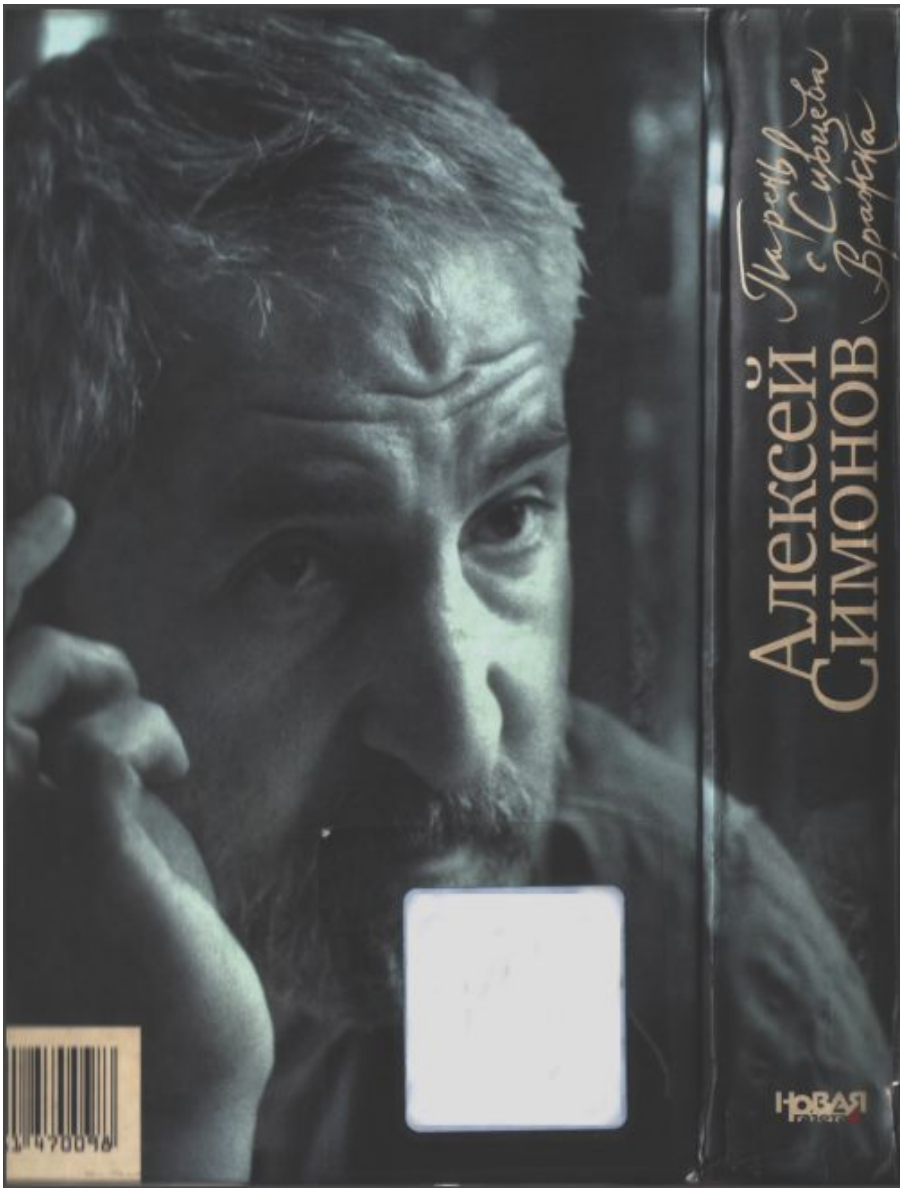
признания, почище любой госнаграды.

— Какая глупость! Ты что это — всерьез?

— Ну, вот видите, Александр Николаевич…

Вопрос о моем назначении больше не возникал. Яковлев оказался предпоследним государственником из руководителей телекомпаний. Через пару лет вслед за ним ушел последний — Олег Попцов. Новых руководителей государство нанимало и перевоспитывало уже из матадоров и информационщиков, хлебнувших праздника непослушания, свободы и коммерции. Они — если судить по Эрнсту, Добродееву, Кулистикову — оказались неплохими учениками и быстро усвоили правило, что «Чего изволите?» нынче спрашивать неприлично. Неофит государственности задает такой вопрос самому себе: «Чего они изволят?» — и должен уметь быстро и адекватно на него ответить, сделав как надо, а не как велели, никогда не забывая, что в сущности это — одно и то же.

Но это уже другие люди и другое время. И Александр Николаевич Яковлев в этом неповинен.



notes

Примечания

1

Свершилось, славу Богу. И даже внук уже родился. Данилой зовут.

Т.е. преимущественнаго обращения внимания на практическия задачи безъ возбуждения общихъ принципиальныхъ вопросовъ въ случае, если это было бы явно безплоднымъ.

3

Очевидно и «роман» и «сценарий» — это недавно написанные «Дни и ночи».

4

Фильм по пьесе «Парень из нашего города» режиссер А. Б. Столпер.

5

Незадолго до этого редактором «Красной звезды» вместо друга К. М. — Ортенберга стал генерал Никольский.

6

Евгений Львович Штейнберг, историк и писатель, и его жена Таня (Татьяна Акимовна) были многолетними друзьями сестер Ласкиных.

7

ОСО — «Особое совещание» — спецсудилище сталинских годов.

8

Костя здесь — это мой отец, К. М. Симонов

9

В «Новом мире» была напечатана первая после «В окопах Сталинграда» повесть Виктора Платоновича Некрасова. А Анатолий Тарасенков, критик, был давним маминым приятелем.

10

Речь идет о самоубийстве А. А. Фадеева.

11

Лаврушенский переулок (Москва).

12

Владимир Корнилов.

13

Исаков — это адмирал флота, чьи рассказы тогда были очень популярны, а вот кто такая Вера Дмитриевна, не помню, но то, что мать за нее заступилась, вполне в ее характере.

14

Александр Белинский — известный театральный и телевизионный режиссер.

15

Юра — это, безусловно, Фрейдлин, психиатр, которому Н. Я. завещала свой архив, а вот кто такой Сергей Алексеевич, я, к стыду своему, не помню, но, скорее всего, это Желудков — священник-диссидент.

Напомнили: фамилия его была Морозов.

17

«Тегуан-тепек» — цитата из стихов С. И. Кирсанова, очень в те годы популярных.

18

Всероссийская ассоциация пролетарских писателей.

19

Здесь пишет на песке как гений
Волна — следы своих волнений.

(Д. Самойлов)

20

ФСТР — Федеральная служба РФ по телевидению и радиовещанию.